

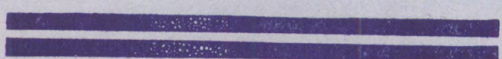
ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1981

1



1981



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1981 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Книга третья	3
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Из лирики	107
ЮРИЙ ЛОСЕВ — Два стихотворения	109
В. ЧУКРЕЕВ — Вечен огонь, повесть	110
АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ — Гималаи, стихи	172
ОТАР ЧЕЛИДЗЕ — Баллада о старом доме, стихи. Перевел с грузинского Владимир Равич	175
ВАЛЕНТИН СОРОКИН — Родная природа, стихи	178
СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ — Елка, стихотворение	180
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ — Встречи. Заметки о русском языке	181
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
ЕГОР ЯКОВЛЕВ — До чего же трудно хорошо работать! Шагая за конвейером Волжского автозавода	192
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Н. А. ХАЛФИН — Договор равных. К 60-летию советско-афганского Договора о дружбе и сотрудничестве	210
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Б. ЯКОВЛЕВ — Мудрая сила принципа. Размышления о свободе творчества и партийности литературы	223
АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ — Большими маршрутами	228
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i> 247	
А. Пикач, Н. Цыганова. Постигая богатства души человеческой.— Андрей Василевский. Начиналось с Маяковского.— В. Воробьев. Важная грань ленинской эстетики.	

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	257
Ю. Шарапов. Страницы великого наследия.— Вл. Кузнецов. Историография современности.— В. Косолапов. Кровью сердца...	
КОРОТКО О КНИГАХ: Юрий Болдырев—Борис Ручьев. Собрание сочинений в двух томах. ♦ Галина Винникова.— Яков Ильичев. Турецкий караван. Роман. ♦ Вл. Котовсков.— В. Гура. Как создавался «Тихий Дон». ♦ М. Бойко.— Н. К. Некрасов. По их следам, по их дорогам. Н. А. Некрасов и его герои. ♦ Г. Койранская.— Константин Шишкан. Колесо над пропастью. Повесть. ♦ М. Аджиев.— А. Окладников. Открытие Сибири. ♦ Д. Биленкин.— Владимир Демьянов. Геометрия и Марсельеза	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

---

---

---

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

## ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ\*

Роман

КНИГА ТРЕТЬЯ

Часть первая

I

**П**риехав в Москву и не увидев дочери, которая не пришла на вокзал встретить его, несмотря на то, что Сергей Иванович дал телеграмму из Каменки на адрес до востребования, на какой писала ей мать, он весь день затем просидел дома, каждую минуту ожидая ее. Лишь под вечер, перебрав все возможные варианты, что могло случиться с ней, и утомившись от этих своих дум и одиночества (и утомившись еще оттого, что все в доме напоминало о прежней спокойной и наполненной жизни), поехал к Старцеву, чтобы поговорить и посоветоваться с ним.

— Сергей, ты? Алена, Аленушка, посмотри, кто к нам,— тем веселым, жизнерадостным тоном, как он всегда встречал у себя Сергея Ивановича (и обращаясь одновременно и к нему и к жене Лене, которая слышно было, как шла через комнаты), проговорил Кирилл Старцев. В тускло освещенной и узкой, как принято было строить тогда, прихожей он увидел вначале только лицо и только общие очертания ссутуленной фигуры Сергея Ивановича; но принимаясь обнимать его, натолкнулся ладонью на пустой рукав и остановился от неожиданности. Не поверив себе, еще раз провел ладонью по тому месту, где был пустой рукав, и изумленно воскликнул:— Когда? Где?

— Смешно сказать,— усмехнулся Сергей Иванович, как усмеваются над своим несчастьем люди, не успевшие еще пережить его.— Потерял. Да и не только руку.

— Когда, где, каким образом? — повторил Старцев.

— Это не в двух словах,— ответил Сергей Иванович.

Он снял плащ, поздоровался с Леной и, войдя в сопровождении ее и Кирилла в комнату, сел в предложенное ему кресло, в котором всегда любил посидеть, приходя к ним. Кирилл и Лена смотрели на его пустой рукав, и он чувствовал себя неловко от этого. Им надо было объяснить, что было с рукой; надо было рассказать о том, о чем трудно было говорить Сергею Ивановичу, и он медлил и хмурился (и прикрывал ладонью пустой рукав), словно перемогал боль.

— Колхозное добро спасал,— наконец сказал он, чтобы не вдаваться в подробности.— Спасал,— повторил он,— а и добра не спас и жену потерял.

---

\* Книга первая — «Новый мир», 1975, №№ 4—6; книга вторая — 1979, №№ 1—2.



— Как потерял? Умерла? — переспросил Кирилл и оглянулся на жену, как будто она должна была подтвердить, правильно ли он понял Сергея Ивановича.

— Да,— сказал Сергей Иванович.

— Юля?! Умерла Юля?! — сейчас же вырвалось у Лены.— Боже, Юля...— И она только продолжала смотреть на пустой рукав Сергея Ивановича и так же, как и Кирилл, не спрашивала, от чего умерла Юлия.

Все помолчали.

— Да-а,— затем протянул Кирилл.— Новость.— И принялся ходить взад-вперед перед бывшим фронтовым другом.

Для Кирилла с его удачливостью и с его восприятием жизни (в силу именно этой удачливости) всегда было непостижимо, как при одних и тех же условиях, какие есть для всех людей, некоторые умудряются не жить и радоваться жизни, а отыскивать для себя ситуации, из которых, кроме мрачных углов, ничего нельзя разглядеть. «Вот он, этот самый вариант»,— подумал он, привычно и по стереотипу, как это делали теперь все, стараясь обобщить все и уже из общего, как оно могло только представляться ему, вывести частное, то есть то, что случилось с Сергеем Ивановичем. Кирилл не мог сказать о себе, что он приспособливался к жизни; но все сознание его было приспособлено к тому, чтобы при столкновении с любым делом сейчас же проводить параллели независимо от того, возможны или невозможны они, и параллели эти — между большим и малым, историческим и личным — так надежно как будто всегда объясняли ему все, что он уже не испытывал нужды в глубоких размышлениях. Он как будто вполне понимал теперь Сергея Ивановича и сочувствовал ему; но вместе с тем всем ходом своих мыслей не только не принимал, но и не мог принять того, что он, осуждая в людях, называл «опустить руки»; он давно уже, как это казалось ему сейчас (и как это обычно кажется людям, полагающим, что они всегда искренни перед собой), еще со дня похорон Елизаветы Григорьевны, матери Сергея Ивановича, заметил за своим другом, что с ним происходило именно что-то наподобие «опустить руки»; и он теперь видел, что был прав, и готов был с тем назидательным оттенком, как привычно было разговаривать ему, высказать все Сергею Ивановичу. Но вместо этого он только говорил:

— Я не могу поверить, Сергей, это невероятно, как же так, как так! — И то останавливался перед Сергеем Ивановичем, то продолжал вышагивать перед ним.

То же выражение жалости и участия к Сергею Ивановичу, какое было у Кирилла, было и у Лены, все еще стоявшей на том месте у двери, где она остановилась, войдя вслед за мужчинами в комнату. Она была моложе Юлии, жила иными интересами, чем та, и редко встречалась с ней; но встречи эти, когда они происходили, оставляли то теплое впечатление, после которого она говорила: «Какая приятная женщина эта Юля». Приятность же заключалась только в том, что Юля никогда не позволяла себе произносить двусмысленности и не осуждала ничего в чужом доме; и качество это, казалось Лене, так редко в наше время встречалось в людях, что нельзя было не замечать и не ценить его. «Как мило у вас все»,— как будто слышала она вдруг голос Юлии (как та всякий раз говорила, приходя к ним). «Она всегда хотела что-то устроить у себя так же,— вспомнила Лена.— Теперь уж не устроит». И с той же раскрытостью глаз смотрела на Сергея Ивановича. Она знала от Юлии же, к которой ходила в больницу, о замужестве Наташи и о том, чем сопровождалось это замужество; и хотя по женской сообразительности своей не могла сейчас соединить смерть Юлии, пустой рукав Сергея Ивановича и замужество Наташи в одно целое, из чего можно было бы заключить все, но чувствовала, что связь между всем этим была и что на совести

Сергея Ивановича должно было лежать что-то тяжелое в этом деле. Она в отличие от мужа была ближе к тому, что было правдой; но еще более не решалась ни спросить, ни сказать что-либо Сергею Ивановичу, и только во взгляде, чем дольше смотрела на него, отчетливее проступало выражение, что она не только сочувствует ему и жалеет его, но знает, что он виноват, и осуждает его. «Как мило у вас все»,— вместе с тем опять услышала она голос Юлии и даже обернулась, как будто могла увидеть ее.

— Мы все ходим по веревочке,— между тем, остановившись перед Сергеем Ивановичем и уже не вышагивая перед ним, говорил Кирилл.— Случиться может. Все случиться может, но ведь и от нас зависит по крайней мере, держать равновесие или не держать его.— Что было понятно самому Кириллу, было продолжением его мыслей, и было непонятно, для чего и к чему говорилось Сергею Ивановичу, который, видя, как все приняли Старцевы, чувствовал, что надежда поговорить и развеяться здесь, у них, обернулась для него лишь тем, что он должен будет снова и с большей глубиной пережить свое несчастье; и оттого как защитное средство возникало в нем желание возразить им, и он думал, как сделать это.

В то время как он смотрел на Кирилла, он почти не слушал его, а силился только вспомнить, в чем тот был причастен к его горю. Причастен же Кирилл был лишь в том, что Сергей Иванович видел в его кабинете Арсения; но это ясное (как все представлялось Сергею Ивановичу в день, когда он выгонял Арсения) было теперь так неясно, что он только смутно сознавал, что должен в чем-то упрекнуть Кирилла. «Но в чем? — думал он и, не находя в чем, переводил взгляд на Лену, к которой, как ему казалось, тоже было у него что-то, что надо было сказать ей.— Что-то они с Юлей... вместе... против меня...» — припомнил и не мог припомнить он; и еще поспешнее, чем от Кирилла, отворачивался от нее — не столько оттого, что не мог припомнить, сколько от выражения ее глаз, ясно говоривших ему, о чем она думала. Он видел, что она (в отличие от Кирилла) знала что-то такое, что, идя сюда, Сергей Иванович не предполагал, чтобы она могла знать, и что давало ей право так с упреком теперь смотреть на него; и упрек этот смущал Сергея Ивановича и перебивал в нем все мысли; в какое-то мгновение он даже ощутил, что потеет, и, достав носовой платок, принялся им вытирать лоб и шею.

— Так что же делать, если так все случилось,— непривычно оправдываясь сказал он, как только Кирилл, говоривший то общее, что было понятно только ему, на минуту остановился.— Надо жить.

— Вот именно, это верно, это единственное,— подхватил Кирилл, на которого слово ж и т ь всегда действовало так магически, что сейчас же преображало в нем все. Лицо его словно посветлело, в то время как он теперь смотрел на Сергея Ивановича. Сказав Лене: «Гостя-то покормить надо. Ты ужинал, нет?» — что относилось уже к Сергею Ивановичу, он затем с той потребностью руководить всем и умением всякий раз войти в событие так, что оно начинало вращаться вокруг него (как это было и в день похорон Елизаветы Григорьевны), и со смутным желанием того, что надо развеять друга (и что у него есть чем развеять его), предложил Сергею Ивановичу посмотреть свой домашний кабинет, заново в это лето оборудованный им.— Ну-ка, ну-ка, одобришь, нет? — говорил он, поднимая Сергея Ивановича и приглашая его.

## II

За время, пока Сергей Иванович был в деревне, в жизни Кирилла Старцева произошло событие, которому он все еще радовался не в силах до конца осознать и пережить его. Его назначили заведующим районо и затем (по тому только непонятно как установившемуся праву, что когда человек идет на повышение, его сейчас же замечают

все) ввели в правление Общества дружбы СССР с одной из освободившихся от колониальной зависимости стран Юго-Восточной Азии; и повышение это и значимость, с какою уже стал смотреть на себя Кирилл, лишь подтолкнули его ускорить дело с переоборудованием кабинета, которое задумано им было еще года полтора назад и было более делом для любителя, чем делом, какое вызывается необходимостью жизни.

В тот год, как и всегда по Москве, ходили странные поветрия, называемые иногда модой или стилем, которые, как болезнь, захватывают людей, и Старцев, как тысячи других, чувствовавший, что некуда приложить ему те физические силы, какие в нем были и требовали приложения (сколько он ни отдавался школе), заболел то одной, то другой болезнью этого рода, и переоборудование кабинета было для него не чем иным, как очередным желанием не отстать от людей. Он решил отделать стены кабинета деревом, как было, он видел, у двух знакомых ему директоров школ (у одного было под орех, у другого под красное дерево). И тот и другой использовали для этого дверцы старых и добротных шкафов, которыми все еще завалены были комиссионные магазины (в связи с тем же поветрием, когда старое и основательное модно стало заменять новым, прессованным или хлипким); шкафы скупались по дешевой цене и брались только дверцы от них, и эти-то дверцы, подобранные и прикрепленные в определенном порядке и определенным образом к стенам, создавали впечатление богатства (а еще и для здоровья, как говорилось при этом), о каком мечтают если не все люди, то, по крайней мере, большая часть человечества, которая лишена возможности иметь это. Кирилл со свойственной ему увлеченностью так взялся за дело, что за месяц все в кабинете его преобразилось и приобрело нужный, с оттенком роскоши вид, которым нельзя было не восторгаться и не созерцать его. Он часами теперь просиживал в кабинете — то за письменным столом, за которым, кроме как почитать Сухомлинского или Макаренко, нечего было делать ему, то в кресле, отвалиясь на спинку, и почесывая свою белую, мягкую, начавшую уже жиреть грудь, и с удовольствием созерцая и прислушиваясь как бы к запаху дерева, которым давно уже не пахло от этих дверей от старых шкафов; но Кириллу казалось, что пахло, и он сам себе казался как будто человеком иным, вдруг вставшим на ступень выше в общественном положении (что связывалось как раз с повышением его), и оставалось только написать кандидатскую диссертацию в этом кабинете, ту самую диссертацию о значении творчества Макаренко в становлении советской педагогики, каких было написано уже сотни и о каких прежде, когда это не касалось самого Кирилла, он говорил: «Для чего пересказывать идеи, которые прекрасно существуют в подлиннике?» — а теперь, когда коснулось его, высказывал противоположные, и правильные, мысли. Но он еще не начинал эту диссертацию, а был только, как он говорил об этом, на дальних подступах к ней, то есть на тех дальних, от которых не было видно еще ничего, кроме общего серого фона земли и слившегося с ним неба.

С тем вполне восстановившимся цветом лица после минутных переживаний, в которых неприятным было не столько само известие, что умерла Юлия, принесенное Сергеем Ивановичем, сколько то, что все это не вязалось с общим хорошим настроением Кирилла, — он первым вошел в кабинет и, потянувшись и включив свет, сделал распахивающее движение руками, к которому не надо было добавлять слов, чтобы объяснить его. Но Кирилл все же произнес:

— Н-ну, что скажешь?

«Да брось ты свои мрачные мысли, все равно ничего не исправишь, а посмотри лучше, как хороша жизнь, если кое-что уметь в ней. Я умею и счастлив, и можешь уметь ты и каждый» — было в глазах Кирилла. Он смотрел на Сергея Ивановича, но видел весь свой

кабинет в тех мельчайших подробностях, которые как раз и создавали все впечатление. Люстра, горевшая под потолком и представлявшая собою два схваченных деревянным ободом блюда (хотя обод этот был не деревянным, а под дерево, вернее под орех, как и весь кабинет), более освещала только пол и потолок, а на стены падал лишь тот матово-приглушенный свет, при котором все самоделное, что должно было выпирать при ярком освещении, было ступено и незаметно, а видно было только, что — под орех, и что — богато, и что — нельзя бы никогда подумать, чтобы можно было иметь подобный кабинет в такой обыкновенной трехкомнатной квартире. У дальней стены стояли два книжных шкафа, которые оттого, что были темного цвета, выделялись только корешками книг на общем тяжелом фоне. Напротив них было кресло со стандартною зеленою обивкой, и другое кресло и журнальный столик были у стены, из которой (по самому центру ее) выпирало односвечное бра с пятью хрусталиками, свисавшими с него. Бра это по замыслу Кирилла должно было центрировать все и придавать всему, как последний штрих, сделанный художником на картине, ту живость, которая излишня и непозволительна в кабинетах служебных, но необходима в домашних — и для настроения и для впечатления достатка; и на это-то бра, как только оно было зажжено, более всего обратил внимание Сергей Иванович. Оно напомнило ему то, о чем за последними событиями было как будто позабыто им, но что вместе с тем было неотделимо от этих последних событий — ампутации руки и смерти Юлии. Точно так же, как эти хрусталики, светились осколки разбитой вазы, когда Сергей Иванович думал теперь о своей жизни, и точно так же светились люстры и бра в Дорогомилинской гостиной, которая живо сейчас встала перед ним во всех тех неприятных подробностях, как они помнились ему.

Кирилл ждал, что он скажет, и смотрел на него. Но Сергей Иванович не торопился ничего говорить. Как и в день, когда был у Дорогомилиных, он искал ответа на тот же вопрос, на какой не мог ответить себе тогда; но оттого ли, что события те были теперь отдалены и можно было рассудочно посмотреть на них, или оттого, что ему только казалось, что он не помнил о тех событиях, тогда как на самом деле ни разу не забывал о них, — из всех прошлых путаных линий, как он думал о Семене Дорогомилине и его гостиной, он выделял для себя сейчас две главные и выводил свои суждения из них. Линии эти представлялись ему следующим образом. Одна, первая, — было то, что объединялось в понятии обычной, нормальной жизни, то есть той жизни, какую он жил сам и в которой были свои определенные представления, что хорошо, что плохо, чему следует подражать и от чего отказываться, и была святость цели, принимавшаяся не столько разумом, сколько душой и хранившаяся ею; вторая же — было то, что составляло лишь внешний блеск хрустальных люстр, ковров, мебели, картин, сервизов, статуэток и блюд, и было тем, что в сознании простых людей обычно связывается с представлениями о барстве; это была та праздная жизнь праздных людей, которая, как лодка, привязанная к пароходу, всегда сопутствует трудовой народной жизни, и Сергей Иванович, признавая возможность и неизменность ее, считал, что нельзя было Дорогомилину совершать отступничество в пользу ее. Ему казалось, что Дорогомилин перешагнул через ту святость цели (вынесенную всеми из прошедшей войны), перешагивать через которую было не то чтобы преступно, но было предательством каких-то общих и главных интересов жизни. «Да, он совершил это, — подумал Сергей Иванович с той неожиданной для себя ясностью, как все теперь вдруг увиделось ему, и посмотрел на Кирилла. — И он туда же. Что происходит, что делается с людьми?»

— Для чего тебе все это? — затем спросил он у Старцева.

— Как для чего? Чтобы жить и себя уважать, — просто и опреде-



ленно ответил тот.— Ты посмотри, посмотри.— Он вскинул руки и снова как бы распахнул ими перед собою пространство кабинета.— В этом вкус жизни. Да и стоит гроши. Стоит, в сущности, работа, ну и хлопоты, но зато какая прелесть! — И стал рассказывать Сергею Ивановичу (как говорил всем, кому показывал кабинет), каким образом покупались и привозились все эти дверцы от старых шкафов. Почти с каждой дверцею была связана какая-либо история, которая живо еще как будто помнилась Кириллом, хотя и была уже более придуманной и не отражала того, как все происходило на самом деле; но в рассказе Кирилла не только не чувствовалось этой придуманности, но он и сам, казалось, был искренне убежден, что все так и было на самом деле, как он говорил.

### III

Перебив себя на середине слова, Кирилл предложил сесть в кресла, и бра, оказавшееся теперь между ним и Сергеем Ивановичем, одинаково освещало их лица тонким, переливчатым светом. Кириллу был приятен этот свет, как приятно было все, что стояло в кабинете, и от этого чувства довольства собой и жизнью (и тем, что он был не из тех, кого события застают врасплох) выбритые щеки его светились сытым румянцем, седые виски казались биографией, и то выражение соединенной молодости и мудрости, без которого давно уже никто из близких не мог представить себе его, снова играло на его лице. Он весь был во власти своих представлений о жизни, и в то время как Сергей Иванович, осуждавший его за отступничество, угрюмо смотрел на него, мысли, рождавшиеся в голове Кирилла, были так естественно веселы, что, казалось, их ничем нельзя было омрачить. Но Сергей Иванович не замечал этой веселости и мрачно думал, что Кирилл тратил не на то свои усилия, на что надо бы тратить ему (то есть на отделку кабинета, как Дорогомилин на содержание гостиной); и он выводил суждения из этого факта, тогда как жизнь и Кирилла и Дорогомилина была сложнее и состояла далеко не из одних только этих интересов. Но Сергею Ивановичу некогда было вникать, из чего она состояла; он видел лишь, что вместо фронтовых воспоминаний, как бывало всегда раньше, когда он приходил сюда, он принужден теперь выслушивать какие-то мелкие и ничемные историйки. «„Иван Иванович позвонил, я поехал...“ — ну и что, что Иван Иванович позвонил, а ты поехал,— повторяя эти отрывки фраз за Кириллом, думал Сергей Иванович.— А у Семена Дорогомилина в доме черт знает что, а моя дочь находит где-то старика и бежит к нему, и рушится семья, рушится все, ни святынь больше, ни понятий порядочности, и никому ни до чего нет дела»,— думал он, продолжая взглядывать на Кирилла, в то время как Кирилл точно так же осуждал Сергея Ивановича за отступничество (от прежней деятельной жизни) и, как и Сергей Иванович, полагал, что именно он, Кирилл, сохраняет еще в себе ту (надо понимать — фронтовую) правду жизни. «Опустил руки — и вот результат, а нужно ли было опускать их? Меняются только высоты, а суть одна, надо постоянно штурмовать их»,— думал он. Но он не говорил этого Сергею Ивановичу, чувствуя, что что-то будто разделяло теперь их.

— Нет, ты извини,— наконец сказал Кирилл, которому неприятно было чувствовать это свое ложное перед Сергеем Ивановичем положение.— Давай подумаем, чем я могу помочь тебе.

— А чем ты можешь помочь? Ничем.

— Так уж и ничем,— возразил Кирилл.— Во-первых, Никитишна и приберет и стоговит. Дочь-то приходит? — И тут же пожалел, что спросил об этом. На лице Сергея Ивановича мгновенно отразилась та душевная боль, которая была вызвана этим вопросом, и боль эта передалась Кириллу.— Ну хорошо, хорошо,— опережая Сергея Ива-

новича и не давая ничего ответить ему, торопливо произнес Кирилл и, поднявшись с кресла, принялся (так же беспокойно, как только что в комнате) шагать взад-вперед по кабинету. Несколько раз он останавливался перед журнальным столиком и, наклоняясь над ним, поправлял хрусталики бра, хотя ничего не нужно было поправлять там; но Кириллу не хотелось поддаваться тому мрачному настроению, в каком был Сергей Иванович, и хрусталики отвлекали и успокаивали его.— Ну хорошо,— снова сказал он, встав перед Сергеем Ивановичем и скрестив на груди руки (в той позе, какую Наполеон выражал свое величие, но какая для всякого простого человека есть только удобство положения рук для разговора и для сокрытия своих чувств от собеседника).— Тебе надо устроиться на работу. В коллектив тебе надо. Ты учти, люди жалуются на занятость и суету только потому, что не знают, что такое состояние покоя. Покой страшен, да-да, и это не моя фантазия, не мои выдумки.

— О чем говоришь? — И Сергей Иванович поднял перед собой пустой рукав.

— А кто предлагает тебе лопату? Разве нет ничего другого? В Комитете ветеранов войны, скажем.

— Кто же там ждет меня?

— Под лежащий камень вода не течет. У меня там есть кое-кто, да и сам ты! А твои фронтовые воспоминания, которые так хорошо получались у тебя,— напористо продолжал Кирилл, которому искренне хотелось поскорее пройти через этот перевал уговаривания и выйти к тем своим привычным берегам жизни, где все ясно, соразмерно и солнечно и где для каждого точно так же может быть все соразмерно и солнечно, если уметь жить и иметь вкус к жизни.

— Воспоминания... Кому они нужны? — И Сергей Иванович усмехнулся, невольно оглядывая кабинет и затем переводя взгляд на Кирилла, в той же все позе (позе Наполеона) стоявшего перед ним.— Я вижу, наше прошлое никого уже не интересует.

— Это что за новость?

— Мы дрались, умирали, ну и что? Кому нужны эти частности, когда все переменялось, другие интересы, другая жизнь,— прислушиваясь уже только к своему течению мыслей (и к тому чувству утраты, в котором соединены были теперь и потеря семьи и общий сдвиг народной жизни), продолжал свое Сергей Иванович.— Частности волнуют только нас, а для всех остальных все меряется только категорией победы.

— Ново, ново!

— Нет, я чувствую бессмысленность этого дела и не смогу уже сесть за него.

— Философ, ты просто философ,— начал было Кирилл, в то время как в дверях появилась Лена и прервала этот разговор.

— Чай на столе, прошу,— сказала она, гостеприимно улыбнувшись Сергею Ивановичу и мужу.

Она успела переодеться, пока они сидели в кабинете, и была теперь как будто другой, прибранной, помолодевшей. На ней было светлое с отделкою платье, цвет которого по теневой стороне отливал как бы шоколадным оттенком, но со стороны люстры и бра был, казалось, того приятного бежевого тона, какой большинство женщин (за близость его) не любят, но который так к лицу был не по годам худой,стройной (и все еще казавшейся всем со спины девушкой) Лене. Волосы ее были прибраны, как она сама говорила об этом, а-ля Сенчина, и все изнеженное, с мелкими, но четкими чертами лицо ее было открыто. Она не хотела выглядеть празднично, и то, что было надето на ней, было повседневным, в чем она ходила на работу и по магазинам, но по тому чувству, какое есть у всякой женщины — в то

время как она смотрела на себя в зеркало, она заметила, что излишне нарядна (для теперешней домашней обстановки, когда Сергей Иванович был в помятом костюме, в каком он приехал в Москву, а Кирилл в спортивных брюках и в рубашке с засученными рукавами и расстегнутым воротом); и она поверх платья повязала льняной фартук, который, впрочем, тоже надевался ею более для гостей, чтобы соответственно выглядеть перед ними, чем нужен бывал для дела. Этот фартук она теперь, продолжая улыбаться Сергею Ивановичу и Кириллу, неторопливо снимала с себя. «Ну так как у нас, как кабинет?» — в то же время выражали ее глаза. Как ни тяжело было воспринято ею известие о смерти Юлии, но тот общий ритм жизни, какой задавался в доме Кириллом, и та общая атмосфера достатка, довольства, согласия и любви (основанные, правда, не на том, на чем достаток и согласие эти были основаны в семье Дружниковых, а на другом, когда возможность всего есть результат приложения рук), — эта общая атмосфера, как и Кириллу, не позволяла ей глубоко проникнуться чужим горем. Хотя она не говорила себе, что надо жить, что только в этом спасение, и не думала, как Кирилл, что лучше всего теперь отвлечь Сергея Ивановича от его мрачных дум, но была готова сделать именно это и, не сговариваясь с мужем, находилась в том же настроении, как и он. Но тяжелый взгляд Сергея Ивановича смутил ее, и улыбка, в то время как она сворачивала и комкала в руках фартук, медленно начала сходиться с ее лица.

— Ну что же вы, мальчики? — еще повторила она тем своим первоначальным тоном, который должен был сказать о ее настроении; но она уже неуверенно, что было что-то не так в ее словах, посмотрела на мужа.

— Пойдем, приглашают, — сказал Кирилл.

Сергей Иванович вышел из кабинета первым. За ним должны были идти Кирилл и Лена. Но они задержались, и сейчас же послышался торопливый шепот Кирилла: «О Наташе ни-ни, мы ничего не знаем». Сергей Иванович приостановился и хотел было спросить, что означает это его «мы ничего не знаем»; но едва только повернул голову, как прямо перед собой увидел румяное лицо, на котором не было никаких следов озабоченности, а было лишь то привычное выражение чистоты и легкости жизни, с каким Кирилл, как это он старался внушить всем (и самому себе), смотрел на все.

— Ты извини за шутку, — тут же начал он, беря Сергея Ивановича под локоть, — но каждый философ либо хром, либо горбат. — И он покосился на пустой рукав его. — Но вся прелесть жизни заключается в том, что жизнь эта вопреки философиям всегда и во все времена течет своим руслом. Течет, и никто и ничего не может сделать, чтобы остановить ее. Ну, Аленушка, рассаживай нас, — сказал затем, обращаясь к жене, которая вслед за ним и Сергеем Ивановичем вошла на кухню.

#### IV

Общая жизнь людей, сложенная из миллионов различных судеб, всегда может рассматриваться (в зависимости от того, для каких целей бывает нужно это) с двух точек зрения: с точки зрения целостности движения, как видят все со своих высот ученые, пытающиеся вывести общие законы бытия, и с точки зрения отдельного человека, который уже со ступенек только своих радостей или огорчений, но с той же потребностью обобщить все смотрит на вещи. Общая жизнь с точки зрения целостности движения была (в лето и осень 1966 года) таковой, что в глубинах партийного и государственного аппаратов разрабатывались мероприятия — и в сфере международных отношений и по делам внутренним, — которые на десятилетия затем станут программными и займут умонастроения сотен тысяч людей; но во внешнем проявлении вся эта глубинная работа не была так ощутима,

как она чувствовалась членами комитетов и комиссий, и воспринималась простыми людьми так, как она воспринималась Кириллом, то есть вне прямой связи дел общих с заботами каждой отдельной семьи. Приезд де Голля, например, был для Кирилла только тем событием, о котором пошумели и забыли, тогда как жизнь и до приезда французского президента и после шла для всех тем же чередом и в том же русле, как она шла всегда. Точно так же смотрел Кирилл и на визит в СССР премьер-министра Индии Индиры Ганди, и на приезд в Москву господина У Тана, возглавлявшего в то время Организацию Объединенных Наций, и на подписание странами Варшавского Договора Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе, и на собрание общественности Москвы в Большом Кремлевском дворце (в поддержку борящегося Вьетнама), участником которого он был. Ему казалось, что делалось только то, что должно делаться (и что делалось всегда в том обозримом пространстве времени, от которого он начал видеть и понимать); открывался ли съезд журналистов, проходивший в эту осень в Москве, или созывалась сессия Верховного Совета, или начинал работу какой-либо научный конгресс — все это лежало в том же ряду событий, которые, казалось, только в дни, когда происходили, привлекали внимание и представлялись значительными, но Кирилл, в сущности, не замечал того, что он и не должен был замечать: что жизнь людей направлялась и что усилия в верхах не всегда могли иметь сиюминутную и зримую отдачу. Но отдача эта была уже в том для Кирилла, что он спокойно мог отделять свой домашний кабинет и с уверенностью смотреть на общее течение жизни. «Мне это нравится, я так хочу», — говорил он себе, тогда как это его «хочу» предоставлялось ему благодаря только общим обстоятельствам жизни.

Но в то время как одни судьбы более или менее соединялись с общим движением, другие (как семейные дела Галины, Арсения, Наташи), казалось многим, не только не имели никакой связи с этим общим движением, но и не могли иметь в силу уже того положения, что истоком их (как считали эти многие) было не социальное, а нравственное начало. «Да он всегда был неуживчив и не знал, чего хочет», — сказал Лусо об Арсении, отводя глаза, как только стало известно в институте о поступке его. Слова были произнесены первые попавшиеся, но по смыслу, заключенному в них, Лусо сейчас же почувствовал, что можно было таким образом обвинить только Арсения и не затронуть интересы коллектива, то есть интересы самого Лусо (как он думал о себе и о коллективе); и он стал припоминать затем случаи, когда Арсений кому-то что-то возразил или отказался от чего-то, что должно было только подтвердить это дурное мнение о нем. Лусо, опуская глаза, говорил противоположное тому, что обычно говорил об Арсении прежде; и, как это всегда бывает в таких случаях, большинство на факультете лишь повторяло это, что говорилось начальством. Мнение, какое было у всех об Арсении, было забыто, а всплыли на поверхность лишь его развод с Галиной и женитьба на Наташе; и по этому-то разводу и женитьбе выводился теперь его моральный, вернее, аморальный облик. Лишь немногие были не согласны с таким мнением, но эти немногие выражали свое несогласие только тем, что молчали или пожимали плечами, и точно так же, как и согласные, выстроившись все по одну сторону черты, за которой не могли быть затронуты ничьи интересы, выжидательно наблюдали, чем закончится дело. «Мы знали, мы чувствовали», — между тем, выражая уже будто мнение коллектива, говорил Лусо. Он знал, что желающих занять его место — место декана — было среди коллег вполне достаточно и что были среди них и такие, которые не прочь подставить ножку, чтобы самим выдвинуться вперед; и чем больше он теперь думал над этим, тем энергичнее, как единственно спасительное для себя, поддерживал мнение о неуживчивом и дурном



характере Арсения. «Может быть, здесь даже что-то патологическое»,— добавлял он, чтобы совсем отделить Арсения от той нормальной (и единственно правильной, как он полагал) жизни, какую жил сам и жили, казалось ему, все другие вокруг него.

Известный адвокат Кошелев, никоим образом не связанный ни с профессором Лусо, ни с его коллегами по институту и взявшийся за дело Арсения из того только профессионального интереса, что в этом деле было на чем проявить себя и подкрепить тем свою адвокатскую славу, первое, что сказал после ознакомления с делом, что ключ к пониманию всего лежит в нравственных истоках. «Вот то, что извечно заключено в чувствах человека,— со свойственным ему внешним спокойствием, за которым, однако, ясно слышно было волнующее предчувствие открытия, сказал он.— Заключено в любви, в ненависти, в этих понятиях, которые человечество исследует на протяжении всей своей истории и в исследовании которых, в сущности, ни на сантиметр еще не продвинулось вперед». И он сначала вышагивал по своему адвокатскому кабинету, потирая руки, а затем вышагивал дома, удивляя жену и детей необычно возбужденным настроением, и предстоящий процесс по делу Арсения (в том первоначальном виде, как он рисовался Николаю Николаевичу после поверхностного ознакомления с делом) — процесс этот виделся ему как оголенный срез именно этих человеческих чувств, до которых без определенного сознания болезненности их нельзя притрагиваться никому. «Такое могло случиться и сто и двести лет назад, в любом веке»,— думал он, снова и снова находя весь главный интерес дела именно в том, что сталкивался с категорией людских поступков, которые одинаково могут совершаться в любых социальных условиях; и он был настолько убежден в этом (припоминая известные в прошлом процессы в различных странах), что если и думал о конкретных обстоятельствах дела, что можно было в нем назвать социальной причиной, то лишь в той связи, что обстоятельства эти доказывали ему, что он прав и что иначе и нельзя подходить к делу. Он видел поступок Арсения в очищенном виде, в каком поступок этот мог быть оправдан, и видел себя, как преподнесет этот поступок (то есть убийство, в чем и заключена была изюминка) в этом именно очищенном виде и убедит всех. «Но так ли все верно?» — говорил в нем второй голос, приглушаемый этой предстоящей минутой торжества; и этот второй голос, как ни был он подавляем в сознании Кошелева, заставлял его снова вчитываться в дело Арсения и производил то лекарственное действие, как глоток воды на взволнованного, разгорячившегося человека. «И все-таки тут дело нравственного порядка, и только нравственного»,— говорил себе Кошелев, в то время как та цепочка социальных проблем, за которую он должен был взяться, он профессиональным чутьем чувствовал, могла только осложнить и запутать все.

Еще менее и родные и знакомые видели в поступках Галины связь их с общим движением жизни и всю семейную неустроенность ее относили только за счет ее дурного характера и воспитания, хотя каким образом старик Сухогрудов с его строгостью взглядов на все мог дать ей дурное воспитание, было неясно. Он только продолжал говорить: «Чего ей не живется», как говорил о ней всегда; и скептически бросил: «Дожилась!» — когда дошли до него известия о связи ее с Лукиным и гибели Юрия. Точно так же, чего не живется ей, говорил о Галине ее брат Дементий, и почти его же словами отозвалась о ней Виталина, когда провожала мужа на похороны Юрия в Москву. Для Виталины, о которой тоже можно было сказать, чего не живется ей в ее доме и с ее достатком (главное, с таким мужем, как Дементий, которым восхищались все),— для Виталины важным здесь было то, что она стала замечать, что в муже ее проявлялись точно те же нехорошие черты характера, какие были у Галины. «Брат и сестра»,— думала она, и вопрос этот мучил ее. Вопрос этот был для нее вопро-

сом жизни, на который надо было ответить; но вместо ответа она с ужасом чувствовала, что только сильнее увязает во всей этой по-своему неустроенной для нее жизни и что тех протестующих сил, какие всегда прежде поднимались в ней, становилось все меньше и на смену им приходило безволие, покорство и сознание того, что ни изменить, ни поправить уже ничего нельзя. Она путем своих умозаключений приходила к той же философии смирения, какую проповедовала ее тетка Евгения; и философия эта, как ни грустно было признать это, давала ей успокоение. Она чувствовала, что жизнь общая была подчинена как будто одним законам и руководствовалась только той целью общего блага, которое для Виталины, как и для сотен тысяч других, как она, было лишь отвлеченным понятием и не ощущалось предметно, тогда как жизнь личная, то есть жизнь семьи, протекала совсем по другим как будто законам и должна была определяться благом иным, более благом для себя, чем для общества. «Но все зависит от человека»,— думала она то самое, что вытекало только из нравственного понимания вопроса.

«Как они ненавидели его, как они все жестоки и злы».— было главным и непреодолимым в сознании Наташи после всего того, что произошло с Арсением и с ней. Ей тем более не приходило в голову, что духовный мир человека, то есть нравственность его, всегда есть зеркало социальной жизни; она представляла себе зло лишь в том конкретном понимании, что оно составляет суть отдельных людей (для нее суть Галины, Юрия и суть следователя, который вел теперь дело Арсения); и она готова была употребить все свои силы для доказательства того, кто были они, то есть Галина, Юрий (и следователь), и кто был он, то есть Арсений. «Он не виноват»,— говорила она себе, и говорила следователю, и говорила подруге, у которой, дожидаясь приезда матери, жила эти дни.

## V

После ночи, почти в беспмятстве проведенной у соседей, утром, когда соседям надо было идти на работу, Наташа (в том состоянии оглушенности, когда ужас совершившегося представлялся ей еще только в самом факте, что была кровь, было убийство, а не в последствиях его) должна была уйти к себе; ей надо было продолжать жить самой и не отягчать жизнь другим, и с этим смутным сознанием, что о ей надо было делать, и с бледным, без единой краски жизни лицом она подошла к двери своей квартиры. Но она не открыла дверь и не вошла в нее. Боязнь, что увидит кровь и что вся страшная картина ночи сейчас же повторится перед ней и она, не выдержав, с криком: «Помогите!»— снова бросится на лестничную клетку, выставляя напоказ весь ужас своего положения, заставила отстраниться от двери и выйти на улицу. Она уходила от дома торопливо, не оглядываясь и с чувством погони, будто что-то позорное шло за ней и грозило открыться людям. «Как же он мог, как он мог?!»— думала она, и только после того, как дом ее у Никитских ворот скрылся из виду, и она дважды на переходах, не разбирая ничего впереди себя, чуть не попала под машину, и на нее накричали, и какая-то женщина, присматрившись к ней, отвела ее в сквер, к скамейке,— она впервые под впечатлением движущихся машин, людей и общего, всегда производимого улицею шума осмысленно посмотрела вокруг себя. «У меня горе, и никому нет дела до него»,— подумала она. И она вдруг почувствовала, что среди всего этого огромного мира людей и машин, частицей которого она всегда сознавала себя, среди всей прежде светлой и радостной для нее жизни была теперь одна, и все совершившееся с ней и Арсением невыльно начало сходиться в ней на той одной точке— что будет с ней?— на которой так ли, иначе ли, но должно было сойтись для нее.

Мысли ее то переносились к тому, как посмотрят на все отец и мать, особенно отец, который, как это казалось ей, так и не принял ее замужества, и лицо ее покрывалось пятнами стыда, какой уже теперь, как если бы она стояла перед ними, болезненно сознавался ему; то вдруг это же сознание стыда и ужаса охватывало ее, как только она представляла себе, как она теперь встретится со всеми теми людьми (друзьями дома Лусо), которые так восхищались ею и поздравляли ее и которыми в еще большей степени восторгалась она, увидев вдруг себя в ином, высшем слое общества (что должно было быть теперь потерянным для нее); то мысли переносили ее к Арсению, и крупные, как капли росы, слезы начинали течь по ее щекам, не замечаемые и не чувствуемые ею.

Она не знала, сколько просидела, но естественное чувство голода и потребность поделиться горем с кем-то, кто мог бы понять ее и посочувствовать ей, то естественное чувство жизни (то есть необходимость деятельности и необходимость ясности и определенности для себя), которое в молодом и здоровом организме ее брало верх надо всем, что она думала о себе, заставило ее подняться и пойти — сначала к Старцевым (из тех только соображений, что Старцев был однополчанином отца и другом семьи, о котором отец всегда говорил, что на него можно положиться), но затем, остановившись на половине пути, свернула к давней своей подруге (по студенческим годам), к которой, пока все бывало у Наташи хорошо, она не заходила и вспоминала о ней лишь в тревожные или трудные для себя дни. Подруга эта была — Люба Сергейчикова; была одной из тех тихих, застенчивых, скромных людей, которые никому и никогда сами не набиваются в друзья и не проявляют своей жизненной энергии так бурно, чтобы она была напоказ и видна всем, но живут той заключенной в себе глубокой жизнью (и потому не существующей как будто для других), в которой по-своему, в ином и более сложном проявлении возникают и угасают все обычные человеческие чувства. Люба всегда казалась Наташе инертной и скучной и привлекала в трудные минуты только тем, что не поучала, как это сейчас же брались делать все другие, умевшие, как им казалось, живо и с легкостью рассказать все, а только с участием слушала и сопереживала тому, что рассказывалось ей, с тем выражением искренности на лице, которое нельзя было не заметить и которое располагало к ней собеседника. Находясь на вершине своего счастья с Арсением, Наташа не помнила и не вспомнила бы о ней; но теперь из всех прежде как будто более близких своих подруг (более интеллигентных, как надо было понимать мысли ее) она выбрала именно Сергейчикову и шла к ней, не спрашивая себя, почему и хорошо и нужно ли это, но созная лишь, что это было единственно возможным выбором для нее.

Но было еще одно обстоятельство, которое верно подсказывало Наташе, что ей надо было идти именно к Любе. В представлении Наташи Люба была человеком несчастным — в том смысле, что еще несколько лет назад, выйдя замуж, тут же затем разошлась с мужем и жила с тех пор одна, без отца и без матери, которых похоронила еще до замужества; и это-то, что прежде отталкивало Наташу (по тому лишь написанному правилу, что неудачников всегда сторонятся), теперь, напротив, привлекало именно этим хотя и отдаленным как будто, но единством судьбы, схожестью положений (что и Наташа, по существу, оставалась теперь без мужа), и что в силу этого единства и будет найдено понимание и сочувствие.

Под впечатлением этих успокаивающих мыслей и от солнца, тепло и весело пригревавшего улицы, от движения и суеты, которую Наташа видела и чувствовала поминутно, то садясь в троллейбус, то выходя из него, то просто шагая по тротуару вдоль недавно построенных и потому белых еще зданий с балконами и уже развешанным по этим балконам бельем — под впечатлением этого повседневного, что,

несмотря ни на какие невзгоды личного или общественного порядка, всегда было, есть и будет представлять собою течение народной жизни и возбуждать в людях только то чувство, что жизнь эта неистребима и вечна на земле, в ней поднимались те силы для жизни, которые независимо и вопреки ее воле оживляли ее. Лицо ее было открыто, и открыты были ее маленькие и красивые уши с сережками, которыми всегда так любовался Арсений. Рубины в сережках поблескивали точно тем же игривым блеском, как они светились в памятный для нее вечер, когда она была в гостях у Лусо (впервые в том обществе, так поразившем ее изяществом туалетов, манерою держаться и возвышенностью разговоров), и вся она, не замечая за собою, шла прямой и размяченной (какую успела перенять как моду или как знак принадлежности к тому обществу) походкой, так что когда Люба, оказавшаяся в этот час дома, открыла на ее звонок дверь, мало что говорило в Наташе о том непоправимом и страшном, что в этот день было пережито ею. Во всяком случае, в первые минуты встречи Люба ничего не заметила в ней. Удивившись слегка, как она удивлялась всегда появлению Наташи, и не прибегая к тем ложным объятиям и поцелуям, которые прежде распространены были только среди пожилых, преимущественно женщин, но теперь употреблялись всеми и всюду, а сказав лишь те приветственные слова, простые, непритязательные, в которых нет и не может быть лжи (в силу именно их простоты), она провела Наташу в комнату и только уже здесь, в комнате, приглядевшись к ней (но более по тому чувству, что она знала, что Наташа не могла прийти просто так к ней), сказала, всматриваясь в ее глаза:

— С тобой что-то случилось.— И затем, усадив ее и сама сев напротив нее, еще раз проговорила:— С тобой что-то случилось, Ната. (Так она называла Наташу.)

Она сказала это с тревогой, и в простоватом и некрасивом на первый взгляд лице ее с крупными и неправильными чертами, не то чтобы сейчас же выдававшими ее происхождение (то есть то, что и теперь еще принято называть «из простонародья» и что все и всегда отмечали при взгляде на Митю Гаврилова), но говорившими о неприятельности и простоте ее жизни (ее духовных запросов, как понималось это Наташей), было столько участия, что успокоенная было Наташа вновь вспомнила весь ужас своего положения, и ей так жалко стало себя, что вместо ответа она только почувствовала, что вот-вот разрыдается; и усилие, чтобы не разрыдаться, и невозможность удержать готовые пролиться слезы — все было в застывшем выражении ее глаз.

— Да что с тобой, Ната?— повторила Люба.— Ты вся дрожишь.— И в то время как произносила эти слова, увидела на щеках ее слезы.

Не зная, что было с Наташей, но поняв по этим ее слезам, что случилось что-то непоправимое, Люба сейчас же принялась утешать ее; но не словами и не тем желанием заглянуть в глаза, как это делают обычно, спеша выказать свое сочувствие; она подошла к Наташе и, как мать, обняв за плечи и голову, прижала к себе и молча, сверху вниз глядя на трясущиеся Наташины плечи, короткими и нежными движениями гладила их. В крупных глазах Любы тоже вот-вот должны были появиться слезы. «Ну довольно, хватит» — говорили эти ее глаза; и говорили руки, продолжавшие обнимать и гладить плечи Наташи.

## VI

Причиной Наташиных слез могло быть как будто только одно — ее горе (как и поняла это Люба); но на самом деле причиной этой было не столько горе, сколько то воображенное последствие, которое вдруг здесь, у подруги, с совершенной ясностью открылось Наташе.

Она увидела ту бедность (по сравнению с гостиной Лусо, дачей



Карнаухова и даже с тем, как Наташа сама жила с отцом и матерью), какая была в квартире Любы и составляла существо ее жизни (бедность не только внешнюю — в стульях, занавесках и покрывалах, — но прежде всего как будто духовную, происходившую будто от всей этой внешней обстановки). Бедность эта, прежде не бросавшаяся так в глаза Наташе, с такой ясностью теперь вдруг предстала перед ней, выпиравшая изо всех углов (и в одежде Любы), что Наташа не то чтобы ужаснулась этой убогости и скромности всего, сколько в воображении своем сейчас же представила, что точно то же теперь, без Арсения, должно было ожидать и ее. От той жизни, какую она увидела, введенная Арсением в круг его знакомых, вернее в круг знакомых Лусо, она должна была вернуться к этой, какою, как она с грустью увидела, жила ее неудачливая подруга (и жили отец, мать и все знакомые отца и матери, как думала об этом Наташа), и сила протеста, та горечь за себя, что все так несчастливо складывалось для нее, перехватывали дыхание и вызывали как раз эти слезы. Ей казалось, что она плакала по Арсению, что ей жалко было не столько себя, как его, что все так случилось с ним; ей казалось, что она плакала от любви к нему, ради которой готова была на все, тогда как слезы ее были слезами утраты, что все то высшее и прекрасное, что, едва приоткрывшись ей, поманив ее, было теперь отнято, и что единственным звеном, через которое могло еще вернуться все, был Арсений. Как только Наташа, протерев глаза, начинала смотреть на Любу и на всю бедную обстановку ее комнаты, слезы опять заволакивали все перед ней, плечи вздрагивали, и она не могла удержаться, чтобы не плакать. «Почему это со мной, за что, за что?» — говорила она, принимая сочувствие подруги и плача еще сильнее от этого сочувствия.

Несмотря на все свое горе, Наташа была одета в то как будто рядовое для нее, но нарядное для Любы платье, которое сейчас же выдавало весь достаток, в каком она жила; и она была в тех самых золотых с рубинами сережках (подарок Арсения), в каких, вернувшись в тот страшный теперь для себя вечер от Карнауховых, не снимая их, легла спать; и сережки эти отсвечивали сейчас все тем же освежавшим ее лицо блеском, как было это и на торжествах у Лусо, и в гостях у Карнаухова, и в Большом театре, где Мещерякова ревностно оглядывала ее. На Любе же было светлое, в мелкую голубоватую клетку платье с рукавами-фонариками, каких давно уже не носили, потому что модным было уже иметь не прямые, а покатые плечи; волосы ее (в противоположность Наташиной прическе) были завиты химической завивкой, что тоже было немодно и о чем знала Наташа и не знала, как видно, Люба. У Любы не было ни перстней на пальцах, ни сережек в ушах, а было во всем облике ее только именно то «из простонародья», что приобретается не для красоты, а для удобства и сообразуется лишь с рационалистическим, как сказали бы социологи, взглядом на жизнь, тогда как рационализм этот есть не рационализм взгляда на жизнь, а лишь выражение определенного достатка. Того достатка, которого одни стесняются, другие не замечают, третьи всю жизнь страдают, что не могут добиться большего. Но Люба, с детства привыкшая к этой своей жизни, не стеснялась ее. Напротив, она даже как будто была довольна своей жизнью. В районной библиотеке, где она работала, она либо сидела за столиком, перебирая и обновляя картотеку, либо ходила вдоль стеллажей с обтрепанными корешками книг и в том сгушенном запахе тлеющих бумаги и клея, каким всегда бывают наполнены книжные хранилища, либо точно так же несуетливо, смиренно чистила и перемывала все то (как того обычно требуют старые вещи), чем была наполнена ее однокомнатная, доставшаяся ей от родителей квартира. Что делалось в ее душе, какие страсти поднимались и угасали в ней, каков был тот ее воображенный мир (в противоположность действительности), который удовлетворял ее и придавал ей это спокойствие, никто

не знал; разочаровавшись однажды в том, с чем столкнула ее жизнь (главным образом в муже, который, когда это надо было ему, говорил нежности, но тут же становился чужим, далеким и лживым), она ушла душою в этот мир воображений, какой щедро дополнялся в ней книгами, и мир этот, в котором можно было по своему усмотрению перемещать, соединять и разобщать все, мир этот, как грудь кормилицы, подменившей мать, давал ей силы и пищу. Она была как будто несчастна, но по-своему была счастливым человеком; была из тех молодых женщин, которые в прежние времена и не из любви к богу, а лишь от невозможности противостоять грубостям жизни уходили в монастыри и которые теперь, так как монастырей не было и осудительно и смешно было заточать себя в них, жили как будто обычной среди людей, но замкнутой в себе и, в сущности, все той же отрешенной монашеской жизнью.

Успокоив Наташу своим бессловесно передаваемым сочувствием и чуть не расплакавшись сама от вида Наташиных слез и передававшихся (точно так же бессловесно) переживаний Наташи, Люба затем с недоуменным ужасом выслушала все то, о чем Наташа сперва неохотно, но потом с удивившей ее самую откровенностью рассказала о себе. Главное, что поразило Любу, было то страшное дело, которое сделал Арсений, ударив железным ломиком по голове сына (разумеется, не своего, а приемного, как пояснила Наташа). Люба не могла поверить в это; кровь, само действие, напоминающее убийство, было так дико, чуждо и неестественно для нее, что она неотрывно смотрела на Наташу, говоря этим взглядом своим ей: «Не может этого быть, ты преувеличиваешь».

— Но он жив?— затем спросила она о Юрии.

— Не знаю.

— Как же ты не знаешь, когда это важно,— сказала она.

«Да, вот он, мир, вот они — люди!— вместе с тем это второе, что на протяжении всего Наташиного рассказа занимало Любу, было теперь выводом для нее.— Вот то, что стоит за всеми их красивыми словами о добре, справедливости и любви»,— думала она, соотнося это, что было из действительности, с тем своим глубинным и истинным, как ей казалось, пониманием добра, справедливости и любви; и из соотношения этих двух крайностей выводила для себя весь ужас Наташиного положения.

— Что же теперь будет? — спросила она, словно не она Наташе, а Наташа должна была ответить ей на все.

— Я не знаю, Люба. Я ничего не знаю,— ответила Наташа, которая и в самом деле не знала, что будет с нею и Арсением.

Она только чувствовала, что ей было легче оттого, что она рассказала все подруге, и краски жизни вновь как будто появились на ее лице; но слезы, те крупные слезы, которые только что так обильно текли по ее щекам,— слезы эти опять беспричинно будто то и дело набухали в ее глазах. Они были от той же пугавшей ее мысли, что впереди ожидало ее. Не зная еще, что матери уже не было в живых и что отец потерял руку, она думала, что ничего не позволит себе брать от них; но сама она, она понимала, сможет лишь, как и Люба, обеспечить только этот скромный достаток с этими же скромными (в соответствии с достатком) духовными запросами, тогда как рядом будет течь другая, с иными и высшими интересами жизнь. Наташа как бы впервые открывала для себя, что то школьное представление, какое внушали ей, что все люди равны, было неверно, что есть только возможности равенства, но что самого равенства нет (она только не расшифровывала по молодой своей нелогичности восприятия мира, отчего не было равенства; что неравенство это есть результат разности труда и отдачи от этого труда и что по характерам, склонностям и трудолюбию неравенство было и будет); она исходила только из того эгоистического чувства, не осознававшего, впрочем, ею, что плохо бу-

дет ей, что прекрасное отбиралось у нее, и что это было несправедливо, что не было повода с ее стороны, чтобы так обойтись с ней, и слезы сами собой опять и опять, скапливаясь, готовы были пролиться по ее щекам.

— Ну вот, ну опять,— говорила Люба, вытирая платочком эти ее слезы.— Еще, может, все обойдется,— затем сказала она.

Она предложила Наташе остаться и пожить у нее, пока все прояснится (и пока приедут Наташины родители, которых надо было, по мнению Любы, завтра же известить и вызвать), и повела подругу на кухню, чтобы вместе, как с теплотой сказала она, приготовить что-то на ужин и почаевичать (что было выражением Любиных родителей и было теперь выражением самой Любы).

— Ну, картошку пожарим? Или омлет?— преодолевая в себе то настроение, какое передалось от Наташи, и тоном и самими словами пытаясь взбодрить и себя и ее, сказала Люба.— Ну? Или — у меня есть любительская, свежая, сделаем бутерброды?

— Мне все равно.

— Да ты уж не переживай так, еще ничего не известно. Завтра пойдешь и узнаешь. Хочешь, я с тобой? Я отпрошусь,— сказала она.

## VII

Они поджарили картошку на сливочном масле, и вкусный вид и запах этой разложенной по тарелкам жареной картошки и дымный запах подгоревшего масла, вытекавший в открытую створку окна, и втекавший в нее же вечерний воздух двора, казавшийся им, хотя это было ложно, свежестью, и красновато-белесый свет от подвеса, из экономии зажженного Любой только теперь, когда стало смеркаться, и весь общий вид кухни, этой маленькой (в шесть с половиной квадратных метров) кухни с подвесной полкою, с газовой плитой, мойкой и столом и табуретками с пластиковым покрытием и на тонких ножках (коих наштамповано было уже на всю старую и новую Москву),— вид этой кухни, еда и разговор, который (стараясь уже не о Наташиной горе) поддерживала Люба, постепенно делали то свое естественное дело, когда и у Наташи и у Любы теплее становилось на душе, и они говорили и говорили то о модах, то о жизни, как умеют говорить между собою только женщины, сводя всякое явление к тому, что можно купить и чего нельзя, что есть в магазинах (разумеется, немодное и ненужное) и чего не сыщешь ни при каких обстоятельствах (вследствие именно моды и нужды в этих вещах). Они говорили о разном и вспоминали прошлое, что случалось с ними в студенческие годы и было болезненным и важным тогда и вызывало только улыбки теперь на их повеселевших лицах; но вместе с тем, как ни уходили они от того главного (то есть от Наташиного несчастья), о чем трудно было говорить им, мало-помалу и сам собою как будто разговор вернулся на этот свой первоначальный круг, и Люба, ничего не зная о жизни Наташи, но хотевшая понять подругу и уяснить все, начала расспрашивать ее о Галине.

— Ты хоть знаешь, что она из себя представляет?— говорила Люба.

— Нет. Она некрасива и, по-моему, зла.

— И все?— была удивлена Люба.

Точно так же оказалось, что Наташа ничего не знала и о Юрии, и Люба, не умевшая никогда скрывать своих чувств и не скрывавшая и теперь своего изумления, воскликнула:

— Как же ты жила? Ты что, по воздуху летала, не встречалась, не видела, не чувствовала ничего?!

— Но он же был разведен с нею.

— Разведен, хм, разведен, но ты-то куда смотрела, ты-то,— говорила Люба.

Несмотря на всю свою замкнутую как будто и отрешенную от всего жизнь, было видно, что она более понимала эту самую жизнь, чем понимала ее Наташа. В ней чувствовалась та практичность, которая приобретается людьми не путем умственных построений, но возникает из трудностей жизни, и какой, естественно, бывают лишены те, за кого думают и делают обычно другие, как это было с Наташей, о которой, когда она жила с отцом и матерью, думали и делали за нее все они, а когда вышла за Арсения, ограждалась им от грубостей и сложностей жизни. В Любиных рассуждениях, как ни казалась она сама себе отдалившеюся от житейских (надо понимать, семейных) дел, интерес этого житейского был выражен так ясно, что для Наташи было поразительно, как все то, о чем спрашивала ее и что говорила ей Люба, не могло прийти ей самой в голову. «Да, надо было приглядеться, последить, узнать, да, да, надо было руководить событиями»,— соглашалась она с Любой.

— Но откуда ты все это знаешь, Люба?— вместе с тем спрашивала ее Наташа.

— Господи, да это все знают. Ты как будто только на свет родилась.

— Ты думаешь, все было бы по-другому?

— Я не сомневаюсь,— убежденно ответила Люба.

Было неясно только, как при таком понимании всего Люба не могла устроить свою жизнь. Но вопрос этот не возникал в сознании Наташи. В сознании ее все вращалось только вокруг того, что было с ней, и ей казалось, что было бы неестественно, если бы разговор теперь шел не о ней. Ей не приходило этого вопроса, что и у Любы могла быть своя жизнь и свои интересы в ней и что надо было спросить ее о ее жизни. Но Наташа не спрашивала и во всем этом разговоре с подругою была как бы выдвинута вперед как предмет внимания, тогда как Люба составляла собою ту общую массу людей, судьба которых интересна лишь тем, что они есть общий фон жизни. Для Наташи это было естественно потому, что она привыкла, чтобы все занималось ею; для Любы это же естественным казалось потому, что ей привычно было другое — что она занималась всеми; и потому обе были довольны и долго еще, уже перейдя в комнату, постелив постели, раздевшись и погасив свет, продолжали говорить о Наташином деле.

На другой день, выспавшиеся и приодетые (Люба по телефону отпросилась с работы), подруги пошли (по этому же Наташиному делу) узнать, что было с Арсением, возможно ли было встретиться с ним, каково было состояние Юрия и вообще чтобы иметь то определенное представление обо всем, как на том настаивала Люба, без чего было нельзя оставаться Наташе; и от этих Любиных рассуждений и предположений, что все должно было быть несомненно лучше, чем о том болезненно вообразила себе Наташа, Наташа испытывала только то затаенное чувство тревоги, что делала не то, что нужно, которое вдруг заставляло ее как бы отключаться от разговора с Любой и думать о своем. Но внешне она оставалась спокойной, так что следовательно, когда Наташа вошла к нему и объявила, что она жена Арсения Иванцова,— следовательно с удивлением, видя ее молодое, свежее и даже будто веселое лицо, посмотрел на нее. Он пригласил ее сесть и, сказав, что еще накануне ожидал ее, приступил к тому первому официальному допросу, к которому Наташа не была готова; она растерялась и не знала, что отвечать, и чувствовала только, что следовательно говорит с ней недоброжелательно. Недоброжелательность его происходила от возмущившего его вида Наташи (в то время как муж ее совершил убийство); но у Наташи, не умевшей понимать ни людей, ни обстоятельства, во все время, пока шел допрос (и пока Люба, оставшаяся в коридоре, за дверью дожидалась ее), было одно только ощущение — ощущение власти, которая есть над людьми. Не по смыслу слов, сказанных следователем, но по интонации, как слова

эти были произнесены им, она поняла, что Юрий скончался, что Арсений обвинен в убийстве и что не может быть и речи, чтобы ей встретиться с ним. Она вдруг поняла ту серьезность, как все обстояло на самом деле, от которой что-то будто надорвалось и остановилось в ее душе, и ужас этого надорвавшегося стоял в ее глазах и мешал говорить и слушать следователя.

— Как же вы ничего не знаете?— возмущенно упрекал ее следователь, которому странным и непонятным казалось поведение ее.— Ведь от ваших показаний зависит судьба вашего мужа,— говорил он.

— Ну что? Ну?— сейчас же спросила Наташу Люба, как только та вышла из кабинета следователя.

— Он умер,— сказала Наташа.

— Кто? Мальчик тот? Как же теперь?..

Это «как же теперь?» Наташа сама задавала себе. Она смотрела на Любу и отвечала как будто ей, но видела перед собой не ее, а кабинет со столом в центре и стульями вдоль стен, из которого она вышла. Кабинет этот произвел на нее впечатление нежилой, пустой комнаты. Ни шкафов, ни занавесок, ни кресел, и это впечатление пустоты (вместе с тем, что Наташа узнала и пережила в кабинете) соединялось теперь в ней с отнятой у нее радостью жизни и властью, холодом обдававшей ее. Она не то чтобы поняла (по той простой поговорке, что Москва слезам не верит), что здесь нельзя было употребить тех известных каждой женщине средств разжалобить человека, по которым обычно достигается цель, то есть что нельзя было слезами вымолить ничего, но почувствовала это так же верно, как верно поняла, что Арсения будут судить и осудят. И потому она не плакала, слез не было, а в открытых глазах ее стоял только тот ужас чего-то надорвавшегося в душе ее, что, напугав и захватив, не отпускало уже. Она как бы вдруг переменялась с этой минуты, повзрослела, как сказал бы о ней сторонний наблюдатель, и по-новому видела весь ужас своего положения. Положение это представлялось ей теперь не то чтобы безысходным, но требовавшим определенных и четких усилий, чтобы восстановить все; и она с тем смутным сознанием, что она может помочь Арсению, собирала душевные силы в себе, чтобы сделать это. По совету Любы она отправила телеграмму матери, а затем, не выходя никуда, провела у подруги те несколько запомнившихся ей долгих суток, когда ей казалось, что все уже кончено для нее, что жизнь для нее остановилась и что мир людей, так прекрасно открывшийся ей этот мир— был ли он вообще или был только красивым и поманившим сновидением? Она почти не разговаривала с Любой и только лежала на тахте, повернувшись лицом к стене, и Люба, понимавшая ее, не донимала ее ни советами, ни расспросами, а только тихо, как она умела, ухаживала за ней, невольно и не злобно, из того только чувства самоутешения, какое есть в каждом человеке, думая о том, что, несмотря на свое одиночество, она была в лучшем положении, чем Наташа.

Поздним августовским утром, было это накануне приезда отца, Наташа пошла на почту узнать, есть ли что от матери, и по пути, так как это было удобно и было необходимо (чтобы взять белье и сменные вещи), решила прежде заехать к себе на Никитский, как ни трудно ей было сделать это.

## VIII

В этот день хоронили Юрия.

Тех, кто хоронил его, было немного; были только Галина, вызванная телеграммой (по адресу, сообщенному Арсением), отчим ее, Шура с мужем Николаем и Дементий, прилетевший уже после того, как старик Сухогрудов поговорил с ним по телефону из Москвы; все остальные же— был тот простой люд (частью прохожие, частью жильцы до-

ма), который всегда любит поглазеть на события, не касающиеся его. Но похороны Юрия были не просто похоронами; из дома выносили гроб с телом сына, убитого отцом, и каждому (гроб несли не заколоченным, а открытым) хотелось посмотреть на несчастного мальчика и на мать, шедшую сейчас же за гробом. То, что при жизни Юрия большинство в доме уже возмущалось им, было забыто, и все теперь только жалели его; и еще больше жалели те, кто ничего не знал ни о его жизни, ни об Арсении с Галиной, как все складывалось в их семье. «Убить сына?!» — как шорох катилось по толпе впереди гроба. «Мальчик-то — ребенок! Дитя, совсем дитя еще», — говорили те, кто успел уже взглянуть на сухощавую голову покойника с редкими и светлыми, как у матери, и по-школьному аккуратно причесанными теперь волосами. Юрий вызывал у всех то сочувствие, какого не доставало ему в жизни, и сочувствие это вместе со взглядами, переводившимися с него на мать, переносились и на Галину, которая вся в черном и со светлыми из-под черного шарфа волосами (и с тем летним деревенским загаром, так хорошо взявшимся по всему лицу ее еще в Полянковке, а затем в Мценске) шла за тем, что недавно было ее сыном, радовало и огорчало ее и что теперь было жестоко и без ее согласия отчуждено от нее. Она не плакала, но шла тяжело, не видя, куда ступает, и две женщины-соседки под руки поддерживали ее.

Гроб с трудом разворачивали на лестничных клетках, и впереди всех, подпирая его плечом и руками (и подавая команды по ходу), двигался Дементий. Шея его, стянутая воротником рубашки и галстуком, то и дело багрово наливалась, когда наклоненный гроб вдруг всей тяжестью начинал напирать на него, он протягивал руку к стене, чтобы не пошатнуться, и торопливо произносил: «Осторожно, не уронить!» — те самые слова, какие всегда произносят, вынося покойника. Рядом с ним суетился Николай, муж Шуры, с красным, отечным лицом; он как будто никак не мог приловчиться, с какой стороны взяться ему, и, нагибаясь, проскальзывал под гробом то на правую, то на левую сторону его. Шура осталась со стариком Сухогрудовым, чтобы на лифте спустить его, и была вся поглощена этим своим делом, которое — следить за отчимом — наказала ей Ксения, и лишь Галина шла с отсутствующим как будто выражением, словно не понимала, что происходит с ней и вокруг нее. Внимание ее было сосредоточено на чем-то том, что было заключено в ней самой; и этим была ее жизнь, так счастливо сперва соединившая ее с Лукиным, а затем так жестоко наказавшая ее. За что было это наказание, она не знала и каждую минуту ждала Лукина, что он приедет (по оставленной ею записке в Мценске) и объяснит все. Она ждала его всю ночь, пока сидела у гроба, и несколько раз, когда слезы особенно начинали подступать и душить ее, выкрикивала в отчаянии не имя сына, а: «Ваня, Ваня!» — зовя того, кто один только, как она думала, мог понять ее и разделить с ней ее горе. Она и теперь смотрела не на гроб, а поверх него, отыскивая Лукина, и когда вдруг до нее доходило, что его нет, ноги ее подкашивались и она погружалась в то полуобморочное состояние, которое для всех других, смотревших на нее, было лишь высшим выражением материнского горя. «Как она несчастна, — говорили о ней. — Шутка ли, один сын». «И молода как», — замечали другие. И эти другие, которые менее всего были посвящены в суть дела, видели, что Галина была не столько несчастна, как была хороша собой, была женщиной в той поре, когда можно было еще любоваться ею. То траурное, что было надето на ней, было так красиво и шло ей, и загар, приглушаемый теперь бледностью, так выделялся на ее лице и так выдавал в ней не успевшую еще остыть радость жизни, какую испытала она, соединившись с Лукиным, что для многих было сомнительно, чтобы похороны сына были для нее горем. «Как под венец», — сказал кто-то, но Галина не слышала этих слов. Она продолжала отыскивать взглядом Лукина, которого не было здесь, и в этом мучитель-

ном состоянии (но со своим горем и своим желанием жить) и увидела ее Наташа.

Но еще прежде Наташа увидела похоронную процессию, выходящую из подъезда на улицу. Она не знала тех, кто выносил гроб, но по охватившему ее предчувствию, когда еще издали обратила внимание на толпу, сейчас же поняла, что хоронили Юрия. Она еще более поняла это, как только взглянула на Галину, вышедшую вслед за гробом, и, узнав ее, инстинктивно отступила назад, чтобы не быть своей узанной ею, и затем пятилась еще и еще, отходя за толпу, к стене, и не отрывая глаз от Галины и гроба. Гроб с телом Юрия вызывал в ней чувство вины, боли и ужаса, что как раз и заставляло ее пятиться, но Галина, о которой у Наташи всегда было только одно мнение, что та дурна собой и зла (как и сказано было Любе),— Галина, величественно, как это показало Наташе, выступавшая в своем горе, производила совсем иное впечатление. Наташа впервые вдруг открыла для себя, что Галина красива, и впервые увидела в ней соперницу. Вместо того чтобы подумать, как тяжело было Галине хоронить сына, вместо сознания общего несчастья, какое должно было как будто объединить их, она подумала именно об этом, что было нехорошо, она понимала и не могла подавить в себе; и тем с большим напряжением следила за гробом (и за Галиной), будто с ними должно было случиться что-то. «Уронят, уронят»,— заглушая одни мысли другими, думала она, в то время как муж Шуры Николай неловко перехватывал руками, приподнимая гроб к борту машины. Но гроб не уронили; и не произошло ничего, что нарушило бы общую картину похорон. Те, кто ехал провожать, сели в машину по бокам покойника, борт закрыли, и через минуту у подъезда уже почти никого не было. Люди пошли по своим делам, втягиваясь каждый в свой мир печалей и радостей, и лишь для Наташи все увиденное ею продолжало жить и мучительно волновать ее.

Как и после ночи, проведенной у соседки, она не вошла к себе в квартиру; не зашла она и на почту, где ожидала ее телеграмма отца, а вернулась к Любе (которой в эти часы не было дома) и одна в пустой и не казавшейся уже убогой и бедной комнате снова и снова как бы прокручивала в сознании своем то, что одно только теперь могло быть важным для нее. Она вспоминала то следователя, то эти увиденные ею сегодня похороны, и растерянно смотрела вокруг себя; и весь прежде целостный мир, так всегда радовавший ее, был не то чтобы разрушен в ней, но разделен на части, которые она пыталась и не могла соединить вместе. Между тем, каким она знала Арсения, и тем, что он совершил, лежало пространство; пространство это было между Галиной прежней и Галиной этой, какую Наташа увидела ее сейчас (и продолжала еще неприятно испытывать чувство соперничества и ревности к ней); пространство было, главное, между желанием жить счастливо, как вполне могли бы жить все люди (как об этом думала Наташа), и тем, что счастья этого не было у людей; не было в силу каких-то тех причин, о которых Наташа ничего не знала; и она только, как и Арсений, успевший хоть и смутно, но передать ей свою философию жизни, чувствовала, что разрушительная сила эта не зависит ни от политики, ни от законов и социальных перемен, а действует постоянно и выбирает в себя все злое, что, как и добро, составляет естество человека. «Ну почему бы не жить всем в любви и счастье?— думала она, как сотни других думали до нее и будут думать после нее (об этом главном вопросе жизни, который человечество за все время своего существования так и не смогло решить для себя). — Почему непременно нужно делать так, чтобы неприятно было кому-то? Для чего он (Юрий) ночью пришел к нам? Что ему было надо?» — думала она, переключаясь от общих фраз к этому конкретному, что волновало ее. Она задавала себе еще и еще «почему», на которые не было ответа, и не затрагивала лишь самую себя: почему она пришла к Арсению?



Ее поступки (как и всякий человек думает о себе) не могли быть дурными; ее счастье — это ее, и его нельзя осудить; счастье же других — это лишь согласие с ее счастьем, и Наташа, думая так, не только не замечала ничего предосудительного в своих суждениях, но, напротив, была убеждена, что ничего более справедливого не могло быть на свете. Она опять мысленно возвращалась к картине похорон, как эта картина запомнилась ей, и, видя вновь перед собой Галину, как та вся в черном выступала за гробом, испытывала к ней уже не ревность, а какое-то более нехорошее и сильное чувство. «Нет, я не отдам его тебе, — вдруг и решительно сказала Наташа. — Он не виноват», — затем добавила она (фразу, которую потом будет повторять всем). Ей казалось, что вся теперешняя ее решимость идет от любви к Арсению, тогда как на самом деле в ней пробуждалась потребность утвердить себя не любовью, а силой, что в разное время пробуждается в каждом человеке, она чувствовала эту силу в себе, и впервые (и незаметно для нее самой) на лице ее проступали черты женской безотчетной жестокости.

## IX

Останавливается только внимание человека на чем-то или на ком-то, но общая жизнь людей точно так же, как не имеет обратного хода, ни на мгновение и ни перед чем не останавливается. Как ни тяжело было Галине пережить этот день, главное, пережить минуты, когда она, войдя в зал крематория, последний раз подошла к сыну, чтобы проститься с ним, и как ни казалось ей, что вместе с опускавшимся в провал телом сына отрывалось и уходило от нее то, что составляло смысл ее жизни (как ей представлялось теперь), — вместе с отчимом, братом, Николаем и Шурой она вернулась домой и вместе с ними села за стол, не вполне сознавая, для чего надо было после похорон есть и пить, но безвольно подчиняясь тому, что делали все. Оставшейся в доме соседкой был сварен борщ из свежей капусты и были приготовлены отварное мясо с картошкой и подслащенный рис с изюмом. Все это, разлитое и разложенное по тарелкам и блюдам, аппетитно смотрелось, было вкусным и в сочетании с бутылками столичной, рюмками и видом самой соседки в фартуке, разомлевшей у плиты и как бы показывавшей всем теперь свои порозовевшие щеки, создавало впечатление жизни; и в то время как собравшиеся должны были как будто (на поминках) говорить о покойном, все, казалось, только и были заняты тем, чтобы поскорее забыть о нем. Хорошо о Юрии говорить было нечего, а отзываться дурно не было принято, и после первых же выпитых рюмок за упокой его души разговор между гостями и родственниками пошел в самых различных направлениях. Мужчины, сосредоточившись вокруг Дементия, начали расспрашивать его о Севере и возможностях заработать там. Шура же со своим недержанием слов и привычкой все центрировать возле себя (и позабывшая уже, что ей велено было присматривать за отчимом) принялась рассказывать той самой соседке, которая сварила борщ и приготовила мясо, как было все у нее (то есть в квартире Шуры) в Мценске, как зелено и нешумно было на улицах ее города и как это вообще люди не понимают преимущества маленьких городов перед большими.

— Я не хочу сказать о Москве, конечно, Москва есть Москва, но я так привыкла к нашему Мценску, — говорила она, не давая ничего вставить соседке (и подражая во всем матери, Ксении, которая, как думала об этом Шура, умела занять гостей).

И лишь Галина с отчимом не принимали никакого участия в этом общем и оживленном будто бы разговоре.

Галина сидела в голове стола, и когда обращались к ней, только поднимала глаза и не понимала, что хотели от нее. Отчим же, привыкший (дома) к послеобеденным снам, перешел в кресло и, казалось, дремал в нем. Старческое лицо его было как будто спокойным, но

Дементий, время от времени бросавший на него взгляды, видел, что в душе отца происходила какая-то тяжелая и принудительная работа. Он видел, что отца мучительно занимало что-то, что (в представлении Дементия) было не столько связано с похоронами и горем, как вытекало из этих похорон и горя и наталкивало на определенные размышления; это были те общие мысли о существовании жизни, которые, сколько Дементий знал отца, всегда в трудные минуты занимали его. «Неблагополучие мое есть неблагополучие общества, потому что неблагополучий отдельных людей», — так нравоучительно (и возвышенно) любил иногда сказать себе старый Сухогрудов (и о чем отдаленно и перефразированно вспомнилось теперь Дементию). «А не лучше ли подумать бы о Галине? Нельзя же ее одну оставить в Москве, — сейчас же возразил он отцу, задав вместе с тем себе этот вопрос, на который так ли, иначе ли, но, он чувствовал, придется отвечать ему. — Да и ей что бы не жить? С Лукиным, с чертом-дьяволом, раз выбрала, а то... ни себе счастья, ни другим... радости», — сказал он уже о сестре, придерживаясь той своей упрощенной схемы, по которой, если бы Галина вовремя прислушалась к нему или отцу, ни у кого не было бы сейчас этих хлопот и волнений. Он находил в несчастье сестры только то, что этого несчастья могло бы не быть; и точно так же думал о Галине отчим, мнение которого (несмотря на жалость и любовь к ней) еще более соединено было теперь в слове «дура» и в том прибавлении к нему, что если своего ума нет, то хоть пользовалась бы отцовским. «Обвиняй, не обвиняй, а дело совершено, — думал он, вскидывая жесткий прищуренный взгляд на нее. — Осудят одного, выбросят с кресла другого, ну а ты... с чем? Пустота». И в то время как отворачивал от нее глаза, по тем провалам памяти, которые все чаще теперь, с годами, обнаруживались у старого Сухогрудова, забывал о ней (и о поминках) и переносился как раз в ту область размышлений о существовании жизни, о которой, глядя на него, и догадывался Дементий.

Поводом же для этих размышлений было событие, на которое никто из родственников не обратил внимания. Накануне похорон, пока еще все ждали приезда Дементия и не забирали гроб с телом Юрия из морга, старик Сухогрудов решил навестить одного из своих прежних знакомых — Петра Горюнова, бывшего работника обкома, который занимал теперь здесь, в Москве, немалую должность. Никакой определенной цели у Сухогрудова к нему не было, а просто по памяти, что Горюнов в свое время поддержал одно из начинаний Мценского райкома, хотелось, во-первых, повидаться с ним и, во-вторых, подышать той атмосферой перемен (по отношению к деревне), которая так чувствовалась всеми в Мценске и Полянровке и о которой хотелось узнать, как все было здесь, наверху, то есть насколько серьезно и в государственных масштабах планировалось дело. Сухогрудову хотелось не из своих соображений, не из соображений Лукина, а из первых, как говорится, рук получить сведения о том, какие возможности открывались теперь перед сельскими районами; но, просидев около часа у Горюнова и выйдя из его кабинета, он чувствовал себя так, словно не только не узнал ничего нового, но был еще более запутан в тех своих представлениях, что важно и нужно было сейчас деревне. К внешней стороне, как Горюнов принял его, у Сухогрудова не было претензий; соблюдено было как будто все вплоть до чая и сушек (тех особенных, какие всегда подаются в высоких кабинетах); но как только разговор заходил о том важном, что хотел узнать Сухогрудов, он видел, что Горюнов был как будто стеснен чем-то. Был как будто стеснен теми обстоятельствами, которые (как о том хорошо знал старый Сухогрудов) происходят либо оттого, что под тобой качается стул, либо оттого, что вдруг, в то время как все будто согласовано со всеми и должно быть утверждено, наверху останавливается кем-то и происходит заминка, дело повисает в воздухе, и никто и ничего определен-

ного уже не может сказать о нем. Это-то второе и настораживало Сухогрудова и вызывало те странные сомнения, которые он как раз и старался сейчас (на поминках) объяснить себе.

Но он не находил объяснения и переключался на другое, тоже связанное с визитом к Горюнову, что еще более занимало его. Он заметил, что Горюнов был как-то неестественно возбужден и что возбуждение это было не от личного успеха, а от какой-то той общей вокруг деятельности, от которой ожидалось как будто что-то грандиозное. Грандиозным этим были сводки о намолоте и заготовке хлебов, поступавшие с полей, по которым было видно, что страна в этом году вырастила и убрала рекордный урожай зерновых, что только Россия дала уже более двух с половиной миллиардов пудов хлеба (что было впервые) и более миллиарда пудов давал Казахстан; но все это еще не было обнародовано, а только подсчитывалось и готовилось к публикации, и только ожидалось еще (по этому поводу) поощрения, награждения и торжества в Москве; грандиозным было именно это, о чем Сухогрудов еще не знал, и потому он подумал о том времени, когда он сам начинал партийную карьеру (и когда многое не по неопытности, а по нужде возлагалось на ничем не оплачивавшийся людской энтузиазм). «Так что же изменилось, если мы опять начинаем бить в ладоши не в конце пути, а в начале его?» — задал он себе вопрос, который прозвучал для него так: «Для чего надо было отстранять меня, если все идет, как шло прежде?» И он впервые и живо представил себе все прошлое в виде повозки, которая налегке и весело тронулась в путь и затем, как это нередко случается, начала по ступицы увязать в грязи на размякшей дороге; то справа, то слева к повозке подводили пристяжных, то приходилось всем слезать и вместе с лошадьми вытягивать ее, и старый Сухогрудов почти физически чувствовал напряжение прожитых лет; он знал ту дистанцию, которая всегда есть между замыслом и свершением, между предполагаемыми возможностями и возможностями действительными, и ему казалось, что нынешняя возбужденность, с какою приступают теперь к очередному преобразованию деревни (та самая возбужденность, какую он так ясно заметил в Горюнове), точно так же упрется в ряд не предвиденных пока еще проблем, которые придется решать, а иначе говоря — искать пристяжных или просить народ опять навалиться всем и вытянуть воз. Сухогрудову казалось, что прошлое должно было повториться, и тем болезненнее было для него, что он отстранен и не может никому передать свой опыт.

То, чем он жил в Поляновке, что все эти годы привязывало его к земле, к людям и заставляло приглядываться ко всем малейшим переменам жизни и реагировать на них, он как бы привез теперь с собой в Москву, и похороны внука, что должно было как будто волновать его, было отгеснено в сознании его этими общими соображениями жизни. Похороны были делом преходящим, личным, то есть затрагивали только интересы одной (его) семьи, тогда как то, о чем Сухогрудов думал, выйдя от Горюнова, касалось всей жизни, то есть делом общенародным, от которого зависело благополучие всех людей, и потому представлялось главным.

«Вот так, сидишь теперь вся в черном, а кто тебе виноват? Кто виноват?» — говорил Сухогрудов в те минуты, когда из провала памяти, в который погружался, он вдруг выплывал на поверхность и видел стол с закусками и рюмками и Галину за ним, видел сына в окружении мужчин, все еще продолжавших оживленно говорить о чем-то, и видел вторую свою (по Ксении) падчерицу, Шуру, которая по обыкновению своему, начав что-то, не могла остановиться. Он морщился, видя это, и лишь с большей назидательностью мысленно бросал Галине: «По асфальту хотела, ног не замарать?! Нет, вы еще узнаете, что такое тянуть воз, вы еще позовете меня», — затем снова продолжал он, переключившись на то, что было важнее и мучительнее для него,

и отвечая уже не только Горюнову, но и Лукину и всем, кто, как ему казалось, направлял теперь движение жизни и не хотел помнить о нем.

## X

— Ну так что, отец, надо что-то решить с Галей, — сказал Дементий, усаживаясь на стуле напротив отца, в то время как поминки были уже закончены, все разошлись, Галина одетая лежала в бывшей комнате сына, а Шура с той самой приглашенной соседкой, которая сварила борщ и приготовила мясо, убрали со стола и возились на кухне. Николай, захмелевший более чем нужно, был с ними и мешал им. — Так что будем делать, отец? — повторил Дементий, потянувшись вперед занемевшими как будто без движения руками и упершись бородой в грудь.

Он казался себе усталым, но не оттого, что весь день был на ногах и все еще переживал за сестру; усталость его была от другого — он занимался не тем делом, каким надо было заниматься ему, и, понимая, что неприлично теперь выказывать это, старался подменить свое равнодушие к сестре этим видимым интересом, какой сейчас (при отце) проявлял к ней. Он ждал как будто, что скажет отец, и смотрел на него, тогда как на самом деле интересовался не ответом, а приглядывался к тому жесткому (на лице отца) выражению, которое говорило, что в душе отца все еще продолжали ворочаться какие-то свои глобальные мысли; Дементий понял отца точно так же, как понимал себя, и отвернулся от него словно бы на голос Шуры, который послышался из кухни.

— Разобьешь, я тебе говорю, разобьешь! — звучал этот самый голос, непривычный для Дементия и точно так же непривычный и неприятный для старого Сухогрудова и заставивший его тоже покоситься на дверь.

«А что ты предлагаешь?» — затем было в стариковских глазах Сухогрудова, когда он перевел взгляд на сына.

— Не знаю, но что-то же надо делать, — сейчас же отозвался Дементий (из тех своих соображений, что вопрос этот лучше бы решить сейчас, чтобы не думать о нем и освободить себя для других важных дел).

— Что, отцовский совет понадобился?

— Твой совет, ты знаешь, всегда был дорог... нам, — сказал Дементий, чтобы успокоить отца. — Но ведь мы сейчас говорим о Галине, о Гале, пойми, — добавил он, намекая отцу на его прежнее (и всегдашнее) расположение к ней. — В конце концов, я могу увезти ее на время к себе в Тюмень. — И минуту назад не думавший сказать это, Дементий вдруг увидел, что это было лучшее, что можно было сделать для сестры. — Как ты посмотришь на это? — однако спросил он у отца.

— Мало своих хомутов? Хочешь еще? Учить хочешь?

— Ее не учить, ее спасать надо.

— Мы вечно кого-то или что-то спасаем, как же, непременно, иначе не можем, — спокойно как будто и холодно сказал старый Сухогрудов, непонятно для Дементия связывая это, о чем шел разговор, с теми своими общими размышлениями о жизни, какие только что занимали его. — Но если ты решил взять ее, — затем произнес он, почувствовав, что был несправедлив к сыну, — что ж, могу только одобрить это твое решение.

— А что делать? — Дементий развел руками. — Москва хороша для тех, кто приспособлен к ней. — И он прищуренно посмотрел в ту сторону, где лежала Галина. И хотя у него было многое, что сказать о Москве и приспособленности жизни в ней, но по тому инстинктивному чувству, что нехорошо было перед отцом осуждать столицу (нехорошо, главное, потому, что неискренность этого осуждения

отец сейчас же заметил бы), перевел разговор на другое — на Арсения, следствие по делу которого не было завершено и, по мнению Дементия, можно было еще определенным образом и решительно вмешаться в него.

— Не думаю,— все с тем же спокойствием возразил старый Сухогрудов.— Будет суд. Суд и разберет все.

— Но Галя — это же беспомощное существо,— в свою очередь возразил Дементий.

— Беспомощное?! — И Сухогрудов-отец усмехнулся одними своими тонкими и бесцветными уже губами.

Он не был согласен с сыном. В его деятельно-возбужденном сознании после того, как он узнал о связи Галины с Лукиным (той преступной, по выражению его, связи, которая началась в Поляновке) и узнал о подробностях смерти Юрия (в том пересказе, как все было изложено ему следователем, с которым в первый же день по приезде в Москву он встретился и поговорил), сложилась та простая, ясная ему и по-своему целостная карта событий, по которой он видел, что нельзя было оправдать ни Галину, ни Лукина, ни Арсения. Но в то время как Лукин и Арсений чаще представлялись старому Сухогрудову лишь глупыми карасями, которые, разглядев наживку и кинувшись заглотнуть ее, оказались на берегу, к Галине он предъявлял совсем иные требования и был более чем недоволен ею. Те опасения насчет ее образа жизни, какие часто занимали его в Поляновке, то есть все то поверхностное, из чего он, позволявший себе лишь до определенной ступеньки проникать в дела ближних, делал свои обобщения,— опасения те, он видел, были как будто подтверждены, и в оскорбленной отцовской душе его происходило теперь то действие, словно пружина любви, которую он с такими усилиями всю жизнь сжимал в себе, расправлялась и поднимала на поверхность иное и холодное чувство в нем к падчерице. Но он не хотел, чтобы сын знал это.

— Беспомощное? — лишь повторил он, однако усмешкой и тоном выдавая себя сыну.

— Ты несправедлив к ней, отец,— заметил Дементий.

— Так ли, не так ли, не в этом дело. Распорядись-ка лучше, чтобы дали прилечь мне,— сказал старый Сухогрудов, живо и с привычкой, как он умел делать это, как бы смахнув с тонких губ своих то, что позволяло читать его мысли.— Я устал.— И он закрыл глаза, чтобы не говорить с сыном.

Ему хотелось уединиться, но возможности такой, как в Поляновке, не было здесь, и он тяготился этим. Ему казалось, что он непозволительно долго для себя топчется на месте, отдавшись домашним делам, тогда как рядом был тракт, по которому двигалась жизнь и по которому он сам должен был шагать впереди жизни; но сделать это (вернуться к своему привычному ритму) он мог, только оставшись наедине, и он тяжело напускал над глазами брови, ожидая, когда эта возможность предоставится ему. «Надо будет завтра зайти к Горюнову,— вместе с тем, перебивая себя, думал он.— Может, в се это только впечатление?» И в то время как Дементий, Шура и Николай, суется и перешептываясь, готовили место, где прилечь ему, он погружался в ту сферу своих государственных размышлений, где он был для себя и Наполеон и солдат и планировал и осуществлял то, что представлялось важным для общего блага людей. Он как бы старался заполнить тот пробел в жизни, какой, он чувствовал, образовался в результате отстранения от всей прошлой деятельности его; и он испытывал удовлетворение от этой своей умственной работы, словно и в самом деле исправлял то, что не так и против его воли было в свое время совершено им.

Его уложили на раздвинутом диване, и Дементий, молча постояв перед ним и отойдя от него, недовольно покачал головой. Вид отца

не понравился ему. Не понравились не морщины, которые теперь, в сумраке, при не включенном еще свете, особенно выделялись на его лице, а не понравился землистый цвет этих морщин, ясно как будто говоривших о болезненном затухании жизни. «Как же он постарел с тех пор»,— подумал Дементий, как и в первую минуту, когда, прилетев из Тюмени, увидел его.

— Так и не смог пережить своей отставки,— затем, уже сидя с Николаем и Шурой на кухне, сказал он о том, что еще сильнее, чем старость, поразило его в отце.— Дома-то он как? — спросил он, обращаясь более к Шуре, чем к Николаю.— Чем он занимается?

— Да он, по-моему, никого не любит,— сейчас же отозвалась Шура и принялась со старанием пересказывать Дементию те свои суждения об отчине, которые она с такой же бойкостью и не раз высказывала матери.— Че ему переживать? О чем думать, когда у него все есть? Дом в городе, дом в деревне и в доме все, господи, че думать? А он думает, думает...

— Старость,— перебил ее Дементий.— Старость,— повторил он, понимая, что нетактично было прерывать разговор, но не желая говорить с ней об отце.— Пойду-ка пройдусь перед сном.— И, встав и отводя глаза от Шуры и Николая, направился к выходу.

## XI

Дементий по-своему понимал отца и по-своему не принимал то, что видел в нем; и по тому естественному чувству, как всякий человек старается отгородиться от дурного, проводил черту между привычками отца и своими, находя одни, отцовские, предосудительными и отжившими, а другие, свои, наполненными содержанием и нужными. «Он все еще не может понять, что он устарел со своими взглядами»,— думал Дементий, выражая не столько свое личное отношение к отцу, сколько то общее мнение, по которому осуждалось еще недавнее прошлое (то есть излишняя и в разных масштабах концентрация власти) и приветствовалось новое (то есть та демократизация, которую торопились теперь восстановить во всех слоях общества и к которой надо было еще привыкать, как пользоваться ею). Но сколько Дементий ни отгораживал себя от отца и как ни убеждал, что то, что есть в отце, есть наслоение времени и что к нему не может быть возврата, чувствовал все же, что что-то (именно в нехорошем) роднило его с отцом, что между теми заботами об общем благе, которые в отце были доведены до крайности и мучали его, и подобными же заботами об общем благе, к которым у Дементия был уже свой вкус, имелось что-то единое, что нельзя было обойти или не замечать. Он видел в отце как бы то, к чему должен был прийти в старости, и это-то смущало Дементия и вызывало в нем резкое желание отделить себя от отца.

«Это ужасно,— думал он,— не видеть, что ты уже не нужен обществу (в то время как ужасным должно было быть другое — именно видеть, что ты уже не нужен обществу). Это бессмысленно,— продолжал про себя Дементий,— столько лет ждать, что тебя снова позовут, и так мучать себя (в то время как для отца это было не мучением, а единственной возможностью деятельности). Неужели и я в старости буду таким? Нет, раз я понимаю, стало быть, не буду. Отработаю свое и уступлю, уйду, это естественно, так было и будет»,— рассуждал он, в то время как он даже не подозревал, что точно так же в молодости судил обо всем отец, но что затем, с годами, все это забылось, прошло и остались только чувства немощности и ревности к тому, что идет на смену; на смену же шел он, Дементий, со своими обновленными взглядами и своим как будто не похожим на отцовское удовлетворением работой и жизнью. «Нет, это совсем другое»,— думал он о себе, в то время как приятно было

ему сознавать, что судьба огромной стройки зависела от него, что сотни людей и механизмов, уже расставленных по всей трассе будущего газопровода, подчинены ему. Он как бы за спиной чувствовал и этот размах работ, и все те зримые и незримые каналы и нити, по которым осуществлял он руководство; и как он теперь ни осуждал отца (и как ни тяжело было переживать за сестру), чувствовал, что и похороны, и поминки, и даже этот разговор с отцом, так возбудивший Дементия,— все было второстепенным в сравнении с тем главным, что жизнью, как полагал он, было возложено на него. «Нет, нет, это совсем другое»,— повторял он, утверждая, по существу, в себе то, что решительно отвергал в отце.

Он ходил в этот вечер долго (с этими непривычными для себя размышлениями), то направляясь вниз по улице Горького к Манежной площади, то поворачивая обратно к площади Маяковского, и когда вернулся домой, было уже около двенадцати и все спали. Не спал только отец. Он сидел на диване (на той самой постели, которая была приготовлена ему), свесив к полу босые ноги, свет от ночника падал на его спину, голову, скользя по редким уже седым волосам, и все старческое, прежде скрытое под костюмом, было так обнажено в нем, что Дементий на минуту остановился, увидев его.

— Ты не спишь? — удивленно спросил он. — Ты почему не спишь? — И, чувствуя себя неловко перед истощенной фигурой отца за нехорошие мысли о нем, стараясь подавить эту неловкость и не находя, как подавить ее, подошел к отцу и присел рядом. — Тебе нездоровится? Ты болен?

— Нет, я здоров. Больны вы. Да, вы,— подтвердил старый Сухогрудов с той резкостью, словно говорил не сыну, а кому-то в райкоме, кто был неугоден и неприятен ему. — Все обмельчало. Все, все! — И он поднял глаза, чтобы посмотреть на выражение лица сына, когда тот будет отвечать ему.

— А-а, ты вон о чем,— протянул Дементий, сейчас же почувствовав в отце то, что только что осуждал в нем. — Изводишь себя, а к чему? Не по-твоему живут люди? А почему они должны жить по-твоему? — просто и ясно спросил он, поняв только после того, как произнесены были эти слова, что их не следовало говорить отцу. — Почему? — однако повторил он с той же наступательностью, как начал разговор.

— Дело не в моей жизни,— возразил старый Сухогрудов. — Раз не дано, так не дано. — И чтобы показать, что не хочет говорить с сыном на эту тему, потянулся к подушке взбить ее.

— Я помогу,— тут же вызвался Дементий, поднимаясь и опережая отца.

— Сам в состоянии. — И старый Сухогрудов решительно отвел руку сына.

Дементию надо было уходить, но он как будто чувствовал, что что-то должно было еще произойти, и продолжал сидеть и смотреть на отца, которому тоже надо было ложиться, и он собрался уже сделать это, но, управившись с подушкой, точно так же, как и сын, продолжал выжидать чего-то. Было видно, что он хотел еще что-то сказать сыну, но или не решался, или не находил слов, чтобы выразить мысль, и в глазах его было беспокойство, которое как раз и передавалось Дементию и удерживало его. Дементий не знал, что собирался сказать ему отец, но чувствовал, что важное что-то, и тем с большим напряжением смотрел на отца, чем дольше молчал тот и чем заметнее было на его лице желание сказать что-то. «Как же он все-таки стар»,— вместе с тем думал он об отце.

— Ждешь? — Отец повернулся к нему.

— Да.

— Я доволен тобой, помни это. О переменах твоих,— он предупре-



дительно поднял ладонь, прося не перебивать его,— знаю. И от Галины и по письму твоему, и одобряю. Но сам-то ты как?

— В каком смысле?

— Тянешь? Под силу?

— Твоя кровь,— сказал Дементий, чтобы польстить отцу.

— Кровь? Этого мало. Этого очень мало по нынешним временам.

И университеты и дипломы— учатся все. Но существует еще такое понятие — связи, которые я должен был бы передать тебе, а у меня нет этих связей.

— Но, отец...

— Было время, когда корабль только отправлялся в путь и все каюты были пусты. Но ты вошел на этот корабль жизни, когда он на полном ходу и когда все если и не отлажено еще в нем, то, по крайней мере, забито. Нужна голова, нужны руки, но и нужны связи, чтобы достичь чего-то,— снова подтвердил Сухогрудов-отец (с той сдержанностью, будто он делал одолжение, говоря это).— Я тоже вступал, когда все было на полном ходу, и знаю что к чему. Ты прости, что я не смог вовремя помочь тебе.

— Ты никогда прежде не говорил об этом.

— Я многое о чем не говорил. И, может быть, никогда уже не скажу. Но тобой я доволен, знай это, и все, спать.— Он по-стариковски, с усилием поднял ноги и лег на спину, уставившись в какую-то точку, которую еще хотелось рассмотреть ему.— Спать, спать,— чуть выждав, снова произнес он.

Дементию было что возразить отцу, но он только вглядывался сверху в его худое, изрезанное морщинами лицо, и та мысль, что отец уже не жилец на свете, прежде как-то не приходившая Дементию в голову, неожиданно ясно предстала перед ним, что он даже откатнулся как от чего-то нехорошего, что надвигалось на него; и вместе с этим страшным чувством, что может потерять отца, впервые подумал о нем так, будто вместе с отцом должна была уйти целая эпоха жизни, эпоха, которую теперь во многом и без разбора осуждали, но которая (судя по переживаниям отца) имела свою притягательную силу и была по-своему нужна и справедлива. «Он был убежден, что делает добро, как убеждены мы. Но у нас свое понятие о добре и справедливости и своя мера всему, как будет своя и у тех, кто придет за нами. Что они примут и что отвергнут?» И хотя суждение это само по себе не было новым и неожиданным для Дементия, но теперь, когда он смотрел на отца, на его казавшуюся маленькой голову, проваленную в подушке, суждение это представлялось той высшей объективностью, когда о каждом поколении людей можно сказать, что оно по-своему право перед историей. «Да, он делал то, что считал важным и нужным»,— думал Дементий в согласии с этой самой объективностью, по которой можно было если не оправдать, то хотя бы понять отца; и он чувствовал, что со смертью отца из жизни выпадет то, что обеднит ее. «Но что же я раньше времени хороню его! — наконец спохватился Дементий.— Это... от крематория, от поминок». И, чтобы не выдать волнения, ничего не сказав отцу, пошел от него.

## ХП

Та бесконечно суетная московская жизнь, какой обычно гордятся столичные люди, несмотря на сходство и различие миллионов отдельных судеб и на обилие событий, ежедневно, ежечасно и ежеминутно происходящих на предприятиях и в семьях, несмотря на несчастья одних и на то, что в противоположность несчастным семьям в эти же дни, часы и минуты есть семьи счастливые,— в эту осень 1966 года жизнь в Москве протекала точно так же в суете и заботах, как и во все предыдущие времена, сообразуясь с общими целями людей и государства.

В первых числах сентября в Москве проводилось заседание Советского Комитета защиты мира. Со стороны Троицких ворот Кремля к Дому Дружбы советских людей с народами зарубежных стран, стоявшему на проспекте Калинина, то и дело подъезжали машины и подвозили членов комитета и приглашенных. У каждого из подъезжавших были свои интересы в жизни — и служебные и личные, — занимавшие их; но на лицах всех, как только люди поднимались по мраморной, застланной ковровою дорожкой лестнице в фойе, появлялось одно и то же выражение сопричастности с теми извечными вопросами войны и мира, которые всякому отдельному человеку всегда кажутся простыми — из-за чего воевать? из-за чего убивать друг друга? — но, несмотря на эту очевидную простоту, обычно сложно и кроваво решаются человечесеством. И хотя теперь не гремели как будто выстрелы непосредственно в Европе, но общая обстановка в мире (по наблюдениям многих) была таковой, что происходило будто новое спознание человечества к войне; и это-то спознание и настораживало общественность.

По угрожающим речам Моше Даяна, раздававшимся в Тель-Авиве и проникавшим в печать, всем было очевидно, что на Ближнем Востоке назревал новый конфликт между Израилем и арабами. Непокойно было в Африке и еще более непокойно в Юго-Восточной Азии, где американцы, не успев выйти из одной грязной войны, как ее оценивали в самих же Соединенных Штатах (так называемой корейской), втягивались в другую и столь же грязную во Вьетнаме, где рвались теперь бомбы, лилась кровь, то есть совершалось то противоестественное, как об этом еще в прошлом веке писал Лев Толстой, человеческому разуму дело, которое, сколько ни объясняют его и как ни пытаются остановить люди, с упорной настойчивостью продолжает совершаться. Вместо того чтобы соединить усилия всех на мирном труде и развивать науку и промышленность в тех направлениях, которые облегчили бы участь народам и принесли бы им удовлетворение и счастье, усилия эти энергичнее, чем во все прошлые века, направляются на создание новых видов оружия массового истребления (хотя и того, которое уже накоплено в арсеналах, вполне достаточно, чтобы дважды все живое уничтожить на земле); человечество, в сущности, подпиливает сук, на котором сидит, и остановить это безумие, как подсказывает разум, может только общая воля людей. Те, кто подъезжал теперь к Дому Дружбы, понимали это и участвием своим в торжествах как раз и намеревались выразить эту общую волю.

Только что введенный в состав комитета (по тому правилу, о котором в народе говорят: деньги к деньгам, слава к славе), Кирилл Старцев был впервые на подобном заседании и, как новичок, боящийся опоздать, но еще больше боящийся прийти раньше, чем принято, пришел в то время, когда до начала оставалось около получаса и фойе лишь наполнялось народом. Вокруг Старцева, в то время как он осматривался возле себя, раздавались приветственные голоса, слышались хлопки рук, объятия, и по всему заполненному торжественно одетыми людьми пространству от колонн и окон с одной стороны до колонн и окон с другой шел всегдашний кулуарный разговор, из которого, если внимательней прислушаться к нему, всегда можно сделать более точный вывод о настроении общества, чем по речам, которые затем этими же людьми будут произноситься с трибуны.

— Вы хотите... относительно европейской жизни и нашей? — сейчас же услышал Старцев, едва подошел к первой (на пути его) группе людей, окруживших известного дипломата. — Главная ошибка состоит в том, что мы сравниваем жизнь людей определенного круга, то есть людей обеспеченных, с которыми встречаемся за границей, с жизнью нашего простого народа, и потому сравнение такое всегда будет не в нашу пользу. — Это был Кудасов, говоривший, как всегда, с той уверенностью, что никто не может знать больше, чем знает он. После недавнего визита генерала Шарля де Голля в Москву, памятного для

Кудасова тем, что он был в группе сопровождавших (от советской стороны) французского президента, он выезжал снова в Париж, и теперь, вернувшись и приступив к чтению лекций в Институте международных отношений, был в том превосходном настроении (в том состоянии отрешенности ума, как нож, только что заточенный для разделки мяса), как он обычно чувствовал себя, возвращаясь из-за рубежа.

В светлом, не по московскому шаблону костюме, с гладкою прической, веснушчатым лицом и крупными на круглой голове ушами, особенно заметными от прилизанности волос, Кудасов выглядел так, что невольно привлекал внимание. К нему подходили и те, кто знал его, и те, кто не знал, чтобы послушать, о чем рассказывает дипломат, и присмотреться к той его особенной — Christian Dior, — как будто усвоенной в Париже манере держаться и произносить слова, ударяя на каждом из них.

— Да, именно, сравниваем несравнимое и не даем себе труда подумать, — говорил он, поворачиваясь своим открытым лицом то к одному, то к другому и не скрывая того удовлетворения, что ему приятно было быть здесь. Ему нравился этот бывший морозовский особняк тем, что все в нем сохранялось под старину — и гардины, и люстры, и мебель — и было, казалось, пропитано какою-то будто основательностью жизни, которую Кудасов видел в неперемнной связи времен, событий и поколений. Привыкший к определенного рода встречам и причислявший себя не к тем, кто принужден идти в середине колонны, а к тем, кому выпала честь возглавлять ее, он особенно ценил это чувство основательности и всегда с охотой приходил сюда, где собирались самые различные форумы в защиту мира, то есть делалось то важное государственное дело, которое, по мнению Кудасова, нельзя было уложить только в понятие «дипломатическое»; слова, произносившиеся здесь, были выражением чувств двухсоттридцатимиллионного советского народа, и с этим должны были считаться правительства и народы других стран.

Но для Кирилла Старцева не совсем понятно было то, о чем говорил дипломат, и он, чуть постояв и послушав, перешел к другой группе людей, где обсуждались последние события во Вьетнаме.

— Конечно, какая же это война, это истребление, — говорил тот, что был в центре и подтверждал, как видно, только что сказанное до него. — По мирным объектам, по дамбам!

Кто-то заметил:

— Малой кровью.

— Для себя. А чужую — рекой.

— А что вы хотите? Вся их история и политика в этом: для себя за счет других.

В следующей группе людей, к которой подошел Старцев, он услышал:

— То, что они делают у себя, это в конце концов их дело. Если народ может терпеть эту их пресловутую «культурную революцию»...

— Которая, если хотите, теперь узаконена, — вставил кто-то, ссылаясь на только что опубликованное сообщение, в котором говорилось, что на открывшемся 1 сентября 1966 года в Пекине Пленуме ЦК КПК, на котором председательствовал Мао Цзэдун, было принято постановление о так называемой великой пролетарской культурной революции, суть которой, как показало время, состояла в том, чтобы руками несмышленной молодежи, вооруженной цитатниками и дубинками, разгромить те партийные силы в стране, которые выступали за социалистическое развитие и не были согласны с великодержавным курсом Мао. Методы же, которыми проводилась «культурная революция», были страшными. Крупнейшие государственные деятели, ученые, писатели подвергались самым изощренным публичным унижениям, их вешали, отрубали им головы или направляли на трудовое перевоспита-

ние, что было равнозначно каторге. Улицы всех крупнейших городов Китая вновь и вновь оклеивались дацзыбао (призывными листовками), в которых хунвейбины (та самая бесчинствующая молодежь) требовали новых разоблачений и жертв. Эти недоучившиеся студенты и школьники, которым взамен учебников выдали цитатники Мао, разрешавшие им все, тысячной толпой, как стадо, пробегали по своим жертвам, и на мостовой после их ног оставались лишь распластанные в крови трупы, вокруг которых затем разводились костры и сжигались книги. Об этом рассказывали очевидцы, приезжавшие из Китая; об этом писали газеты, сравнивая то, что происходило там, с памятными для человечества годами, когда в Германии к власти приходил фашизм; об этом читал, слышал и знал Кирилл Старцев и потому с особенным интересом вслушивался теперь в то, что говорилось возле него.

— Они компрометируют все наше коммунистическое движение.

— Нет, коммунистическое движение скомпрометировать нельзя,— возразил человек, которого называли Николаем Николаевичем и о котором Кирилл Старцев точно так же ничего не знал и принял его за дипломата.— Можно изменить этому движению, отколоться от него, но... скомпрометировать нельзя. Я вижу другую опасность во всем этом деле. Распространение маоизма как очередного безумия. Молодежь, она везде молодежь, ее можно направить на любое дело, и в этом отношении маоизм, проникающий в Европу, опасен и страшен. Он может породить массовый, безотчетный, юношеский,— уточнил он,— терроризм.

— Да, из детей можно вырастить и созидателей и убийц.

— Вот именно! — воскликнул Кошелев, тогда как Кириллу Старцеву еще прежде него хотелось сказать это.

### ХП

Но в это время через фойе шли члены президиума, и всем надо было потесниться, чтобы пропустить их. Старцев был оттеснен к колонне, и оттуда, приподнимаясь (из-за плеч и голов) на носках и так, чтобы не привлечь к себе внимание, смотрел на тех, кто проходил теперь мимо и был предметом общего и невольного любопытства. Чуть опережая других, с веселым, открытым и добрым русским лицом шагал председатель Советского Комитета защиты мира поэт Николай Тихонов. Ему было под семьдесят, но по общему виду его, как он держался, и по живости движений, как шел, взмахивая руками, нельзя было ему дать этих лет, и Старцев, никогда прежде не видевший его, а только читавший книги,— Старцев не сразу, несмотря на реплики, раздававшиеся вокруг: «Тихонов-то! Молодец, как держится!» — поверил, что это был тот самый известный поэт, перенесший блокаду Ленинграда. «Что же в нем поэтического? — подумал он, полагая по тому распространенному, особенно среди этого слоя интеллигенции, к которому принадлежал Старцев, обывательскому мнению, что поэт непременно должен чем-то внешне отличаться от обыкновенных людей, что сейчас же сказала бы всем, что он поэт, в то время как Тихонов, напротив, всем видом своим как бы говорил, что он не отделяет себя от других.— А эти, что с ним, кто они?» И Старцев перевел взгляд на секретаря комитета, шедшего с папкой в руке, и на двух других, шагавших тут же, один из которых был академик Федоров, известный тем, что участвовал в знаменитом папанинском дрейфе, а второй — политический обозреватель «Правды» Жуков. Они о чем-то говорили между собой, что занимало их, и Старцев внимательно и со спины проводил их взглядом.

Едва прошли эти, как по фойе вновь, словно холодок, прокатилось волнение, и Старцев, только что освободившийся от тесноты, в которой был, увидел шедших как будто прямо на него военных. Это были прославленные советские полководцы, герои войны, и заметнее всех среди

них возвышалась статная еще фигура маршала Конева. И маршал и генералы вдруг остановились, чтобы пропустить кого-то, и этим, кого они пропускали (и кто сейчас же был узнан всеми), была Николаева-Терешкова. Все обернулись на нее, и ей надо было быть естественной под взглядами этих людей, для которых всякая малейшая фальшь (если она не своя) всегда чувствительна и которые никому еще (кроме самих себя) не прощали этой фальши. Естественность для Николаевой-Терешковой была в том, чтобы не выказать своего стеснения, и она, не вполне еще привыкшая к почестям, какие оказывались ей как первой женщине-космонавту, и не успевшая еще как следует (и, может быть, к лучшему) освоиться с той вновь теперь входившей в моду светской галантностью, когда все немедленно встают и расступаются перед женщиной,— она чуть приостановилась, будто желая подчеркнуть, что видит и признательна маршалу, и, улыбнувшись на его улыбку и невольно и естественно как бы даря эту улыбку всем, кто смотрел на нее, шагнула в освободившееся пространство и, не оборачиваясь уже ни на кого, как показалось Старцеву, прошла в комнату для президиума. Но Кирилл, как он рассказывал потом, успел все же заметить, что лицо у нее было молодым и было красивым, что укороченно-красиво были пострижены у нее волосы и что в наряде, как она была одета, было что-то и от строгого вкуса, и от кокетливости, без которой любая женщина суха и неинтересна; он успел разглядеть в ней ту женственность, которая невольно и сейчас же привлекла его, и он долго затем, когда спины военных уже заслонили ее, продолжал смотреть в ту сторону, где шла она.

Затем появились несколько министров, вокруг которых сейчас же заговорили, и появился патриарх Алексей в белой накидке на голове и с массивным золотым крестом над нею, сопровождаемый служителем, который тоже был в накидке с крестом, только меньшим; подходили еще ученые, художники, артисты, которых легко можно было отличить по одежде, и разные другие деятели, несомненно имевшие, как думал о них Старцев, заслуги перед народом и государством. Он видел их впервые, и то чувство значимости, что был теперь как бы равным среди них, всех этих влиятельных, сильных, облеченных доверием и властью людей,— чувство значимости, что и он теперь приобщен к власти, шевельнувшееся было в нем, когда только поднимался в фойе, целиком захватывало его. В то время как для Кудасова сила собравшихся здесь заключалась в том, что они, имея за собой мнение двухсоттридцатимиллионного советского народа, могли заставить считаться с этим мнением правительства и народы других стран, то есть в то время как Кудасов переносил все в сферу международных отношений, Старцев, только что познавший радость и выгоды служебного продвижения и смотревший на мир еще сквозь призму этого продвижения, видел силу этих же людей в другом, что они более, чем на внешние, влияли на обстоятельства внутренней жизни. «Да, они могут все»,— думал он, переходя по фойе от одной группы людей к другой и прислушиваясь к их разговорам. Любивший всегда встать впереди, где бы ни появлялся, и умевший, как он сам думал о себе, подойти к любому и заговорить с ним, Старцев был теперь сдержан и лишь присматривался, смутно пока еще сознавая, что люди эти в будущем могут пригодиться ему. «Да, да, они могут все»,— повторял он, чувствуя, однако, неловкость оттого, что все как будто видят, что он новичок и не имеет знакомых. Он искал, чем бы занять себя, чтобы сравняться со всеми, и сейчас же и с радостью двинулся навстречу знакомому из Комитета ветеранов войны, как только увидел его.

— Ну так как жизнь? — спросил он, подойдя и пожав своему знакомому руку. — Как дома? Как на службе? — И так как на эту любезность, он понимал, можно было ответить, а можно и не отвечать, то ропливо начал искать, на что бы еще перевести разговор. Для себя просить ему было нечего, но он вспомнил, что обещал Сергею Ивано-

вичу подыскать должность при Комитете ветеранов, и здесь, казалось Старцеву, было самое время поговорить об этом.— Да,— сказал он,— у меня дело к тебе.— И стал рассказывать о Сергее Ивановиче, чтобы похлопотать за него. Это было некстати и неинтересно тому, кому он говорил, но для Старцева очевидным было только, что он был теперь, как все, и занят и делал дело; и он старался лишь продлить это свое состояние занятости.— Разумеется, человек заслуженный,— говорил он,— полковник в отставке.

## XIV

Как и на всяком совещании перед открытием, когда начали входить в зал, одни сразу же устремились к передним рядам, среди которых был и Старцев, чтобы занять места перед трибуной и быть на виду у президиума, другие столпились у последних, где было свое преимущество и при желании, если понадобится кому, можно во время заседания встать и незаметно, не тревожа соседей, выйти из зала. Кудасову не хотелось проходить вперед, он искал место поскромнее, и в то время, как осматривался вокруг себя, увидел бритую голову профессора Лусо, которая глянцеви́то сияла в свете висевшей над рядами хрустальной люстры. «Ага, вот к кому»,— подумал Кудасов и направился к профессору, с которым со времени того застолья, когда отмечалось шестидесятилетие его, ни разу не виделся и чувствовал, что надо было посидеть и поговорить с ним.

— Свободно? — спросил он, привычно поздоровавшись с профессором и кивнув на свободное возле него место.

— Разумеется,— с готовностью отозвался Игорь Константинович, радостно возбуждаясь при виде друга-дипломата, знакомством и связью с которым он дорожил и при случае, как было теперь, не прочь был перед всеми показать ее.— Каков же ты был, каков был,— затем сказал он, как только Кудасов устроился возле него.— В ложе, и... с кем! — Ему казалось, что приятнее всего было сейчас напомнить Кудасову о Большом театре.— Смотрелся, н-ну, скажу тебе, смотрелся,— говорил он, словно в тот вечер точно так же, как это представлялось Игорю Константиновичу теперь, главным действующим лицом был не де Голль, а Кудасов.

— О-о, так давно,— протянул Кудасов.

— Ну-ну! — Что надо было понимать не просто как несогласие, но как признание известной (дипломатической) скромности друга.

Они еще перебросились несколькими фразами, в то время как в президиуме тоже все заполнилось людьми и заседание началось. Оно проводилось, как подумал Кудасов, слушая докладчика, в поддержку той Декларации об укреплении мира и безопасности в Европе, которая была подписана 5 июля 1966 года государствами — участниками Варшавского Договора, то есть представителями Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши, Румынии, Советского Союза и Чехословакии (документ этот публиковался в печати), и в поддержку резолюции, которая была принята на собрании представителей общественности Москвы по поводу американской агрессии во Вьетнаме (собрание проходило в Кремлевском Дворце съездов, и Кудасов был хорошо осведомлен о нем). Как дипломат, он более чем кто-либо другой в зале понимал, насколько важно было теперь всякое мероприятие в защиту мира (важно в помощь тем усилиям, которые прилагались дипломатией); но, может быть, как раз потому, что все, что говорилось с трибуны, было известно ему, внимание его рассеивалось, и, вместо того чтобы слушать, он начинал думать о вещах посторонних, которые в последнее время все чаще занимали его.

Он видел (теперь, когда должен был полностью перейти на преподавательскую работу), что новая жизнь его, московская, оседала, как он с иронией говорил о ней, не была столь же наполненной собы-

тиями, как дипломатическая. Он продолжал еще следить, как складывались политические и иные отношения между странами, оценивать и выдвигать прогнозы, чего и с какой стороны (в смысле нападков на миролюбивую политику Советского Союза) в ближайшее время надо ожидать; но вся эта привычная деятельность ума была, в сущности, уже бессмысленной для него, потому что соображения, какие он высказывал, носили только консультативный характер. Он чувствовал, что под многолетней службой его подводилась черта, как она подводится под деятельностью каждого человека, когда иссякают возможности его активной жизни; и как он ни убеждал себя, что всякая пора жизни по-своему хороша и значительна и что надо только привыкнуть к ней, но привыкнуть к тому, что ты лишен главных своих интересов, он чувствовал, было нельзя, и он не мог не думать об этом. Он как бы стоял перед дверью, которая вела в старость; но до двери было еще расстояние, которое предполагало (именно на преподавательской работе) пройти ему, и он заставлял себя смотреть на это расстояние и не смотреть на дверь. Он заставлял себя готовиться к лекциям, и то, что читал, было как будто интересно и нужно студентам; но сам он не только не испытывал удовлетворения от этого своего нового занятия (как всякий практик, переведенный в теоретики), но понимал лишь, что это было совсем не тем делом, каким надо было заниматься ему. «Я смогу научить их тому, что было, а кто научит тому, что будет?» — говорил он себе, словно доводом этим можно было оправдать что-то. Его не устраивала перспектива такой жизни, и он с любопытством, будто хотел уяснить что-то, поглядывал на Лусо.

— Да, хотел спросить тебя, — наклоняясь к нему и стараясь как можно тише, чтобы не помешать другим слушать докладчика, проговорил Кудасов, задавая, однако, не тот вопрос, о котором думал, а другой, возникший сейчас же по ходу, пока наклонялся. — Как ты относишься к новейшим открытиям?

— К каким? В каком смысле? — спросил Игорь Константинович, для которого вопрос этот был и неожиданным, и странным, и удивил его.

— Используюшь в лекциях?

— Смотря какие открытия. А так — есть программа.

— И за ней, как за китайской стеной?

— А ты как хотел? Чтобы каждый свое? Только разреши.

— Не складывается ли у тебя впечатление, что мы пишем и печатаем массу умных вещей, но все это ложится на полки, а жизнь, как она вращалась, так и вращается.

— Я не понимаю тебя, — сказал Игорь Константинович. — Но так было всегда, — затем добавил он.

— А жизнь постоянно должна получать ускорение. — Но досказать свою мысль Кудасов уже не смог. Сидевший впереди мужчина, внимательно, как видно, слушавший докладчика, повернулся и с таким укором посмотрел на Кудасова и Лусо, что им неловко было уже после этого продолжать разговор. — Хорошо, потом, — только еще проговорил Кудасов и, поняв по доносившимся от трибуны словам, что докладчик еще только на середине своей речи и закончит не скоро, опять погрузился в размышления.

Вопрос об ускорении жизни был его давним и излюбленным вопросом и заключался не в том, чтобы догнать Европу или Америку, как это ставилось в официальных инстанциях; из опыта своих дипломатических общений он знал, что по высказываниям, как мы понимали жизнь и какой хотели бы видеть ее (и какой хотело бы видеть ее все человечество, для себя добавлял он), мы были впереди, и без определенной доли лжи, предвзятости и подтасовки понятий нельзя было противостоять нам; но между высказываниями и воплощением этих высказываний, как это казалось Кудасову, чувствовался разрыв, который с точки зрения жизни был, очевидно, и объясним и естествен, но



с точки зрения Кудасова, как он понимал все, был недопустим и вреден. Ему казалось, что идеи, должны давать ускорение жизни, иногда отрывались и уходили вперед настолько, что их не было видно и они забывались; и все, что должно было двигаться за ними, стояло на месте. Издалека (из Парижа), откуда он наблюдал это, он полагал, что нужно было лишь осознать, что проблема такая есть, чтобы решить ее; но, столкнувшись в институте с тем упорным консерватизмом, который всегда так удивительно живуч бывает в преподавательских кругах, он почувствовал, что все гораздо серьезнее и имеет свои корни. «Но если так обстоит дело в среде ученых, то каково же все должно быть в промышленности, в сельском хозяйстве и во всех других сферах жизни?» — думал он. Он как бы интуитивно нащупывал ту проблему — расхождение между словом и делом, — на которую затем будет обращено внимание всех людей; но он был первым, кто начинал понимать это, и с озабоченностью хозяина, после долгой отлучки вернувшегося домой и нашедшего, что не все в нем соответствовало теперь тому, как должно быть (хотя ничего не передвигалось с тех пор, как он, уезжая, видел все), именно с озабоченностью хозяина обдумывал, как переставить и устроить все; и он поглядывал на Лусо с тем чувством, будто в нем видел теперь своего противника. «Влез в костюм — и кажется уже, что другого и лучшего нет, вот в чем дело, а мы ждем ускорения», — думал он, адресуя эти слова Лусо.

— Послушай, как ты считаешь? — точно так же неожиданно, как только что сделал это Кудасов, спросил Игорь Константинович, наклонившись к нему. — Я думаю, правильно, что рядом с именами Сталина, Рузвельта и Черчилля называют сейчас имя де Голля. Историю подправлять нельзя, и он заслуживает этого.

— Как деятель войны?

— Да, как фигура того периода.

— А по-моему, тот период нельзя связывать только с этими именами.

— Но де Голль!

— А что де Голль?

И разговор их опять был прерван мужчиной, сидевшим впереди них.

## XV

— Какой нетерпимый. Ты не знаешь, кто он? — спросил Кудасов, как только был объявлен перерыв и он вместе с Лусо вышел в фойе.

— Этот, что оглядывался?

— Да.

— Не знаю, — ответил Лусо. И в то время как отвечал, увидел человека (среди выходящих из зала), который был неприятен ему. Человек этот поздоровался и прошел дальше, и Лусо, словно бы оправдываясь перед Кудасовым за нехорошие мысли об этом человеке, пренебрежительно сказал о нем: — Некий Кошелев, адвокат.

— А что он?

— Ты понимаешь. — И Лусо, хотя везде в фойе было много народу, взяв под руку Кудасова, отвел его в сторону от того места, где стояли. — Ты понимаешь, — снова проговорил он, подбирая слова, чтобы объяснить, не роняя престижа института, в чем было дело. И он затем коротко, сбивчиво и невнятно (как он сам представлял себе это) рассказал о деле Арсения.

— Да, история. — Кудасов покачал головой. — А Кошелев что же, оправдать берется?

— Оправдать — не знаю, а коллектив взбудоражил.

— Оправдать убийство нельзя. Оправдать убийцу значит обвинить общество.

— А общество в данном случае?..

— Все мы, — с усмешкою подтвердил Кудасов.

— А спрос? С меня?

— Если все пороки общества ты добровольно возьмешь на себя,— сказал Кудасов, не убирая усмешки с лица и незаметно для себя опять входя в то свое состояние отретированности ума (в каком он пришел сюда), когда более начинал следить не за сутью, а за формой, как лучше подать мысль.— Ты думаешь, он копает под тебя? У тебя есть основание так полагать?— И в то время как Лусо не мог вразумительно ответить на это, Кудасов заметил:— Всякий адвокат, если он не враг себе, не станет выворачивать нижнее белье коллектива на обозрение всем. Коллектив виноват, в нем зло и пороки. И смело, и убедительно, и красиво, да и всегда мы так делали и будем делать. Посмотри-ка, посмотри,— затем сказал он, заставляя профессора повернуться и посмотреть туда, куда смотрели все и где патриарх Алексей разговаривал с Николаевой-Терешковой.— Как считаешь, о чем?— чтобы переменить разговор, спросил он.

Но разговор их и без того не мог быть продолжен, потому что сначала к Кудасову подошли знакомые дипломаты и он представил их профессору Лусо, затем уже к Лусо подошли его знакомые, которых он представил Кудасову, и тот общий интерес, каким были захвачены все, то есть интерес к тем событиям, о которых с новейшими фактами об американской агрессии во Вьетнаме было рассказано в докладе,— интерес этот захватил и Кудасова и Лусо. Ожидалось, что выступит кто-то из бойцов самообороны Вьетнама, гостивших в эти дни (по приглашению комсомола) в Москве, и всеми оживленно комментировалось это предстоящее выступление; ожидалось, что на трибуну поднимется патриарх Алексей, и говорилось (в связи с этим) о слоге, как Алексей всегда произносил свои речи, и по всему фойе стоял тот обычный гул веселого и умного разговора, начиненного остротами (как это всегда бывало в обществах), что нельзя было не включить в него; нельзя было не почувствовать и той театральной торжественности, которая исходила от колонн и хрустальной люстры, и только не было традиционного движения по кругу, как это происходит в театрах между актами. Большинство оставалось там, где застал их разговор, а прохаживались лишь те — от группы к группе,— кому хотелось услышать что-нибудь такое, что всегда интересно бывает услышать от людей, занимающих положение. Для Кудасова же интерес был только в том, чтобы вести разговор, и так как создать вокруг себя группу слушающих на этот раз не удалось ему, он взял Лусо под руку и принялся ходить с ним вдоль колонн. Он чувствовал себя виноватым перед другом-профессором (за высказывание по делу Арсения, какое позволил себе) и чувствовал, что надо было исправить положение; но исправить можно было только умным и изящным разговором, и Кудасов невольно вернулся к той своей теме — ускорению жизни,— о которой только что говорил в зале. Но начал не с того конкретного, с чем столкнулся у себя в институте; конкретное слишком связывало и было приземленным, и он принялся рассуждать обо всем так и с той вольностью предположений и выводов, как он видел эту проблему из Парижа и судил о возможности решить ее.

— С одной стороны, возвышенные идеи нужны,— говорил он, умно играя всем своим белым и усыпанным веснушками лицом,— а с другой — надо, к сожалению, считаться с возможностями самой жизни. Если машина еще не способна подняться в воздух, то прежде следует приделать ей крылья и дать соответствующий мотор, а потом уже звать перелететь через гору.— И он точно то же говорил во второй перерыв, водя профессора по фойе вдоль колонн и не давая ему разгильянуть и вставить свое.

Кудасов был в том привычном для себя расположении духа (как он всегда возвращался из-за рубежа), когда он чувствовал потребность произвести впечатление, но не чувствовал потребности дела.

Лусо же, напротив, был весь озабочен именно делом и не был рас-

положен вести отвлеченный разговор. Он делал лишь вид, что слушает Кудасова (из всегдашнего почтения к нему), тогда как все мысли его объединялись вокруг того, что он называл для себя «делом Арсения». Кудасов как бы приоткрыл ему ту сторону этого дела, по которой ясно было, что более всего мог пострадать именно сам Лусо. «Да, да, теперь мне все понятно: обвинить коллектив! А коллектив — это я», — думал он, в то время как Кудасов водил его вдоль колонн и говорил ему что-то. Лусо не мог отделаться от мысли, что за убийство непременно должен быть кто-то обвинен — если не убийца, то коллектив (то есть он!), и он невольно искал среди тех, на кого смотрел, адвоката Кошелева и как только замечал его, глаза сужались и в душе поднималось чувство, будто никогда еще не было у него врага более опасного, чем Кошелев. «Так, так, значит — коллектив!» — повторял про себя Лусо.

Ему надо было обезопасить себя, а чтобы обезопасить, надо было привести в действие те определенные силы, то есть ту свою Москву (как она была у Дружниковых и еще более была у Лусо), в которой редко давали утонуть тому, кто принадлежал к ней. Надо было поднимать, насторожить и проинформировать тех людей, занимавших посты, которые не то чтобы были зависимы от Лусо, но просто давно и прочно (по условиям жизни) были переплетены между собою сетью взаимных услуг и не только могли, но обязаны были, как полагал Лусо, помочь ему в его затруднении; и он перебирал, к кому можно было зайти с визитом, кого пригласить к себе, а на кого-то, возможно, повлиять через третье лицо. «Не подсказать ли племяннику, — вспомнил он о Геннадии Тимонине. — Может быть, что-нибудь через печать... о выпускниках будто, или (и он назвал про себя фамилию одного из заместителей республиканского министра, знакомого ему) не сходить ли к нему?» И с живостью представил разговор, какой мог бы состояться с этим государственным человеком.

Лусо преувеличивал свою опасность и думал о мерах, которые собирался предпринять; но он не замечал, что преувеличивает, и готов был хоть теперь начать действовать. То, что происходило в зале, о чем говорили выступавшие, и обращение, которое затем было принято всеми, было важным, значительным, но оттого, что могло повлиять только на общий ход жизни людей, не волновало профессора; он голосовал за обращение не потому, что внимательно выслушал его и был согласен с ним, а лишь потому, что увидел, что все подняли руки, тогда как занимало его совсем другое, свое, то, о чем он думал и что, он понимал, могло повлиять не вообще на ход жизни человечества, а на его (Лусо) престиж и благополучие. Сразу же после заседания, которое он достигал, как он выразился потом, он поехал не в институт и не домой, как намечал прежде, а к тому самому заместителю республиканского министра, на которого возлагал главные надежды, и был раздосадован, когда в приемной сказали, что заместитель министра в отъезде и что раньше чем через неделю-полторы нельзя будет увидеть его. «Вот так всегда, — желчно подумал Лусо, — когда не надо, все на местах, а когда надо, никого не найдешь». И он невесело (из-под козырька министерского здания) посмотрел на всю протяженность улицы, по которой предстояло (к своему институту) идти ему.

## XVI

В тот день, когда доцент Карнаухов устраивал у себя на даче прием (и когда в ночь после приема в квартире Арсения произошла та самая история, которая заставила заговорить весь институт и так напугала теперь Лусо), Мещерякова не было в Москве. Он выезжал в Воронеж к брату, чтобы установить надгробную плиту на могиле отца с матерью. Плиту заказывал брат, и она не понравилась Мещерякову. Она была вытесана так безвкусно — двугорбый кусок белого, почти

без прожилок мрамора с надписями на отшлифованной стороне его,— что первое, что было сказано Мещеряковым, едва он взглянул на плитку: «Я не понимаю тебя, Михаил (так звали брата), как ты мог согласиться на это?» Но так как работа была уже оплачена и принята и так как повторный заказ потребовал бы новых хлопот и денег и, главное, как пояснил брат, дело опять бы затянулось на неопределенный срок — все это заставило Мещерякова согласиться с братом. Плита была установлена, он еще день погостил у брата и вернулся домой с тем нехорошим чувством, как если бы и в самом деле поспешил и сэкономил на том, на чем нельзя, стыдно и противоестественно было экономить. «У него семья, я понимаю,— думал он о брате,— но я мог бы взять все на себя». И он упрекал себя за то, что согласился с братом.

Но дома ожидала его новость, которая заставила сейчас же забыть о брате.

— Как?! Этого не может быть! — воскликнул он, выслушав жену Надежду Аркадьевну, пришедшую на вокзал встретить его.— Арсений?! Я не могу поверить в это.

— Но это так, он сидит, и квартира опечатана,— сказала она с тем чувством торжества, что она знала, что все так кончится.

Ей важно было в этом деле то, что наказана была Наташа, то есть та выскочка, как окрестила ее Надежда Аркадьевна, которую так ли, иначе ли, но следовало наказать за дерзость. Надежда Аркадьевна не могла забыть ей ни вечера у Лусо, ни Большого театра, где Наташа, имевшая преимущество только в том, что была молода, была в центре внимания. «Вот так, мой дорогой» — говорили глаза Мещеряковой, в то время как она смотрела на мужа. Но тот главный камень, который она должна будет бросить в Наташу, не был еще приготовлен ею; она еще только присматривалась, с какой стороны взять его, и мысль о том, что тихого и робкого Арсения подтолкнула к убийству Наташа,— мысль эта еще лишь зарождалась в оскорбленной душе Надежды Аркадьевны. Вся возбужденная теперь, она, казалось, радовалась не тому, что приехал муж, а новости, которую рассказала ему.

— Да, представь себе, да,— повторяла она, в дорогих перстнях и сережках идя рядом с мужем.

— Но у него моя докторская диссертация,— сказал Мещеряков.— Я дал почитать ему.

— А второй экземпляр?

— Он не выправлен.

— Господи, выправишь заново и лучше.— Она не допускала мысли, чтобы мужу ее трудно было сделать это.— Да и куда она денется?

— В самом деле, куда? — согласился Мещеряков и больше не упоминал о рукописи. Но ни в этот день, ни во все последующие не мог забыть о ней. Ему неприятно было думать, что диссертация, а главное, записка к ней могли попасть в чужие руки и быть прочитаны кем-то, он чувствовал, что этого нельзя было допустить, и ходил на квартиру к Арсению (один со всего факультета) и к прокурору, прося разрешить встретиться с Арсением, и был озадачен, услышав, что, пока идет следствие, никто не вправе удовлетворить его просьбу.

Он и прежде давал читать свои научные работы Арсению и делал это для того, чтобы не перешагнуть за круг, за которым острота его убеждений могла перейти в нечто большее и недопустимое. Он не разделял умеренных взглядов Арсения, но признавал за ним способность чувствовать, что и где можно печатать и говорить, и пользовался ею. То, что для Арсения было привычным состоянием его жизни и не составляло трудов сказать другу, для Мещерякова было тем, чего недоставало ему. Он только просил Арсения, чтобы «между нами», и Арсений прочитывал, высказывал суждения и забывал, что прочитывал и о чем говорил. Это было удобно Мещерякову, было для него той домашней цензурой, когда не было видно действия, но виден был результат; это было той его маленькой тайной, которую он тщательно

скрывал от всех и которая была важна для него. Но он опасался теперь не того, что тайна могла открыться. В диссертации его было столько спорных положений, что ее нельзя было давать читать всем, и в записке к Арсению он как раз написал об этом. «Ты знаешь,— было в записке,— я всегда упрекал и упрекаю наш русский народ в консерватизме, он неистребим, этот консерватизм, и все-таки я не хотел бы, чтобы эта моя мысль оскорбительно прозвучала для него (то есть для народа); присмотришься к тем положениям, которые мне кажутся особенно острыми». И дальше шел перечень страниц, на которых высказывались эти положения. «Зачем было писать эту глупейшую записку?»— рассудительно говорил он теперь, представляя последствия, которые ожидали его. Арсений подсказал бы только, как выправить эти места, не нарушая общего замысла диссертации, в сущности готовый уже к защите; но если записка и рукопись (в том настораживающем плане, как это указывалось в записке) будут прочтены на кафедре, работу перечеркнут и все придется начинать заново. «Как же все так получилось?»— снова и снова спрашивал он себя с чувством досады и сожаления, что поступок Арсения разбивал все жизненные планы его. Арсения было жаль, но более жаль было себя; с Арсением, как это казалось Мещерякову, было все определено, он сам выбрал себе участь; но Мещерякову надо было еще жить и отстаивать себя в этой жизни, и он думал теперь, как лучше было ему выйти из этой неожиданной для него трудности.

## XVII

Кроме этой маленькой тайны (что он консультировался у Арсения), была у Мещерякова и другая, более глубокая и важная для него. Хотя он был убежденным западником в искусстве, но он не примыкал к тому течению западничества, которое, как и во все времена, было распространено среди определенного круга московской интеллигенции. Он только чувствовал, что у него есть единомышленники, и только создавал впечатление, что в контакте с ними, тогда как на самом деле старался держаться как можно дальше от них, и не столько из осторожности быть уличенным в чем-то недозволенном, сколько из боязни потерять самостоятельность, которой он дорожил и которая давала ему право рассуждать обо всем так, с тем оттенком народной справедливости, как он считал нужным делать это. И в то время как он пользовался славой западника (и всем, что принадлежность к этому течению давала ему), взгляды его разнились с общим течением и были ближе к тем главным проблемам жизни, которые, как и теперь, всегда стояли перед обществом. Он говорил о свободе не в том смысле, чтобы оправдать свои пристрастия и получить возможность безграничной деятельности для себя, как это выдвигалось другими, а в том, чтобы не навязывались народу (под каким бы национальным соусом ни подавалось это) отжившие формы труда, быта и отношений между людьми и чтобы поощрялось не только то и не столько потому, что оно есть исконно русское, но и потому, что оно есть высшее достижение цивилизованного мира. Он говорил о той свободе, при которой движение жизни не тормозилось бы оглядками на прошлое и хороводы и песни времен крепостничества, представляемые теперь как неподражаемые образцы народного творчества, не сковывали бы русского человека в его нравственном развитии; ему хотелось, чтобы той всегдашней разницы в культуре труда и быта, которая, он видел как историк, была между Западом и Востоком,— чтобы разницы той не было теперь; и он, не замечая того, в сущности, лишь торопил те события, которые естественно и сами собой происходили вокруг него, тогда как в общем течении западничества, к которому он примыкал, он чувствовал, ставились иные и отличные от его взглядов цели.

Но расходясь в главном, он сходилась с ними в другом, в мелочах, которые окружали его. Ему казалось, что не того качества была отечественная обувь, не того качества выпускались машины, мебель, трико и не того качества даже как будто выпекался хлеб; в общем, все, казалось ему, было не того качества, как это же самое было на Западе. И хотя он во многом был прав и многие в душе были согласны с ним, но говорить так было не принято, было непатриотично, и потому большинство на факультете относилось к Мещерякову настороженно, именно как к западнику, человеку крайних и непопулярных взглядов. Жизнь его, как он старался показать ее, представляла перед всеми лишь с той внешней стороны, из которой можно было заключить, что она проста и однозначна, тогда как на самом деле она состояла из тех противоречивых начал, в одном из которых было все то, что есть в каждом русском человеке, то есть желание с ленцой и нерасторопностью взяться за дело (и желание того сытого барства, которое всегда прежде мужик видел только издалека), и в другом — то, что как раз и составляло внешнюю (для людей) сторону, по которой все судили о ней. Он любил более ходить в пижаме и мог появиться к завтраку непричесанным; и непричесанным и в пижаме мог с утра и до вечера просидеть в своем домашнем кабинете, обложившись книгами и не прочтя ни страницы в них, а затем, потянувшись, сказать, что как ни осудительна обломовщина, но не столь национально, сколь приятно это состояние жизни; но он сейчас же как будто преобразался, едва надевал костюм и галстук, и особенно когда возникала необходимость защитить свои убеждения. Невысокий, сложенный неуклюже, он с не свойственной полному человеку живостью начинал двигаться и говорить, жестикулируя и забывая словами собеседника, так что трудно было противостоять ему; и то, что говорил, было продумано, остро и ядовито.

Хозяйскими же делами, как и заведено в русских семьях, занималась у Мещеряковых Надежда Аркадьевна. Выросшая в московском интеллигентном доме, она любила, чтобы все было организовано возле нее, и, не умея сама, как взяться за это, с охотой, как только вышла замуж, переняла тот образ жизни, который между знакомыми ее назывался западным (что надо было толковать как передовой или модный) и который позволял ей (благодаря заработкам мужа, публиковавшего свои труды), не притрагиваясь, в сущности, ни к чему, вести дом. По западному образцу она не хотела иметь детей и не имела их (хотя как это было соотносится с тем фактом, что на Западе точно так же не уменьшалось, а увеличивалось во всех странах население!); по западному образцу, как считала Надежда Аркадьевна, положено было держать приходящую домработницу, и она держала эту приходящую прислугу — Груню, которая, приходя, прежде пила с вареньем чай, а затем мыла и вытирала только то, что было на виду и в центре комнат, и не трогала ничего по углам; но Надежда Аркадьевна, видевшая, что так делалось и у других, перестала замечать это и на вопрос, как она управляется по дому, всегда с гордостью отвечала: «У меня приходящая, и я довольна ею». Как и замужние подруги ее, она рылась в западных изданиях, отыскивая образцы, как лучше расставить мебель, подобрать сочетание цветов или форму гардин, и хотя очевидным было, что то, что хорошо для тех условий жизни, то есть для Запада, не могло так же хорошо быть для этих, в каких жила Надежда Аркадьевна в Москве (уже потому, что не было мастеров, которые сделали бы это), она с энергией, если нравилось что, бралась переоборудовать все в квартире и приглашала для этого тех своих знакомых работников, с которыми у нее были свои, особые отношения и которые, приходя, каждый раз делали не то, что она просила, а то, что было удобнее и легче сделать им. «Ах, горе мне с вами», — говорила она, рассчитываясь с ними. Она приглашала их даже тогда, когда требовалось просто забить гвоздь. «Лукич, — просила она, звоня по

телефону этому самому работнику, с которым имела дело и которому покровительствовала,— зайди, есть дело». И Лукич собирался и шел к ней. Но приходил не один, а приводил с собою напарников, которые безмолвно затем топтались за его спиной.

— Гвоздь мне надо прибить,— говорила она Лукичу и напарникам, приглашая их пройти в комнату. И в то время как они, не снимая ботинок и пыльно следя на паркете, направлялись за ней, суется и путаясь в своем длинном домашнем халате (и вся в перстнях и сережках, как она всегда появлялась перед людьми), она катилась впереди них, сдвигая по пути стулья и кресла, которые не столько мешали, сколько могли быть испачканы грубою одеждою Лукича и напарников.— Вот здесь.— И она указывала место на стене, где нужно было, чтобы у нее был гвоздь.

Лукич ставил перед собою ящик с инструментами и принимался смотреть на стену с тем выражением, словно он затруднялся сказать, можно или нельзя выполнить то, о чем просили его. Он тянул время и набивал себе цену, тогда как Надежда Аркадьевна, не понимавшая смысла этой паузы, торопила его:

— Что же ты, Лукич?

— Надо подумать,— отвечал тот.

Она боялась, что он откажется, и крутилась тут же, то предлагая поддержать стремянку, то наклоняясь и включая в розетку поданный ей от дрели шнур, и в бестолковости этой работы не замечала, как отворачивались и раздвигались полы ее халата и видны были ноги в кружевах тонкого заграничного белья. Лукич переглядывался с напарниками, но сейчас же делал вид, что не замечает ничего, так как важны были ему не кружева и ноги ее, а деньги, которыми из нравственных, разумеется, соображений (как она затем всегда объясняла мужу) она позволяла себе по-барски сорить.

— Я не обидела вас, Лукич, так ты скажи,— говорила она, заплатив им в несчетно раз больше, чем стоила их работа.

То, что муж ее (в научных трудах) предлагал для общего блага и что было, как он полагал, делом долгим, требовавшим определенных (от всех) усилий, Надежда Аркадьевна переносила на домашнюю обстановку и была всегда занята и растрчивала безо всякой видимой нужды мужнины средства. Главным же результатом ее деятельности была лишь та постоянная и неестественная канитель в доме, цель которой заключалась не в служении обществу, а в том только, чтобы в обществе этом отстаивать для себя право на это беспечное существование; и Надежда Аркадьевна энергичнее, чем муж, всякий раз бралась защитить это право. Не вникавшая в суть тех главных расходов с общим течением западничества, благодаря которым муж ее мог жить и уважать себя в жизни, а видевшая только то, что объединяло его (и ее) с этим течением, она долго не могла объяснить себе, отчего муж ее не заводил нужных знакомств.

— Ты мог бы иметь больше,— говорила она, чтобы повлиять на него.— Ты столько теряешь, столько теряешь! — И, не дождавшись в конце концов, когда муж начнет предпринимать что-то, решила сама исправить это его упущение.

### XVIII

Она решила свести мужа с тем главным и влиятельным (по слухам, распространявшимся о нем) западником, неким искусствоведом Куркиным, который, если судить о нем по занимаемой должности, был никем, потому что никогда и нигде официально не работал, а только числился членом одного из творческих союзов, но если судить по тому шуму, какой время от времени возникал вокруг его имени, то можно было предположить, что имел и мог многое. Он публиковал те противоречивые статьи об искусстве (с одним только всегда ясным



намеком, что всякая власть есть вред для искусства), в которых друзья его находили, что они остры, принципиальны и умны (как сами они не то чтобы не смели, но не умели печатно так сказать о своем), а недруги только разводили руками, не понимая, что этот Куркин отстаивает, что отрицает и почему дано ему право оценивать то, чего он сам никогда не делал и не умел делать, то есть нарисовать простейший пейзаж, но предполагалось, что знал и умел больше, чем умели и знали это художники. Кроме того, за Куркиным ходила слава, что у него будто есть наверху рука, и по совпадению ли событий или действительно от движения той всемогущей руки, но ряд назначений, в которых был заинтересован и сам Куркин и о которых просили его, связывался с его именем. С определенной улыбкой на губах он сказал (как передавался этот эпизод): «Что за вопрос? Будет» — и ходил затем, когда вышло нужное решение, с видом человека, которому доступно то, чего, может быть, не было доступно даже Наполеону. Эта-то возможность, в которую всякий порядочный человек не мог поверить и тем более воспользоваться ею, захватила Мещерякову как раз той своей стороною дела, что, не прикладывая тех лошадиных, как она выражалась, усилий, от которых инфаркты и прочее, то есть тех усилий, благодаря которым создаются ценности, можно было продвинуться между ее на ступеньку, на две и на три выше, чем он был теперь, и чего давно уже, как полагала она, заслуживал. «Поскольку у Куркина рука там,— рассуждала она, усвоив только это о нем и не желая слышать и знать ничего другого,— и поскольку взгляды их (то есть Куркина и мужа) совпадали (в чем она ни на минуту не сомневалась), почему бы этому Куркину не проявить желание и не помочь моему Илюше?». Она первой почувствовала, что место декана (в связи именно с делом Арсения) могло освободиться, и надо было, чтобы занял его ее муж, доцент Мещеряков. «Надо только подтолкнуть все»,— думала она и встрече и знакомству с Куркиным придавала главное значение в этой своей затее. Познакомить же и свести ее и ее мужа с Куркиным бралась Лия, у которой приятелей было, как она сама говорила о том, половина Москвы и в самых разных по приверженности своей кружках и кланах.

Нужен был только повод, и повод этот представился вскоре же после разговора Надежды Аркадьевны с Лией. На Крутицком валу открывалась в эти дни выставка картин московских художников, и, как всегда бывает в таких случаях, одни художники, чьи картины были взяты, были рады и счастливы, а другие, чьи картины были отвергнуты, считали себя обойденными и, как всегда, говорили о себе, что справедливости нет, что их не понимают и что модернизм (то слово, за которое всегда готова спрятаться любая бездарность) есть зов времени и потребность по-своему выразить себя (то есть та странная потребность изображать человека в бесформенных кляксах, кубах и квадратах, которую ум человеческий, если он здоров, никогда не примет и не может принять за искусство). Недовольных было достаточно и достаточно было всяких высказываний, суть которых в конце концов уже не воспринималась, а воспринималось только, что кто-то и в чем-то был против и потому, что против, не был допущен к участию в выставке, а поскольку не был допущен, вызывал тот нездоровый интерес у определенного круга людей, которым всегда хочется быть там, где кто-то против чего-то. Интерес этот на сей раз складывался вокруг молодого, энергичного, еще не сделавшего ничего, но всюду где можно заявлявшего о себе художника Ермакова (известного более по фронтowym рисункам отца). Ермаков этот (по унаследованной от отца же квартире) имел те возможности для жизни и работы — и кабинет с библиотекой, и гостиную, и светлую, с верхней остекленной фрамугой мастерскую,— каких не имели еще даже многие уже известные художники Москвы, и в этой своей квартире как бы в противовес официальной выставке организовал свою, но составленную, как

он объявил друзьям, не только из своих картин. «Я модернист, но вы придите, придите», — говорил он, намекая на что-то, что должно было поразить всех. И многих действительно поражало то, что они видели у него. «Странно, но посмотреть стоит», — высказывались затем эти люди, и точно так же, как на Крутицком валу для всех, работала эта, у Ермакова, выставка для избранных и вызывала толки и интерес.

Лия, дважды побывавшая с мужем на Крутицком валу и оставшаяся довольной впечатлением, какое произвели на нее картины, выставленные там, была затем приглашена к Ермакову и, узнав от подруги, приглашавшей ее, что будет у Ермакова и Афанасий Юрьевич Куркин, сейчас же позвонила Мещеряковой, чтобы предупредить и позвать ее.

— Что ты говоришь! Неужели?! — воскликнула в трубку Надежда Аркадьевна.

— Важно, что будет, а там — как сложится.

— Да, да, важно, что будет, — тем же радостным тоном и так, будто Лия стояла перед ней, повторила Надежда Аркадьевна.

Был воскресный день; и было то послеобеденное время — время ленного переваривания пищи, — когда Надежде Аркадьевне с округлявшей уже ее полнотой не то чтобы хотелось прилечь, но тянуло к дивану, к креслу, к телевизору, по которому не важно что, но передавали, тянуло к покою; но она почувствовала, что надо было теперь пожертвовать своим желанием, и это возбуждало ее.

Муж ее в пижаме и тапочках на босу ногу, как он утром еще выходил к столу, сидел у себя в кабинете в кресле и дочитывал статью. Мысли его ленно крутились вокруг того, что он читал, и потому он только слышал, что жене кто-то позвонил и что она с кем-то восторженно (что было привычно ему) говорила. Но он не прислушивался и не разбирал того, о чем она говорила, так как, несмотря на всю свою послеобеденную леность, мысли, какими он был занят, были теми важными мыслями, которые всегда занимали его, но которые теперь, именно в связи с прочитанной статьей, особенно ясно выдвинулись ему. В статье хвалилась какая-то книга, герой которой так напоминал тургеневского Пунина, то есть того русского человека, который наделен всеми и всякими талантами и не наделен только одним — способностью проявить эти таланты без тепличных на то условий и потому вынужденный всю жизнь греться возле благодетеля и заглядывать ему в рот, — герой этот, механически перенесенный в обстановку нынешней жизни, признавался автором статьи как характер народный, достойный подражания. Мещерякову странным казалось это. Тем более странным, что автор статьи (по тем всегда в обилии ходящим по Москве слухам), известно было, принадлежал к той группе людей, которые именовали себя почвенниками и присваивали себе на том основании единоличное право говорить от имени народа и представлять его. «За кого они нас принимают («нас» было для Мещерякова народ)? За дураков, что ли?» — думал он; и главная мысль его состояла теперь в том, что он сомневался, чтобы эти так называемые почвенники пеклись о народе. «Даже князья, даже графы, которым выгодно было иметь у себя под рукою такого русского мужика, как Пунин или Каратаевы, — говорил себе Мещеряков, — но даже они, эти князья и графы, когда брались за перо, не могли печатно признать подобный характер народным, что-то удерживало их, совесть или что-то еще, что заставляло их видеть нечто другое в народном характере, — так что же происходит теперь? Кому, для чего и зачем нужно это? Этот пассивный тип, способный только на то, чтобы вновь обречь себя на крепостничество? Всякое печатное слово имеет обратное действие — понимают ли о нем это, понимают ли?» — думал Мещеряков, все убеждения которого были не просто отрицание того, что он прочитал (и что, как он видел, старались теперь некоторые навязать народу), но в противодействии этому, в желании пробудить и активизировать

силы народа. «За кого же они нас принимают?» — продолжал он, нехотя вновь беря в руки статью и заглядывая в нее, в то время как Надежда Аркадьевна, закончившая свой разговор с Лией, вошла в кабинет и восторженным возгласом перебила эти его мысли:

— Мы приглашены, Илюша, собирайся и едем на выставку.

— На какую еще выставку?

— Это интересно, это не для всех, только что звонила Дружникова, и я согласилась, — сказала Надежда Аркадьевна, в согласии со своими мыслями недоуменно глядя на мужа. — Я дала согласие, Илюша, я сказала, что мы поедем, и она заедет за нами.

— И напрасно.

— Ты увидишь, ты не пожалеешь, и это важно для тебя.

— Для меня важно теперь только одно: докторская...

— Что ты все — докторская, докторская... Собирайся, я дала слово, я иду одеваться. — И она пошла в свою комнату, обдумывая на ходу, что надеть, чтобы произвести то нужное (на Куркина) впечатление, которое одно только, как она полагала, могло решить дело.

В четвертом часу — Мещеряков уже в костюме и галстукe прохаживался по прихожей и разговаривал с Лией, расспрашивая ее о новостях (в научном мире), коих всегда у нее, как и друзей, было множество, — Надежда Аркадьевна еще собиралась и прикладывала к себе то одно, то другое платье и примеряла драгоценности к ним. Все то, что должно было быть наведено на ее лице, было наведено и, как ей это казалось, должно было молодить ее; но оно только делало ее лицо кукольно-безликим и производило нужное впечатление лишь на самою ее, когда она смотрелась в зеркало.

— Ну, можно так? — наконец выйдя к мужу и Лии и светясь вся этим своим кукольно-безликим лицом, сказала она.

— Все отлично, — поддержала ее Лия, обратившая внимание не на весь ее почти вечерний (что было некстати) наряд, а лишь на удлинненную ниточку жемчуга, которая, как и на торжествах у Лусо, красиво облегла ее шею.

— А что Григорий? — уже в «Москвиче» спросил Мещеряков у Лии о ее муже. — Не захотел?

— Ой, он занят, у него какие-то срочные дела. Он теперь так занят, так занят, — начала она (по той своей привычке, что она любила, ведя машину, разговаривать за рулем).

## ХІХ

Родион Ермаков, голубоглазый, высокий, статный неженатый молодой человек, всегда сопровождаемый какою-нибудь новою, на которых он никогда не женился, невестою и спутствуемый теперь некоею Соней, сиявшей от счастья быть рядом с ним (гением, каковым, видимо, она признавала его), встречал гостей и проводил их через гостиную в ту самую отцовскую мастерскую с остекленною фрамугою наверху, где выставлены были рисунки и картины для осмотра. Впечатление, какое Родион обычно производил на всех — и знакомых и незнакомых его, — было тем впечатлением, когда все призывали в нем и такт и большую внутреннюю культуру, чего не доставало будто бы всей теперешней молодежи. Такт этот, в сущности, и так называемая внутренняя культура его были на самом деле только хорошо отрепетированной игрой, только тем, что надо было показать и что (по столичной своей жизни), Родион знал, обычно неотразимо действует на людей. Две тетки его, бывшие в доме (и бывшие, как он говорил о них, у него под пятой), участвовали во всем этом сегодняшнем торжестве только тем, что подавали вино и чай гостям, которых выборочно Родион приглашал после осмотра картин на этот чай и разговор в старинный отцовский кабинет с библиотекой. Соня в своей укороченной почти до бесстыдства, как сказали бы теперь, юбке, но

выглядевшей по тем временам и современно и модно,— Соня эта с красивыми в бесцветном капроне ногами, с красивою, делавшею ее лицо задумчивым и умным прическою неотступно всюду ходила за Родионом, и по выражению ее еще почти детского лица было видно, что она была горда своим положением очередной (чего она, естественно, не подозревала) невесты и будущей хозяйки дома.

В просторной и светлой мастерской, куда Родион вместе с Соней провели Лию и Мещеряковых, было уже человек пятнадцать гостей — те самые мужья с женами, которых Лия всех знала и с которыми сейчас же начала знакомить Надежду Аркадьевну и ее мужа. Все то, что было выставлено — картины и рисунки,— предполагалось, что никуда не денется и будет осмотрено, но прежде и главное было познакомиться Мещеряковых со всеми (и прежде всего имелось в виду с Афанасием Юрьевичем Куркиным).

— Вон видишь, это и есть Куркин,— сказала она Надежде Аркадьевне, когда тем, кто был ближе (был в первой половине зала), Мещеряковы были уже представлены и оставалось только пройти в глубину (пройти мимо картин и рисунков, которые сейчас же привлекли внимание Мещерякова).

Куркин был виден со спины и разговаривал с кем-то. Тот, с кем он говорил, был Митя Гаврилов, простое, деревенского типа лицо которого сейчас же бросалось в глаза всем и диссонировало с гладкими, чисто выбритыми и холеными, как у большинства городских людей, лицами. Митя молчал, Куркин что-то заканчивал говорить ему, и за спиною Мити, прислушиваясь к разговору, стояла Анна Лукашова — все с той же своей модной худобою, но с непривычным (для тех, кто прежде знал ее) выражением лица, в котором не только не было ничего заискивающего, но было лишь то напряженное внимание, будто слова Куркина что-то важное должны были решить для нее. Рисунки же, расставленные между модернистскими, состоявшими из разноцветных клякс, квадратов и кубов картинами хозяина мастерской, были те самые эскизы Мити, которые он готовил к своему будущему полотну истории человеческих войн. Тут же, как было предложено Ермаковым, стояло и само белое полотно, то есть тот огромный размеров холст в подрамнике, на котором еще не было сделано ни одного мазка, и холст этот, как сфокусированные лучи солнца на бумажке, заставляющие дымиться ее, поминутно отвлекал внимание всех на себя.

— Посмотри-ка сюда, Илюша, посмотри же,— дергая за рукав мужа и отрывая его от Митиных мертвецов и от полотна, на котором еще ничего не было, и стараясь направить взгляд мужа на Куркина, говорила Надежда Аркадьевна.— Это нужный тебе человек, Лия сейчас познакомит нас, ты будь с ним помягче, это очень нужный, я потом тебе все расскажу,— в то время как Лия направилась уже к Куркину, пригласив за собою Мещеряковых, торопливо еще продолжала Надежда Аркадьевна.

Куркин встретил Лию и Мещеряковых тем быстрым поворотом головы, по которому люди, умеющие делать и делающие это, знают, что происходит это только оттого, что их не занимает тот разговор (и тот собеседник), с которым они стоят, и с готовностью ждут повода, чтобы прервать с ним и уйти от него.

— Кого вижу! — уже во второй раз и основательнее поворачиваясь к ней всем своим тяжелым лицом, тяжелым взглядом, тяжелым, отвислым подбородком, сказал Афанасий Юрьевич, давая понять Мите, что разговор с ним окончен.— Все хорошеем, все хорошеем,— добавил он, тяжело и неприятно (и привычно для тех, кто знал его) улыбнувшись и стрельнув глазами на Мещеряковых и опять на Лию, как бы спрашивая ее, кто эти люди.— Хорошеем. А где же ваш милый супруг? — спросил он, снова и неприятно для Мещеряковых взглянув на них.

— В делах. Он у меня теперь такой деловой. Да, хочу представить: мои хорошие друзья.— И Лия, сказав о должности, научном звании и общественном положении Мещерякова, назвав при этом несколько печатных трудов его, представила сначала Надежду Аркадьевну, а затем ее мужа.

— Очень приятно,— сказал Куркин, что всегда говорят при этом.— Слышал, знаю,— добавил он, вместо того чтобы сказать, что да, читал, и как бы подчеркивая этим, что есть пространство между ними, о котором Мещеряков должен знать и без позволения на то не переступать его.— Вы осмотрели выставку?

— Нет, мы только пришли,— ответила за мужа Надежда Аркадьевна.

— Так посмотрите,— с улыбкою, которую всякий мог толковать, как было кому угодно, сказал он.— Посмотрите,— повторил он, движением головы говоря, что готов удалиться и предоставить им эту возможность. Его кто-то позвал, и он, еще раз сделав то же движение головой, оставил Мещеряковых и Лию осматривать выставку.

— Какой милый, галантный,— сейчас же сказала Надежда Аркадьевна, сияя не столько своим кукольно-безликим лицом, сколько ниточкою жемчуга на шее.

Лия не ответила. Мещеряков тоже, только странно взглянув на жену, медленно направился вдоль выставленных картин и рисунков, с недоумением и брезгливостью, которую он не мог подавить в себе, останавливаясь и разглядывая их.

Он останавливался более не возле картин Ермакова, точнее клякс, квадратов и кубов, заключенных в красивые багетные рамки, что, ясно было ему, было не искусством, а шарлатанством, рассчитанным, как он сейчас же решил про себя, на дураков (на тех дураков, которые, как свидетельствовал о том великий сказочник, признавали на голом короле одежду), а возле рисунков Мити, которые все были о мертвецах, гробах, могилах и орудиях убийства (и со следами крови) из разных эпох, но которые при всей омерзительности впечатления, оставляемого ими, он видел, были выполнены в том реалистическом плане (или манере, или еще как-либо, как сказали бы теоретики), что о них нельзя было сказать, что это шарлатанство или что-то сенсационное, но что это есть искусство, вызванное каким-то необычным, может быть, даже большим воображением художника. «Странно,— думал Мещеряков, переходя от одного мертвеца к другому и к виду братских могил, то есть к тем зарисовкам, где особенно выразительно была показана насильственность смерти, принятой этими людьми,— что может стоять за всем этим? Кто, с какой целью и для чего рисовал это? Это же труд, адский труд»,— думал он. Для чего Ермакову нужно было выставлять это — мысль такая придет Мещерякову позже; но теперь его все более тянуло посмотреть на художника, взявшегося нарисовать эти страшные рисунки, и поговорить с ним; Мещерякову, пожалуй, единственному, кто был здесь, представлялось, что существовал какой-то хотя, может быть, и болезненный, но смысл в этой выставленной галерее мертвецов и окровавленного оружия, и он, несмотря на настояния жены идти к чаю (пойти к Куркину, как надо было толковать), куда Родион Ермаков уже пригласил их, пошел к Мите, чтобы поговорить с ним.

— Вы извините,— сказал он Мите, представившись ему (и представившись Лукашовой, которая стояла тут же и, как он понял, кем-то близким доводилась Мите),— но я потрясен вашими рисунками. Потрясен, во-первых, мастерством, во-вторых, темой. Откуда у вас эта мистика, у вас, молодого человека? — сказал он.

— Это не мистика,— возразил Митя.

— Тогда что же?

— Эскизы к моей будущей картине,— неохотно ответил Митя, очевидно пезгорая то, о чем уже не раз говорил здесь и чего, как

видно, не понимали или не хотели понять те, кто спрашивал. И он с недоверием посмотрел на Мещерякова.

Но Мещеряков снова спросил его:

— Что же может выражать собой подобная картина?

— Страх и ужас.

— Страх и ужас чего?

— Того, что люди делают над людьми, нападая и убивая друг друга. Ужас войн и отвращение к этому бессмысленному, бесчеловечному и жестокому делу.— Как ни казалось Мите, что то, что он говорил, было бесполезно и не нужно и что слова опять могли только повиснуть в воздухе, но что-то все-таки заставляло его отвечать Мещерякову, и этим что-то была та неподдельная заинтересованность, с какою Мещеряков обращался к нему.

— Я историк, и я вижу: мечи и секиры на ваших рисунках взяты как будто прямо с Куликова поля, ружья и пушки — из Бородинского сражения, а пулеметы, винтовки и автоматы...

— Да. Но не только в том значении, как вы полагаете,— прерывая его, сказал Митя.— Если у вас есть время и если вы действительно хотите послушать, я могу рассказать вам о своем замысле.— И, видя по Мещерякову, что тот готов послушать его, начал рассказывать, как он хотел ужаснуть людей земли теми их злодеяниями, происходящими от бесконечных войн, которых можно просто, по здравому рассудку поняв их, избежать.

Митя ясно представлял себе то, о чем говорил. Но для убедительности, он чувствовал, надо было рассказать о себе, то есть о той своей родословной, насколько всякий деревенский человек может помнить ее, по которой выходило, что каждое поколение мужчин в его семье (как и во всякой другой деревенской семье, добавлял он) непременно участвовало в войне и непременно либо кто-то погибал, оставляя сирот, либо приходил инвалидом, лишним ртом и только обременял семейство. «Прадед в Крымскую, дед в германскую, отец в Отечественную»,— говорил Митя, что, по его мнению, было не главным, а только поясняло все, но что для Мещерякова, впервые как бы с этой точки зрения посмотревшего на народную жизнь (на историю, как он всегда в сравнении любил смотреть на нее),— для Мещерякова важным в Митином замысле показалось именно это, что на долю каждого поколения русских людей выпадала война. Слушая общие рассуждения Мити о безумстве войн и о том, что если это безумство открыть людям, то люди перестанут совершать его, Мещеряков думал, что слова эти были лишь оболочкой, скорлупой, скрывавшей сердцевину, которую Митя лишь по молодости своей и неопытности не может сформулировать для себя. Ему казалось, что он будто присутствовал при постижении какой-то той исторической сконцентрированности трудностей народной жизни, которая рано ли, поздно ли, но должна была в ком-то пробудиться с огромною силой боли и которая пробуждалась теперь в Мите.

— Вы где-нибудь учились? — спросил он у Мити (имея в виду мастерство его).

— Нет.

— Дайте мне ваши координаты,— затем сказал он, не представляя еще, для чего просит их, а испытывая только интерес к Мите.— Вы сейчас живете в Москве?

— Под Москвой, в Одинцове, временно,— торопливо вставила Лукашова, более, чем Митя, уловившая этот интерес его.

— Давайте и одинцовский и пензенский,— добавил Мещеряков и, сунув в карман поданный ему Лукашовой листок с адресом, наклонил голову в знак того, что прощается, и отошел от них, оставив и ее и Митю с тем недоуменным, когда они посмотрели друг на друга, вопросом, в котором было: «Вроде похвалил, вроде взял адрес, а что дальше?»

## XX

Войдя в тот кабинет с библиотекою, куда Ермаков приглашал только избранных и только на чай, как он с улыбкою говорил это, и где Надежда Аркадьевна, сидевшая с Лиею, давно уже и с беспокойством ждала мужа, Мещеряков услышал следующие слова, произнесенные Куркиным:

— Я говорю ему (речь шла о Мите): молодой человек, две тысячи лет назад миру уже сказано было «не убий», сказано Иисусом Христом, но мир убивал и будет убивать. Будет убивать даже в том случае, если новый Христос, объявившись, опять скажет: «Не убий!» Уж не считаете ли вы себя этим новоявленным Иисусом? — И Куркин своим тяжелым, похожим на танк лицом сделал то выражение, которое должно было сказать всем, как он относился к Мите и его затее. В сущности же, при первом же взгляде на Митины работы Афанасий Юрьевич понял, что о них не то чтобы нельзя было что-то сказать в печати (он все мерил тем, что могло и что не могло быть гласным и в соответствии с этим могло или не могло прибавить той шумовой, разумеется с допустимыми возможностями, славы, ради которой и делалось все им и, как поплавок, держало на поверхности его), — сказать в печати о Митиных работах было можно, но это было не тем, на что в силу своей репутации он должен был и мог откликнуться. — И что, вы думаете, ответил мне этот юнец? — продолжал Куркин. — «Как вам будет угодно», — сказал он. Но ведь это, извините, равносильно признать себя Христом! — Тяжелые брови его поднялись, и в открытых глазах еще яснее проступило все его отношение к Мите.

— Вот что из таланта может сделать провинция, — заметил кто-то.

— Да, представьте себе, да, — сейчас же согласился Афанасий Юрьевич, повернувшись лицом к говорившему и мельком и пронизывающе (во время этого поворота) бросив взгляд на вошедшего Мещерякова.

Куркину дано было понять тотчас же после знакомства с Мещеряковым, что доцент хочет сблизиться с ним. Цель сближения не была ясна ни Афанасию Юрьевичу, ни тому, кто сказал ему это; но вместе с тем было очевидно, что Мещерякову что-то надо, и потому Куркин таким пронизывающим взглядом встретил его. Куркин называл себя человеком дела и не признавал полезными тех, кому хотелось только стоять против течения; такими, впрочем, он считал всех, кто так ли, иначе ли примыкал к нему; и потому точно так же подумал теперь о Мещерякове, увидев в нем лишь одного из поклонников своего авторитета, хотя взгляды Мещерякова на это так называемое движение западничества не только рознились с главною целью Куркина, состоявшей в том, чтобы благодаря этому движению постоянно держаться на виду, но были прямо противоположны этой цели и заключали в себе желание блага не для себя, а для народа. Куркин не понимал этого и отводил Мещерякову лишь ту обычную роль хлопальщика в ладоши — своим высказываниям, делам и авторитету, — в соответствии с которой и ждал теперь (прежде чем будет объявлена просьба) этих именно действий от него.

— Ну-с, осмотрели? — сказал он, тяжело и в упор глядя на Мещерякова, который, вне всякого сомнения, должен был поддержать только что изложенное Куркиным.

— Вы знаете, у меня иное мнение, — ответил Мещеряков, странно и необъяснимо, как он всегда думал потом, ощутив в себе желание возразить Куркину, как всегда возражал своему коллеге по институту доценту Карнаухову, с которым расходился во взглядах и на историю, и на понятие народной жизни, и на то, что надо пробуждать и активизировать в самой этой жизни. — Надо подумать, я не определил, не понял еще, — сказал он, в то время как именно в эти минуты ясно

увидел, что представлял собою Митя со своим замыслом, что было сам он, Мещеряков, со своими взглядами на историю и жизнь, что было Куркин и так называемое движение западничества и что было почвенники, представителей которых не было здесь, за чаем, но которые живо и во всей своей совокупности всплыли в воображении Мещерякова. Он, как это часто бывает при прояснениях мысли, долго и кропотливо обдумывавшейся прежде, вдруг понял, что те западники, которые (как он) за народ, и те почвенники, которые за народ, сходятся в главных своих целях, но что те западники, которые для себя (каким был Куркин), и те почвенники, которые точно так же для себя, тоже сходятся в своих приемах и целях; он понял, что нет ни так называемых западников, ни так называемых почвенников и спора и расхождений между ними, а есть только те, кто за народ, и те, кто для себя, и все дело в этом, а споры и расхождения — это лишь та видимая борьба, в которой всегда должны быть лидеры и паства, коей несть числа, и борьба эта как раз и создает впечатление остроты жизни и держит на поверхности тех, кто иным, то есть настоящим, трудом не способен достичь положения и славы. Мещеряков так ясно понял это, что на мгновение оторопел от этой своей ясности мысли, и по лицу его пробежала та краска смущения, которая и Куркиным и всеми другими, кто был с ним, в том числе и женой и Лией, была воспринята как выражение неловкости за произнесенные слова.

— Никогда не следует поддаваться первому впечатлению, — поучительно заметил Афанасий Юрьевич, снисходя к оплошности доцента, вернее допуская самую возможность этой оплошности (в силу именно различия между ним, Куркиным, и всеми остальными). — Присаживайтесь. У вас милая жена, — затем добавил он, вводя в краску теперь уже Надежду Аркадьевну и усиливая в ней то движение крови, которое люди обычно называют волнением и которое для Надежды Аркадьевны было волнением приятным, подвигавшим ее в надеждах к цели.

Две тетки Ермакова, словно горничные, не представленные никому, равно как и никто не был представлен им, обслуживали гостей. Одна из них, та, что постарше, сидела за самоваром, разумеется электрическим, в углу кабинета и тем, кто подходил к ней, наливая чай в стаканы с подстаканниками так по-русски, как думала она, сначала заварку, потом кипяток, что все это с ее стороны делалось будто для того только, чтобы дать понять гостям, что, несмотря на все их разговоры о западничестве, она знала, какими были их корни. «Перебеситесь, пересуетитесь и все поймете, все встанет на свои места» — было в ее старческих глазах, в то время как она, не глядя ни на кого отдельно, смотрела на всех и видела всех. Вторая тетка Родиона, та, что помоложе, приносила в тонких хрустальных фужерах красное грузинское вино на подносе. Она не предлагала каждому, а оставляла поднос с фужерами на столе и уходила — без улыбки, без какого-либо выражения на лице, что тоже, должно быть, было ее отношением к происходившему в доме. Но еще менее, казалось, чем тетки, был участником торжества Родион со своею Сонею, неотступно везде ходившей за ним в короткой, отчего ноги ее казались почти голыми, юбке. Он не вступал в разговор и то появлялся в кабинете, то исчезал из него, чтобы побыть с теми, кто находился в мастерской и осматривал картины; и так как цель его состояла не в том, чтобы услышать похвалу своим работам (и еще менее работам Мити Гаврилова), что добавило бы известности к его известной уже славе, он не заискивал ни перед кем; цель его была — чтобы по Москве пошел слухок, что у такого-то молодого художника что-то интересное выставлено на дому, на что идут посмотреть, и чтобы слухок этот, дойдя до организаторов выставки на Крутицком валу, возмутил бы их спокойствие и заставил бы пожалеть о том своем решении, когда они отвергли



работы его, художника Родиона Ермакова. Цель эта, казалось Родиону, не зависела от того, о чем говорили в кабинете или в зале; цель эта, казалось ему, была достигнута уже тем, что Афанасий Юрьевич Куркин был здесь, у него, и что это-то и станет известным и придаст вес всему.

Ермаков в очередной раз вместе с Сонею вышел из кабинета, и Афанасий Юрьевич, чувствуя на себе внимание всех и небольшими глотками отпивая красное грузинское вино из фужера (и отвернувшись и забыв уже как будто о Мещерякове), отвечал кому-то на один из тех отвлеченных вопросов о возможностях и границах искусства, какие обычно глубокомысленно задаются одними людьми, причисляющими себя к сфере искусства, другим, точно так же причисляющим себя к этой же сфере, и на какие никто и никогда не дал еще вразумительного ответа уже в силу того, что искусство, как и жизнь, бесконечно и всякий раз повторяется в том обновленном и усложненном виде, как обновляется и усложняется жизнь. Афанасий Юрьевич, для которого тема эта была не просто темой для разговора, а пространством, как для Колумба океан, по которому можно плыть и плыть и открывать Индию не там, где она есть,— Афанасий Юрьевич сейчас же отдался этому плаванью, видя перед собой именно это пространство и распуская паруса мыслей. Надежда Аркадьевна, Лия и все, кто был в кабинете,— все со вниманием слушали его. Но Мещеряков, всегда с трудом поддававшийся под влияние чужих мыслей и все еще находившийся под впечатлением разговора с Митей и выставленных им мертвецов, могил и оружия со следами человеческой крови,— Мещеряков не мог остановить в себе той умственной работы, которая, соединяясь с жалостью к Мите как к сконцентрированному выражению трудностей народной жизни, обращившись в сознании его неожиданными и поражающими его простотой и ясностью выводами. Он вдруг понял, что и Куркин, и Карнаухов, и сам он, доцент Мещеряков, всегда искавший ответы на жизненные вопросы в изучении истории европейских народов, искали и ищут эти ответы не там, где надо искать их; он (как он никогда позже уже не мог с такой отчетливостью представить себе) понял, что за всей этой интеллектуальной суетою во все времена люди, подобные Куркину, Карнаухову и ему, Мещерякову, не то чтобы не хотели, но не могли разглядеть и понять всей глубины того, в каких трудных положениях и в разные годы оказывался русский народ; и он выводил это теперь из Митиной биографии, поразившей его тем, что мужское поколение в деревенских семьях выбивалось войнами, и из всех его этих рисунков — мертвецов, могил и оружия,— через выразительную силу которых как раз и передавалась эта главная боль народа. «При чем Иисус и при чем христианство? — думал он, удивленно и вместе с тем осудительно вскидывая взгляд на Куркина.— Здесь совсем другое. Здесь боль народа, которую он (Митя) не может сформулировать, но он выражает ее, слепо, бессознательно, в такой именно форме, но выражает ее»,— говорил себе Мещеряков.

## XXI

— Афанасий Юрьевич,— выбрав, когда ей можно было войти в разговор, сказала Лия, спросив с простодушным любопытством своим, которого не замечала в себе,— я слышала, есть какой-то новый клуб— «Человек будущего». Что это такое, вы не знаете?

— Клубов теперь пруд пруди,— с той усмешкою, как он всегда отвечал на то, что (как это должны были видеть другие) не только хорошо знал, но к чему имел определенное ироническое отношение, ответил он. Он был в светлых брюках и бархатном, что только что входило в моду, пиджаке густого до черноты красного цвета и такого же цвета однотонном галстуке и сидел к окну так, что лицо было затенено и почти сливалось с цветом костюма и галстука.— Клубы,

кружки, салоны — чего стоят только «Проблемы бессмертия», или «Русские йоги», или «Макет будущего устройства общества»! — И он перечислил еще несколько подобного рода кружков, которые то вдруг возникали, то по бессмысленности своей точно так же вдруг переставали существовать и которые Куркин не то чтобы не признавал (тут надо было еще соображать), но по которым, как он считал, следует судить о состоянии общества. — Сплошь Сперанские и сплошь Магницкие, — сказал он, намекая на тот определенный период либерализма в России, который, чем он закончился, известно было всем. — Сплошь, а нужен всего-то один-единственный, — с усмешкою же заключил он; то, что он хотел сказать этим (точно так же, как и своими статьями, значение и смысл которых, несмотря на аплодисменты одних и неприятие других, никто и никогда не мог понять до конца), было как будто умным, настолько умным, что никто ничего не мог уяснить из этого.

По отношению к Мещерякову Афанасий Юрьевич держался теперь спокойно, потому что по неприязни, откровенно высказанной ему, знал, что никакой просьбы со стороны доцента уже не последует. Точно так же и Мещеряков, не посвященный в планы жены и не имевший потому никаких просьб к этому известному искусствоведу-западнику, еще более был спокоен по отношению к нему. Он только не был согласен с Куркиным в оценке Митиных работ и мысленно продолжал возражать ему, и слова о Сперанских и Магницких (которые теперь «пруд пруди») — слова эти, услышанные в том отрыве, как только мог Мещеряков, занятый своим, услышать их, попали в ту самую точку его размышлений, в которой могли отозваться лишь тем одним значением, которое он сейчас же и высказал Куркину:

— Да, вы правы. Мыслителей много, а дела нет. Мы ищем, а вон приехал мужичок из деревни, из Пензы, — поправился он, — и утер нам всем нос.

— Вы о чем? — Афанасий Юрьевич внимательно и недовольно посмотрел на него. — Это у вас там, в институте, отцы убивают сыновей, — с той мерой ехидства, которая должна была раздавить Мещерякова, затем сказал он. — Вряд ли вас кто-нибудь поймет, вас и ваших коллег. — И, уничтожив таким образом, как он думал, своего противника, с чувством победителя отвернулся от него и, приподняв фужер с недопитым вином, начал произносить один за другим те остроумные и смешные грузинские тосты, которые, несмотря на многократное повторение, всегда слушаются с интересом и которые теперь вновь привлекли к Куркину внимание.

Некоторое время продолжала слушать и улыбаться ему и Надежда Аркадьевна, хотя вся прелесть встречи была уже испорчена для нее; испорчена ее мужем — нехорошо, глупо и бестактно, как думала она, и она, сославшись на головную боль, попросила мужа (и Лию) увести ее домой.

— Ты что наделал? — сейчас же сказала она мужу, как только Лия, высадив их из своего «Москвича» и не заходя к ним в дом, оставила одних. — Ты хоть понимаешь, что ты натворил?

— Что? Что не согласился с Куркиным? Но с ним и нельзя было согласиться. Он, если хочешь знать мое мнение...

— При чем тут твое мнение? Он наш друг.

— Кто, этот Афанасий Юрьевич?

— Да.

— Какой он нам друг, с какой стороны? Я удивляюсь тебе, Надя.

— Он... Он... Он мог бы сделать тебя деканом, — наконец сказала она то, что для нее самой было ясным, простым и убедительным, и она не могла представить, чтобы можно было что-либо возразить против этого. — Он... Он...

— Каким деканом? Где? Как? — Мещеряков даже на мгновение

приостановился — так неожиданно было для него то, что он услышал от жены.

— Ты спрашиваешь — где? — сказала Надежда Аркадьевна, стоя уже посреди комнаты и полными белыми руками снимая ниточку жемчуга с шеи. — Разве ты сам не видишь? Ты думаешь, Лусо усидит после Арсеньева скандала? Его уйдут, милый мой, это видят и знают все, его уйдут, — подтвердила она, нажимая на это слово, — и кто тогда займет его место?

— Но для этого надо прежде защитить докторскую, — возразил он жене.

— Ах, была бы и докторская, было бы все, если бы ты не был сегодня таким дураком. Мне стыдно, я в ужасе, в какое положение ты поставил меня. Ты хоть об этом подумал? Ведь это был Куркин!

— Не говори мне о нем. И вообще, какое тебе дело, кто станет деканом? Тебе-то что? — повторил он с тем видимым раздражением, по которому можно было понять, что вопрос этот — кто станет деканом? — вопрос этот был не безразличен ему и давно занимал его; занимал еще прежде, чем случилось это Арсеньевое дело. — Как женщина ты хороша, я ценю тебя, но когда ты лезешь в дела служебные...

— Я?! Лезу?!

— Да-да.

— Ну, знаешь, я не навязывалась тебе, пожалуйста, ты свободен. Ты давно хочешь этого, я вижу, так пожалуйста, пожалуйста, ты свободен. — И она, сделав то холодно-неприступное выражение, с каким обычно, когда бывала недовольна мужем, уходила от него, и с ниточкой жемчуга теперь в руках гордо направилась в спальню, трянуv головой, чтобы волосы, освобожденные от шпилек и заколок, пышнее рассыпались по ее круглым плечам.

— И хорошо, и пожалуйста, — бросил ей вслед Мещеряков и тоже пошел к себе в кабинет.

Ссора эта была для семейной жизни Мещеряковых той обычноv ссорой, какие вспыхивали часто и заканчивались лишь тем, что примирение, наступавшее почти тут же (или час, или четверть часа спустя), только полнее позволяло им выказать свои чувства любви друг к другу; те чувства, которые были хотя и ложными (и ложность сознавалась каждым из них), но которые, может быть, в силу именно этой ложности выказывались со столь подчеркнутой искренностью, что делали и возможной и даже приятной их совместную жизнь. И оба они теперь, разойдясь и понимая несерьезность и обыденность ссоры, принялись со спокойствием как будто — Надежда Аркадьевна переоблачаться в свой домашний туалет, а муж в свой. Но возле встроеного шкафа, где висели его вещи, он на минуту остановился, припоминая что-то. И этим «что-то» была та привычная ему неприятная мысль, что в ссорах его с женой всегда участвовало (незримо и не ведая о том) какое-то третье лицо. «Как глупо, однако. До чего же, однако, глупо», — подумал он. Но на этот раз третьим лицом был Куркин, сейчас же возникший перед глазами Мещерякова в своем бархатном пиджаке и с тяжелюу усмешкою на лице, и то инстинктивное чувство неприязни, теперь усиленное ссорю с женой, вновь поднялось и охватило Мещерякова. «Куркин?.. Что может понимать этот самодовольный и самовлюбленный тип, этот твой Куркин?» — сказал Мещеряков, обращая эти слова к жене, и с живостью вспомнил то, что думал о Куркине там, у Ермакова, и думал о себе, о Карнаукове и обо всех западниках и почвенниках, кто в чем сходилсв и в чем расходился и что было главным и не главным в спорах и расхожденииv, и вспомнил свои суждения о Мите и его работах. Машинально, только от нервной возбужденности своей, он принялся шарить по карманам своего пиджака, отыскивая листок с адресом, который Лукашова передала ему, и, найдя его, с этим листком в руке и с по-

бледневшим лицом, не представляя, что скажет жене, решительно пошел к ней в спальню.

— Вот кем я буду заниматься, вот, а не твоими лусо, куркиными и карнауховыми. Вот, вот, знай это и больше не смей вмешиваться в мои дела,— распахнув дверь спальни и потрясая этим своим листком в воздухе, резко заговорил он.— Не смей, слышишь? — с каким-то будто бешенством, вдруг обнаружившимся в нем, почти выкрикнул он и, хлопнув дверью, с новым уже чувством к жене вернулся в кабинет.

## XXI

На следующий день после того, как цель его домашней выставки была достигнута и Афанасий Юрьевич Куркин посетил ее (важно было именно — не оценка, а что посетил), Родион Ермаков сказал Мите Гаврилову и его жене Анне, чтобы они собрали свои рисунки и очистили мастерскую.

— Большого я не могу для вас сделать, извините,— сказал он тем своим тоном, будто он, заплатив им за какие-то услуги их и видя, что они еще ждут чего-то, решил напомнить, что и без того получено лишнее.— Не могу. Да и самому пора браться за дела,— сказал он, и Митя и Анна уже через час с пакетами и холстом ехали в электричке к себе в Одинцово, где они жили не у знакомой Анны, как она о том сказала Семену Дорогомилину еще летом при встрече с ним, а снимали комнату в одном из тех частных больших в Подмоскowie домов, которые потому только и строятся большими, чтобы можно было, особенно в летний, дачный сезон, подзаработать на них.

Митя с Анною Лукашовой, ничего, в сущности, кроме новых эскизов и зарисовок к будущей картине не делая, вернее не работая нигде и ниоткуда не получая денег, проживали здесь, в Москве, те свои небольшие средства, которые были выручены Митею за проданный им баптистской общине дом в деревне; и чем меньше оставалось у них этих средств, чем очевиднее было, что надо искать работу, чтобы обеспечивать свое существование (в Пензу оба они не хотели возвращаться), тем упорнее ни Митя, ни Анна, верившая в несомненные способности приобретенного ею мужа, из которого она хотела вылепить гения, не предпринимали ничего, чтобы устроиться где-то, а продолжали лишь по тем доступным Анне каналам, которые как раз и привели ее к Родиону Ермакову, искать тех, кто признал бы талант Мити и сделал бы для него что-то. Что должно было быть этим «что-то», ни Митя, ни Лукашова не представляли ясно себе; этим «что-то» была для них лишь та неопределенная надежда, какую испытывает, наверное, всякий, пробующий силы в искусстве или литературе, думая, что, как только будет открыт и признан, сейчас же все блага жизни сами собою предоставляются ему; они жили этой надеждой, в то время как со дня своего приезда в Москву не только не приблизились к цели, но лишь более теперь были отдалены от нее. Тот первый художник Сергеевский, к которому через посредство знакомых ей лиц обратилась Анна (так как все хлопоты по устройству Митиной судьбы она взяла на себя и действовала столь энергично, что сама удивлялась этой энергии, происходившей в ней, как она думала, от любви), был хотя и известным в московских кругах художником, но, не примыкая ни к одному из тех кружков и групп, коих всегда было и есть множество в искусстве и литературе, не имел того влияния, то есть веса, с помощью которого мог бы хоть как-то продвинуть Митино дело. В противоположность Ермакову Сергеевский не устроил никакой домашней выставки Митиных работ у себя, а сделал то простое, что одно только и нужно было сделать,— свел его с той группой так называемых народных художников, которым ближе была тема утрат и страданий и которые, как справедливо было предполо-

жить, могли более понять и оценить рисунки и замысел Митиной картины.

Это были художники того круга, к которому по взглядам и понятиям жизни принадлежал Карнаухов; и по обычной случайности, каких ежедневно происходят тысячи, Карнаухов в тот день оказался как раз среди этих художников и видел Митины рисунки. Но ни он, ни художники не поняли Митиных работ и не признали в нем художника, но зло и с той откровенностью, как умеют это люди, признающие только себя и свое дело, высмеяли Митю и отвернулись от него. Главным, чего они не могли понять, а вернее простить Мите, было то, что они увидели в нем как бы свое искаженное отражение. «Если мы и обращаемся к прошлому,— было приговором их,— то, во всяком случае, не к мертвецам». И Мите оставалось только точно так же зло ответить им: «Живые только потому и живы, что есть эти мертвецы».

Он чувствовал себя оскорбленным, и из всего, что еще говорилось ему и вокруг него, пока он собирал рисунки, в памяти осталось лишь несколько фраз, которые, как он потом ни толковал их, не в силах был понять их значения. Не в силах потому, что для него, смотревшего тогда на мир искусства всего лишь глазами завсегдатая Дорогомилинской гостиной, привыкшего только к блеску луж и разговорам в ней и не знавшего, что есть другие подобные гостиницы, с другими вкусами, взглядами и теоретическим обоснованием этих взглядов (но, главное, по той не совсем еще утраченной целостности своего понимания жизни и места художника в ней), не мог представить, чтобы как-то иначе, чем это понимал он, можно было понимать и толковать цели искусства. «Мы возвращаемся к прошлому, чтобы оживить его,— говорилось вокруг Мити (хотя для чего надо было именно оживлять, то есть тянуть жизнь назад, было непонятно и можно было возразить против этого).— Ведь так можно до абсурда довести нашу идею (хотя идея Мити, очевидно было, заключалась в другом)». «Он всех нас поставит в тупик»,— говорилось кем-то другим, что было хорошо слышно Мите и было также неясно, о каком тупике шла речь. Митя ушел расстроенным и огорченным, и Сергеевский, взявшийся проводить его, по-дружески обняв за плечи, сказал ему:

— Чтобы иметь возможность что-то свое сказать в искусстве, друг мой, надо прежде достаточно убедительно сказать то, чего хотят от тебя.— И он подчеркнуто повторил это свое «хотят».

— Но чего хотят, я должен знать по крайней мере, чего хотят,— возразил тогда Митя.

И этот же вопрос он задавал себе теперь, вернувшись вместе с Анною от Ермакова. «Они только берут адреса,— подумал он, вспомнив, что и Дорогомилин брал у него адрес, а потом забыл и не пришел.— Как-то же надо, наверно, отделаться».

### XXIII

Комната их была той обычной (для дачников) комнатой, в которой есть окно, выходящее в хозяйский сад, где теперь зрели в соку и солнце яблоки, есть ситцевые в горошек занавески, сквозь которые, когда задернуть их, можно видеть и что в саду и что в комнате, есть кровать с хозяйским матрасом, подушками, одеялом и простынями, стол со стульями и та обычная для Подмосковья сырость, исходившая от стен и углов не топившегося теперь этого огромного кирпичного дома, которая как будто бывает незаметна и даже приятна в теплые дни, но угнетающе действует, когда льют дожди и небо тучами низко нависает над крышами. Митя с Анною по молодости своей и по тому открывшемуся им наслаждению от совместной жизни не замечали этой исходившей от углов сырости и не обращали внимания на нее; их грело тепло их цели, к которой они оба стремились и которая, как

ни отдалялась она от них, продолжала согревать их. Любовь между ними давно уже была не той, прелесть которой есть снятие чулок, постель и сближение тел; все это было, но не оно объединяло и сближало их; между ними как бы сама собою (что естественно и только так, само собою происходит всегда) установилась та любовь, то есть те отношения, которые в обиходе называются семейными и смысл которых не в удовлетворении чувства (без чего точно так же нет и не может быть семьи), но в обоюдном понимании и признании той главной жизненной цели, к которой всякий здравый человек всегда чувствует призванным себя, хотя и не всегда ясно осознает ее. Лукашова теперь не только не стеснялась того, что она старше Мити, и не только не боялась, что он заметит это, заметит ее морщинки, которые она прежде всегда видела на своем лице; морщинок этих теперь не было у нее; загорелое и гладкое лицо ее было полно той молодости жизни, которая, несмотря на неудачи, постигавшие ее и ее мужа (в смысле признания художника в нем),— лицо ее было так полно жизни, что по одному взгляду на него можно было сказать, что Анна была счастлива.

Вопреки предположениям врачей (по прежней жизни ее, по абортam, которые делала она), что она не сможет иметь детей, вопреки тем своим опасениям этого же, что Мите, как и всякому мужчине, захочется иметь детей, которых она не сможет дать ему, и что он, разочаровавшись в ней, разлюбит, бросит и уйдет от нее,— именно в эти дни, когда она добилась-таки устройства выставки его картин в доме Ермакова, она вдруг поняла, что беременна. Она поняла это не по тем признакам, как это описывается в большинстве книг, что что-то затеплилось и задвигалось где-то там, внутри, под сердцем и тому подобное, но поняла это по-другому, по тому верному признаку настроения, по которому всякая любящая женщина сейчас же чувствует, что случилось с ней именно то, что одно только есть для нее смысл любви и смысл жизни. Она прислушивалась к себе, стараясь уловить те физические признаки, которые подтвердили бы то, что она уже понимала душой (хотя признаков этих не было и еще не могло быть), и все мысли ее были заняты тем, как она скажет обо всем этом Мите. Она была напугана, робела и была счастлива тем, что происходило с ней, и за этим ее счастьем, робостью и бережливостью, что она как будто уже не принадлежала только себе, она не могла с той остротой и болью, как Митя, воспринимать его неудачи. Слишком разны и слишком несовместимы были для нее эти два чувства; неудачи, напротив, только усиливали в ней желание добиться, чтобы Митю поняли и признали наконец. Ни на мгновение она не позволяла себе усомниться в том, что ошиблась в Мите, и он оставался для нее все тем же устремленным и великим, каким она уже вообразила его себе, и еще более, казалось, была убеждена, что рано или поздно, но он станет (разумеется, благодаря ее усилиям) тем, кем она хотела, чтобы он стал.

«Но что же теперь, что дальше?» — было тем вопросом, какой естественно должен был встать перед ней и перед Митей, когда они вернулись от Ермакова. Рисунки Мити лежали нераспакованными перед ним на столе, белый холст был приставлен к стене и невольно как бы представлял собою то оголенное пространство жизни, перед которым (должные вступить в него) оказались теперь он и Анна, и в деревенском лице Мити (что Анне хорошо было видно) ясно как будто отсвечивало это белое, оголенное пространство холста. На коленях у Мити лежали его большие и казавшиеся всегда неуклюжими руки, те самые руки, умевшие все, которым не было теперь применения. Анна понимала это, и ей хотелось пожалеть Митю. Ей хотелось подойти, обнять и сказать ему те ласковые слова, какие всегда были у нее к нему (были выражением ее души); но в это же время, как она хотела сделать это, что-то более основательное, чем

это желание ее, подсказывало ей, что ей не следует делать этого. И этим основательным было понимание ею состояния Мити, что всякая жалость, как бы нежно ни была выражена она, будет для него только напоминанием о его провале. «Как он молча и стойко переносит все»,— подумала она, переживая за него и любясь им в эту минуту. И она по тому чувству сохранения, которому неведомо когда и как учатся люди, стала не ласкаться, а решила приняться за то простое женское дело (приготовить поесть что-то себе и мужу), которое бессловесно, но ясно должно было сказать Мите, что все случившееся у Ермакова есть только то, чего следовало ожидать там, и что ничего еще не потеряно в жизни, что жизнь продолжается и что, может быть, именно теперь только и начнется главное, ради чего она с ним, понимающая и любящая его.

Заниматься кухней для Лукашовой всегда было делом, которое вызывало у нее отвращение, и она полагала, что отвращение это будет у нее всегда, как бы и с кем бы ни жила она. Но теперь, когда она жила с Митей, она не только не испытывала того прежнего чувства, и сложность искусства приготовить обед или завтрак (к чему приспособлены бываю, как она думала, только женщины, подобные ее матери),— искусство это не только не представлялось ей сложным или невыполнимым, но доставляло удовольствие быть хозяйкой, кормить и угождать мужу.

— У меня есть блинная мука и сметана в холодильнике,— сказала она,— мы сейчас устроим себе царский ужин.— И, несмотря на то, что Митя ничего не ответил ей и даже как будто не посмотрел в ее сторону, она поняла, что надо было делать именно это, что она сказала, и она с живостью, повязав фартук и переложив Митины рисунки со стола, принялась за дело.

#### XXIV

Когда они затем, поужинав, сидели на крыльце, сбитом из досок и представлявшем собою тот черный вход в дом (со стороны сада), который специально на лето открывался хозяевами для квартирантов и дачников, было уже около восьми вечера, солнце спускалось за лес, и лучи его, скользя по макушкам берез, сосен и елей, проникали в сад и неестественным будто светом пронизывали его. Хозяйка с подоткнутым подолом, с ведром, в котором была разведена известь, и кистью в руке ходила по саду и подбеливала стволы яблонь. Что-то деревенское было во всей этой приусадебной красоте для Мити и Анны. Но Митя, когда он отрывался от подобранных теперь, после еды, и все еще мучивших его мрачных дум, видел, что все это (и хозяйка и сад), так напоминавшее деревню, в то же время имело что-то такое, что не соединялось с деревенской жизнью, и он старался понять, в чем было это различие: в том ли, как хозяйка работала, поминутно стряхивая кисть над ведром, в самом ли том деле, в подбеливании, которое в деревнях делается весной, а не в середине лета, или в той тщательной выровненности линий, как были посажены яблони, в симметричности, которую не понимал и не признавал Митя. Но он ничего не говорил Анне, и Анна тоже ничего не говорила ему, вновь вся занятая сознанием своего счастья. К ней опять вернулась та радостная возбужденность, которая происходила в ней от ее беременности, и вопрос — сказать ли Мите об этом теперь или позднее,— вопрос этот, с разною силой желая занимавший ее днем, был снова тем главным, вокруг чего собирались ее мысли. Она не то чтобы не решалась открыть Мите это, что должно было, как ей казалось, обрадовать его, но она не могла сделать этого по настроению, какое она чувствовала в муже. Ее удерживало то обстоятельство, которое она, как и всякая женщина, готовящаяся стать матерью, понимала не умом, не сердцем, а каким-то иным и высшим чувством (что она дает

жизнь), что событие это должно быть не просто радостным, но что даже известие о нем должно войти в мир в радостной обстановке. То желание счастья своему ребенку, которое затем развивается в родителях иногда до таких ненужных высот, что от материнской или отцовской любви только страдает или рушится это счастье, было теперь в Анне в том зачаточном состоянии, когда ей неожиданно, ново и приятно было сознавать его. Она смотрела на угловатое, со светлыми бровями и ресницами лицо Мити, представлявшееся ей мужественным и красивым, и от переполненности чувств к нему и от робости, происходившей от этих же чувств, и желания одарить мужа еще большим счастьем, к чему она чувствовала способной себя, она думала о том, чем она могла теперь помочь ему. Та возможность заработать, которая как у фоторепортера была у нее, была настолько мизерной здесь, в Москве, что нельзя было даже представить, чтобы прожить с мужем вдвоем на этот заработок; и ей впервые вдруг пришло в голову, что надо попробовать писать ей. Ведь говорили же ей, что есть что-то поэтическое в комментариях, какие она давала к своим снимкам. «Я напишу о нем,— подумала она.— Да, я напишу им, напишу (им — были редакции, в которые она понесет то, что будет написано ею о Мите)». И сознание этого найденного для себя дела (и своей беременности и любви к Мите) как раз и было теперь тем, что радовало ее. «Как много было того, что я не должна была делать, и как просто и хорошо это, что я буду делать теперь,— думала она, скрывая от Мити это свое радостное чувство и опуская глаза, словно шторку в комнате, за которой она переодевалась.— Да, да, было много того, что было ненужно, ложно и чего уже нет теперь. Знает ли он? Догадывается ли он?» — было в открытых, добрых, полных любви и нежности глазах ее, которые она, боясь выдать себя и тем разрушить целостность своего счастья, робела поднять на мужа.

— Думаешь, она белит для дела? — вдруг сказал Митя, после того как долго наблюдал за хозяйкой (и сочетая эти слова не столько с делом хозяйки, сколько с теми своими мыслями, о которых он не говорил Анне).— Она белит для красоты, а думает, что белит для дела.

— Ты так считаешь? — спросила Анна, чувства которой сейчас же подсказали ей, что что-то иное скрыто за этим высказыванием Мити.

— А ты разве сама не видишь? Все, что делается без пользы, всегда безвкусно, некрасиво и бессмысленно,— добавил он, все еще отвечая как будто Анне, но, в сущности, отвечая тому художнику Сергеевскому, который сказал Мите, что надо прежде сделать в искусстве то, чего от тебя хотят, чтобы иметь затем возможность выразить себя. «Они хотят заставить меня подбеливать яблони среди лета,— подумал он.— Но где эта известь и где эти яблони?»

К Мите уже не первый раз приходило это сомнение, что он делает что-то не то, что надо бы делать ему. Он чувствовал, что втягивался будто в какую-то орбиту пустых и ненужных дел (как он теперь, из отдаления, смотрел на дорогомиллинскую гостиную), конечная цель которых не только не совпадала с той, какую ставил перед собой он, но была даже как будто противоположной ей. «Что они хотят, чтобы я сделал?» — думал он, стараясь уяснить себе эту их конечную цель; и он невольно приходил к отрицанию того, во что верил, что было замыслом его картины и чему он хотел посвятить жизнь. Он смутно, бессознательно подвигался к той простой формуле, что насилие всегда порождает насилие, а добро порождает добро, которая только одна и может быть мерилем искусства, но которую именно в силу, может быть, ее простоты и ясности не принимают и предают забвению. Если бы он был человеком образованным и посетил хотя бы треть тех многочисленных картинных галерей и музеев мира, в которых экспонаты добра в течение уже веков постоянно и плано-



мерно заслоняются экспонатами насилия и безвкусицы; если бы он знал и видел все то неисчислимое и продолжающееся умножаться количество картин, подобных груде черепов и подвешенных один над другим гробов, должных вселять ужас, но вызывающих лишь отвращение — и к искусству и к жизни; если бы посмотрел на все эти заключенные в рамки сцены извращений и насилия: раскрытые человеческие черепа с небоскребами вместо мозгов, женские рты, поглощающие океанские пароходы, глобусы на макушках атомных грибов и голые человеческие тела во всех тех непотребных позах надругательства над тем человеческим, что есть существо жизни и что громкоголосым хором искусствоведов (определенного толка и словно сговорившихся трубить в одну трубу) провозглашается как беспокойство за не туда и не к тому идущий мир; если бы он видел и знал, что то, что он хотел изобразить в своей картине (и что, ему тоже казалось, было протестом насилию), давно и в более ужасающих формах изображено другими и обернулось не добром, а злом и насилием в людях, — он не испытывал бы теперь этого смутного беспокойства. Он точно бы знал, что и как надо делать, чтобы достичь цели. Он понял бы по тому примеру с Анной, в которой он лишь мало-долей тепла, какую он дал ей, возродил жизнь, и что не мертвцами и ужасами насилия, а примером красоты и добра художник должен двигать и утверждать жизнь. Но Митя не видел этих картин и даже отдаленно не мог представить себе того размаха, какого достигло это так называемое (деляческое!) искусство, в котором на передний план выдвинуты не боль за человеческие судьбы, не желание помочь людям, а злорадство над безысходностью их, над беспомощностью всякого живого существа перед насилием. Но что может дать людям чувство безысходности? У одних оно вызывает страх, у других — желание власти. Власть, жестокость и столь же жестокое противостояние этой жестокости! И ни красоты, ни преград — все дозволено. Митя не мог думать так и не думал так; но он подходил к этой мысли издали и трудно, как слепец, тычущий палкой в стену, чтобы найти выход, и так как выхода не было и Митя не мог охватить мысленно того, чего не знал, он только недоуменно повторял себе: «Так чего же они хотят от меня? Надо же сказать, чего они хотят».

— Ты знаешь, — сказал он Анне, взволнованно повернувшись к ней. — Наверное, я не художник. Кому нужно то, что я делаю? Никому.

— Ты что, Митя, ты что! — возразила Анна, полагая, что она любит Митю, любила в нем прежде всего того воображенного великого художника, каким она хотела сделать его. — Этот Ермаков и ногтя твоего не стоит.

— Но он известен... со своими квадратами и кляксами, — с усмешкою добавил Митя. — Он может позволить себе принять или не принять меня. Ты видела его картины? Их намалюет каждый ребенок.

— Я согласна, но все же, как бы он плох ни был, он может помочь тебе.

— Ты видела его картины? Что в них?

— Холод, я так понимаю, а в твоих душа, боль.

— Чего стоит эта моя душа, эта боль, если на них нет дорогого костюма?

— Я не понимаю тебя, Митя. Я боюсь за тебя.

— А ты не бойся. Я так. Тяжело, вот и все. Тяжело. — И, встав, он пошел по саду, как будто надо было ему ближе посмотреть работу хозяйки.

## XXV

У каждого слоя общества есть свои проблемы, кажущиеся важными и требующими решения. В то время как люди, подобные Лусо,

Карнаухову, Мещерякову, Куркину, прилагали усилия, чтобы уяснить, что заключено в понятиях «народ» и «благо для народа» (обеспечивая тем самым пока что блага для себя), другие, подобные Дорогомилину и Лукину, поставленные (в силу разных обстоятельств) в иные условия жизни, вынуждены были не рассуждать о благе, а создавать его; и, создавая, то есть работая на земле и с народом, точно так же, как и всякий в своей области, сталкивались с проблемами, над которыми надо было думать, чтобы преодолеть их. Одной из таких проблем, которую неохотно, с трудом (и по-разному), но все же начали уже признавать все, была проблема так называемых разорванных нравственных связей человека с землей. Павлу Лукьянову в свое время она виделась в нарушении того цикла работ, какой всегда прежде был у крестьянина; Лукину она виделась в утрате чувства хозяина, которое он не знал, как было восстановить теперь; Парфену Калинкину, председателю зеленолужского колхоза-миллионера, та же проблема виделась в обезличке земли, и он точно так же ломал голову над тем, как ответить на нее. Не умея по-научному подойти к делу, но мужицким умом своим понимая, что он как бы прикоснулся к самому корню вопроса, он еще с Сухогрудовым, когда тот возглавлял райком, пытался говорить на эту тему, потом несколько раз ставил этот вопрос перед Воскобойниковым, заменившим Сухогрудова, и думал теперь выдвинуть его перед Лукиным, на которого у многих в районе была надежда как на человека тех новых взглядов на жизнь, кто выдвигался теперь в руководство делами.

Калинкин вынашивал идею закрепления земли за отдельными механизаторскими семьями, вернее за теми крепкими (в понимании его) мужиками, которые умели бы и взять от земли и вложить в нее. «Пусть это будет называться звеньями, дело не в том,— думал он.— Дело в сути». И суть эта была так ясна Парфену, что он никак не мог взять в толк, почему его всякий раз только выслушивали и не разрешали ничего предпринимать.

— Лучший колхоз в районе, колхоз-миллионер, чего тебе еще? — говорили ему.

— Хочу, чтобы не надо было постоянно подмазывать наше деревенское колесо жизни.

— То есть как «подмазывать»?

— А так, чтобы не уговаривать и не покрикивать на людей каждый раз: «Давай-давай!» Все должно быть естественно, и «давай-давай» должно вытекать не из потребностей общей жизни, вернее не только из потребностей общей, но и из личной заинтересованности, как у себя в доме, в котором живешь: хочешь, чтобы в нем было чисто, вымоешь, и покрасишь, и венец вовремя заменишь, и тес на крыше переберешь.

— Что-то вроде фермерства?

— Фермерства не фермерства, этого я не знаю. Земля колхозная, техника колхозная, но закрепленная за семьей. И затрат меньше, и дела больше, и, главное, душа у человека будет на месте, душа — вот где собака зарыта, — говорил Калинкин, все более смелея от сознания того, что может говорить правду, то есть те свои соображения, которые давно и болезненно созревали в нем.

Хозяйство его, укрупнявшееся в несколько этапов, состояло из тринадцати деревень и располагалось на красивейших землях района, любоваться которыми можно было в любую пору года. Но для Калинкина земля эта была не просто красотой, не той супругой, на которую хорошо только посмотреть, нарядив ее, а той, с которой надо было прожить жизнь большой крестьянской семьей; и супруге этой (то есть земле), он видел, нужны были не позолоченная мишура, отдающая блеском, и не те зауженные в бюстах и талии городские наряды, в которых ни сесть, ни встать, ни притронуться ни к чему, а другие,

естественные, которые, подчеркивая всю видимую красоту тела, не сковывали бы движений и не мешали работать, а были бы удобны, броски и долговечны. Он относился к земле с тем чувством, что земля эта была соучастницей в его жизни, как и живность на дворе, за которой надо ходить, задавая ей корм, прибирая за ней и заводя в избу, если морозы, чтобы обогреть ее. Он не мог сказать, когда он начал понимать это, но с каждым годом лишь сильнее укреплялся в этом своем чувстве; тем сильнее, чем нерадивее, он замечал, относились к земле другие. «Что потеряно, словом не вернешь,— говорил он.— Делом, только делом». И по этим высказываниям его, по его стремлению восстановить те самые утраченные нравственные связи человека с землей (как это звучало по-книжному) многие называли его мужиком старой закваски, видели в нем редкостного по теперешним временам хозяйственника и ценили и уважали его.

Но между тем, каким считали, что был Калинин, и тем, каким он был на самом деле (как он знал себя), была та разница, которая бывает у людей не в силу их дурного характера или дурных целей, поставленных перед собой, но в силу тех обстоятельств, в каких приходится им работать, чтобы вести дело. Калинин был родом из этих мест, еще до войны окончил сельскохозяйственный техникум и не то чтобы любил, но умел и по-городскому опрятно одеться и быть по-городскому интеллигентным; но по председательской должности своей он видел, что ему надо было быть ближе к народу, то есть и говорить и одеваться точно так же, как все в деревне, под мужика, как он шутил над собой; он видел, что и районное начальство бывало снисходительней к нему, когда он предстал перед ним таким простоватым и тугодумным мужиком, который вроде бы и слушает и готов сделать все так, как велют, но по непонятливости и неповоротливости своей делает иначе, по-своему,— и что с него возьмешь, если он есть народ? Пожурят и простят, пожурят да и отпустят, а для хозяйства, чтобы оно крепло, и для людей, чтобы они имели то, что им надо иметь каждому в своем дворе, бывало сделано. Он видел, что, притворяясь мужиком, легче было вести дело, и он старательно подлаживался под тот ложнонародный характер, как этот характер (давно и традиционно по книгам) воспринимался многими, но каким он не был на самом деле. Брюки на Калининке всегда выглядели сморщенными и отдутыми в коленках, рубашки он носил из ситца в горошек и нараспашку, так что всегда была видна загорелая (как и лицо, и шея, и руки) грудь. Он и волосы причесывал пятерней, и ходил вразвалку, неторопливо, и в прищуренных глазах его постоянно было то выражение мудрой озабоченности, словно надо было ему сутки, чтобы решить какое-нибудь даже пустячное, каких всегда уйма в хозяйствах, дело. Но распоряжался он всем быстро и решительно, обдумывая задолго тот вопрос, который затем должен был поставить перед районным руководством; и это-то и делало его хозяином и вызывало к нему уважение — не то, которое основывается обычно на страхе к начальству, а другое, которое складывается не сразу и будто незаметно, будто из ничего, но долго затем, даже после смерти человека, живет в народе.

Но как ни считалось хозяйство Калининка передовым в районе, проблемы, какие были в других колхозах, были и у него, только, может быть, не так на виду, чтобы бить о них в рельс. То общее явление — уход молодежи из села и опустение деревень, — которое приобретает затем такой характер, что потребует принятия государственных мер, для Калининка было тем же болезненным явлением, каким оно было для всех; причиной же этого явления он как раз и считал утрату прежних нравственных связей человека с землей и был убежден, что не строительством клубов, что должно было быть приложением и разуметься само собой, не развитием художественной самодеятельности и устройством музыкальных или балетных школ и даже не приближен-

ностью деревенских бытовых условий к городским (что тоже должно было разумеется само собой), но лишь восстановлением тех утраченных связей, через посредство которых только и шло осознание мужиком своего «я» в жизни, вернее испытывалась удовлетворенность от осознания этого своего «я», можно удержать его у земли. Потому-то, несмотря на запреты, Калинин все же решил на свой страх и риск провести у себя в колхозе свой задуманный эксперимент. За одной из механизаторских семей, семьей Тимофея Сошникова, он еще в прошлом году с неохотного согласия парторга колхоза и некоторых членов правления закрепил около ста гектаров земли и теперь, когда урожай был выращен и шла уборка, с волнением ждал результатов, какие должен был дать этот эксперимент. «Не с пустыми руками, а с выкладками, с цифрами — попробуй тогда», — думал он, не имея еще этих цифр и выкладок, но живо представляя весь будущий разговор с Лукиным.

## XXVI

У Калининна, как и у всякого долго на одном месте работающего председателя, был в райцентре тот свой человек, через которого всегда можно было узнать, что собиралось делать начальство. Узнав (через этого же своего человека), что Лукин, выехавший по району, должен был заехать и в зеленолужский колхоз, Калинин еще накануне предпринял те меры, какие он предпринимал всегда, чтобы лицом, как он говорил, показать свое хозяйство.

Будто случайно, по совпадению обстоятельств в тот час и в ту минуту, как только Лукин, свернув с большака, подъехал к первым полям зеленолужского колхоза, навстречу ему из леска словно вынырнул на своем «газике» Парфен Калинин. Пожав руку Лукину и коротко поговорив с ним тут же, на обочине убранного хлебного поля, он сводил его по стерне к тем копнам соломы, по которым видно было, что обмолот был хорошим, без потерь, и затем повез не к тем бригадам, которые были на пути и к которым удобнее и легче было подъехать, а к тем, где (побывав там накануне), Парфен знал, было больше порядка, организованности и было что показать секретарю райкома. От этих бригад, где все как будто понравилось Лукину, Калинин повез его на ферму, чтобы показать знаменитую свою «елочку» — то сооружение для дойки коров, которое обошлось колхозу в сотни тысяч рублей и показывалось теперь не потому, что все на этой «елочке» было совершенно и была прибыль от нее, а потому, что пресса еще не отшумела об этом нововведении в животноводстве и престижно было показывать его. По той же «случайности», как все было в этот день, на доярках оказались новенькие, только что выданные им белые халаты, а в помещении «елочки» было так удивительно чисто, что создавалось впечатление, будто сюда и не заводились никогда коровы для дойки. Затем Лукина возили к фундаментам, которые были заложены — один под здание клуба, другой под ремонтные мастерские, — и показано было то радовавшее самого Парфена Калининна пшеничное поле (тот закрепленный за семейным звеном Тимофея Сошникова участок земли), на которое только что и будто тоже по случайному совпадению обстоятельств были выведены комбайны отца и сына с помогавшими им женами.

Председатель и Лукин, оставив машины на дороге, вышли к полю. Хлеб здесь был уже скошен, лежал в валках, и все поле представляло собою облысенное пространство, по которому двигались комбайны, подбиравшие валки. Комбайны поднимали над собою желтоватую пыль, и облака этой пыли, отгоняемые ветром, оседали затем на жнивьe и на копнах соломы, видневшихся повсюду.

Поравнявшись с председателем и Лукиным, комбайны остановились.

— Ну что, начал? — подойдя к агрегату, которым управлял Сошников-старший, прокричал Парфен, чтобы за шумом мотора слышен был его голос. — По сколько думаешь взять?

— По сорок — сорок пять, не меньше! — прокричал в ответ сверху, из кабины, Сошников-старший, повернув к председателю почерневшее от пыли и с потеками пота свое белозубое веселое лицо. Точно такое же черное и с потеками пота выглядывало из-за его плеча лицо жены, помогавшей ему.

Возле второго комбайна, спрыгнув на землю, стоял Сошников-младший со своей молодой женой и прислушивался к разговору.

— Так по сорок или по сорок пять?

— По сорок наверняка!

— Ну молодец, давай! — И Парфен сделал тот жест рукой, по которому комбайны снова двинулись вперед, поднимая пыль и вываливая за собою копны соломы.

Поле это, по которому комбайны удалялись и на которое, кряжисто стоя на стерне, смотрел Парфен Калинин, было для него не просто полем — тем очередным, чуть лучше или хуже, каким оно должно было представляться Лукину, — но было гордостью, детищем, было тем будущим, каким он хотел видеть все в своем хозяйстве; и от вида этого поля и валков на нем, по которым ясно было, что Сошников-старший был прав, и от самого разговора с Сошниковым, важного для Парфена более тем, что начальство слышало этот разговор, и, главное, от тех своих мыслей (что даст эксперимент), которые еще со вчерашнего дня, как только стало известно о приезде Лукина, занимали Калинкина, он испытывал чувство, когда ему хотелось говорить; и он живо и с намерением сейчас же начать нужный разговор повернулся к Лукину. «Ну, каковы у меня люди и каково вообще это дело, какое я провожу здесь?» — радостно спрашивали его глаза, в то время как он уже смотрел на Лукина. Но того ответного чувства, какое он ожидал увидеть на лице секретаря райкома, он не увидел; и потому он не стал ничего говорить Лукину. Он уловил (по этому выражению его), что начальство еще не готово, чтобы проникнуться сутью дела, и что Лукин, как, впрочем, и те предыдущие секретари, с кем Калинин имел дело и которых пережил на своем посту, принадлежал к разряду руководителей, которые более раскрываются душой не на поле, не от зрелища комбайнов, машин и буртов зерна, что показываются им всюду и уже не воспринимаются ими, а за столом, при виде яств, рюмок и в той атмосфере бесед, где все, что будет сказано, не есть оценка или обязательство, но есть та информация, из которой — надо затем еще помудрить, чтобы выяснить, чего хочет начальство и что будет одобрено им. Калинин почувствовал это так верно, что сейчас же взглянул на часы, затем на Лукина и опять на часы, и так как распоряжение насчет обеда было еще утром сделано им и было теперь время обеда, он предложил Лукину вернуться в село, чтобы перекусить что-нибудь, как было скромно сказано им.

— Ко мне, если не откажете, буду рад, — уточнил он, щурясь как будто от солнца, но более по той не замечаемой уже им привычке, как он всегда смотрел на начальство, которое, как ему казалось, он видел насквозь.

— Что ж, и это надо, — сказал Лукин, хотя чувствовал, что следовало сказать другое, что относилось бы не только к этому полю, на котором он стоял сейчас с зеленолужским председателем, или к комбайнеру, с которым председатель минутою раньше говорил, а ко всему, что было показано Лукину в хозяйстве и оставило впечатление; он чувствовал, что надо было сказать те слова одобрения зеленолужскому председателю, которые он заслужил и ждал, но слов этих не было у Лукина; они заслонялись теми мыслями, далекими от партийных и государственных дел, которые то с меньшею, то опять с большею, как теперь, силою вдруг наваливались и начинали одолевать его. И мысли

эти были о том сложном его положении — как быть с Галиной и как быть с семьей? — из которых он хотел и не видел, как выпутаться ему.

Выехав из Мценска в тот день, когда Галина получила известие из Москвы о смерти сына (телеграмма пришла уже после его отъезда), Лукин затем, на третий день поездки по району (и как раз накануне приезда в Зеленолужское), завернул в совхоз к жене и дочерям, чтобы повидать их. Весь подготовленный внутренне к той своей ложной роли любящего отца и мужа, какую он, обнаружив, что несложно было вести ее, разыгрывал теперь всякий раз, приезжая домой, он, поднявшись на крыльцо, увидел, что дом его на замке. Вместо обычной шумной радости, с какою дочери его выбегали к нему, цепляясь и вешаясь на руки и шею, вместо исполненного достоинства и счастья взгляда жены, каким, открывая дверь, встречала его Зина, он услышал из-за плетня голос соседки, позвавшей его, чтобы передать ему ключи от дома. На вопрос, где Зина, соседка ответила, что она с детьми уехала в Орел. «К сестре», — сейчас же решил Лукин, знавший, что двоюродная сестра жены живет в Орле, и не любивший ее. Причины отъезда могли быть разными (могло случиться, что сестра заболела, или что-то еще подобное), но Лукин сейчас же почувствовал, что причина была только та, которой он более всего опасался, что она откроется жене и ослонит все. «Она узнала и она уехала. Что теперь делать и как быть?» — думал он. И вопрос этот все утро, пока Парфен Калинин возил его по хозяйству, отвлекал Лукина. «К ней, а что я скажу ей? Как все гадко, все, все», — продолжал размышлять Лукин, садясь в машину, чтобы ехать в деревню.

Он казался мрачным и недовольным, в то время как Калинин (со своим взглядом на то, как он понимал молчание Лукина, и с практическим подходом к делу) не только не был огорчен, но, напротив, еще более как будто был спокоен, точно зная, как ему теперь с пользой для себя обойтись с Лукиным. «То ли уж место такое этот райком, то ли подбирают таких, — думал он, удивляясь этому своему открытию, какое вывел из наблюдения за Лукиным (как он прежде выводил это из наблюдений за Сухогрудовым и Воскобойниковым). — Посмотрим, однако, посмотрим, а то ведь можем и так, как правление решит». И он весело и с прищуром поглядывал то на шофера, то на приближавшиеся избы деревни, то оборачивался и смотрел, не отстала ли «Волга» Лукина и не нужно ли подождать ее.

## XXVII

Как у большинства деревенских людей, дети у Калининна, выучившись, жили в городе, и он чувствовал, что не мог с теми же требованиями, какие считал безусловными для других, подходить к ним. «Кому-то и там надо быть», — сейчас же рассудительно говорил он, как только речь заходила о его детях. И он бывал доволен тем, что то одна, то другая невестка, то дочь с мужем и детьми (и в разное время года) гостили у него в деревне.

В это лето гостила невестка Ульяна, бывшая за младшим сыном Парфена. Она приехала с двумя маленькими сыновьями и была (опять уже!) на седьмом месяце беременности, то есть в том положении, когда ей нужен был воздух, нужны были движения и нужно было (при всей этой некрасивости своей, как считалось теперь между молодыми женщинами) не быть постоянно на глазах у мужа. К невестке этой Парфен испытывал то особое расположение (по крестьянской натуре своей), что она была многодетна и что, несмотря на городское происхождение, была более (не по внешнему виду, а по характеру) деревенской, чем те, для кого нравственный дух деревенской жизни должен был быть родным.

Войдя теперь с Лукиным во двор и увидев Ульяну с детьми, играющими возле крыльца, Парфен подошел к мальчикам и, присев пе-

ред ними на корточки, сейчас же заговорил: «Ну-ка, ну-ка, кто такие, как звать?» — переноса на них свое расположение к невестке, которого не мог скрыть в себе.

— Ульяна, жена младшего моего,— затем не без гордости сказал он Лукину, представляя невестку.— Ходить надо, ходить,— уже невестке проговорил он, намекая на ее положение, глядя на ее живот и смущая ее перед Лукиным ее беременностью.— Ходить, ходить,— повторил он с той интонацией заботы о ней, что нельзя было обидеться на него или как-то по-дурному истолковать его слова.

«Как они должны быть все счастливы»,— подумал Лукин, смотревший на Парфена, мальчиков и невестку. Он подумал об этом с той мучительной для себя болью, что он не имел теперь этого счастья. Вместо этого счастья он имел Галину, с которой уже не мог быть самим собой, как не был самим собой и с дочерьми и женой, уехавшими теперь от него в Орел. Он опять с живостью представил все свое положение тонущего человека, когда не то чтобы некого было крикнуть на помощь, люди вокруг были, но стыдно и невозможно, как будто он был не одет, позвать их; и он только с улыбкой, отражавшей его мысли о себе, продолжал смотреть на Парфена, мальчиков и невестку. Лицо невестки (по беременности ее) было заострено и некрасиво; по-деревенски гладко были причесаны ее волосы; на голах от плеч руках ее, на шее и по лицу заметна была та проступавшая коричневая пигментация, которая понятно было, от чего она происходила; но именно это внешнее, что делало ее как будто некрасивой (как женщины в ее положении обычно думают о себе), как раз и привлекало Лукина, производило на него впечатление и вызывало чувство, будто главный смысл жизни, какой он всегда как идеал носил в своей крестьянской душе,— главный смысл жизни был отнят и растоптан у него. Он вспомнил о Зине, когда она была беременна своим первым ребенком и была такой же некрасивой и с пятнами на коже, как и невестка, стоявшая теперь перед Лукиным, и по какому-то необъяснимому, но ясному для самого себя ходу мыслей он понял, что ему надо делать в его запутанном положении. Ехать к ней и просить у нее прощения. «Да, да, только одно это,— мгновенно подхватил он.— И как я мог позволить себе с Галиной? Затмение, туман, как я мог, когда у меня было это счастье». И он по-другому увидел тот пароход с людьми, цветами и музыкой (что связывалось в его восбражении с Галиной), на палубу которого так хотелось ему войти. Он был теперь на палубе, но ни цветы, ни музыка, ни громкие вокруг голоса людей не радовали его. Чему радоваться, когда отдалялась земля, когда уже видна была только узкая кромка, а впереди— лишь зыбкое и бесконечное пространство моря. Надо прыгать с палубы, пока не поздно, и плыть к берегу, к земле. «Надо ехать в Орел, к ней и детям,— мысленно сказал он себе.— Сейчас же, сегодня, в ночь, туда, где нет качки, а есть твердая земля, где все основательно и есть к чему приложить ум, руки и силу». Его потянуло теперь к Зине не потому, что он понял, что любит Зину и не любит Галину; он думал о той жизни, том спокойном и простом семейном счастье, о котором, что оно есть на земле, так живо продолжали напоминать ему невестка с мальчиками и Парфен, возле которых он стоял, глядя на них; и жизнь эту, то есть ту счастливую возможность отдаваться делу, которой теперь не было у него, он сознавал, могла дать ему только Зина. «Да, к ней, чего же еще искать и думать?»

Парфен пригласил его войти в избу, Лукин не услышал, и произошло замешательство, от которого всем стало неловко, особенно невестке, для которой остановившийся на ней взгляд Лукина имел только то значение, что Лукин смотрел на ее живот и думал о ее беременности.

— Шла бы ты с ними на речку, что ли,— вдруг строго сказал ей Парфен, как если бы он был недоволен не этим затянувшимся до неприличия взглядом Лукина на нее, а самой невесткой (и, как от дурно-

го глаза, заслоняя ее спиной от Лукина).— Так заходи, Афанасьич, чего у порога мяться,— затем бросил он Лукину и, чтобы подать пример, первым поднялся по ступенькам и открыл дверь.

## XXVIII

В доме Калинкина все было давно уже не по-крестьянски, хотя еще и не по-городскому, и этот разницей деревенского и городского, так характерный — и в одежде и в убранстве комнат — для большинства теперешних деревенских семей, был сейчас же замечен Лукиным, едва он вслед за Парфеном вошел в избу. Но разобраться, в чем заключался разницей, не было ни желания, ни времени у Лукина; он только кинул взгляд на телевизор в красном углу, где прежде обычно размещались иконы, а теперь возвышалась стоявшая на телевизоре хрустальная ваза, и обратил внимание на то, как был сервирован стол: с той не забытой еще щедростью, когда на блюдах всего было столько, что хватило бы еще на десяток гостей, окажись они здесь. От грибов в масле, от малосольных огурчиков с веточками укропа, от капусты, пестревшей красными морковными жилками, от селедки, как ризой обхваченной нарезанными кружками лука, от горы отварного картофеля, еще дымившегося паром, от редьки в сметане и ломтей сала в комнате стоял тот вкусный запах еды, от которого нельзя было не подобрать душой и не улыбнуться. Тем более нельзя было не улыбнуться нарядной хозяйке, вышедшей встретить гостя и мужа, и Лукин с учтивостью, как он умел делать это, повернувшись к хозяйке, сказал ей те несколько приятных слов одобрения, которые будто сами собой, лишь от минутного будто прилива настроения явились к нему.

— В каких столовых, каких ресторанах и что можно сравнить с этой обычной, простой крестьянской едой,— уже сидя за столом и полагая, что продолжает хвалить хозяйку, сказал он, согласно кивая ей на все то, что она предлагала положить ему в тарелку.

Он выпил рюмку столичной и с охотой и много ел и был во все время обеда в том же возбужденно-веселом настроении, какое будто ни с чего поднялось в нем. Глядя на Парфена и хозяйку, он находил, что они были похожи друг на друга своей полнотой и основательностью. «Да, все у них добротно, мило, и все они счастливы»,— мысленно повторял он, думая как будто о них, но, в сущности, думая о своем решении не возвращаться больше к Галине, а ехать в Орел к жене и дочерям. Он весел был не по тому естественному чувству, возникающему от доброты и гостеприимства хозяев, как это должно было быть, а от своей проясненности, с какой он смотрел теперь на свои семейные дела. Хотя груз еще был на нем и давил его, но он видел, что можно было сбросить его; он поминутно как бы подходил к тому месту, где можно было его сбросить, и сбрасывал, и размахивал затем руками, чтобы убедиться, что груза нет. Но груз был, он чувствовал это, и веселая возбужденность его сейчас же оборачивалась той своей болезненной стороной, когда надо было ему доказывать себе и другим, что он раскован и весел, в то время как все было сковано и занято в нем одной мыслью: что он после всего, что было у него с Галиной, скажет ей и как будет говорить с женой, которая обо всем знает? И ход этих рассуждений его и ход разговора (несмотря на эти рассуждения), в котором он принимал участие, отвечая Парфену и задавая вопросы ему (те общие, на которые, впрочем, не надо было тратить усилий, чтобы задать их), по какому-то тому закону, по которому, в сущности, необъяснимо в человеке все, не только вполне уживались в нем, но чем больше он говорил и думал, тем легче было ему совмещать в себе эти две линии, которые были: одна — то, что было своим, личным и потому главным, и другая — то, что было должностным, тем, что все должны были видеть, что занимает его.

Разговор большей частью вращался вокруг того, что в России вы-



ращен был в этом году небывалый урожай зерновых и что уборка и заготовка, как сообщалось о том в газетах, по радио и телевидению, шли высокими темпами. То оптимистическое настроение, какое царило в высших управленческих сферах (там связывали все с решениями прошлогоднего мартовского партийного Пленума), было и в райкомах и в колхозах; было оно и у Лукина и у Парфена Калинин. У Лукина оно было потому, что по сводкам, поступавшим от хозяйств, было очевидно, что район не только выполнит, но может намного перевыполнить план сдачи хлеба государству (и что, главное, все это делалось, в сущности, без каких-либо особых забот со стороны самого Лукина); у Парфена же настроение это происходило от его дел в хозяйстве, особенно от того, что он чувствовал, что эксперимент его со звеном Тимофея Сошникова не просто был удачен, но давал такие показатели — и по выходу и по себестоимости продукции (что хотя и в прикидках, но было уже известно Парфену), — в которые трудно было даже поверить, настолько они отличались, разумеется в лучшую сторону, от общих показателей по колхозу. «Но что же тут удивительного?» — думал об этом своем Парфен Калинин, в то время как Лукин говорил ему о районе. Лукину приятно было говорить, что дела повсюду шли хорошо, и он невольно, не желая как будто этого, связывал успехи района со своим приходом в райком.

— Если вы помните, еще на прошлом заседании райкома... — без напряжения, без той внутренней борьбы, как он всегда прежде обдумывал то, что надо было сказать ему, повторял он теперь те прошлые (и общие) свои высказывания, по которым видно было, как они были прозрачны все.

Но Парфен, не помнивший этих высказываний и относившийся вообще ко всяким высказываниям с тем своим мужицким пониманием, что хороши они только тогда, когда не мешают делу, чем больше слушал Лукина и чем внимательнее всматривался в его молодое и возбужденное (от сознания этой своей значимости, как он думал) лицо, тем сильнее разочаровывался в нем и тем очевиднее приходил к выводу, что еще бессмысленнее, чем Сухогрудову и Воскобойникову, было говорить Лукину о своем эксперименте. «Что он смылит? Он видит себя и упоен успехом, который, если по правде, более от дождя, чем от нашего пота, — раздраженно думал Парфен. — Только загубит все на корню, и тогда ни в обком, никуда». И по мере того как все более возбуждался Лукин, угрюмее, холоднее становился Парфен Калинин. Наконец с тем чувством, как на поле, что он хорошо понимает начальство, он посмотрел на часы, потом на Лукина и опять на часы и спростил, вставая из-за стола:

— С активом еще хотели поговорить?

— Да.

— Парторг, наверное, уже в правлении. — И он прошел к окну, чтобы шире распахнуть створки, за которыми сейчас же открывалась вся та уходившая к горизонту даль, где двигались, убирая хлеба, комбайны.

Лукин тоже встал и подошел к окну.

Как всякий человек, сделавший одну глупость, не может остановиться, чтобы не сделать затем второй, третьей и четвертой, Лукин не мог преодолеть в себе той силы инерции, которая все это время заставляла его говорить с Парфеном в том общем плане, как начат был разговор; Лукину хотелось заглушить в себе беспокойство, происходившее от сознания неловкости своего положения, и беспокойство, он чувствовал, могло быть приглушено только разговором.

— Левитана бы на эту красоту или Васнецова, а? — весело будто (и неуместно, что он сейчас же почувствовал сам) сказал он, как только подошел к Парфену.

— Хозяина на нее, — мрачно ответил Парфен, которому хоть как-то хотелось дать понять Лукину, что время фраз прошло, что наступи-

ла пора дел и оценок (как этого и ждали от Лукина, выбирая его секретарем райкома).

— В каком смысле? — спросил Лукин так же машинально, как если бы речь шла все еще о чем-то несущественном.

— В самом прямом, — ответил Парфен, поворачиваясь к Лукину. — Я, Иван Афанасьич, довольно потрубил на своем веку в медные трубы и наслушался разной музыки. О нас думают, что, мол, живут там, на своей красоте, на земле этой, и, кроме плана и «давай-давай», ничего не видят и не понимают. А мы видим и понимаем. Ведь то, как мы ведем сейчас хозяйство, это подмазывание колес, и так вечно продолжаться не может. Мы прибавляем в урожае пока только за счет техники и понуканий, но не за счет земли. Земля обезличена, да, да, — сказал он, не давая Лукину перебить себя. — Председатель — это еще не хозяин. Я хозяин только общему делу, а у каждого гектара должны быть одни и свои постоянные руки. Я не знаю, как это выразить, но ведь и у Ленина нет, чтобы земля была обезличенной. — И он остановился, почувствовав, что перешагивает в разговоре с секретарем райкома за черту, за которую не следовало бы перешагивать ему. Район перевыполнял план, говорили только что об успехах, и поднимать застарелые большие вопросы было не то чтобы не к месту, но непонятно (Парфен заметил это по взгляду Лукина), для чего делать это.

### XXIX

Лукин уже не мог продолжать того ни к чему, в сущности, не обязывающего разговора, какой он за столом вел с Парфеном, как и Парфен не мог продолжать своего, только что начатого им, и оба они — и председатель и секретарь — почувствовали себя так, будто они попали в тупик; и они смотрели друг на друга, стараясь понять, как это случилось и кто был виноват в этом. Лукин был озадачен тем, что его словно хотели поставить на место; у Парфена же было такое ощущение, будто он, зная (как это было с ним в войну), что впереди нет брода и что переправа недалеко, загнал свои подводы в реку и видел теперь всю бессмысленность хлестать лошадей. «Вот как нас, дураков, учить надо», — думал он, тяжело наливаясь кровью от шеи к лицу. Его беспокоило не то, что он может теперь не сработаться с первым секретарем, но беспокоило дело (то есть проводившийся им эксперимент), в которое столько уже было вложено им и которое неосторожностью и резкостью (своим неумением, как думал он) он мог погубить. «Вот так и учить нас», — продолжал про себя он, в то время как Лукин (за клубком своих спутанных мыслей) отыскивал, что было ему ответить Парфену.

Но в самый этот момент в избу вошла невестка с детьми, и появление ее было так кстати, что и Парфен и Лукин сейчас же повернулись в ее сторону. Мальчики с шумом от порога бросились к присевшему перед ними на корточки деду, и по счастливому выражению их лиц, по счастливому выражению невестки, отпустившей их и наблюдавшей за ними, и по изменившемуся и подобрешшему лицу Парфена, в то время как он трепал внуков за розовые щечки их (что было, очевидно, привычно им и привычно ему), Лукин опять ощутил всю знакомую ему атмосферу семейной жизни, которой теперь не было у него; он вспомнил снова о Зине и о своем решении ехать к ней, и все, что не было связано с этим решением (с этой болезненно возбуждавшей его мыслью, что все прежнее с Зиной возможно восстановить ему), было забыто, и он, как и Парфен, невольно улыбался и мальчикам, и невестке, и Парфену, глядя на них.

— Вот кому жить и решать все, вот кому, вот кому, — бездумно будто и весело говорил Парфен, тогда как ясно видна была связь этих его слов с тем, о чем он недосказал Лукину. — Ну а нам — не пора

ли? — освобождаясь от внуков и поворачиваясь к Лукину, затем спросил он.

— Да, пожалуй,— ответил Лукин, чувствуя, однако, желание побыть еще среди этого чужого семейного счастья, от которого что-то будто согревалось в его душе.— Да, да,— поспешно добавил он, уловив на себе тяжелый ожидающий взгляд Парфена и не в силах отвести своего взгляда от невестки, от ее светившегося улыбкой лица, от ее живота, говорившего о ее беременности.— Разрешите, я пожму вам руку,— не зная для чего, краснея и смущаясь, сказал он невестке и, притронувшись к ее руке, направился вслед за Парфеном к двери.

Лукину (в то время как он выходил из избы) казалось, что обед прошел хорошо и что все, о чем надо, было переговорено с зеленолужским председателем. Он был доволен проведенным временем, как был, казалось, доволен и Парфен — тем, что не испортилось настроение у начальства. Но то главное, что ожидало решения и могло быть если не решено, то приближено к нему, как и при Сухогрудове и Воскобойникове, вновь было оставлено нетронутым. Ни Лукин, ни Калинин не могли как будто упрекнуть себя в том, что главное это было не тронуты ими; так случилось, таковыми оказались обстоятельства; но в то время как никто будто не был виноват ни в чем, страдало дело, от которого во многом должно было зависеть дальнейшее благополучие или неблагополучие сотен тысяч (и не только деревенских) людей.

Между тем секретарь партийной организации колхоза Дорошин, еще накануне (и не без умысла) отосланный Парфеном в дальние бригады, чтобы посмотреть, как там идут дела, и провести нужную агитационную работу (то есть то самое, что про себя называл Парфен подмазыванием колес), оповещенный теперь посланным за ним человеком, только что приехал на машине из тех дальних бригад и сидел в правлении в своем кабинете, подбирая материалы, которые могли понадобиться ему в разговоре с районным руководством. Он сидел во главе длинного, покрытого зеленым канцелярским сукном стола, по обе стороны которого курили и разговаривали между собой несколько членов партийного бюро, которые оказались в этот день на центральной усадьбе колхоза и за которыми уже Дорошиным был послан человек, чтобы собрать их. Все они были возбуждены и веселы не столько тем, что пожаловало в колхоз важное районное начальство, сколько тем, что им было с ч е м, как они говорили, предстать перед этим важным районным начальством. Тот большой хлеб, о котором всегда говорили и думали в хозяйствах и в районе, хлеб этот был выращен, и по темпам, как шла уборка его, и прогнозам погоды, как это предсказывалось метеослужбой, что на ближайшую неделю дождей не предвиделось, было очевидно, что хлеб будет весь и без потерь убран. По мнению собравшихся, дела в колхозе были не просто хороши, но хороши так, что можно было гордиться показателями; и у всех оттого было общее настроение подъема, каким охвачены были одинаково и те, кто работал в поле, и те, кто был в высших сферах руководства страной.

— Ну-ка потише, подобраться всем, идут,— сказал Дорошин, успевавший (за тем занятием, которым он, казалось, был поглощен весь) наблюдать за окном и первым увидевший подходивших к правлению Лукина и Парфена.

Лукин из всех многочисленных партийных дел, лежавших на нем, менее всего признавал полезным как раз это, какое он шел выполнить теперь, то есть менее всего признавал полезным подобные накоротке встречи с парторганами и членами бюро, какие приезжавшие в хозяйства руководители непременно должны были проводить. Еще по своей совхозной работе он знал, что разговор на таких встречах, возникающий как будто стихийно, носит всегда формальный характер, когда идет только обмен уже известной информацией и когда после обмена информацией произносится в заключение долгий (иногда

строгий, иногда душевный) монолог, насыщенный положениями, общеизвестная суть которых так ясна, что о ней забывают тотчас же, как только начинают расходиться по домам. Встав во главе райкома, Лукин хотел изменить эту традиционную форму общения, но продумать (за текучкою дел), чем можно заменить ее, не было времени, и вместе с тем как все в нем продолжало восставать против этой (для галочки) традиционной формы, встречался, произносил монологи, как и его предшественники, и видел, что никто не понял бы его, если бы он перестал делать это. Тем более он не мог ничего изменить теперь, когда более, чем партийными, что по должности было положено ему, занят был своими запутанными семейными делами.

Отводя глаза (по своему внутреннему убеждению, что должное произойти теперь есть только отвлекающая людей от дела формальность), он поочередно пожал руки сначала членам бюро, потом Дорошину и потом уселся за этим же длинным столом, за которым сидели все, и Дорошин, едва лишь Лукин взглянул на него, сейчас же начал свой доклад с цифрами и фактами, в котором неизбежно, иначе и не могло быть, повторено было то, о чем Лукин уже знал от зеленолужского председателя. Но он не перебивал, а слушал, выражая, во-первых, свое уважение к партийному вожаку колхоза и, во-вторых, уважение к делам (цифрам и фактам), о которых тот говорил. Дела действительно были хорошими, как они всегда хороши, когда есть урожай, и Дорошин старательно и с удовольствием, что было видно по нему, подавал их. Затем прослушаны были мнения членов бюро, разные в том отношении, что каждый говорил по своему участку, и единые тем, что сводились к одной высказанной партторгом оценке, и это общее приподнятое настроение всех, какое Лукин видел в глазах и на лицах, невольно передавалось ему и заражало его. И он не только не разрушал этого общего настроения, но, напротив, чувствовал, что было в этом настроении, то есть в успехах этих людей, что-то такое, что сейчас же связывалось в сознании его с его решением ехать в Орел к Зине. Ему казалось, что там, в Орле, все должно было теперь естественно и само собой уладиться для него, как естественно и само собой (и, главное, хорошо) шли дела у зеленолужцев и во всех других хозяйствах, где он побывал до них; он соединял свою причастность к общему делу с тем, что у него самого наметилось прояснение в его семейном деле. «Да оно и не может быть иначе»,— думал он, упрощая, как всякий в его положении, то сложное, что хотелось ему видеть простым и разрешимым. Ему казалось, что он уже стоял за порогом, за которым открывался простор для деятельности; но так как порогом этим был все же Орел и разговор с Зиной, мысли Лукина были направлены на то, чтобы поскорее завершить встречу и попрощаться с зеленолужцами.

Но он все же произнес свой монолог, какой необходимо было ему произнести (и какого ждали от него Дорошин и члены бюро); и произнес, несмотря на все отвлекавшие его мысли, так удачно, как он не произносил еще подобных речей. Он, в сущности, закрепил у всех слушавших его то их настроение подъема, которое важно, чтобы оно было у них, и, прощаясь, видел по их лицам, что все были довольны — и собой, и им, и делами в колхозе, и общими делами в стране, как эти дела были известны им из газет и повторены теперь секретарем райкома для них.

— Может, ко мне, поужинаем, чего же в ночь? — сказал Парфен, который снова увидел возможность о своем поговорить с Лукиным. — Ну так как, ко мне? — не отпуская руки Лукина, садившегося в машину, повторил он.

— С удовольствием бы, но не могу. За обед спасибо, было прекрасно. И вообще во всем так держать! — произнес он ту фразу, которую не любил, когда ее говорили ему («Что означает «так дер-

жать»? Не по-марксистски, статично», — думал он), и которая, несмотря на это, когда он теперь сам произносил ее, представлялась наполненной большим и нужным смыслом.

### XXX

До Орла ехать было чуть больше часа, и к одиннадцати вечера райкомовская «Волга» Лукина уже стояла напротив знакомого ему дома недалеко от центральной площади, в котором жила двоюродная сестра Зинаиды Настя. У нее и надеялся он застать теперь жену и дочерей.

Лукин редко бывал в доме у Насти и знал о ее жизни только то, что она, переменив около десятка мужей и нахлебавшись, как она говорила об этом, горя с ними, продолжала между тем вести тот же образ жизни, когда выйти замуж ей было все равно что сходиться с кем-нибудь в кино. Она была моложе Зины, росла без матери, Зина называла ее несчастной и жалела ее. Но Лукин не любил эту свою родственницу и считал, что она была не несчастна, а просто особа распущенного поведения. «При чем тут характер, — возражал он Зине всякий раз, когда та после очередного письма от сестры заводила разговор о ней, — или бесхарактерность, как ты хочешь изобразить это? Распущенность — и все, и больше ничего». Он не любил ее еще за то, что, несмотря на эту распущенность (на неудачные замужества свои), она всегда оставалась веселой, ярко одевалась и рядом со спокойной и строгой Зинаидой выигрывала тем, что была проще, доступнее и, как это замечал Лукин, готова была соблазнить и его. Неприятно теперь чувствуя это свое отношение к ней и морщась от этого, он поднялся до второго этажа и остановился вдруг по тому неожиданному повороту мыслей, по которому он не мог не сделать этого. То, за что он всегда упрекал Настю (на что он имел право тогда), что представлялось ему распущенностью, оскорбляло его и оскорбляло, как он считал, общество (по нравственным законам которого он жил), он понял, было теперь с ним, и он должен был предстать перед женой и Настей в жалком, униженном положении, в какое он не мог поставить себя перед ними. Оправдание, какое было у него для себя, — что то, что случилось у него с Галиной, было не тем, что всегда бывало у Насти, — оправдание это, он понимал, не могло иметь того же смысла для жены и Насти. «Ну-ну, рассказывай мне, я-то знаю, как все это делается», — должна была подумать о нем Настя, и надо было что-то ответить ей. Но что? Унизиться перед женой, как ни трудно было для Лукина это, — было одно; унизиться же в присутствии Насти — было, он чувствовал, невозможно. «Может быть, завтра, когда она будет на работе? — подумал он. — Да, лучше завтра». И он, повернувшись, торопливо спустился вниз и вышел на улицу.

Машины у подъезда уже не было, он отпустил ее, и он пешком направился к центру, к другу еще по комсомольской работе, у которого останавливался почти всегда, когда приезжал в Орел.

Друг этот был Зиновий Федорович Хохляков, получивший юридическое образование и второй уже срок подряд избиравшийся народным судьей. Рано польсевший (со лба, но не с макушки, и, значит, от ума, а не от чужих подушек, как он шутил над собой), с животиком, говорившим о его достатке и еще о том, что среди основных жизненных понятий его добрую половину их составляли понятия хорошо поесть и вовремя отдохнуть, с улыбкой довольства, когда он был дома, и с выражением озабоченности, как только садился в кресло судьи, он представлял собою распространенный в обществе тип людей, которые, зная свое дело и добросовестно выполняя его, позволяют себе затем, не в служебное время, философствовать на самые различные темы и давать всякому жизненному явлению свою уничтожающую оценку (снисходя со своего высока до предмета разгово-

ра), из которой, если оценки эти собрать вместе, должен был вытечь только один вывод, что всюду и во всем были не те люди и делали не то, что и как надо бы делать им. В искусстве и литературе было засилие бездарностей; в политической жизни и просвещении все заслонялось догматизмом; в промышленности и торговле, как представлялось ему, было столь же полно безликостей, как и во всех иных сферах; что же касалось сельского хозяйства, то здесь, по выражению Зиновия, не только не делалось то естественное, что должно было быть само собой, но делалось именно то противоестественное (под предлогом естественного), что шло не от ума и рассудительности мужика, а от поспешности и усердия начальства. «Может, не поучать бы его без конца? — говорил он, имея в виду деревенского человека и желая непременно сказать свое по этому вопросу. — Может, не дергать без конца повод, а дать ему самому нащупать дорогу?» Особенно он любил пофилософствовать на эту тему с Лукиным, с которым не то чтобы расходился во взглядах, как сам Хохляков считал это, но которому завидовал, видя его перспективное положение и чувствуя бесперспективность своего.

Он завидовал не только Лукину, но многим, с кем (по комсомольской работе) начинал карьеру. Он мечтал занять один из тех кабинетов, из которых направляется жизнь; но по игре в скептицизм, уже тогда заметной в нем, был отодвинут от партийной работы, которая только и могла, как думал он, привести его к цели. Он болезненно переживал это и, несмотря на высокое и почетное, какое занимал теперь, положение свое, в глубине души считал себя обойденным и невольно (чтобы для равновесия) восполнял этот пробел тем, что возводил под собою пьедестал из отрицательных оценок и гордо и самодовольно смотрел с этого пьедестала на друзей, продвигавшихся по службе. Но высказывался он всегда осторожно, с той степенью открытости, когда нельзя было его уличить ни в чем. «Я так думаю, но если это не так, и слава богу», — сейчас же говорил он видом своим, как только замечал, что спор начинал принимать неприятный для него оборот; и он продолжал поддерживать отношения с друзьями и с охотою как будто, как это должно было представляться Лукину, принимал его у себя. Он был скептиком-одиночкой (провинциального толка), которые, не позволяя никому дурно судить о себе, преподносят себя так, будто они только отражают то общественное мнение, о каком не принято говорить официально, но которое все знают, что оно есть и что не беспочвенно все в нем.

Зиновий в этот вечер, как прийти Лукину, сидел у телевизора и смотрел спортивную передачу. Передача велась из какого-то западно-германского города, наши проигрывали встречу, и он был недоволен, как разворачивались события на экране. Ему хотелось сказать об этом своим недовольстве и пофилософствовать, но Катяш (как он звал жену) читала книгу и с ней бессмысленно было затевать разговор; приход же Лукина в этом отношении был для него приятной неожиданностью, когда прямо как «из-под святых встал», как он сейчас же воскликнул, открыв на звонок дверь и увидев перед собой Лукина.

— С весны и ни разу! Как избрали — ни разу! Ну, думаю, теперь мимо, мимо, — затем сказал он, оглядывая Лукина; как бы узнавая его. — Ты же теперь хо-хо-хо! — Он произнес это свое «хо-хо-хо!» так, таким восторженным тоном, что невозможно было понять, что он хотел выразить этим — ироническое ли отношение свое к повышению Лукина (после избрания секретарем райкома Лукин впервые был у него) или радость по этому поводу, — и нельзя было потому обидеться на него. — Нет, в самом деле? — повторил он. — В обком? На совещание? На актив? На конференцию? — И он выстроил перед Лукиным ряд вопросов, на которые не надо было отвечать (и какие так естественно по теперешнему образу жизни).

— Ни то, ни другое, ни третье,— все же ответил Лукин, видя, что надо что-то сказать другу (и невольно с первых же минут этих подпадая под его настроение).— По личным. На этот раз по личным.

— Разве могут быть у секретаря райкома, извини, у первого секретаря райкома личные дела?

— Могут.

— Ну так заходи, выкладывай. Выкладывай все, просвети нас событиями с передовой. Катиш, брось книгу, гость к нам, гости! — входя в комнату, оглядываясь на Лукина и выставляя ему свой высокий гладкий лысый лоб, продолжал Зиновий. Из-под густых черных бровей его светились радостным предчувствием разговора умные и восторженно-оживленные в эту минуту глаза.

### XXXI

Катиш, вышедшая из боковой двери с книгой в руке, спокойным женским взглядом посмотрела на Лукина. Она не могла обрадоваться появлению его, как обрадовался этому муж, и сейчас же подумала, что оставшийся у нее чистым комплект постельного белья — наволочка, простыня и пододеяльник,—припасенный для себя, нужно будет теперь положить Лукину, это нарушало ее планы и создавало определенную житейскую трудность. Она еще подумала, что надо будет покормить гостя сейчас и покормить утром, тогда как холодильник по лености ее и потому, что и Зиновий и она не обедали в будние дни дома, был пуст, и как было объяснить это гостю? Но, несмотря на это, она улыбнулась Лукину той своей милой улыбкой, какой улыбалась всегда, встречая его, и, спросив, не хочет ли он чаю с печеньем и маслом (что только и было у нее), пошла на кухню приготовить стол. Но, проходя близко мимо Лукина, она заметила (по неопрятности одежды его), что за ним давно не было женского глаза. «Что-то он не такой»,—подумала она. Но она тут же забыла об этом, потому что ей трудно было представить, чтобы в семье у Лукина обнаружались неприятности. «У него совсем иные цели,—как-то сказала она мужу о Лукине,—чтобы он позволил себе что-либо». И она затем любила повторять эту фразу, как только разговор заходил о нем, но всякий раз с тем разным оттенком, что она то будто восхищалась э т и м, то будто осуждала его за э т о.

— Что, брат, заездили? Уборка? Страда? — между тем, тоже заметив помятый вид Лукина, сказал Зиновий. О спортивной передаче было забыто, и он, как на огонек, спешил теперь к новому предмету разговора (о хлебе и уборке), в котором, он чувствовал, больше было возможности пофилософствовать и высказаться ему.— Ну, я думаю, ты должен быть теперь доволен,— усаживая Лукина на стул, продолжал он.— Теперь все планы, которые ты так мощно рисовал себе, ты сможешь наконец претворить в жизнь. Это великолепно, Иван, это не каждому дается, и я рад за тебя, поздравляю, но... заезжен, заезжен.— И он еще раз внимательно посмотрел на помятый костюм Лукина и на его рубашку с несвежим вокруг шеи воротником.

— Заезжен, не заезжен,— вздохнув (что для Зиновия было к его словам, но для самого Лукина к тем его мыслям, которые ни на минуту не отпускали его), сказал он,— но работы хватает.

— Я думаю.

— Хватает, Зиновий.

— Еще бы — район! Государство! Еще бы,— повторил он, довольный сравнением, удачно пришедшим ему.— Хозяин, и никто тебе не указ. Ну а как все же с твоими планами? Удастся? — спросил он.

Зиновий знал о взглядах Лукина на деревенский вопрос и не то чтобы не был согласен с ним (все, что говорил Лукин о чувстве хозяйина, было верно), но возражал ему из тех побуждений, что возражал всегда и всем, о чем бы ни шла речь. Он возражал не против самой

постановки вопроса, что чувство хозяина во многом было теперь утрачено деревенскими людьми и что надо восстанавливать его, но он сомневался, чтобы общие слова, произносившиеся Лукиным, были применимы к делу. «Да, я понимаю тебя,— соглашался Зиновий,— но как, скажи мне, каким образом ты вложишь это свое обновленное понятие о чувстве хозяина мужику? Как?» «Делом». «Делом — это вообще, а конкретно?» Конкретного не было и, по мнению Зиновия, не могло быть, так как всякая новая форма жизни не может быть выработана одним (для всех!) человеком, а создается всеми, естественно, как бы сама собой возникая из многочисленных нравственных и социальных связей, словно росток из земли, поворачивающийся бутон к солнцу. По мнению Зиновия, Лукин хотел сразу начинать с ростка и бутона, тогда как следовало дожидаться, чтобы бутон этот созрел, а пока пропалывать вокруг него и рыхлить почву, не задевая самого ростка и бутона и давая возможность естественно развиваться ему. «Э-э, брат, не с твоим, видно, умом,— с затаенной удовлетворенностью думал теперь Зиновий, стоя перед ним, сверху и снисходительно глядя на него и улыбаясь.— То-то и заезжен, что не ты колесо, а колесо тебя».

— У тебя теперь реальная власть,— снова начал он.— И урожаяище, если по газетам, хо-хо!

— Есть и урожай, есть и власть.

— А чего нет?

— Времени.

— Ну, это еще полбеды.

«Да, да, все ссылаются на недостаток времени, когда нечего сказать»,— подумал он, отходя от Лукина и делая полукружье по комнате, чтобы справиться со своим лицом (справиться с тем чувством в себе, которое он хотел скрыть от Лукина). Он дважды прошелся по этому полукружью, сверкая по мере того, как выходил из-под люстры или входил под нее, лоснившейся к ночи лысиной. Он весь был возбужден, как ловец, поймавший не просто птицу, но ту, за которой давно и неудачно охотился; птица была перед ним, была у него в руках, и он наслаждался властью, с какою он мог теперь распорядиться этим пойманным им маленьким существом. Он испытывал почти то же, что и в суде, когда вел дело, с той только разницей, что там он представлял закон и все видели и должны были признавать за ним власть, а здесь представлял лишь свои скрытые от других мысли (отрицание всего и вся), о которых нельзя было даже подумать, чтобы о них узнали. Власть, которую он чувствовал сейчас над Лукиным, он чувствовал над ним всегда и всегда точно так же скрывал ее, скрывал так удачно, что простоватый и откровенный Лукин не догадывался о ней и не замечал ее, как не догадывался и не замечал теперь, поглядывая на Зиновия и чувствуя в нем лишь ту энергию, тот всегдашний его диапазон интересов (что и во все прошлые встречи поражало его), чего не было как будто у самого Лукина.

— Я помню, как ты темпераментно говорил: «Чувство хозяина в широком...» — В это время из кухни вошла Катиш, и Зиновий, недосказав фразы, повернулся к ней.— Уже?

— Да, если хотите.

— Разумеется.

Все перешли в кухню, и разговор был продолжен уже за чаем. Зиновий спрашивал, Лукин отвечал ему.

— Ты знаешь,— не находя прямого ответа на вопрос о чувстве хозяина (что удалось сделать в этом плане?), но и не желая оставить все без ответа, начал Лукин,— была у меня сегодня одна любопытная беседа.— И он пересказал Зиновию ту часть своего разговора с Парфеном, в которой зеленолужский председатель говорил об обезличке земли.— Я, говорит он, хозяин только общему делу, но не хозяин земле, у которой, у каждого гектара ее, должны быть одни свои ру-



ки.— Лукин вспомнил, что он ничего на это не сказал Парфену, и запоздало покраснел теперь перед Зиновием.

— И как ты думаешь, он прав? — спросил Зиновий.

— Во всяком случае, что-то в этом есть.

— Что именно?

— Мы ищем общее и единое для всех чувство хозяина, когда человек должен проникнуться сознанием, что все, что вокруг него, все его и он в ответе за все, а этого единого для всех чувства, наверное, и нет. Оно, как цепь, поделено на звенья: хозяин конкретному делу, то есть тот, кто непосредственно у земли, хозяин общему делу (по колхозу), хозяин еще более общему делу (по району) и так далее, а между звеньями этими должна быть связь — та единственная, при которой все обеспечивалось бы в полной мере. Связь подобная, разумеется, есть, но совершенна ли она? Или надо еще что-то уточнять в ней и приводить в соответствие?

— Но раньше ты говорил другое, — заметил Зиновий.

— Все в развитии, все в движении.

— Движемся, движемся, а как посмотрим — все на месте.

— Ну, положим, ты не прав.

— А когда я, по-твоему, был прав? Но прав ли ты в намерении твоём, я подчеркиваю, в намерении, когда берешься думать и решать все за всех?

— Но кто-то должен же думать и решать?

— Вот в этом-то и есть вся наша беда, что кто-то, а не народ. Выработываем, внедряем, выработываем, внедряем, поучаем без конца, как жить, а те ли это усилия, какие следует прилагать нам? Да председатель тот твой, наверное, сто раз уже продумал, как все сделать, а ты ему — связь?! Ты отпусти ему руки и увидишь, как все само собой сейчас же станет на место, — сказал Зиновий то, что он всегда говорил Лукину. — Навязывание своих идей и марксизм, — добавил он, — вещи разные. А мы с тобой оба носим партийные билеты.

— Марксизм, во-первых, не догма, а во-вторых — разве то, что я говорю, противоречит марксизму?

— Элементарно.

— Не нахожу. Но давай поразмышляем, — сказал Лукин, с охотой отдаваясь этому разговору, чтобы не думать о своем.

### XXXII

Они говорили увлеченно и долго, обращаясь для доказательства своих доводов то к объективным законам развития природы, как эти законы, многократно и в разные эпохи открывавшиеся до них, были понимаемы ими, то к законам развития общества, но с теми поправками на социальную потребность времени и на субъективность восприятий каждого, какие с разной степенью произвола допускались и будут всегда допускаться людьми. Законы эти, должные как будто быть одинаковыми для всех, трактовались, однако, и Зиновием и Лукиным по-разному. Марксизм, как понимал это учение Лукин, всегда рассматривал и будет рассматривать жизнь в развитии, и потому можно творчески подходить ко многим положениям его; марксизм, как понимал это же учение Зиновий (и что нужно было ему для возражений Лукину), напротив, трактовался им как сумма определенных незыблемых понятий, которые надо только заучивать и в которых нельзя ничего развивать и дополнять. «Этак столько нас умников наберется», — говорил он, противореча Лукину и выставляя себя истинным защитником марксизма. Они спорили то по этим общим вопросам, то возвращались к частностям, к деревне, к высказываниям Парфена, чтобы опять подняться до вершин философии, но весь этот разговор их имел только тот смысл, что каждый из них лишь сильнее утверждался в своем мнении. Они не могли выработать того, что объ-

единило бы их и было в то же время правдой жизни; но если бы даже и нашли такую правду, то разговор их все равно остался бы только разговором, каких сотни (и с разным темпераментом) происходило и происходит теперь. Они спорили о том, как улучшить жизнь, в то время как эти словесные усилия их были очевидно бессмысленны и жизнь хотя и развивалась по законам, которые они обсуждали, но не по тем видимым стрелкам, какие всегда на поверхности, а по глубинным океанским течениям, которые, оставаясь скрытыми от глаз, определяют суть происходящих перемен. Те перемены, какие происходили теперь во всех сферах жизни (как происходили они в сельском хозяйстве, чем был захвачен Лукин), продиктованы были именно этими глубинными потребностями, и уже в том, что перемены происходили, как раз и проявлялся тот объективный (с точки зрения марксистского учения) закон развития общества, влияя на который можно либо только замедлить, либо ускорить процесс, но нельзя остановить его.

— Позволь, позволь,— говорил Зиновий.— Зерно, стебель, зерно... в новом качестве, но не зерно — зерно. Так быть не может. Это было бы противоестественно, было бы делом рук человека и возможно ли вообще?

— Но почему же то, что есть дело рук человека, есть результат деятельности его ума, непременно объявлять противоестественным? Человек — это та же природа, и выражение его деятельности есть точно так же естественное выражение природы,— возражал Лукин (для того только уже, чтобы возразить).

— Так можно любое преступление объявить делом естественным.

— Но-но, не переводи, не о том речь.

Катиш, незаметно ушедшая из кухни в самом начале разговора, несколько раз затем (не в силах заснуть от их шумных голосов) возвращалась и говорила мужу:

— Не пора ли? Завтра же у тебя трудный день.— Она всегда бывала в курсе мужниных служебных дел.— Да и гостю дал бы отдохнуть.

— Да-да, заканчиваем,— говорил Зиновий.

Но только в третьем часу, разгоряченные и оставшиеся каждый при том своем мнении, которого они сами не могли бы теперь толком сформулировать себе, они пожелали друг другу спокойной ночи и, выключив свет и разойдясь, легли спать. Зиновий заснул сейчас же, так как закончившийся разговор был для него лишь той открытой заслонкой, через которую выпускают угар из избы; угар, накопленный за месяцы, пока он не видел Лукина, был выпущен, заботиться было уже не о чем, и из спальни неторопливо растекался по комнатам тихий и здоровый храп здорового человека. Лукин прислушивался к храпу и не мог заснуть. Сначала оттого, что ему было неловко, что он ни в чем не согласился с Зиновием и спорил с ним. «Так не может быть, чтобы я был во всем прав,— думал он, обращаясь к тем подробностям разговора, которые больше запомнились ему, но видя по этим подробностям, что согласиться с Зиновием было нельзя.— Надо было еще сказать ему то-то и то-то,— думал он, произнося эти «то-то» и «то-то», как бы он теперь сказал все Зиновию.— За мной не только теория, но за мной жизнь»,— говорил он, что было, казалось ему, главным аргументом. Но в то время как он упоминал слово «жизнь», он представлял себе не тех людей, которые работали на полях, убирая хлеб, а вспоминал о беременной невестке Парфена с ее детьми и о своем запутанном семейном положении, как это все выглядело теперь перед людьми, и тот вопрос, какой он уже сотни раз мучительно задавал себе — как все получилось? — задавал снова, с подступающей тошнотой думая об этом. Но он не находил истока, а видел только, что все в отношениях его с Галиной сводилось лишь к той физической близости с ней, к тем наслаждениям (что только и могла дать эта женщина), о которых Лукин вспоминал теперь с отвращением, как о чем-то постыдном, будто за возможность лизнуть леденцового пе-

тушка на палочке ему предлагали пройтись нагишом перед толпой; он вдруг, в полудреме чувствуя эту свою наготу, на которую смотрят все, открывал глаза, но вокруг была только темнота комнаты, было одеяло, которое он сейчас же инстинктивно натягивал выше на грудь. «Нет, ничего еще не случилось, и завтра я все улажу с Зиной, — говорил он себе, в то время как в душе его поднималось то общее отвращение и к жене и к Галине, какое он испытывал к ним уже не раз, будто они и только они были повинны в его теперешних затруднениях. — Я связан ими, да, связан, — продолжал думать он, — и не могу сделать того настоящего дела, какое я сознаю в себе силы сделать для людей. Было столько замыслов, Зиновий прав, а что воплощено в жизнь? Ничего. Ровным счетом ничего. Я даже не в состоянии сформулировать теперь те замыслы, которые так ясны были для меня». И только он закрывал глаза, как все, что он говорил, куда-то вдруг будто проваливалось, и он видел перед собой толпу, жаждущую его наготы, и леденцового петушка на палочке, которого предлагали лизнуть ему. Он ворочался, укутываясь одеялом, которое сваливалось с него (и с дивана) на пол; пружины скрипели под его тяжестью, подушка казалась неудобной и горячей, и он, вспотевший (и от чувства пристыженности и от неудобства положения), вновь всматривался в темноту комнаты и прислушивался к храпу Зиновия. Мысли его как по кругу сосредоточивались то на Галине, то на жене, дочерях и всей той жизни с ними, в которой, как это теперь казалось Лукину, было что-то такое, чего он не понимал — ни прежде, ни теперь, — но что, он чувствовал, было главным и надо было понять ему; он думал обо всем, что имело отношение к работе, к жене, к Галине, и лишь ни разу не вспомнил о сыне Юрии, который, привезенный в эту ночь Дементием из морга, лежал в Галиной комнате в гробу причесанный, одетый, убранный, в окружении родных, которым он был не нужен при жизни, но которые приехали теперь проститься с ним. «Но где же отец?» — как будто спрашивало у всех успокоенное в гробу лицо мальчика. Отца не было. Отец ничего не знал об этом. Отец, то есть Лукин, даже отдаленно не мог предположить, чтобы что-то подобное могло случиться с сыном; он был поглощен собой и только время от времени сквозь тяжесть мыслей улавливал какое-то предчувствие, которое, однако, сейчас же соединялось с унижительной картиной наготы и толпы, будившей его.

Он заснул лишь под утро и был тут же разбужен хрипловатым (от вчерашнего разговора) голосом Зиновия:

— Вставай, Иван, кофе остынет. — Зиновий был уже побрит, одет и повязывал галстук. — Мы уходим, и я и Катиш.

### XXXIII

От общей ли удовлетворенности жизнью или оттого, что угар, выпущенный накануне, давал ему теперь возможность для этого настроения, Зиновий все утро, пока завтракали, весело пересказывал анекдоты, имевшие тогда хождение и во множестве известные ему. Анекдоты были не столько смешными, сколько наполненными определенным смыслом, и были из тех коротких, в которых два встретившихся лица вели между собою примерно такой диалог. «Как живешь?» — спрашивало одно лицо. «Как в автобусе, — отвечало другое, — и выйти бы надо и место нагретое жаль отдавать другому». И, преподнеся это, Зиновий улыбался и приподнимал толстую верхнюю губу, открывая на обозрение всем свои не съеденные еще, крепкие белые зубы.

— Ты это о себе? — говорила Катиш. — Допросишься ты чего-нибудь со своим языком.

— А что тут, ну что? Хотя бы и о себе. Кому с нагретого кресла хочется уходить? — Он смотрел на жену и переводил взгляд на Лукина, как будто не сомневался, что тот поддержит его.

Но Лукину было не до анекдотов. Он слышал лишь веселый голос Зиновия и улыбался этому голосу, но думал о своем. Он думал о сценах наготы и толпы, которые всю ночь донимали его, и видел в этом зависимость, какая всегда есть у человека от общества. «Если бы я был свободен,— думал он,— я бы вернулся сейчас в район, на поля, в хозяйства, где все ясно, все заняты делом и где я тоже был бы занят делом. Но я несвободен, а должен улаживать свой семейный вопрос, и это ужасно, что человек несвободен»,— думал он. Себе он мог объяснить все. Но Зина, он знал, не поймет, и никто не поймет (никто — были для Лукина те окружавшие его по работе люди, отцы семейств, для которых разрушение семьи, как и для него прежде, было только злом, не имевшим оправдания). Ему казалось, что он как будто вынужден теперь идти к Зине не от любви к ней, а из необходимости поскорее одеться и смешаться с той самой толпой, на глазах у которой он был; и он, машинально отвечая на анекдот Зиновия, говорил, что в нагретом кресле всегда уютно, зачем же уходить из него. «Да, один, и я никому не смогу доказать, что хотел не этого, что теперь со мной, а другого — труда и жизни»,— думал он.

Он старался держаться так же, как он держался всегда, бывая у Хохляковых. Но Зиновий, заметивший его беспокойство, не знавший причины его и повторивший лишь свое вчерашнее: «Заезжен, заезжен», спросил затем, когда вышли на улицу и надо было прощаться:

— Так в обком или по личным?

— В обком,— подумав, сказал Лукин, забывший о том, что он говорил Зиновию прежде.

— Ну-ну, желаю удачи. Заходи, не забывай.— И он, пожав руку, с минутой еще смотрел на Лукина, уходившего через площадь к зданию обкома.— Таким всегда щеголем приезжал, а на этот раз ты заметила? — сказал он жене.

— Неприятность какая-нибудь.

— Неприятность неприятностью, а воротничок у рубашки, ты извини меня, должен быть чистым, когда идешь к начальству,— в то время как он видел, что Лукин обернулся к нему (и в то время как сам Зиновий поднял руку, чтобы на прощанье приветливо взмахнуть ею), с усмешкой произнес он.

Спустя час с выражением непорочности на лице, как у всех судей, начинающих процесс, Зиновий, сопровождаемый народными заседателями, вошел в зал и сел в привычное с высокою спинкой и гербом кресло. Это был теперь другой человек, и выражение непорочности, по мере того как он входил в дело, было заметно уже не только на лице, но во всем: и в том, как он говорил, обращаясь к заседателям, прокурору, подсудимым или адвокату, как принимал подаваемые ему бумаги и, надевая очки, читал их, и в том, как в перерывах между заседаниями пил чай с лимоном и сахаром, приносимый ему секретаршей, и уже не пересказывал, как утром Лукину, анекдоты, а произносил только то, что было благопристойно, умно и согласно с общепринятыми оценками жизни. О нем нельзя было подумать, чтобы у него был иной образ мыслей, чем тот, какой он теперь подавал всем; и эти все, кто был вокруг него и слушал его, равно как и те, кто слушал и смотрел на него в зале, когда он восседал в своем судейском кресле, видели в нем лишь воплощение справедливости, той высшей, какой всегда ждут от судей, тогда как вся их справедливость состоит только в том, чтобы не отступать от буквы закона. Зиновий не отступал от буквы закона и отрицал в эти минуты все, что он утверждал дома; он здесь, в суде, боялся того себя, каким он был дома, и не разрешал себе домашнего философствования. Выйти на люди с этим своим домашним философствованием у него не хватало смелости, как не хватало ее и на то, чтобы не повторять перед сослуживцами заезженных истин; но еще более не хватало смелости признать, что настоящей философии

нет у него и потому вся жизнь его ото дня ко дню двигалась не по спирали, как он сам думал о том, а по кругу, замкнутому в себе, на котором с разною лишь дистанцией времени возникали остановки (подобные вчерашнему разговору с Лукиным), когда, выйдя из общего вагона жизни, можно было взглянуть на поля, строения, людей, чтобы затем, полюбовавшись ими, ехать опять в том же общем вагоне и с теми же надоевшими соседями до следующей остановки; и Зиновий, спустя час не помнивший уже о Лукине, ехал именно снова в том же вагоне, нанизывая этот очередной день на привычное для себя кольцо жизни.

Точно так же и жена его Катиш (Екатерина Павловна для слушателей), забывшая спустя час не только о Лукине, но и о муже, которым она была недовольна за его злословие, со строгим лицом учительницы пересказывала, стоя с указкой у доски и у карты, ту свою до каждого слова известную ей лекцию по политической экономии, которая для слушателей была открытием, а для нее самой тем, чем заполнялось вокруг нее время и пространство и приносило заработок; как и муж, она ехала все в том же общем вагоне жизни, привыкнув к нему и не представляя даже, что возможен какой-либо иной свет из окон, иной шум от колес, иная обивка стен и кресел в купе; она точно знала, как закончится для нее этот день, и чем начнется следующий (и все остальные), и как будет все у нее в этот вечер (и во все последующие) дома, и не только не тяготилась, но была рада этой неизменности и достатку. «Жизнь надо еще уметь прожить», — говорила она коллегам, гордясь тем, что все было устроено и округлено в ее жизни.

Но для Лукина, спустя час ехавшего в машине из Орла в Мценск, жизнь не только не двигалась по спирали или по кругу, но стояла как будто точно на том же месте, как и день и два назад, когда он объезжал хозяйства района, был у Парфена и ночевал у Зиновия. Мучивший его семейный вопрос не только не был решен им теперь, после Орла, но, казалось, был еще более отдален от своего решения. «Она не захотела увидеть и поговорить со мной, — думал он. — Но чего же было еще ждать? На что я надеялся?» И он вспоминал подробности, как он, поднявшись на нужный этаж и нажав кнопку звонка (и пристыженно ожидавший увидеть жену с дочерьми), увидал Настю, преградившую ему вход в комнату.

— А-а, это ты? Ее нет, — сказала она.

— Как нет?

— Она сказала, что ее нет, так и нет, — повторила Настя, для которой Лукин был не начальником, не секретарем райкома, а был мужем ее сестры и, как все, очевидно, мужья, как она думала, совершив что-то непристойное, пришел загладить вину. — Ну не хочет она видеть тебя, не хочет. — И в глазах Насти стояла усмешка, понятная Лукину и оскорблявшая его.

— Но что же мне делать? — спросил он, краснея теперь, при воспоминании этого.

— Пережди, дай успокоиться ей, а потом, когда перемелется все, тогда и приедешь.

«Перемелется... Но что же должно перемолоться? — думал он. — Только то, что у меня снова нет ни семьи, ни дома и я еду в Мценск, чтобы вести тот же образ жизни, какой вел прежде?» И ему ужасно было это чувство, будто он, возвращаясь в Мценск, возвращался именно к Галине и ко всей той неопределенности своего положения, выносить которую было уже не в состоянии ему.

Машины с зерном, которые они обгоняли и на которые Лукин не мог не смотреть, потому что они загораживали дорогу, напоминали ему, что в районе шла уборка хлебов и что он не то чтобы был причастен к этому общему народному делу, но возглавлял его. По приезде в Мценск он наметал провести бюро райкома, посвященное вопросам

уборки, и должен был охарактеризовать положение дел в районе. Но ему нечего было сказать членам бюро. Он чувствовал, что не мог обобщить того, что видел в хозяйствах, и это (в дополнение к семейным сложностям) еще более угнетало его. Мысли его, перебегавшие от одного предмета размышлений к другому — от жены к Галине и от Галины к работе, составлявшей смысл его жизни, — возвращались то к разговору с Зиновием, не оставившему как будто никакого следа в душе Лукина, то к высказываниям Парфена, в которых, как это снова теперь казалось Лукину, было заключено что-то главное, над чем он сам постоянно думал; и по связи этих разрозненных событий, суть которых он пока не мог объяснить себе, он чувствовал, что ему надо снова повидаться с Парфеном. Для чего? Ему казалось, что он должен еще что-то уточнить у Парфена, и он, положив вдруг ладонь на руку шофера, державшего руль, сказал ему:

— Сворачивай-ка в Зеленолужское.

— Мы вчера там были, Иван Афанасьич, — возразил шофер.

— Ну так что, что были? Поедем снова. — И он смущенно улыбнулся от воспоминания того, как он смотрел на беременную невестку Парфена, которую должен был снова увидеть теперь.

#### XXXIV

В это утро, когда Лукин приходил к Зине, она уже третий день как жила с детьми у сестры, стесняя ее. Она видела и понимала это, но была в том состоянии, когда ни о чем другом, кроме как о муже, растоптавшем все, что она сделала для него (родила ему этих девочек, таких прелестных, с косичками и бантиками, на которых сердце надрывалось теперь смотреть, что они остались без отца), она не могла думать. Вся чистота ее жизни была нарушена; нарушено было то главное, во что она верила, и ей казалось, словно по натертому ею паркетному полу, на который она сама даже в тапочках не решалась ступить, чтобы не замарать его, кто-то грубо прошел в сапогах и оставил следы грязи. Она с ужасом смотрела на эти следы грязи, и следы были — следы ее мужа. «Он, да, это он», — с ужасом говорила она себе и не выходила из дому, боясь, что встретится с ним и что он прикоснется к ней.

— Но что же между вами произошло? — допытывалась Настя.

Зина молчала.

— Ну и глупо, — в конце концов заключила Настя, привыкшая смотреть просто (философски, как она говорила) на то, что было теперь с ее сестрой.

Весь ход рассуждений Насти (поскольку эти рассуждения не касались ее) был так прост и ясен ей, что она не могла чувствовать себя озабоченной за сестру. Что Иван мог изменить Зине, этого она не предполагала. «Но если бы даже и это, что же так мучиться?» — думала она. Когда ей самой в первый раз изменил муж, она восприняла все так, что слегла в больницу и разошлась с ним. Но это было давно и было, как она теперь говорила себе, глупо. «Из всего этого вышло только то, что я испортила жизнь себе, а не ему, и Зина испортит себе». Искренне полагавшая, что она знает мужчин, как нужно обращаться с ними, но не имевшая в силу, может быть, именно этих своих знаний мужа (как тот сапожник, о котором говорят, что он без сапог, или портной, не выбравший времени сшить костюм себе), Настя со всем этим своим опытом жизни хотела помочь теперь сестре и поучить ее. Насте казалось, что все заключалось только в том, чтобы не переступить определенную черту (как она уже говорила Зине) и не довести до развода. «Он-то найдет себе, а ты? Кому нужна будешь ты со своими двумя?» — было главным аргументом ее.

— Одно дело — мои, другое дело — твой, — сказала она и посмотрела на девочек, дочерей Зины, тихо игравших в углу дивана в куклы и забывшихся за этой своей игрой.

Девочки независимо от тяжести семейной ссоры, каждую минуту чувствовавшейся их матерью, были в чистеньких, выглаженных платьицах, были аккуратно причесаны; белые банты, вплетенные в косички, и белая отделка по голубым оборкам пышных юбочек придавали их нарядам что-то будто праздничное, будто торжественное, чего не заметить было нельзя и из чего Настя, зная сестру, делала вывод, что, как ни глубоко было желание Зины не видеть мужа, она надеялась втайне, что он придет, и ждала его. Настя почувствовала это еще утром, когда увидела, как Зина укладывала перед зеркалом свои волосы и подбирала платье, какое надеть ей. Надето же было теперь на ней то, какое, Настя знала, муж Зины любил на ней, и на плечи был накинут (несмотря на то, что в комнате было тепло) тот ее белый, редкой работы шерстяной шарф, который, что Настя тоже знала, точно так же любил на ней видеть Иван.

— Кого ты хочешь обмануть? Ты же себя обманываешь, я вижу, — сказала она Зине.

Разговора не получалось, Зина не то чтобы не хотела, но не могла говорить с сестрой, и в это время в прихожей раздался звонок, заставивший вздрогнуть и обернуться их. Звонил Иван, и они сейчас же обе поняли это. Настя с тем выражением на лице, словно она всегда знала, что так будет, направилась было к двери, чтобы впустить Лукина, но Зина, вскочившая со стула и преградившая ей дорогу, была так бледна и так испуганно и зло было ее лицо, в то время как она смотрела на сестру, что Настя остановилась.

— Ты что, ты что, дрожишь вся, — беря за плечи ее и пугаясь сама непонятно чего по тому только необъяснимому явлению, что чувства близких передаются друг другу, торопливо сказала она.

— Не открывай, прошу тебя, — еще более бледнее и не меняя жесткости своего выражения, проговорила Зина. — Я прошу тебя, прошу, — прошептала она и, бросившись от Насти к девочкам, сгребая их, повела в другую комнату.

Настя не впустила Лукина. Но, вернувшись после разговора с ним, почувствовала, как будто не с сестрой, а с ней самой повторялась теперь забытая ею размолвка с мужем. То утреннее настроение ее, та легкость, с какою, привыкшая к своему образу жизни, она думала о семейной ссоре сестры, весь тот успокоенный будто с годами мир ее чувств был разбужен теперь в ней. Она взглянула на дверь, за которой была Зина, не столько прислушиваясь к звукам возни, происходившей там, и всхлипываниям, доносившимся оттуда, сколько к тому поднявшемуся в себе протесту, какой не переставая все эти годы жил в ней; веселость, происходившая будто от простоты ее взгляда на жизнь, она чувствовала, была вовсе не от простоты взгляда, а была лишь той вынужденной декорацией, тем подсветом, за которым не видны были настоящие ее желания и чувства. Мысленно переставив себя на место Зины, Настя с ужасом подумала о том, что сестра не переживет этого несчастья. «Она не вынесет», — просто и ясно сказала она себе, в то время как она смотрела уже не на ту дверь, за которой была Зина, а на ту, за которой, казалось ей, все еще стоял Лукин. «Она не вынесет, и надо помочь ей, и никто, кроме меня, не сделает этого». И она на носках, поминутно оглядываясь, словно Зина, увидев, что она делает, опять бросится и остановит ее, пошла в прихожую и открыла дверь. Но Лукина за ней не было. Она заглянула через перила, но и там никого не было. Тогда она, наклонясь, позвала его. Но из глубины подъезда донеслось до нее только гулкое и невнятное эхо ее голоса. Она позвала еще раз, уже настойчивее, и опять послышалось в ответ только гулкое, как из колодца, эхо ее голоса. «Ушел», — подумала она (с тем чувством, словно она была виновата в этом). Но именно этот быстрый

уход Лукина как будто разбудил ее к деятельности. «Гордецы, камень на камень, да сами они никогда не помирятся!» Мысль эта с такой быстротой промелькнула в ней, что она, вернувшись в комнату, сейчас же принялась собираться, чтобы пойти за Лукиным в обком и привести его. Как ни далека была Настя от интересов той работы, на которой был муж Зины, но знала, что искать его надо было в обкоме. «Поддержали друг другу нервы — и хватит, и довольно», — думала она, с пышно взбитыми уже волосами, с яркою косынкой на шее стоя перед зеркалом. Она была уже та привычная всем Настя со своим и по-своему деятельным характером, с решимостью, какую она обычно проявляла не там и не в тот момент, когда это требовалось, со всей своей яркостью наряда и живым, энергичным (от этой внутренней готовности сделать что-то) лицом; мысли ее были устремлены к одному — найти и привести его. Это необходимо было сделать ей еще из той простой житейской потребности, что кроме того, что Зина с детьми стесняла ее, надо было еще кормить их и прибирать за ними; надо было делать все то, к чему Настя меньше всего чувствовала способной себя, и она понимала, что если теперь, пока у нее было время (были свободные от работы дни), не соединит их, то все может затянуться и это будет мучительно для всех.

Настя готова была уже к выходу, когда Зина, успокоившая ею же самую напуганных девочек, вышла к ней. Она не спросила у Насти, куда и зачем та собралась, но вопрос этот был в ее глазах, и Настя машинально и сейчас же прочитала его.

— Я быстро, — сказала она сестре, отвечая на этот ее вопрос. — Ты только не уходи никуда, дождись меня. — Она направилась было к двери, но остановилась, уловив в глазах сестры какое-то новое выражение.

«Я знаю, куда ты идешь. Ты идешь за ним, и хотя я не хочу видеть его, но я благодарна, что ты идешь за ним», — прочитала Настя это новое выражение в глазах Зины.

«Да, и он сейчас будет у твоих ног», — взглядом же ответила она сестре.

— Ты только не уходи никуда, — затем повторила она с какою-то будто воинственностью и, светясь вся этим делом, какое направлялась решить теперь, вернее успехом, каким, казалось ей, должно было увенчаться все, пошла из комнаты, гордо и красиво переступая ногами — походкой, в которой она видна была вся со всем своим простодушием, стремительностью и легкостью к переменам настроения и целей жизни.

Но обновленное выражение глаз и лица Зины не означало того, о чем подумала Настя. Обновленное выражение ее говорило о том мучившем ее сомнении, какое так ли, иначе ли, но должно было прийти к ней (относительно связей ее мужа с другой женщиной). Хотя источником, из которого она узнала все, были не слухи, а письмо подруги из Мценска, подтвердившее лишь все эти слухи; хотя источнику, то есть письму этому, которое Зина, перечитав несколько раз, не порвала, а хранила как доказательство, не придать значения было нельзя (потому-то и оказалась она с детьми здесь, в Орле), — по бессознательному чувству самосохранения, по тому чувству надежды на лучшее, какое всегда живет в человеке, что бы ни случилось с ним, она, с ужасом перебирая весь ход омерзительного, как она думала, падения мужа, оставляла для себя вместе с тем ту возможность обмана, необходимого ей теперь, чтобы поверить, что то, что было с мужем, было несерьезно, было придумано и наговорено кем-то на него. Обновленным выражением ее было теперь то, что она готова была принять эту необходимую ложь, которую должен был сказать ей муж. «Ради них, ради наших детей», — говорила она, в то время как мысленно прощала мужу. Но как только она воображала эту встречу, она вспоминала о письме, и вопрос — ложь ли все или не ложь? — вопрос этот опять вставал перед



ней и начинал терзать ее. Она боялась не столько встречи с мужем, сколько того, что он признает все; она чувствовала, что не перенесет этого, и хотела другого, лжи, в которую готова была поверить, лишь бы ложь эта была решительно и с настоянием высказана ей.

«Зачем это письмо? Для чего он сделал со мной это? Хочу ли я его видеть и могу ли жить с ним после всего?» — думала она, тем больше теряясь и путаясь в своих мыслях, чем больше она думала; и она по-смастривала на дверь и прислушивалась, ожидая возвращения Насти.

#### XXXV

Шла уже вторая половина сентября, но следствие по делу Арсения не только не было завершено, но не видно было конца, когда оно завершится.

Все усложнялось тем, что Арсений, должный как будто отрицать преднамеренность убийства (как это было бы по здравому смыслу и соответствовало действительности и чего, собственно, добивалось от него следствие), в показаниях своих объяснял все таким образом, словно он преднамеренно, с полным пониманием того, что делает, совершил преступление. «Да, убил,— говорил он, особенно на первых допросах.— Но не мальчика (так он называл теперь своего приемного сына), а зло, которое подавляет людей. Я уничтожил только то, что не должно существовать, и если вы не видите этого, у меня нечего больше добавить вам». Но следствию нужны были факты, надо было выяснить психическое состояние Арсения, допросить мать убитого, то есть Галину, увезенную в Тюмень, и допросить ее брата; надо было выяснить обстоятельства жизни Юрия в Москве, побывать в школе, где он учился, и допросить тех самых «заящичных» друзей убитого, о которых никто ничего толком сказать не мог, и выяснить обстоятельства жизни его в деревне и направить по этому поводу запрос в Курчавино и Поляновку; надо было допросить Наташу, ее отца и еще десяток разного рода людей, так или иначе общавшихся с Арсением и Галиной, и на все это требовались время и усилия. Кроме того, у следствия возникали еще и те трудности, которые предвидеть было нельзя. Галина сообщала, что больна и не может приехать в Москву, а протоколы допроса с нее, заполнявшиеся местным (из Тюмени) следователем, нуждались в уточнении и возвращались. Почти то же происходило и с бумагами, приходившими из Мценска, Поляновки и Курчавина, и дело Арсения обрастало перепиской. Вокруг следствия к тому же, как это и бывает всегда, разворачивалось то противоборство сторон, вытекавшее из различия их интересов и понимания ими правды, добра и справедливости, результатом которого должно было быть оказание определенного давления на ход дела. Сухогрудов-отец и Сухогрудов-сын, представлявшие потерпевшую сторону, предпринимали усилия, чтобы осудить Арсения. Наташа и Сергей Иванович, вдруг и решительно (так как другого выхода не было у него) вставший на защиту дочери и ее мужа, предпринимали, насколько это было возможно им, те противоположные Сухогрудову-отцу и Сухогрудову-сыну шаги, которые должны были привести к оправданию Наташиного мужа. Одна сторона обращалась к прокурору и следователю, стараясь (хотя это было бессмысленно) воздействовать на них; другая, то есть Наташа и ее отец,— к адвокату Кошелеву, советуясь с ним и объединяясь вокруг него. Кошелев признавал Арсения невиновным и полагал, что процесс может быть выигран; и он вникал в подробности уже не из того только первоначального соображения, что здесь было на чем поправить свою начавшую уже угасать славу известного адвоката, но дело Арсения вызывало в нем интерес уже нравственными мотивами, которые, приложенные к социальным, приоткрывали будто перед ним определенную и не исследованную еще никем область связей между реальностью и иллюзией жизни. **«Надо перечитать все, что он написал»,— сказал себе Кошелев**

и во время очередной встречи с Наташей попросил у нее разрешения ознакомиться с рукописями Арсения.

— Это важно, — сказал он ей. — Я должен уяснить все, вы понимаете меня?

— Да, да, — поспешно согласилась Наташа, понимавшая только, что надо верить адвокату и делать, что он просит; и она, поехав с ним на квартиру Арсения, помогла отобрать все, что интересовало его.

Произошло это в пятницу, и впереди у Кошелева были те два свободных дня — суббота и воскресенье, — когда он мог, не отвлекаясь ни на что, отдать делу. Он собирался внимательно просмотреть дневники Арсения, в разное время начинавшиеся им, черновик его известной кандидатской диссертации о древнегреческой демократии, защищенной много лет назад, и, как говорили, блестяще, главы из незавершенной докторской работы и еще работу некоего доцента Мещерякова, присланную Арсению, как это было сказано в записке, на дружеский просмотр и заключение. С вечера еще бегло полистав все эти рукописи (от нетерпения узнать, что в них), Кошелев заметил, что слова «Греция» и «демократия», повторявшиеся почти во всех абзацах, которые он прочитал, как-то непривычно и странно для него увязывались с понятиями из современной жизни. «Да, любопытно, весьма любопытно», — вопросом склонившись над столом и над рукописью и потирая руки от предчувствия какого-то будто открытия, говорил он. О древнегреческой демократии, как он по университетским еще лекциям представлял ее, было у него свое, и определенное, мнение, заключавшееся в том, что он считал эту демократию скрытой формой диктатуры, формой диктатуры патрициев, то есть определенного круга имущих семей, над демосом, над теми, которых — миллионы и которые должны только послушно и в поте лица работать на демократию (на эти семьи) и защищать ее. «Подобная демократия не может быть восхваляема», — думал он. Перенесенная в современные условия (он имел в виду американские как более зримый вариант), она есть наивысшая форма диктатуры и опасна для человечества тем, что представляет собою утонченное и улучшенное (против Библии) новейшими рассуждениями о всеобщем равенстве и праве покрывало, под которым, если приподнять его, сидят все те же патриции, та же горстка семей, желающих диктовать всем остальным свою волю. «Вот суть ее, — продолжал думать он. — Так что же он (Арсений) находит в этой демократии и на кого хочет примерить этот распознанный уже человечеством костюм?» И он чувствовал, что в том, как Арсений (что будет ясно из рукописей) ответит на это, должна проясниться связь между реальностью и иллюзией жизни (что более всего занимало теперь Николая Николаевича), от которой, как он полагал, как раз и зависит правильное или искаженное восприятие людьми окружающей действительности. «Не все то золото, что блестит», — упрощенно уже говорил он себе, чувствуя (в дополнение ко всему), что он как будто находил не только ключ к разгадке причин поступка Арсения, но и получал материал для очередной своей брошюры, для которой ничего пока определенного не было у него. Он, в сущности, собирался убить двух зайцев, в то время как оба эти зайца были в тумане и надо было еще прояснить все.

Долго возбужденно ходил он в этот вечер по кабинету, готовя себя к завтрашней работе, и среди множества разнообразных мыслей, приходивших ему уже теперь по поводу реальности и иллюзий жизни, была та одна смущавшая его, что он не мог дать точного определения самим этим понятиям, что же такое реальность и что же такое иллюзии жизни. «Если миллионы людей, называя диктатуру демократией, принимают этот величайший в мире обман, верят в него и живут иллюзиями его, то не есть ли этот обман, вернее возможность обмана, возможность жить иллюзиями, та же реальность жизни? — углубляясь в то, что, по существу, было просто и имело свое объясне-

ние, спрашивал он себя.— Но ежели это так, ежели иллюзии жизни, то есть обман, есть реальность, то что же тогда сама реальность? То, видимо, чего мы не знаем, но что существует и движет обществом? Но что? Власть? Закон? Понятие справедливости?» И чем больше он погружался в эту зыбкую сферу понятий, тем очевиднее как будто становилось ему, что это только кажется, что всякое понятие имеет определенный объем и форму, тогда как во все можно вкладывать свои мысли и делать из всего свои выводы. «Но так нельзя,— сейчас же пытался возразить он себе.— Так можно прийти черт знает к чему». И он вспоминал брата Семена, как тот легко и просто, особенно в этот недавний свой приезд, судил обо всем. «Ему все ясно, и в этом отношении он счастливый человек,— думал Кошелев, перенося уже весь ход рассуждений на брата и веря искренне в то, что брату как партийному работнику, причем занимающему руководящий пост, действительно всегда и все ясно в жизни, по крайней мере должно быть ясно, как утучнял Кошелев.— Но ведь и дело у него ясное и цель одна, та, о которой не надо думать, но к которой надо только идти. У меня же — постоянный и неизменный поиск. У меня — люди (как будто Дорогомилин, как это выходило по Кошелеву, работал не с людьми, а с механизмами, настроенными на один лад), у меня — самое невероятное сплетение преднамеренностей и случайностей, и всякий раз приходится искать свой способ, чтобы распутать их!» Он возражал теперь брату потому, что надо было, чтобы разобраться в своем, непременно кому-то и в чем-то возражать; и, возражая (как это было и на поляне у стожков, где Николай Николаевич спорил с братом), он невольно приходил к мысли о той золотой середине — что нет ни правых, ни виноватых, ни абсолютной ясности, ни абсолютной неясности,— когда одно сознание, что такая середина есть, вызывало чувство удовлетворенности и успокоения у него.

Каким образом то, о чем думал Кошелев, должно было прояснить дело Арсения, понять было нельзя, да Николай Николаевич и не стремился понять это. Это должно было явиться само собой, как следствие умственной деятельности (как оно всегда и само собой являлось ему), и он лег в постель с тем чувством, что вполне готов к завтрашнему трудному дню, чтобы открыть истину и убить эту истину (для себя!) сразу двух зайцев. Он жил иллюзией этого предстоящего открытия, не замечая за собой этого, в то время как реальность заключалась для него в том простом, что ему надо было (за недостаточностью фактов) найти убедительные (в общечеловеческом, нравственном плане) аргументы, с какими он мог бы достойно выступить в защиту Арсения на суде.

### XXXVI

Кандидатская диссертация Арсения о древнегреческой демократии, когда на следующее утро Кошелев принялся изучать ее, не вызвала у него интереса, какой он ждал, что она вызовет. В ней были изложены те же мысли, какие в той или иной степени полноты есть в каждом учебнике об этом периоде истории человечества. Сказав о классовой структуре общества того времени, Арсений затем подробно и с той определенной долей сочувствия (долей заблуждений, как было по Кошелеву и как делали и продолжают делать это почти все ученые) рассказывал о том, что он называл демократическим устройством общества, и возражения Кошелева против этой схемы были возражениями вообще, о чем можно было написать в брошюре, но чего нельзя было приложить собственно к делу Арсения. Иллюзия восприятия жизни, как это казалось Кошелеву, была налицо, но в какой связи эта иллюзия находилась с реальностью, то есть с самим делом Арсения, было не то чтобы неясно, но было очевидно, что связи этой не было. Еще менее заинтересовала Николая Николаевича рукопись Мещерякова, в которой исследовался какой-то исконный будто консерватизм русского на-

рода, в существование которого не только нельзя было поверить, но все это представлялось Николаю Николаевичу такой глупостью, что на нее не стоило затрачивать усилий, чтобы опровергать ее. Но дневники Арсения... дневники эти были так насыщены разного рода наблюдениями за жизнью и оценками ее, что Кошелев не заметил, как он просидел за ними не отрываясь до обеда, и весь день затем не мог освободиться от впечатления, какое они произвели на него.

Его поразило признание Арсением некой роковой силы, довлеющей будто бы постоянно над людьми. Проявление этой силы настолько разнообразно, что ее будто нельзя обобщить и выделить во что-то видимое, материальное, но действие, какое она производит,— действие так сковывает людей, что вместо радости жизни, вместо дарованной природой естественной возможности проявлять себя (что, собственно, и есть смысл жизни) человек принужден оглядываться на эту некую силу и делать (вразрыв со своими добрыми намерениями) поправки на нее. «Что есть эта роковая сила?» — звучал из дневниковых записей голос Арсения. Но ответа не было; было только что-то ускользающее, что можно было чувствовать и слышать, но нельзя было ухватить. «Почему мир устроен так, что невозможно оградиться от этой вседoleющей роковой силы?» — было вторым вопросом, который по ходу записей задавался Арсением и на который точно так же, как и на первый, не было ответа. Арсению хотелось, очевидно, чего-то тепличного, к чему он чувствовал приспособленным себя; но тепличного не было, а было то, что принято называть «в полевых условиях», то есть была вся та непосредственность жизни с дождями, суховеями, морозом и солнцем, к которой надо было приспособиться, чтобы выстоять в ней. Но как раз то, что надо приспособиться, не признавал и не принимал Арсений. Он как будто берег в себе тот драгоценный стержень, надломить который значило умереть; но, оберегая этот стержень и боясь всего, он только еще более приспособлялся и залезал душой под ту вагонную полку-нары, под которой трусливо и позорно умер его отец. «Какая случайность и какая страшная искалеченная судьба!» — восклицал Кошелев, читая во многом придуманные уже Арсением подробности смерти отца. Когда Николай Николаевич услышал об этих подробностях от Наташи (во время первой своей беседы с ней), они не показались ему столь внушительными, чтобы можно было их поставить в центр всего; но эти же подробности теперь виделись как заглавное кольцо, от которого, цепляясь друг за друга, тянулись все последующие звенья большой и сложной цепи жизни Арсения.

«Ей скучно и хочется чего-то, что развлекло бы ее, но вместо того, чтобы сказать просто и ясно, чего она хочет, она замыкается и молчит и молчанием этим своим создает ту тяжелую напряженность в доме, от которой не знаешь, куда и к кому бежать», — читал Кошелев, что было записано в дневнике о Галине. И далее шел комментарий, который указывал на роковую силу, попытка противостоять которой приводит лишь к тому, что приходится подчиниться ей. «Но у меня другие, свои интересы!» — как крик подчеркнуто в дневнике Арсения. Всякое желание настоять на своем, исходило ли оно от тестя, то есть от старика Сухогрудова, или от шурина, которого Арсений еще более не понимал и боялся, или от приемного сына Юрия, точно так же, как все, требовавшего любви и внимания к себе, — все представлялось Арсению в виде силы, которая довлела над ним и мешала ему жить. Он и неудачи свои приписывал действию этой неотвратимой и злой силы и переносил действие этой силы на взаимоотношения с друзьями и коллегами по институту и вообще на весь жизненный процесс и на государственное устройство, в котором хотя он и не разбирался, что было совершенно и что несовершенно в нем, но чувствовал, что было что исправлять и усовершенствовать. «Как ни странно, но во всем этом есть логика, есть связь, — думал Кошелев, стараясь соединить в одно всю эту систему воззрений Арсения. — Потому-то он и твердит, что убил зло.

Но убил ли он зло или человека?» И, задав себе этот вопрос, Кошелев впервые усомнился в правоте того, что он так решительно брался защитить на суде. «Есть ли вообще роковая сила, или только все это ветряные мельницы? Двигало ли им желание общего блага, или он отстаивал право лишь на самый обычный, врожденный человеческий эгоизм? И что такое эгоизм и что — жизнь?»

— Вот уж действительно говорят: пути господни неисповедимы. Все могу понять. Но понять то, чего не существует?.. — после того, как он долго сидел в кресле, погружившись как будто в послеобеденную дрему, вдруг сказал он, обращая эти слова к Лоре, шившей что-то за столом на машинке. Она удивленно обернулась, перестав шить и держа руки там, где застал их голос мужа.

«Какие пути и почему неисповедимы, когда ты же знаешь, что у мамы (что для Николая Николаевича значило: у тещи) не осталось уже ни одного приличного домашнего платья? — ясно говорили глаза ее. — И ты забываешь, что Матвей студент и о нем тоже надо подумать». И Николай Николаевич, всегда понимавший жену, сейчас же понял это ее выражение.

Несмотря на свою занятость, он обычно всегда бывал в курсе домашних дел. На нем была обязанность присмотреть и купить ковер для спальни, и он регулярно после работы заезжал в известные ему ковровые магазины Москвы, прежде чем вернуться к себе в Одинцово. На нем лежала забота привозить иногда мясные и молочные продукты и хлеб из Москвы («Чтобы только с Кутузовского», — наказывала Лора, где хлеб всегда бывал отменным), и он безоговорочно выполнял это; он охотно брал на себя еще разного рода дела, каких всегда в доме бывает предостаточно, и мир этих домашних забот, пока теперь он смотрел на жену, мир, в котором не то чтобы все было понятно и просто, но в котором всегда был смысл, что это надо и что это для себя (о чем мы обычно забываем, что это такое, и воспринимаем как само собой разумеющееся), — мир этих забот на мгновение как бы окружил его. «Да, о Матвее надо подумать, он студент», — решил Николай Николаевич и даже оглянулся на дверь, как будто сын вот-вот мог войти в нее. Но Матвей не мог войти. Он вторую уже субботу подряд вместе со своим курсом работал на овощебазе, перебирал картофель. Тесть теперь, в эти послеобеденные часы, по старческой привычке своей спал наверху, у себя в комнате; мальчики ушли на пруд удить рыбу, девочки играли в классики у крыльца, во дворе, а теща пропалывала (под зиму) клубничные грядки. За окном, за серыми стволами яблонь была видна ее согнутая, в вылинявшей кофте спина и голова в цветной и сбившейся теперь набок косынке.

— Да, тем более неисповедимы, — соединяя, что он думал о дневниках и Арсении, с этим понятным ему домашним миром и чувствуя несовместимость всего, снова проговорил он. — Ты на меня не обращай, я о своем, — видя, что Лора еще смотрит на него, сказал он ей. — Понимаешь, трудное дело. очень трудное, но отступать некуда, взялся, куда же мне теперь отступать? — И он встал и, потянувшись, пружинисто прошелся по комнате. — Семена бы, да, вот кого, он бы сейчас все рассудил, — затем снова начал он, остановившись перед женой и желая будто посмотреть на ее работу. Мысль о том, как легко было судить брату обо всем, не давала покоя Николаю Николаевичу. — Из Венгрии-то он вернулся или нет и почему не зашел к нам?

— Наверное, не вернулся, — оставляя работу и опять глядя на мужа, сказала Лора. — Почему бы не зайти, зайдет. — И в то время как она говорила это, она вспомнила, как деверь в этот свой приезд смотрел на нее. Она понимала, что означали его взгляды, и знала, что нравится ему; и она невольно теперь смутилась оттого, что подумала об этом.

— Я тоже полагаю, почему бы и не зайти, — сейчас же подхватил Николай Николаевич. «И в самом деле, почему?» — про себя повторил

он. Он не заметил душевных движений Лоры, заставивших смутиться ее, и отошел к окну. Не заметил по той причине, что все в доме давно представлялось ему незыблемым. Точно так же, как изо дня в день и на том же месте стоял его письменный стол в домашнем кабинете, как расставлены были шкафы и стулья, как неизменны были цвета обоев и штор и неизменно в те же часы подавались ему завтраки, обеды и ужины, то есть как неизменным и прочным было все, что было средой его жизни, вне которой он не мог представить себя, неизменными должны были оставаться желания, чувства и мысли жены. Он привык к тому, что и сам он казался себе неизменным в этом устоявшемся для него домашнем мире, и если когда и возникали в душе его колебания, то только по тем вопросам, которые лежали за чертой этого означенного круга и были той варившейся в чужом котле кашей, которую время от времени, чтобы она не пригорела, надо было помешать ложкой.— Да, Семена бы, именно, вот кого,— опять повторил он, оставляя при себе ту вторую половину фразы, из которой можно было бы понять, что он хотел сказать этим.

Он ходил затем прогуляться к стожкам и вернулся лишь с еще более неопределенными мыслями. Те две линии в деле Арсения — внешняя, то есть фактическая, и внутренняя, то есть психологическая, занимавшие Николая Николаевича,— не только не сходились (и не усиливали друг друга, как по логике и предварительным прикидкам Кошелева должно было быть), но, напротив, образовывали как будто между собою пропасть, которую нельзя было перейти, не погрешив перед правдой. По внешней стороне дела было очевидно, что Арсений не виноват. Он действовал в целях самозащиты, и все должно было вытекать из этого. Но в психологическом, нравственном и социальном плане, в каком дело Арсения представляло наибольший для Кошелева интерес, выходило так, что поступок Арсения был подготовлен в нем обстоятельствами его жизни. «Ежели бы он не убил приемного сына, убил бы кого-нибудь другого,— думал Кошелев, приходя к этому единственно верному, как ему казалось теперь, выводу.— Убил бы непременно, потому что готов был к этому. Ему надо было освободиться от роковой силы и уничтожить, убить ее». И Кошелев, рассуждая так, чувствовал себя в положении того человека в пустыне, который, заметив впереди воду и заспешив к ней, спешил, в сущности, к миражу и был разочарован теперь. Он говорил себе, что не следовало ему браться за Арсеньево дело, тем более не следовало высказывать преждевременных суждений о нем; но суждения были высказаны — и друзьям, и заинтересованным в деле отцу и дочери, то есть Сергею Ивановичу и Наташе, которых он, обнадежив, обманул и оказывался в трудном перед ними положении.

«Но так ли все на самом деле, как представляется мне?» — вместе с тем спрашивал он себя; и он на следующий день снова несколько раз принимался за дневники, надеясь отыскать в общих суждениях своих по Арсеньеву делу тот ложный ход, ту ошибку, какую мог допустить, обобщая и оценивая все.

Но ошибки не было. Он только опять приходил к выводу, что Арсений должен был убить кого-то, чтобы ощутить себя свободным. Это было противоестественно здравому смыслу и противоестественно нормам жизни, было тем, что не подлежало оправданию; но в то же время Кошелев чувствовал, что он как будто в чем-то понимал Арсения, в душевных порывах которого было не столько чего-то противоестественного (здравому смыслу), сколько именно естественного желания свободы, то есть того желания, какое, прислушиваясь, Кошелев обнаруживал в себе и какое мог бы обнаружить в себе всякий человек, обратившись не к поверхностным, а к глубинным своим чувствам. Это-то и смущало Николая Николаевича. Убить человека, он понимал, было противоестественно; но желание свободы — желание это представлялось вполне естественным и объяснимым, и Кошелев как бы стоял

у развилки дорог, одинаково ведущих к истине. По какой было пойти ему? Чтобы не ошибиться, он решил вернуться назад, то есть попытаться встретиться и поговорить, как ни трудно будет добиться этого, с Арсением и с теми, кто хоть как-то мог прояснить дело.

### XXXVII

После того как Арсений (после первых допросов в отделении) был переведен в следственный изолятор, он был помещен в камере, в которой уже находился некий старец Христофоров, ожидавший исхода своего дела.

Христофоров сейчас же, едва только Арсения ввели в камеру, подсел к нему и спросил:

— За что тебя, сын мой? — И внимательно начал всматриваться в сухощавое, заросшее щетиной лицо Арсения.

Лицо это, как видно, понравилось ему. Понравилось не тем интеллигентным выражением, какое (несмотря на небритость щек) без труда можно было разглядеть в нем, и не тем выражением оstanовившейся жизни, когда все в человеке бывает обращено к той потрясенной его минуте, о которой он только и может вспоминать и думать, но он уловил — по выражению именно этого лица — ту искренность страданий Арсения, которые он знал, как они бывают сильны и болезненны в людях. Он знал так же — из многолетнего своего опыта в общении с людьми, — что искренне страдающий всегда чуток к утешению и жаждет его и что утешитель, явившийся с добрым словом, всегда обретает власть над страдальцем. Христофоров сейчас же почувствовал, что Арсений был как раз тем объектом, над которым можно было взять власть и повести его по тем запутанным лабиринтам евангельских истин, по которым прежде (по сектантской деятельности своей) Христофоров провел уже не одну сотню людей.

— Так за что же тебя, сын мой? — повторил он, прямо, открыто и сочувственно как будто продолжая смотреть на Арсения.

Он сидел так, что свет от высокого тюремного окна падал на его грудь, руки и освещал лицо с желтыми рубцами морщины. Морщины эти были не от труда, не от известного физического напряжения, как у крестьян, привыкших иметь дело с землей, снегом и солнцем и прищуренно глядящих на мир, но были того иного происхождения, по которым сейчас же бывает виден человек, не столь живший этой общей трудовой жизнью, сколь долго и усердно думавший о ней, что в ней хорошо, достойно и что недостойно и подлежит искоренению — каждому в себе и человечеству в целом. Морщины эти говорили о каком-то будто благородном затворничестве, когда, познав мир (как это ошибочно многие думают о себе, отгородившись и не зная той самой жизни, о которой считают себя призванными беспокоиться и думать), познав, в сущности, бессмысленность, ничтожность своего бытия, позволяют себе затем издали и успокоенно смотреть на все, что происходит вокруг них. Они смотрят на это все как на дорогу, по которой, отправившись в путь, человек приходит к тому же, от чего начал, — от небытия к небытию. «Вот путь, уготованный каждому, и никому не дано остановиться на нем или свернуть с него» — затаенно как бы светилась в промытых складках его лица эта не новая, но всякий раз действующая на людей евангельская формула жизни. Формула эта, так ясно написанная на лице Христофорова, была, однако, не для него, а для других, но распознать, что она предназначалась другим, было нельзя, в чем как раз и состояло все искусство его обращаться с людьми. Руки его точно так же были испещрены морщинами, происходившими не от труда, а от праздно (до старости) жизни. Они были узки в ладонях, были розовато-пергаментного цвета и с веснушками, выползавшими из-под манжетов, и только усиливали во

всем общем виде его впечатление какого-то аскетического будто благообразия.

Несмотря на то, что Христофоров находился под следствием уже давно (и несмотря на то, что он был стар и не мог как будто хорошо следить за собой), он не выглядел опустившимся, запущенным человеком. Благодаря передачам, которые приносили ему, он имел точно ту же возможность часто менять белье, как он делал это, живя на свободе. Поверх рубашки он надевал обычно либо коричневого тона толстовку, либо удлиненный, барского покроя пиджак с поясом и шалевым атласным воротом, простроченным в клетку, либо натягивал ручной вязки шерстяной свитер, молодивший его. Он был сейчас в толстовке, свободно облегавшей его худые, старческие, но не сторбленные еще плечи и спину, и эта непривычная, давно вышедшая из моды одежда его точно так же производила на Арсения определенное впечатление. Арсений с недоумением, как на что-то будто небытия пришедшее к нему, смотрел на старика Христофорова своими бесцветными и маленькими за толстыми стеклами очков глазами. «Кто он и что он хочет от меня?» — машинально, как всякий бы на его месте, спрашивал себя Арсений, стараясь понять сквозь густоту и путаницу своих мыслей, что за человек был перед ним. Он не слышал вопросов, но по благообразному виду Христофорова, по выражению его глаз видел, что тот как будто с добрыми намерениями подсел к нему; и Арсений ответно чувствовал доброту и расположение к Христофорову.

Кровать Христофорова была заправлена, и рядом с кроватью на тумбочке лежало несколько старых по виду книг, среди которых выделялась в черном переплете Библия (бруклинского издания двадцатого года), которую он выговорил право держать при себе, пока расследовалось его дело. Перехватив теперь взгляд Арсения на книги и Библию и почувствовав по этому взгляду, что имеет дело с человеком образованным, неторопливо, достойно своего возраста и положения, в какое с первых же минут любил ставить себя, сказал Арсению:

— Хотите посмотреть? Я читаю книги только определенного толка. — Он встал и уже с Библией в руках вернулся к Арсению. — Тот, кто ищет утешения, всегда может найти его вот в этой книге. Это Библия, — сказал он. — Но не запоздало ли мы берем ее в руки? Мы берем ее, когда уже совершим что-то, и обращаемся к истинам, чтобы утешиться, тогда как истины эти должны освещать нам путь в темноте наших заблуждений. Я вижу, вы человек образованный, но что же с вами произошло? — задал он опять тот же вопрос, на который ему хотелось, чтобы ответил Арсений.

— Я убил зло, — сказал Арсений, подымая свои маленькие за стеклами очков глаза на Христофорова.

— Человека, значит, вот как. Тяжко твое дело, тяжко. — И он сочувственно как будто постучал пальцами по черному переплету Библии.

С минуту оба только молча смотрели друг на друга: Арсений — пораженный тем, как было узнано о его деле, Христофоров же — отыскивающий в нем признаки страха, которые подтвердили бы высказанное предположение, и как только заметил эти признаки страха, сейчас же опустил глаза (в знак того будто, что понимает и сочувствует собеседнику) и долго затем молитвенно-неподвижно сидел перед Арсением, уставившись в какую-то одну (перед собой) точку. «Как мы жестоки друг к другу и как мы не понимаем тщеты этой нашей жестокости» — было в эти минуты на молитвенно-неподвижном лице его. Он не стал расспрашивать Арсения о подробностях; ему достаточно было того, что он понял, что произошло убийство. И он по интеллигентному виду Арсения, естественно, предположил, что убийство было не с целью ограбления, а по каким-нибудь тем мотивам, как это бывает у интеллигентов, суть которых в нравственном несо-



падении взглядов. «Тем более дурак»,— подумал он об Арсении, жалея его не за то, что ожидало его — расстрел или заключение,— а за то, что совершенное им было бессмысленно и было глупо подвергать себя страданиям из-за этого и ломать жизнь. «Ну и что, дадут катушку — и все, и мокрое место»,— с пренебрежением сказал он себе, все еще не поднимая глаз на Арсения; и вместо сочувствия, какое собирался выказать ему, вместо той заискивающей доброты, с какою хотел было начать разговор, он, встав и пройдясь по камере, спокойно и холодно, остановившись перед Арсением, прочитал ему следующие слова из Библии:

— «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благия давать детям вашим, тем более Отец наш Небесный даст блага просящему у Него». Будучи злы, заметьте, это обращено к нам,— пояснительно затем начал он.— Не значит ли это, что мы должны убивать зло в себе, а не в другом? То, что кажется нам злом, есть добро для носителя его. Убив в другом зло, мы убиваем не зло, а добро. Зло в нас. В каждом из нас,— уточнил он, заметив по изменившемуся выражению лица Арсения, что затронул именно главное, в чем состояла суть терзаний и сомнений его; и, почувствовав, что как будто притронулся к ране, доставлявшей собеседнику боль, с тем понятным только самому Христофорову удовольствием, как если бы дело, какое он делал, принесило ему физическое удовлетворение, он принялся не успокаивать, а растревлять эту душевную рану Арсения. Он то садился возле него на кровать и читал (подобные прочитанным уже) выдержки из Библии, то поднимался и ходил, поясняя прочитанное в том направлении, в каком, он видел, болезненнее всего было для Арсения; он как бы, найдя это занятие себе, был обрадован им и не мог остановиться. Испуганные за стеклами очков маленькие бесцветные глаза Арсения, в которые Христофоров, время от времени встречаясь с ними, вглядывался,— глаза эти только сильнее возбуждали в нем желание говорить; и говорить ему было тем более приятно, что он забывал за разговором о своем деле.

— А помните ли вы, что в своем первом послании Тимофею сказал святой апостол Павел? — спрашивал он у Арсения, никогда не державшего в руках и не читавшего этих текстов.— Он сказал: «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем вынести из него». Так чего же стоят все наши волнения, все наши желания, надежды, мысли, вся наша никчемная и алчная суета? Пришли в мир и уйдем, а материя — как была, так и будет, и за что же убивать, грабить, насиловать, загонять,— он посмотрел вокруг себя на серые стены камеры и зарешеченное вверху окно,— людей в клетку?.. Да, так кого же вы убили и за что? — выговорившись, и устав, как видно, от своего монолога, и почувствовав, что нужно еще что-то дополнительное, чтобы продолжить разговор, приступил он снова с этим простым и ясным вопросом к Арсению.

### XXXVIII

Но Арсений не мог ответить на этот вопрос. Ответить значило бы признать, что он убил не зло, а своего приемного сына, признать ту правду, которую страшно и невозможно было признать Арсению.

Все эти дни после ужасной для него ночи он постоянно испытывал два противоречивых чувства. Когда он думал, что уничтожена была им роковая сила («Ее больше нет, я уничтожил ее!») — как он воскликнул сейчас же после того, как ударил ломиком по голове Юрия), он не только не находил за собой вины, но, напротив, чувствовал, будто в душе поднималось что-то прекрасное, что возвышало его перед собой и перед людьми (и, главное, в глазах Наташи). Несмотря на то, что он именно теперь менее всего был свободен поступать и жить, как хотел (как всякий попадающий в тюрьму человек),

он испытывал это возбуждающее чувство освобожденности от чего-то, долго и мучительно сковывавшего его. Он, в сущности, впадал в тот страшный обман, когда слепому начинает казаться, что он прозрел и видит мир в объеме и цвете, тогда как мир этот — как он был, так и остается отгороженным от него непроглядной темнотой ночи; слепец по-прежнему слеп, но иллюзия света так обворожительно сильна, что не отпускает и не позволяет пошевелиться, и Арсений в те минуты, когда отвечал следователю, что «да, убил зло», был именно во власти этой обворожительной силы, как будто, познав свободу, боялся теперь пошевелиться, чтобы снова не потерять ее. Тот гудящий коридор жизни, по которому он всегда представлял идущим себя и который страшил его, — тот коридор был уже будто пройден им, был позади, и новое пространство жизни, в которое он, как это рисовалось ему, вступил теперь, было пространством всеобщего добра, согласия и любви друг к другу. Арсений представлял себе то общество людей (как было по очищенной от классовых наслоений схеме древнегреческой демократии), в котором все, что согласно с желанием каждого, согласно с желанием всех и нет противоборства и стремления одного встать над другим. Нет, главное, насилия над чувствами, над тем естеством в человеке, дарованным природой, в согласии с которым он мог бы делать то и так, как хотелось и нужно было делать ему. Весь свой маленький, неуютный с детства и с детства же неустроенный мир надежд и постоянно подавляемых желаний, мир, из которого всегда так хотелось выбраться ему, Арсений как бы накладывал теперь на это бестелесное, бесформенное пространство всеобщей порядочности и доброты (как если бы только в этом и заключалась суть человеческой жизни) и невольно, как сотни тысяч других до него, обманываясь этим призрачным представлением благоденствия, находили утешение и цель в этом обмане и умирали за него, только повторяя (несмотря на свою ученую степень и все те свои знания, которые могли бы подсказать ему бессмысленность подобных умственных построений) этот обман, бессознательно и судорожно хватаясь за него. Минутами ему даже казалось, что он был герой и что он приносил себя в жертву — и ради общества и ради Наташи, которую защитил, не дав ей прикоснуться ко всей той грязи (прошлой своей семейной жизни), от которой так болезненно все эти месяцы ограждал ее. И он ходил часами по камере, углубляясь в этот бестелесный, бесформенный, но прекрасный в переливе воображенных им красок мир людских отношений, и, растворяясь в этом мире и забывая свое «я», то есть то, о чем страшно было думать ему, испытывал какое-то будто душевное равновесие, помогавшее успокоиться и переносить страдания ему.

Но после этих часов успокоения, когда он, устав вышагивать по камере, ложился на кровать, память его вдруг как бы проваливалась из этого воображенного им мира человеческих отношений в действительность, о которой страшно было ему думать. Он проваливался как бы в ту угнетающую атмосферу ночи, когда он убил Юрия, и смысл совершенного, как он не мог предстать перед Арсением в минуту убийства, предстал перед ним теперь и заставлял съеживаться его. Он видел распростертое на полу тело сына и чувствовал на руках теплую и липкую кровь его; он видел круглые в ужасе глаза Наташи, как эти глаза смотрели на него, и на вопрос их: «Что же ты натворил?! Ты погубил себя, меня, нашу любовь», Арсений чувствовал, не было ответа у него. Он видел, что сделал не добро, а зло — главное, тому человеку (Наташе), для счастья которого готов был пожертвовать всем, чтобы только сохранить в чистоте и неприкосновенности ее молодую, красивую и не тронутую еще пороками человечества душу, — что совершил именно противоположное тому, что хотел, и случался теперь, не понимая, как могло случиться это и был ли виноват он или виновато общество, не давшее ему того, что естественно было как будто получить от него; и он только опять приходил к болезнен-

ной мысли, что все в обществе несовершенно и что лучше бы родиться на столетие раньше или уж на столетие позже, но только не теперь, когда понятия о стыде, чести и совести так размыты, что невозможно почти отыскать следа, сказавшего бы, что понятия эти когда-то жили на земле. «Чего я хотел? — думал он. — Я хотел только, чтобы меня не трогали и чтобы я был счастлив, как я понимаю это». Но точно так же, как тысячи других людей, чувствуя, что им недостает чего-то, не могут объяснить, чего же на самом деле недостает им, Арсений не мог сказать себе, что он подразумевал под словом «счастье»; он только знал, что счастье есть, что оно возможно и что с Наташей оно было бы у него; и он с болезненной живостью вспоминал то в Наташе, что он любил в ней, и представлял ее себе в лучшие (для себя) минуты ее жизни. Он то как будто снова был с ней на вечере у Лусо, то вспоминал ее в Большом театре, как она выглядела среди других в своем темно-вишневого тона модном платье и с сережками, только что подаренными ей; он воображал себе ее лицо, светившееся какою-то будто детской еще радостью, волнуясь и не замечая (в этих воображенных картинах) той главной своей ошибки, какую совершал в жизни, принимая молодость и неопытность Наташи за чистоту и благородство ее души. «Она знала только меня, она так чиста», — думал он. Но сейчас же словно из глубины какой-то пыльной дороги выплывала фигура Тимонина, этого известного всем племянника Лусо, любившего прильнуть ко всему чужому (как он льнул к Наташе, добиваясь чего-то от нее), и выплывала из той же пыльной глубины фигура Наташиного отца (как в свое время фигура отчима Галины), и роковая сила, гнувшая и оскорблявшая всю жизнь Арсения, будто ожив, опять начинала угнетать его. «Но ее больше нет, я уничтожил ее!» — восклицал он, весь напрягаясь, как для удара, чтобы повторить то, что уже сделал, чтобы освободиться от нее.

### XXXIX

Христофоров, приступая теперь с вопросом к Арсению, ожидал (по той своей проверенной схеме обращения с людьми), что Арсений откроется перед ним и подчинится ему. Христофорову казалось (по imaginable виду Арсения), что перед ним сидит один из тех слабозвольных, как он всегда думал об интеллигентах, людей, которые сильны только тогда, когда все у них и вокруг них хорошо, и становятся беспомощными, едва выпадают из привычных условий жизни; он видел в Арсении именно это, что всегда привык видеть в других, и был удивлен, заметив какое-то будто иное, злобное выражение на лице Арсения. «Как хотите, я не настаиваю, пожалуйста», — намерился было уже сказать он, но не успел сделать этого. Арсений поднялся и словно с вдруг проснувшимся в нем бешенством двинулся на Христофорова.

— Ты что, ты что?! — пятась и протягивая перед собою для защиты руки, торопливо заговорил Христофоров. — Да ты и в самом деле убийца, ты что, ты ответишь!

— Отвечу, — прервал его Арсений, остановившись посреди камеры.

Он был на свету. Кулаки его были сжаты. Лицо было бледно и страшно. Небритый, худой, с впалую грудью и взлохмаченными волосами (и со всем тем впечатлением решимости от обреченности и бессилия), он готов был сейчас наброситься на Христофорова и избить его.

— Господи, он сумасшедший. — крестясь, произнес Христофоров, с опаской (уже от своей койки) глядя на Арсения. — Ты, душа моя, не шуми, я не хотел обидеть тебя, ты это брось, — видя, что Арсений продолжает угрожающе стоять, сказал он.

— Я вам не душа, не смейте, не смейте! — Руки Арсения тряс-

лись, лицо по-прежнему оставалось бледным, и в сжатом кулаке, он чувствовал, был как будто тот самый ломик (со всей своей металлической тяжестью), которым он убил Юрия.

— Господи, да я и не смею.

— И не смейте, не смейте! — повторил Арсений.

Затем отошел и лег, заложив руки за голову, как делал это всякий раз, приходя домой и ложась на кушетку. Ему казалось, что это успокаивало его и позволяло сосредоточиться на той одной мысли, на которой он хотел остановить внимание. «Что-то сейчас было со мной?» — подумал он, стараясь найти мысль, на которой бы он мог остановиться теперь; и в то время как он с усилием вспоминал, что же минуту назад было с ним, он вновь как будто ясно ощутил, что держал в руке ломик. «Я убил им его», — подумал Арсений и сейчас же вскочил, чтобы посмотреть, где было тело Христофорова (и посмотреть на свои руки, не в крови ли они). Но на руках не было крови и Христофоров был не на полу, а сидел на кровати и перелистывал Библию. Он тоже поднялся и хотел было что-то возразить Арсению, но воздержался, так как Арсений, осмотревшись еще раз вокруг себя, снова лег на кровать и заложил руки за голову. Он больше уже не вскакивал в этот день и не оборачивался на Христофорова; он понял, что с ним лишь повторилось то, что уже было, и он только всматривался, как от этого было, как от камня, брошенного в воду, расходились круги и захватывали пространство. Круги эти были те повторявшиеся мысли, по которым он видел себя виноватым то перед Наташей, то перед Галиной, то перед Юрием, о котором начинал думать с жалостью, что мальчик, в сущности, был лишен отца и что вместо того, чтобы заменить ему отца (как это и должен был сделать Арсений), он только переносил на него свою неприязнь к Галине и усугублял дело; то все это простое, житейское и понятное каждому заменялось рассуждениями, по которым Арсений признавал себя правым, и круги, растекавшиеся по пространству (то есть по всей обозримой плоскости жизни с воспоминаниями детства, женитьбы на Галине и жизни с ней и жизни с Наташей), — как ни казалось, что они должны были, отдаляясь от центра, затухать где-то у берегов, они только яснее указывали Арсению, что был центр, и приковывали внимание к этому центру. Он искал оправдание не перед судом, а перед самим собой и страдал оттого, что не мог примирить свой поступок со своей совестью.

Как раз в эти минуты, когда его ввели в камеру, он, казалось, был близок к тому, чтобы найти примирение. Вот-вот, какое-то еще мгновение — и все было бы решено, но подсевший Христофоров разговором и чтением Библии разрушил все (то есть разрушил тот определенный ход мыслей, какой именно и старался теперь восстановить Арсений). Христофоров как будто ничего особенного не сказал Арсению. Но Арсению, когда он теперь, успокоенный и с заложными за голову руками лежал на своей жесткой тюремной кровати, все представлялось так, будто подпилены были сваи того здания, на котором держались его убеждения; здание это должно было рухнуть и погрести под обломками все прежде дорогое Арсению. Ему всегда казалось, что зло было в других, но не в нем, и он находил тому тысячи подтверждений, главным среди которых было насилие над отцом и смерть его; он видел, что такое понимание зла, понимание довлеющей над людьми силы, было согласно с мнением многих и многих других людей, с кем он (за свою жизнь) встречался и говорил; но понимание это как бы натолкнулось теперь на иной, и более прочный, ряд истин; на Библию, которая, несмотря на то, что небожественность происхождения ее давно и вполне доказана, по-прежнему продолжает действовать на людей. Черная в белых морщинистых руках Христофорова, она оказывала это свое воздействие на Арсения и разбивала все прежние его мысли. Он не говорил себе, что что-то же должно было

быть мудрого в ней, если столько поколений людей верило этой книге; он ничего не утверждал и не опровергал, глядя на пухлые, измусоленные пальцами страницы ее, но просто, как тысячи других до него, находясь под ее гипнозом, повторял теперь то, что было ему Христофоровым прочитано из нее. «Как просто и материально,—думал он, вслушиваясь как бы в смысл того, что в послании апостола Павла Тимофею было выражено такими словами: «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем вынести из него».— Для чего же тогда все это желание счастья, вся эта борьба, состоящая из минутных и ложных интересов? Ведь я ничего не принес и не унесу из этого мира?!» Его настораживало и болезненно волновало еще то обстоятельство, что по святому писанию выходило, будто неправильно было думать, что зло в других; зло в каждом, и каждый должен прежде искоренить его в себе. Это было противоположно тому, как думал Арсений, и было оттого странным и страшным ему; это не успокаивало, а только усиливало в нем сомнение и делало, по существу, невозможным примирить свой поступок с совестью. Как рыба, спешащая на нерест, наткнувшись вдруг на плотину, судорожно ищет выхода в ней, суется мыслью Арсений, оказавшись вдруг перед стеной этих открывшихся ему новых истин, о которых он прежде не то чтобы не знал, но не придавал им того значения, какое они теперь обретали для него.

В середине дня, когда Христофорова пригласили к следователю и Арсений остался один в камере, ему захотелось подойти, взять и почитать Библию. Несмотря на то, что ему совестно было без разрешения трогать чужую вещь, он все же не выдержал и взял Библию. Он хотел только посмотреть в ней те места, которые читал ему Христофоров (и в которых как раз и был заключен смысл всего, что занимало теперь Арсения); но взгляд его, по мере того как он открывал страницы, наткнулся только на какую-то будто бессмыслицу вроде: «Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил тридцать пять лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил четыреста три года и родил сынов и дочерей. Сала жила тридцать лет и родила Евера» — и т. д. или вроде: «И сделал литое из меди море — от края его до края его десять локтей, — совсем круглое, вышиною в пять локтей» — и т. д., что было неинтересно и непонятно Арсению. Он так и не нашел того, что искал, и, положив Библию на то же место, откуда взял ее, снова прилег на кровать. Но вернуться к тем убеждениям, что он убил зло, он не мог, как он не мог признать и того, что зло не в других, а в себе; и он впервые (вместо общих рассуждений) просто, ясно и приземленно подумал о своем деле.

## XI

Только потому, что Кошелев был членом президиума коллегии адвокатов, то есть человеком известным в юридических кругах Москвы, и потому, что сумел обосновать необходимость своей встречи с Арсением так, что нельзя было не согласиться с его доводами, он получил от прокурора нужное ему разрешение и к одиннадцати часам дня в понедельник был уже в той (для допросов) комнате при следственном изоляторе, в которой бывал не раз прежде, встречаясь с подзащитными. В комнате этой не было ни шкафов, ни гардин, а стояли только посреди голых стен несколько стульев и стол у окна с жестким возле него креслом. Окно выходило во внутренний двор, и в комнате не было слышно шума и гула улицы.

Примерившись к креслу, что Николай Николаевич делал всегда — для основательности будто, как он говорил (и с оттенком теперь брезгливости, что подлокотники, спинка и сиденье у кресла были обветшалыми и потертыми), — он положил перед собой блокнот, ручку и

мысленно вернулся к тем вопросам, которые намеревался задать Арсению. Вопросы эти были результатом его субботних и воскресных раздумий над делом Арсения. Николаю Николаевичу снова казалось, несмотря на противоречивость вчерашних суждений, что Арсеньевое дело было не просто делом о некоем случайном убийстве, но было отражением тех новых явлений, затронувших нравственную сторону жизни общества, о которых еще никто не сказал ни устно, ни письменно и суть которых как раз и заключена в роковой силе, упоминавшейся в дневниках Арсения. «Если бы он был болен,—подумал Кошелев об Арсении (зная уже о заключении врачебной комиссии о нем),—это одно. Но он здоров, и, значит, дело тут именно в определенном явлении». Он подумал еще, что, возможно, придется просмотреть еще ряд подобных дел (чтобы наполнить материалом брошюру), но в это время открылась дверь, конвойный ввел в комнату Арсения, и Николай Николаевич живо и с любопытством посмотрел на него.

Дважды видевший Наташу и составивший себе (по молодости и свежести ее) представление о ее муже, он был теперь удивлен, увидев Арсения. То, что лицо Арсения было бледно, было со следами мучившей его, как видно, бессонницы, было для Кошелева естественным и объяснимым, но что это же лицо и ссутуленная спина Арсения производили впечатление потасканности и старости, было так странно Николаю Николаевичу, что он даже подумал, что того ли, кого надо, привели к нему.

— Иванцов? Арсений? — спросил он.

— Да.

— Ну что ж, давайте знакомиться, я ваш адвокат.—И он, смущаясь, что не узнавал как будто Арсения, протянул ему руку и пригласил сесть его.

Кошелеву надо было разговорить подзащитного, что он обычно умел хорошо делать; это получалось у него потому, что он никогда не ставил перед собой цели открытия; но теперь он почувствовал затруднение, словно сила, о которой начитался в дневниках, действовала на него и сковывала его. Она исходила как будто не от Арсения. Но от кого она исходила, было непонятно, и Кошелев даже несколько раз обернулся на окно и затем на голые стены, будто они могли объяснить что-то. Но никакой силы не было, а действовало на него лишь впечатление потасканности и старости, производившееся Арсением, и как следствие этого впечатления возникало сомнение в том, что дело Арсения есть дело значительное, связанное будто бы с явлением, о котором Николай Николаевич думал, что оно составляет некую появившуюся болезнь в обществе; дело это, в сущности, как он увидел его теперь, показалось ему одной из тех обычных грязных семейных историй, каких случаются сотни и в которых главным всегда выступает нечистоплотность и распущенность сторон. «Запутался с женами и сына убил, какая тут роковая сила, какое явление! Тут грязь, обычная, пошлая, безобразная». И он поморщился оттого, что как он раньше не разглядел этого.

Пора было начинать разговор, но Николай Николаевич медлил и не начинал его. Он сперва несколько раз прошелся по комнате перед Арсением, продолжительным и внимательным взглядом окидывая его, затем постоял у окна, привлеченный конвойными солдатами, смеявшимися чему-то во дворе, сойдясь у арестантского фургона. Чему они смеялись, услышать было нельзя, да Кошелев и не прислушивался к их голосам; он продолжал морщиться оттого, что ошибся, берясь за дело Арсения, и старался мысленно вернуть себя к тому Арсению, каким представлял его себе по дневникам и рассказу Наташи. Тот Арсений интересовал Николая Николаевича, но этот? — этот был неинтересен и на него жаль было терять время. «Но, однако, мосты

сожжены, надо расхлебывать». Он подошел к Арсению и сел на стул возле него.

Арсений же был теперь в том состоянии, что ни Наташа, ни сам он, если бы со стороны взглянул на себя, не узнал бы себя; не узнал бы не столько по изменившемуся внешнему виду, сколько по безразличию (и к себе и к окружающим), с каким он смотрел теперь на мир и воспринимал его. Он не был сейчас ни тем Арсением, каким выглядел в дневниках перед Кошелевым, — умным, думающим и о себе и о жизни и боявшимся ее, — ни тем, каким стоял перед следователем на допросах, убежденный в том, что убил зло, и тем более ни этим запутавшимся в грязной семейной истории пошляком, как думал о нем сейчас Кошелев; все это было так отдалено от Арсения, что он как сквозь дымку смотрел на прошлое, которое уже как будто не волновало и не трогало его, и с равнодушием ожидал, когда наконец будет решено его дело и он сможет принять те физические страдания, к каким чувствовал уже подготовленным себя. Так же, как солдат выкрикивает к своей трудной военной службе, чиновник — к своей, а барствующий — к своей праздной жизни, Арсений за эти недели пребывания в следственном изоляторе успел не только привыкнуть к условиям этой новой для него жизни, лишенной необходимых удобств, но успел привыкнуть и к своему соседу, к Христофорову, с которым, примирившись и приняв его власть над собой, вел теперь либо долгие душевные беседы, либо читал Библию под руководством и с наставлениями его. Он вполне разделял теперь мнение Христофорова, подкрепленное библейскими изречениями, что зло не в других, а что оно всегда было и есть в себе, и что не в социальных системах, не в государственных устройствах следует искать причины людских несчастий; прежде необозримый, неохватный — по широте ли, по исторической ли глубине или перспективе на будущее — мир человеческих отношений был сведен теперь в Арсении только к познанию самого себя, к подслушиванию тех затухавших уже чувств и мыслей, которые временами, будто вспыхнув, еще напоминали о прошлом. Ему казалось, что все стремление к новой (с Наташей) жизни было смешно и ничтожно в сравнении со всеми этими вечными истинами, о которых он узнал сейчас (и которые как раз и заключались в созерцании самого себя); в то время как он был подчинен воле Христофорова, как никому и никогда еще не был подчинен в жизни, ему казалось, что он был свободен и что, главное, достиг этого не силой на силу, не уничтожением зла в другом, а смиренным познанием истин. Он волновался теперь не в те минуты, когда начинал думать о своем деле, но когда видел перед собой старческие, с веснушками руки Христофорова, подающие Библию.

Но вместе с тем как Арсений был будто спокоен, приспособившись не думать, а лишь со стороны будто созерцать свои мысли; вместе с тем как прошлое представлялось ему лишь суетой, недостойной внимания; вместе с тем как он постоянно пребывал будто в каком-то сне, от которого нельзя и страшно было пробудиться ему, — его мучила та настоящая бессонница, от которой он как раз и выглядел постаревшим и все время ходил с воспаленными глазами. Этими воспаленными глазами он и смотрел сейчас на Кошелева, ожидая вопросов от него.

## XII

— Вы знаете, я буду с вами откровенен, — сказал Кошелев, начав вдруг совсем не с того, с чего думал начать разговор. Ему жаль было те два дня — субботный и воскресный, — которые он провел за чтением рукописей и дневников Арсения, и жаль было потраченных (у прокурора) усилий, когда добивался разрешения на эту встречу, и он не мог (хоть в какой-то форме) не высказать сейчас этого своего сожаления, прежде чем приступить к формальностям, которые неприлично

было бы не выполнить ему теперь.— Я взялся за ваше дело потому, что оно показалось мне интересным в нравственном отношении, и хотел говорить с вами не о подробностях убийства. Я понимаю, произошла страшная случайность, тут все ясно, тут любой начинающий адвокат смог бы защитить вас. Но ваши дневники, именно дневники! — Он на мгновение остановился, глядя на Арсения. Он хотел уловить на лице его то, что подсказало бы ему, что не бесполезно говорить это, что он говорил; но он не нашел этого подтверждения и с инерцией, которую уже не мог преодолеть в себе, продолжил: — Дневники удивили и поразили меня. Я не собираюсь рыться в вашей душе (хотя цель его как раз состояла в этом), но как вы сами полагаете, есть ли какая-либо связь между тем, что вы изучали и отстаивали в вашей исторической науке, и тем, что вам хотелось видеть в жизни?

Не имевший точного понятия, как все прежде не связанные с судом и прокуратурой люди, что такое адвокат и каковы возможности его, то есть не зная, в сущности, что и в каких пределах дозволено и что не дозволено адвокату, Арсений вместе с тем сразу же почувствовал, что в отличие от вопросов, задававшихся следователем (в отличие от казенности того, что происходило в кабинете следователя), вопрос адвоката имел иной смысл и направление. От слов Кошелева как будто повеяло обстановкой тех научных дискуссий, на которых Арсений не столько любил выступать, сколько бывать на них и мысленно соглашаться или спорить с теми или иными доводами; и как он ни был теперь безразличен будто ко всему, преподавательская деятельность его, та жизнь в институте, приносившая удовлетворение, от которой здесь, в следственном изоляторе, он был все эти недели отгорожен глухими стенами (и сознанием непоправимости своего горя), — жизнь та снова начала заманчиво волновать его. Он почувствовал, что это был не допрос и что у Кошелева были какие-то иные цели разговора. Цели эти были неизвестны Арсению, да и нужно ли было ему узнавать их; ему как бы подавали кусочек его прежней жизни, чтобы он мог ощутить себя в ней со всеми своими теми интересами прошлого и настоящего, интересами споров, любви, пристрастий и отрицаний, то есть со всей той человеческой деятельностью, к которой надо было прикладывать ум и знания, и он охотно готов был принять это. В глазах его, только что неподвижно-блеклых за толстыми стеклами очков, вспыхнули лучики, по которым Кошелев сейчас же заметил, что что-то будто тронуло Арсения и пробудилось в нем.

— Меня поразила и кандидатская ваша, которую я прочитал, — снова заговорил Кошелев. — Разумеется, с разрешения вашей жены, — добавил он, обратив внимание, как при упоминании о Наташе все вздрогнуло и насторожилось в Арсении. «Как она? Что с ней?» — сейчас же появилось в его глазах, и искренность этого выражения и общее беспокойство его невольно передались Николаю Николаевичу. Он опять на мгновение остановился как будто для того, чтобы подумать, как вести разговор дальше, но на самом деле он только вновь ощутил интерес к Арсению (хотя тот не произнес еще ни слова), и интерес этот не хотелось теперь терять ему. — Скажите, неужели в государственном устройстве древних греков вы в самом деле находите демократию? — в то время как надо было сказать о Наташе, сказал он, возбужденный именно этим своим интересом. — Ведь это все равно что театральную декорацию принимать за жизнь и не видеть настоящей, которая скрыта за ней. Вы привыкли к декорации, а перед вами распахнули жизнь; вы видите, что жизнь — это совсем не то, что декорация, и требует вернуть декорацию, принимаемую вами как жизнь. Так ли это или не так? — довольный тем, как он теперь формулировал свои мысли, и вызывая Арсения на возражение и спор, сказал Кошелев.

— Я не знаю, — ответил Арсений, удивленно усмехнувшись затем, как бывало с ним в институте, когда слышал какую-нибудь но-



вую, не научную, но претендующую (тем, кто выдвигал ее) быть научной точкой зрения на историю развития общества.— По-моему, здесь подмена понятий,— добавил он, полагая, что сказанное Кошелевым не могло относиться к нему.— Исторические свидетельства обычно так скудны, что не могут дать полного ответа, и потому в изложениях тех или иных событий, естественно, допускается произвол, иначе говоря, домысел. Но при чем тут декорация и жизнь? Может быть, я не готов к этому нашему разговору, но, думаю, дело не в государственных устройствах. Есть нечто другое, что более определяет жизнь людей.

— Что? Роковая сила? — Кошелев даже подался вперед к Арсению.— Откуда она и что это такое?

— Ну, я не это имел в виду,— возразил Арсений, увидев, что адвокат неправильно понял его.

Напоминание о роковой силе было неприятно Арсению. Несмотря на то, что сила эта была как будто уничтожена им (как он подумал сразу же после убийства сына), и несмотря на то, что в результате бесед с Христофоровым явилось новое понимание, что зло не в других, а в себе и, следовательно, никогда не было и не могло быть то й (вне самого себя) злой силы, которая подавляет людей, Арсений лишь умом принял это; в душе его, однако, продолжало жить убеждение, что сила эта есть, и он неприятно почувствовал теперь, что она проявлялась в Кошелеве, хотевшем навязать какое-то свое представление о жизни, которое противно было всем теперешним взглядам Арсения. Арсений весь насторожился, чувствуя, что надо искать защиты от Кошелева, и так как лучшим средством защиты было возразить Кошелеву, он сказал:

— Дневники — это для меня в прошлом. Я придерживаюсь сейчас иного взгляда.

— На роковую силу?

— Да, и на роковую.

— Какого же? — продолжил Кошелев, увлеченный тем, что хотелось выяснить ему, и не замечая пока изменившегося состояния Арсения.

— Я не могу объяснить этого в двух словах,— сказал Арсений,— но, если хотите, в природе нет ни добра, ни зла, это придуманные понятия, а есть только действие. Насильственное или не насильственное, это уже другой вопрос.

— Выходит, разрушить дом или посадить дерево — одно и то же?

— Да, представьте,— мрачно согласился Арсений. Говорить ему не хотелось, но в то же время он чувствовал, что надо было сказать адвокату об этом новом своем понимании явлений добра и зла. Если зло не в другом, а в себе, как было по этому новому пониманию, вытекавшему из рассуждений Христофорова, а человек, что бы он ни делал, всегда делает только из соображений добра, понимая добро прежде всего как добро для себя, то желание добра есть зло, и чтобы уничтожить зло, надо подавлять это желание добра в себе (каким бы общим, для всех, ни казалось это желание). Арсений понимал это; но объяснить это Кошелеву было трудно, и потому он сказал только:— Мы высаживаем дерево, но уничтожаем траву, а разваливая дом, освобождаем место для нее. Зло и добро одновременны, и только присвоенный нами произвол дает нам право судить, что мы сделали — добро или зло. Нет таких понятий, а есть только действие, приносящее и зло и добро одновременно.

— Как же тогда отнестись, положим, к народным сказкам, в которых добро побеждает зло, или к христианству, целиком основанному на проповеди добра ближнему, я уж не говорю обо всех наших современных понятиях жизни?

— Мы говорим о разном, это бессмысленно. Я говорю о едином и естественном явлении, а вы, расчленив это явление, противопостав-

ляете в нем одно другому. Нет понятия добра для ближнего, это обман. Желание добра ближнему всегда и прежде всего содержит желание добра себе, а это уже зло. Хотя бы вот мой пример, разве он ни о чем не говорит вам? — «Разве я желал добра себе? Но ведь и себе, и в первую очередь себе», — беззвучно, глазами уже договорил он то, что должно было пояснить все.

Арсений впервые смотрел на свое дело так, как он старался представить его сейчас Кошелеву, и впервые, не замечая за собой этого, высказывал не то, что заранее бывало обдуманно и взвешено им, а то, что приходило на ум теперь и казалось верным. Он не мог бы объяснить себе, когда и как случилось с ним это, что он безбоязненно позволял себе говорить то, что думал; но оттого, что делал это, он чувствовал приток каких-то будто новых сил в себе, которых никогда не испытывал прежде. Для него не существовало сейчас той серединой позиции, какую он всегда раньше любил занимать в спорах; мысль его была ясна ему, и он не повторял слепо христофоровских наставлений; наставления те только помогали ему выводить это абстрактное свое понятие действия (взамен вечно противоборствующим добру и злу, как это признавалось и признается человечеством), и так как вопроса, чем же управляется это действие, он не задавал себе, то невольно признавал как раз ту самую некую роковую силу, то есть какой-то тот не открытый еще естественный закон природы, который так хотелось открыть и понять Кошелеву.

«Так вот оно в чем дело», — подумал Кошелев, уловив это главное (и важное для себя), что было еще как будто скрыто от самого Арсения, и с новым удивлением посмотрел на него.

— Значит, ни добра, ни зла, а только действие?

— Да, — подтвердил Арсений.

— Но что-то же должно руководить этим действием, или, точнее, чем-то должны руководствоваться люди в своих поступках?

— Только не желанием добра, как бы ни было оно объяснено общими целями.

— А чем?

— Не знаю. Не знаю, — повторил Арсений. И он затем произнес ту фразу из послания апостола Павла: «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем вынести из него», которая более из всего прочитанного Христофоровым из Библии поразила его.

После этой фразы Арсению казалось, что продолжать разговор было уже бессмысленно.

## XII

Но они еще говорили около получаса, касаясь уже не философских проблем, а существа дела.

— Отчего я разошелся с Галиной? Да я теперь и не знаю, — говорил Арсений, отвечая на очередной вопрос Николая Николаевича. Ему и в самом деле казалось, что он не знал сейчас, из-за чего он разошелся с Галиной. Прежде ясное, видевшееся в деталях, словно ускользало, и на передний план выдвигались какие-то те мелочи, о которых неприлично и неприятно было упоминать Арсению. — Вы говорите, Юрий?. Я, наверное, никогда не смогу простить себе этого. Но кто же знал, кто знал? — повторял он, невольно открываясь перед Кошелевым в своих отцовских чувствах. Когда же Николай Николаевич рассказал ему о Наташе (в пределах, как это было дозволено ему), Арсений с еще большей как будто искренностью, чем о сыне, сказал о ней: — Мне жаль ее. Никого мне так не жаль, как ее. — И долго затем не поднимал глаз на адвоката.

— Оправдают? Может быть, — с усмешкой проговорил он, когда Кошелев, прощаясь, напомнил ему об этом. — Оправдают, не оправдают, а того уже не вернуть, что было. (Арсений имел в виду свои от-

ношения с Наташей.) Было, выронил — и нету его.— И словно для убедительности он протянул раскрытые (с растопыренными пальцами) ладони, чтобы показать, что в них не было того, что он только что держал в них.— Нет, выпало, разбилось.— И еще более ссутуленно, чем входил в комнату, вышел из нее.

Для Арсения этот разговор имел лишь то последствие, что с еще большей настойчивостью заставил его искать утешения в мысленном созерцании жизни. Ничего не желать, не видеть (из того н а с т о я щ е г о, что было с ним) было легче, чем думать о Наташе, Галине или Юрии, который, не успев оглядеться и узнать что-либо в жизни, ушел из нее; легче было, ничего не желая для себя, постоянно сознавать, что никому не приносишь этим зла, и к услугам Арсения (для поддержания в нем этих мыслей) был Христофоров со своим белым, старчески-морщинистым лицом и морщинистыми, в веснушках руками, которыми он открывал и подавал Библию. Арсению доставляло теперь удовлетворение думать, что нет ни добра, ни зла, а есть только действие, приносящее добро или зло, и что надо только не совершать этого действия, вернее подавлять в себе всякое желание чего-либо. И хотя это было не совсем по Библии и Христофоров покачивал головой, слушая, как Арсений (спустя уже несколько дней после разговора с Кочелевым) излагал ему это, но конечной целью всего было — смирение, и Христофоров понял это.

— Добро-то, конечно, есть, только мы не можем постичь его, потому что — не для себя же, а для ближнего,— попробовал было вначале возразить он.

— Как же есть, когда все двуедино? Противостояние заложено во всяком деле. Родился человек, казалось бы, родилась жизнь, а в ней уже заложена смерть. Да и нет восхода, после которого не было бы заката.

— Так ведь сказано: не желай себе, а желай ближнему.— И Христофоров своим давно поставленным голосом принимался читать из Библии то, что не столько подходило к теме разговора (или даже бывало противоположно ему), сколько всегда воздействовало той своей скрытой силой, от которой человечество, освобождаясь не одно столетие, не смогло еще до конца освободиться теперь.

Серые стены камеры, кровать, тумбочка, арестантские завтраки, обеды и ужины и весь тот распорядок с утренними и послеобеденными прогулками (и допросами, на которые Арсения теперь почти уже не вызывали, так как следствием уточнялись побочные обстоятельства, без которых нельзя было завершить дело и передать его в суд),— весь этот распорядок с подъемами и отбоем, когда включался и когда выключался свет, с передачами от Наташи, сменой белья и банною процедурой был теперь для Арсения жизнью, какой он жил изо дня в день, привыкая к ней; и если не тяготился ею, то только потому, что точно так же, как он, ни о чем будто не думая, лишь созерцал свои мысли, созерцал эту свою жизнь, в которой было у него это свое удовлетворение, что он созерцал ее. Но он по-прежнему, едва сомкнув с вечера глаза, сейчас же просыпался среди ночи и до утра уже не мог спать; и во время этой бессонницы его иногда охватывал ужас того, что происходило с ним. «Неужели это все?» — спрашивал он себя. «Да, все, а чего же ты хотел еще?» — отвечал ему какой-то тот, второй человек, сидевший в нем, который знал и понимал все. Арсения то начинало знобить, и он с головой укрывался одеялом, то бросало в жар, и он скидывал с себя все и лежал, застывая, расстегнув на худой впалой груди рубашку. Окно же (с согласия Христофорова) оставлялось на ночь открытым, и в первые числа октября, когда по утрам земля схватывалась уже морозцем, Арсения, простуженного, с тяжелым плевритом, перевели в госпиталь, где предстояло ему пролежать почти до самого того дня, когда в суде должно было начаться слушание его дела.

Свидания с ним по-прежнему были запрещены, и Кошелев за все это время тоже ни разу не пришел к нему. Установив, с кем Арсений сидел в камере, и узнав о Христофорове, что тот морил голодом доверившихся ему людей, присваивая их добро себе, что на совести этого старца был уже не один десяток загубленных им и что привлекался он теперь повторно по этому делу, Кошелев решил, что рассуждения Арсения о добре и зле и подмена им этих понятий понятием некоего действия есть не что иное, как следствие сектантского влияния; и согласно этому влиянию все в Арсении вдруг стало ясным Николаю Николаевичу. Не сумев разобраться в нравственных и социальных сложностях, в каких заключалось Арсеньево дело, то есть не докопавшись до корней и не разглядев кроны, а увидев только засохший плод на ветке, он взялся судить обо всем дереве, что оно мертво и не стоит внимания. «Осудят — так что в нем исправлять, а если оправдают — какой толк из него? Ни работник, ни жилец с этими своими мыслями», — было приговором Кошелева. Отказаться же от Арсеньева дела он не мог, так как никто из коллег не понял бы его, и чтобы поддержать видимость заинтересованности, он сходил к прокурору и выразил ему протест, что подзащитный подвергается определенной обработке в камере.

— Но чего же вы хотите? — было в ответ сказано ему. — Библию мы изыщем, но эти святоши — это же болезнь (что надо было понимать широко и потому не предъявлять претензий к частностям). Это же — как холера, от которой не всегда знаешь, кому и какую вакцину привить.

— Но все же? — возразил Кошелев.

— Разумеется, что-то предпримем, — сказал прокурор, но когда распоряжение его дошло до руководства следственного изолятора, Арсений уже был в госпитальной палате и нуждался в иной, врачебной помощи.

Для Кошелева же вся его прежняя будничная жизнь с ее служебными и домашними заботами и теми часами отдыха, когда он позволял себе по субботам и воскресеньям прогуляться к стожкам, с бесконечными заседаниями, приемами, протокольными и не протокольными обедами, на которых выкладывались все самые последние так называемые юридические новости Москвы, — жизнь эта точно так же, как она протекала до того, как он заинтересовался Арсеньевым делом, протекала и теперь, когда интерес к делу иссяк и оставалось только произнести защитительную речь на суде. Оправдают или не оправдают Арсения — это уже не занимало Николая Николаевича. Он не вспоминал и о брате Семене, который все еще был в Венгрии (и которому всегда и все было ясно в жизни). Ясности этой не требовалось Кошелеву, так как он, не открыв никакого нового явления в обществе, не испытывал теперь и тех прежних сомнений, прав ли в чем-то или не прав; присев в один из дней к письменному столу и положив перед собой стопу чистой белой бумаги, он принялся, в сущности, делать то, что он делал всегда, — излагать на ней то общеизвестное, что должно было быть поучительным и обязательным для других и было необязательным и ненужным для себя (но что, Кошелев знал, будет принято, напечатано, оплачено); он принялся за то свое обычное дело, без которого не то чтобы не могло обойтись общество, но не мог обойтись сам Кошелев со своим требовавшим расходов семейством; и он, не оглядываясь, сколько и чего было пройдено им по дороге и сколько и что еще предстояло пройти, натягивал свои ничего, в сущности, не везущие постромки и спокойно, весело, философски, как он, смеясь, говорил о себе, смотрел на свое дело.

### XLIII

Из всех многочисленных впечатлений минувшей войны одно, и важное, осталось почему-то (непонятно, в силу каких причин) не опи-

санным ни литераторами, ни полководцами. Кроме того, что шли бои и проявлялся героизм, равного которому не было еще в истории ни одного народа; кроме того, что в Ставке, в армейских и фронтовых штабах разрабатывались и блестяще затем проводились военные операции, дерзость и продуманность которых до сих пор продолжают волновать воображение; кроме того, что молниеносно, казалось, прорывались самые мощные, считавшиеся неприступными оборонительные сооружения врага и в подразделениях и частях чувствовалось всеми то общее настроение, какое всегда сопутствует наступающим войскам (и какое было усилено тогда сознанием близкой победы),— люди, участвовавшие во всем этом деле, кроме того, что рыли окопы, стреляли, захватывали города и высоты и снова окапывались и стреляли, люди эти, думавшие о жизни, невольно (и не только в минуты затиший) приглядывались к тому житейскому, что окружало их на этой новой, на которой они никогда прежде не бывали, земле. Земля эта была не своя, была чужая, но впечатление, какое она производила на солдат, было то общее впечатление ухоженности всего — и полей и строений,— за которой угадывался определенный уровень европейской жизни. Чем дальше солдаты продвигались на запад, удаляясь от своих деревень и приближаясь к центру Европы, тем четче видна была эта ухоженность всего и тем очевиднее был этот угадывавшийся всеми уровень европейской жизни. «Хоть и немцы, колбасники,— говорилось между солдатами (что как раз и было отражением этого общего впечатления),— а пожить есть вкус. Все, черти, умеют, что рука, что глаз, любо-дорого посмотреть!» Поражало солдат не только то, что все было из камня и кирпича, было покрыто добротной черепицей и было на века, как говорилось вокруг; поражали даже не дороги, которые были проложены везде и были основательными, и не песчаные возле каждого дома дорожки или гаражи и цветники, но поражало другое — что все приспособлялось для дела, даже ручеек, как было в Австрии: стоит на нем выкрашенная будочка на замке и дает ток, и током этим освещается и фермерский дом, и работают от него насос, качающий в чаны воду, и всякие другие моторы — в столлярной ли, в слесарной ли мастерских или в коровнике,— облегчающие крестьянский труд. «Да, хоть и колбасники, а посмотреть есть что, есть, есть»,— возникало, жило и увезено было затем, после войны, это неприметное, приглушенное лишь на время чувством победы солдатское впечатление.

Впечатление это, привезенное миллионами людей, если бы оно было применено к делу, стало бы заметным явлением в народной жизни. Но оно не было применено к делу. О нем лишь вспоминали — по избам ли во время застолий, в иные ли какие минуты душевного отдохновения, когда между вчерашними солдатами, теперь вернувшимися к земле мужиками, заходил разговор о минувшей войне. «Что-что, а уж землю свою сумели обиходить»,— так ли, по-другому ли, но теперь с грустной задумчивостью произносились эти слова. Русскому человеку жаль было, что за множеством разных других дел (за тысячами бед, принесенных войной, которые надо было исправлять) он не находил ни возможностей, ни сил точно так же обиходить огромные пространства своей земли. И оттого, что не находил этих возможностей и сил, угасало и выветривалось из памяти, растворяясь в суетных житейских мелочах, это важное впечатление войны. О нем забывали, его уносили на погосты вместе с умиравшими ветеранами, и жизнь, та жизнь русских деревень с жердевыми оградами, с печами по избам и покосившимися баньками на задах, с разъезженными по весне и по осени колеями проселочных дорог,— как она, сообразуясь со своими определенными и устоявшимися понятиями, шла всегда прежде, шла она и теперь медленно и неохотно, как если бы ухоженность и удобства действительно были противопоказаны ей. Миллионы людей, вернувшиеся с войны,— как будто они не хотели себе доб-

ра, находя оправдание (как, впрочем, и теперь мы любим сказать это) в том, что у нас, дескать, не то, что за рубежом, у нас — просторы, и что мыслимое ли дело обиходить их! «Что нам в пример? Нам ничто не в пример, как умеем, так и живем». И это «как умеем, так и живем», столь удобное для оправдания лени, если и не произносилось каждым, то многими принималось как некая национальная черта и мешало делу. «Что нам до немцев, эго нашли у кого учиться», — любил сказать Сухогрудов (в тот деятельный для себя период жизни, когда возглавлял райком). И так же, как он, как незнакомые ему Сергей Иванович с шурином Павлом, как тысячи других по деревням и городам, забыл постепенно об этом впечатлении войны и Семен Дорогомилин. Он как будто катился по тому же желобу, по которому катились все, и не успевал (за обилием обкомовских дел) оглянуться и посмотреть, что и откуда можно полезного взять для жизни, и не решаясь в силу уже традиций (словно что-то осудительное есть в этом) вернуться к памяти прошлого.

Но жизнь, может быть, тем и удивительна, что не знаешь, в какую минуту и какой стороной она обернется для тебя. То, что жене Дорогомилина Ольге представлялось неприемлемым, представлялось как понижение, когда мужа ее, видного обкомовского работника, перевели в какое-то там, как она выразилась, Песчаногорье руководить строительством какого-то там (что особенно оскорбляло ее слух) птицекомбината, и что самим Дорогомилиным было принято вначале с неохотой и во многом огорчило его, — теперь, когда он, посланный с делегацией от СССР в Венгрию изучить опыт работы подобных птицекомбинатов, увидел, как все было поставлено на знаменитых птицекомплексах Агард и Баболна, увидел, как экономично и выгодно было производство бройлерных кур (и, главное, увидел масштабы, как можно наладить подобное производство у себя), он был не только доволен происшедшей переменой в своей жизни, но испытывал то чувство, словно все, что было до назначения, то есть когда он разъезжал по районам, проводя совещания и вдохновляя людей на труд (и что было, несомненно, нужным и важным делом), представлялось чем-то не главным, в то время как это, что делал и к чему готовил себя теперь, было настоящим, что должно быть у каждого человека. Почти с первых же часов, как только поезд Москва — Будапешт после таможенных досмотров и формальностей пересек границу Венгерской Народной Республики и за окном вагона открылась чужая земля, чужие города, деревни с иным укладом жизни и со своими, иными и давними традициями труда, — невольно и будто лишь в ряду с другими воспоминаниями о войне, хотя Дорогомилин шел с боями не через Венгрию, а через Польшу и Германию, вспомнил он и о том своем солдатском впечатлении у хоженности земли, и впечатление то, возбуждавшее тогда определенные мысли и подтверждавшееся теперь видами из окна (и еще более затем подтвердившееся на птицекомплексах Агард и Баболна), наталкивало на те же определенные размышления и теперь.

— Да что же вы хотите, сколько земли у них и народу и сколько у нас! У нас одна Москва больше, чем вся Венгрия, — сейчас же послышалось это привычное уже мнение, которым мы готовы оправдать все, что можно и чего нельзя оправдать им.

— Дело, видимо, не в количестве гектаров и не в численности населения, — попытался возразить кто-то.

— А в чем?

— В традициях.

— Выходит, что ж, русский человек нетрудолюбив, что ли?

— Отчего же нетрудолюбив? Трудолюбив, да уж больно любит по-своему пуп надрывать. А что же надрывать, когда есть иные, и более эффективные, методы производства. Работать надо не только руками, но головой, головой!

— А по-моему, так и у нас хороших традиций хоть отбавляй, только мы почему-то все больше поднимаем Аввакумово неприятие или обломовскую лень готовы возвести в идеал, так чего же мы хотим от народа?

— Ну, положим, народ есть народ и навязать ему чего-либо нельзя, он всегда сделает то, на что он способен и что он хочет. А просторы и разные иные условия нашей жизни тоже сбрасывать со счетов нельзя.

Говорили так, говорили несколько иначе (и в купе и в проходе вагона), в то время как поезд Москва — Будапешт пересекал просторы Венгрии, в то время как все новые и новые подтверждения тому — станции, поселки, города, квадраты ухоженных полей и виноградников — возникали и, проплывая, исчезали за окном. Говорили об этом и в Будапеште, пока жили в гостинице, и вспоминали затем в Баболне, когда прибыли туда, и из всех этих разговоров (между членами делегации) и воспоминаний Дорогомилин выводил для себя лишь одно: что есть проблема и что пора не словами, не рассуждениями, а делом решать ее; и он, взволнованный и озабоченный, старался как можно больше запомнить из того, что, казалось ему, важно было перенять у другого народа.

*(Окончание следует)*



---

---

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ИЗ ЛИРИКИ

Полководцы прошлого

Пожар. В щепу разбитый кузов. Да, прочный выказали норов,  
Но гнев и вера жили в нас. И вот фронты уже вдали.  
Всех популярней был Кутузов. Всех популярней стал Суворов,  
В тот отступленья горький час. Когда мы к Альпам подошли.

Седина

Три жестоких артналета.	В уцелевшей мылся бане
Восемь танковых атак.	Деревенскою водой.
Полегла в оврагах рота.	
Не вернуть ее никак.	Убиваться — много ль прока!
	Глянул в зеркальце скорей:
Постарел на поле брани	Показалось, будто плохо
Лейтенантик молодой.	Вымыл мыло из кудрей.

Футбол сорок восьмого года

«Динамо», как священная гора,  
Уже курилось. Приближалось дело.  
Милиция едва ли не с утра  
В скрипучих седлах намертво сидела.

Я плыл внутри качавшихся лавин,  
В их центре, величавом и суровом.  
Звучали как К а ч а л о в и М о с к в и н  
Здесь имена Федотова с Бобровым.

Вминаясь на трибунную скамью,  
Держал печаль и радость наготове,  
Открыто продолжая жизнь свою  
Лишь на такой естественной основе.

...Как замерли динамовцы тогда,  
Когда Иван забил в свои ворота<sup>1</sup>.  
(Теперь бы целовались без стыда.  
Теперь другая выросла порода.)

Среди недоуменной тишины,  
Которая и впрямь была немая,  
Как отошли они, поражены,  
Случившегося ужас понимая!

---

<sup>1</sup> Гол армейца Ивана Кочеткова в свои ворота в знаменитом матче ЦДКА — «Динамо».



Не только гол всесильного Бобра  
И с ним столь справедливое спасенье,  
Но хмурый свет тогдашнего добра  
Окрашивают это потрясенье.

### Мальчик и лошадь

Пасется лошадь. Мокрый луг. Остановился он, прохожий. Глядит, как у нее под кожей Подрагивает мускул вдруг	В кустах блестит река дневная, Вдали туманится жильё.  А ты ему не прекословь И дай спокойно в полдень хмурый Смотреть, как у нее под шкурой Подрагивает мускул вновь.
Как бы отдельно от нее, Слепня на время отгоняя.	

### Тополь

На рассвете очнувшийся тополь  
За окошком вступает в права —  
Мой Руанский собор, мой Акрополь  
И на Нерли мои Покрова.

\* \* \*

Милый Митя Голубков Поднял взгляд, что синь и яркок. Книжечку моих стихов Попросил себе в подарок.	И никак я не пойму Сам с собою в долгом споре, Для чего она ему Там, куда ушел он вскоре.
---	--

### Строчка

Поверил вашей строчке, И даже не одной, Как верят малой дочке И женщине родной.	Иное в бездну канет И вообще вранье.. А эта не обманет, И верится в нее.
--	---

### Старинная акварель

Летние дни отгорели. Душу пронзая до дна, С ясной еще акварели Женщина смотрит одна.	Под черепаховым гребнем Полный наивности взор.. То, что в разлуках мы крепнем, Это поистине вздор.
---	---

### Расставание

Маленький городок. Северный говорок. Выцветшая луна. Северная Двина.	Рябь темно-серых вод. Музыка. Теплоход. Девушка на холме. Юноша на корме.
---	--

### Младенец

Итак, отчасти подытожим: Стучала по окну капель, А рядом с их семейным ложем Была младенца колыбель.	Он спал, закутан в одеяло, Беззвучно, как ему дано. И это что-то добавляло К их ночи, длящейся давно.
---	--



---

---

ЮРИЙ ЛОСЕВ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Еще не остыл броневик, над которым  
Во всю свою мощь полыхало: «Советы...»  
И этот кумач — это тот же автограф,  
Что нам в основном оставляют поэты.  
Так буйствуй же, душ наших взорванный порох,  
Гори, разгорайся и здравствуй при этом.  
Еще не остыл броневик, на котором  
Стоял величайший поэт из поэтов.

### В море

А в море жарища — идет перегруз,  
И тело, как рыба, мечется  
То с плюса на минус, то снова на плюс,  
Хоть выбрось себя по плечи.  
Влетаю в рассольную — мне бы пуск  
Насосов, компрессора, легких...  
А в море жарища — идет перегруз,  
Сегодняшний день не из легких.  
Краснеет на юге. А времени нет.  
Швартуется судно к судну,  
Здесь двум теплоходам в подобный момент  
И в крест превратиться нетрудно.  
Мы с новым заходом плечом к плечу  
Стоим как в жиру растопленном...  
Я в каждом движении ритм ищу,  
В движении рук особенно.  
Открытые трюмы, ритмичен мой пульс,  
И строп, уходящий за стропом,  
Такой же неровный, как жизненный путь  
И чем-то похожий на опыт.  
Врастая в короб, к другому тянусь,  
Дышу — надыхаться мне бы...  
А в море жарища — идет перегруз  
И рыбы, и жара, и неба.

Владивосток.

---

---

В. ЧУКРЕЕВ

★

## ВЕЧЕН ОГОНЬ

Повесть

Ничто в этой жизни не вечно — вечен огонь.

Гераклит.

I

**Г**лубоко за полночь, позвонил Серго. В хорошо знакомом Сергею Мироновичу голосе Орджоникидзе, гортанно-звучном, напористо-приподнятом, проскальзывали глухие нотки боли — чувствовалось, что у Серго опять пошаливает сердце. Сергей Миронович сделал вид, что не замечает этого, и, стараясь как можно глубже упрятать беспокойство за друга, принял немного шутиливую, немного пафосную манеру разговора, которую предложил Серго.

— Не о деле. Только не о деле! — Чувствовалось, Григорий Константинович крепился, жаловаться не хотел. — Расскажи что-нибудь веселое. Только не охотничью байку. Веселое. Сегодняшнее.

— Веселое?.. — Сергей Миронович, полулежавший на боку (он перед самым звонком Серго совсем уж устраивался спать, книгу, которую читал, закрыл и отодвинул, настольную лампу лишь еще не погасил), сел теперь, прислонился спиной к подушке. — Веселое?.. Сегодняшнее?.. Ну, если совсем сегодняшнее, то вот...

Сергея Мироновича сегодня рассмешила история, рассказанная молодой работницей завода «Красный гвоздильщик».

Работнице выделили комнату. Получить отдельную комнату в Ленинграде, население которого увеличивается каждый последний год на добрую сотню тысяч жителей, это небывалое счастье. А тут сразу привалило даже два счастья.

В этой комнатке стоит рояль. Старинный, концертный, беккеровский. Комнатка когда-то была частью роскошной дворянской или купеческой гостиной. Эту гостиную уже несколько раз перегораживали. Сначала пополам, потом каждую комнату еще пополам, потом, видимо, еще. И вот в одной из этих четвертушек или осьмушек очутился замурованный навсегда (его даже в разобранном виде оттуда извлечь невозможно) великолепный концертный рояль. Он занимает почти всю комнатку. Можно лишь втиснуть железную узкую койку и вместо стола тумбочку. Радоваться или плакать?

— Ох,— вздохнул Серго. — Ну и веселенькое!.. Как ты думаешь, когда нам удастся вызволить этот рояль? Когда этой хорошей, видимо, женщине удастся дать приличную жилплощадь?

Сергей Миронович тоже вздохнул. Он уже много об этом раздумывал. На конференции звеновых парторганизаторов, в перерыве, слушая работницу с «Красного гвоздильщика», он смеялся вместе со всеми. А потом, уже сев в машину, оставшись один, загрузил.

Когда, действительно, удастся разломать перегородки в той дворянско-купеческой гостиной? Когда удастся вызволить замурованный теснотой рояль? Когда? Тем более что он, секретарь областкома, знает, какая река, какое море людское хлынуло сейчас в Ленинград.

Город зовет... Зовет того, кто был когда-то городским, фабричным, но в годы разрухи и голода покинул развалюху избенку за Нарвской заставой и, подавшись к далеким родственникам, осел в новгородской, псковской, сибирской деревне. И того, кто никогда не нюхал копотно-дымных запахов вагранок, мартенов, не чувствовал опаленным лицом нестерпимого жара сутунок и слябов, не слышал утробно-глухого, неохватно-вселенского уханья паровых молотов и прессов. И бобыля и семьянина. И пытавшего счастья в мелкой торговлишке, и того, кто давно махнул рукой на призрак близкой (еще немного — и дотянешься!) фортуны и полагается теперь лишь на мозолистые ладони, трезвую голову и твердую зарплату. Всех, самых разных, зовет город, обещающий каждому постоянное место у станка, в бригаде каменщиков, арматурщиков, землекопов; гарантирующий крышу над головой, рабочий паек, ежегодный отпуск, оплаченный больничный лист. Обещающий еще и поездки на курорт, и детские ясли, сады, теплую воду в квартире, ванную, душ.

Зовет город набирающими полное дыхание заводами, перестраивающимися цехами, лесобиржами, верфями, товарными станциями. Зовет. Отзываются на его зов. В прошлом году, в первом году пятилетки, население Ленинграда увеличилось более чем на сто тысяч. И в этом году не менее двухсот тысяч примет город. Каждому требуется жилье...

— Слушай, Мироныч, — гортанно-звонкий голос Серго звучал приглушенно, чувствовалось, что Орджоникидзе излагает мысль, которая или родилась только что, или если даже и раньше жила, то еще неоформившейся, — слушай... А между прочим, эта идея носится в воздухе. Заводы заводами, фабрики фабриками. Но — жилье... Жилье. Коммунальное хозяйство крупных промышленных центров. Реконструкция городов. Сталин недавно запросил справку. Водопровод. Обеспеченность электроэнергией. Канализация. Городской транспорт. И что ты думаешь? Оказывается, в стране только сорок процентов крупных (заметь, друг мой, крупных!) городов имеют водопровод. А канализация всего лишь в двадцати восьми городах. Москва, — чувствовалось, что Серго разволновался, — Москва на голодном водном пайке. Трамваи... Ты можешь днем, даже не в часы пик, сесть на трамвай, скажем, у Белорусского?.. Если думаешь, что можешь, я тебе скажу — ошибаешься! У тебя локти, друг мой, слабы...

— Да, этот разговор просится.

— Вот именно. Вот именно. Необходимость в самом крупном разговоре по этому поводу диктуется. А ты — только не о деле...

## II

Утром, приехав в Смольный, поднимаясь на второй этаж, где был кабинет, Сергей Миронович прикидывал: кому поручить собрать материалы о коммунальном хозяйстве города? Стрешневу?.. Да, этот спокойный и хорошо знающий Ленинград человек здесь будет, пожалуй, тем самым, на кого можно положиться.

В приемной перед столом Анны Андреевны сидел незнакомый Кирову человек. Он хохотал, откидываясь назад, а затем падая вперед и сильно ударяя себя по коленкам. При каждом ударе рук о колени раздавался сухой треск, будто под брюками добротного, но уже изрядно поношенного костюма прятались не живые ноги, а что-то иссохшее, одеревеневшее. Портфель, когда-то импозантно-внушительный, со множеством замочков, молний, боковых отделений, сейчас совершенно пустой, словно прилип к животу своего хозяина.

— Ха!.. Так, видите ль... Ха-ха!.. А наш-то, наш-то! «Это что!.. Вот наша резина...» Ха!..— Он так захохотал и запритоптывал, что чуть не сполз со стула.— Наш-то!.. С пятнадцатого этажа. Сам вдребезги! Всмятку! А калоши... Калоши... Ха! Ха!.. Хоть бы что!

«Вот меньшевистский недобиток!» Захотелось подойти к этому дрыгающемуся в экстазе человечешке и, взяв его за ворот, тряхнуть. Не за анекдотец. Анекдотец как раз не новый, из тех, что обильно появились после девятисотого года, когда Россия на Всемирной промышленной выставке решила подивить мир горою калаш. Хотелось тряхнуть за эту самоупоенность, в которой потонул тщедушный человечешка, которая крупной дрожью была сухопарое тело, взбрасывала иссохшие, гремевшие костыми ноги и вырывалась из зубастой пасти вулканически-неистовыми «ха-ха!».

Анне Андреевне, секретарю Кирова, было очень неловко. Она поднялась за своим столом и растерянно смотрела то на Сергея Мироновича, появившегося в дверях, то на человека, который чуть не валился на пол со стула...

— Это из Резинотреста,— сказала она Кирову.— Первушин... Кузьма Ипатьевич.

— Ко мне?.. Вы ко мне?

Пригнулся Первушин, словно переломился,— и вытянулся.

— Да-с. Да-с...— И кинулся в двери кабинета.

Перед столом секретаря областкома, упав в глубокое кресло и придав взгляду деловитую напряженность, представитель Резинотреста сделался неподвижным.

На столе лежала брошюра о разведении свиней, развернутая и испещренная пометками. Модель трактора с задними колесами, похожими огромностью на колеса фултоновского первопарохода, стояла между чернильным прибором и перекидным настольным календарем.

Представитель Резинотреста не был лишен любопытства и косым взглядом ощупал эту модель, точную копию тех «фордзонов», которые, как он слышал, выпускали в бывшей пушечной Путиловского завода, но они (ха! ха!) не ходили. Голубоватый булжничек лежал на дальнем краю стола. «Апатиты — слабость и радость здешнего руководства,— вспомнил Кузьма Ипатьевич.— Этим камнем хотят засеять все российские поля. Тогда зерно кидать в землю будет не надо — хлеб сам произрастет!»

Рядом с камнем на плоской тарелке, как ломоть незрелого арбуза, лежала желтовато-ржавая песчанистая плита. «Сланцы! Эти самые шумливые гдовские сланцы. Теплокалориями которых (ха! ха!) изобретательный Ленинград думает заменить сам солнечный свет!»

Набор пробирок, как частокол огорода, перед самым носом Кузьмы Ипатьевича. «Ха! Спиртишком попахивают! Не разворачивает ли могучий ленинградский секретарь на своих землях самогонварение? Э! А в одной из них как будто резиновый червячок? Каучук Бызова? Или же плод трудов многоуважаемого академика Лебедева, заставившего два дня тому назад трепетать весь Резинотрест?»

Косой взгляд Кузьмы Ипатьевича, шаривший воровато по столу, привлекли руки секретаря областкома. Сердитесь, с напряженно выпрямленными ладонями, они приподнимались над столом и опускались на листки бумаги, на раскрытую брошюру.

— Подлая! — сказал Киров ворчливо и с усмешкой; разгреб листы бумаги и достал из-под них круглую жестяную коробочку.— Вот,— сказал, потрясая ею перед собой,— кладешь в карман, а найдешь обязательно где-нибудь у черта на куличках. Курите?

Кузьма Ипатьевич не без осторожности заглянул в жестяную коробочку, которую протягивали ему через стол.

— Махорка?!— Глаза Кузьмы Ипатьевича блеснули озорно («Нет,— говорили эти озорно блестевшие глаза.— Нет, неужели самая что ни на есть махорка? Вот это реноме! Ха! Ха!») — Спасибо,— сказал

он, тряхнув головой и не прогоняя озорной улыбки с лица. Достал свой портсигар.— Предпочитаю сигарки. Люблю роскошь. Этакая, знаете ли, небольшая испорченность. Люблю ощутить себя, черт возьми, таким превосходно оплачиваемым, высокой квалификации специалистом какой-нибудь американишен корпорейшен. Вчерась стащил в торгсин последнюю дюжину серебра. Но зато и табачок! Турецкий импорт. Не закурите?

Киров заложил в автомат, подаренный рабочими «Красного Путиловца», полоску бумаги. Насыпал махорку. Щелкнул и достал готовую самокрутку. На Кузьму Ипатьевича мощь техники в руках секретаря здешнего областкома впечатление произвела: он даже шею подвытянул, рассматривая этукую диковинку.

— Последнюю дюжину, говорите, отнесли? — Киров спрашивал, прикуривая.— И что же, теперь деревянной ложкой обходитесь?

— Что? — У Кузьмы Ипатьевича, передернувшегося и по-наперед себя ухо выставившего, это «что» прозвучало как «чтоп».— Чтоп?.. Ах, ложкой, говорите! Деревянной, говорите! — Он опять весь сверкал и искрился озорством: в глазах чертики прыгали, большие уши пошевеливались, зубы все выставились (верхние резцы особенно фигурировали), кожа на лбу ходила вверх-вниз, жидкие волосы на черепе взад-вперед ездили.— Люблю юмор! Обожаю юмор! — Он произносил это слово, делая ударение на «о», и когда он растягивал это самое ударное «о», губы его складывались в длинную, тонкую, выступающую дальше носа трубочку.— Жена моя, Евгения Евгеньевна, говаривает: «Погибнешь ты, Кузьма, из-за любви к юмору. Погибнешь. Время-то какое!..» Сам чувствую — гибну. Заживо гибну — время, действительно время-то!.. А поделаться с собой ничего не могу!

Они посидели молча. И пока молчали, Киров раскурил свою самокрутку, Кузьма Ипатьевич понюхал сигарку, сладострастно поморщился и положил ее обратно в портсигар... Молчали. И так как молчание затягивалось, Кузьма Ипатьевич понял, что его ждут. Первого слова от него ждут.

— Как вы понимаете, товарищ Киров,— начал он с этакой неожиданной для него серьезной мягкостью,— я к вам, можно сказать, с дипломатической миссией.

Киров молчал. Первушин тоже не торопился, и потому речь его была сплошные, самых длинных периодов паузы.

— Как вы знаете, фигурально выражаясь, мир ждет. Мир затаил дыхание. Небывалого вида состязание. Скачки. Мировой конкурс. И финиш... Не финиш, но — каучук! Синтетический каучук! Фигурально выражаясь, надежда цивилизации. Дитя цивилизации. Родится ли это дитя? Возможно ли такое чудо? Синтетический каучук!.. Мир ждет. В скачках участвуют титаны. Колоссы. Глыбы научной мысли. И среди них Санкт-петербургские светила. Лауреат Бутлеровской премии, делегат всех еще довоенных мировых конгрессов по каучуку сам Борис Васильевич Бызов. И не менее досточтимый профессор и академик, член-корреспондент отечественной Академии наук Сергей Васильевич Лебедев. Как видим, наш родной Санкт-Петербург...

— Ленинград.

— Да, да. Конечно. Разумеется. Само собою разумеется. Пусть извинят старого интеллигентишку за его дурные оговорки... Ленинград мощно представлен на этих, фигурально выражаясь, состязаниях — борьбе мирового масштаба. Но... Да позвольте высказать это дрянненькое «но». Академик Лебедев, фигурально выражаясь, ближе всех к финишу. Он уже ясно видит приз, лежащий на бархатной подушечке ВСНХ. Хороший денежный приз, надо прямо сказать, Сергей Миронович! — Первушин очень замысловато, неожиданно сложно для подагрической его фигуры изогнулся.— Очень хороший приз. Добротный!.. Но с богом! С богом! — Он вскинул руки и замахал ими, как будто бы отказывался от чего-то, что ему предлагали, а он братъ

не хотел. Не желал. И не помышлял даже ни о чем подобном.— С богом! Мы тоже будем бить в литавры, если уважаемый Сергей Васильевич финиширует первым. Но... Сергей Миронович, поймите это наше простецкое «но». Конкурс есть конкурс. Скачки, фигурально выражаясь, есть скачки. На конкурсе, как и на всяких скачках, самое первое условие — честность. Борьба должна быть честной. Нечестная борьба недопустима. А что происходит тут, на этих скачках мирового значения?.. Нечестно, очень нечестно ведет себя многоуважаемый академик Сергей Васильевич Лебедев. Урезоньте Сергея Васильевича. Подскажите ему: нечестно. Нехорошо! На скачках все должно быть в ажуре.

Киров молчал. Пуская полупрозрачные колечки дыма, смотрел немигающими глазами на резинотрестовского Кузьму Ипатьевича.

— Сергей Васильевич не нашел ничего лучшего, как потребовать от нас денег. Да, да! Несколько дней тому назад, явившись в градстолицу, нанеся визит ответственнейшим работникам Резинотреста, попытался, фигурально выражаясь, взять нашу высокую организацию за горло.— Кузьма Ипатьевич обеими руками приложился к своему горлу и широко выкатил глаза.— Если хотите иметь каучук, давайте... деньги! Да, да, самые паршивенькие деньги! На продолжение и завершение опытных работ. Каково?

Освободив горло от рук, Кузьма Ипатьевич почти упал подбородком на стол перед частоколом пробирок и глазами, обтянутыми дряблой кожей, уставился через этот частокол на Сергея Мироновича.

— Нет! Каково! — вскричал он, выпрямляясь.— Каково?! Участвовать в конкурсе! И от организации, коя ждет результатов конкурса, которая, можно сказать, руководит конкурсом, требовать: «Дайте! Дайте мне деньги! И я при помощи ваших же денег выиграю еще и те, которые лежат на призовой бархатной подушечке!» Каково?! Вы бы смогли ставить вопрос так беспардонно?

— Но вы заинтересованы в успешном окончании этого конкурса? Вас, фигурально выражаясь, что интересует: сам конкурс, скачки, как вы определяете это научное соревнование, или каучук?

— Честность! — Кузьма Ипатьевич опять подбросился в мягком кресле.— Прежде всего честность!

— Не понимаю... Не понимаю.— Сергей Миронович покачал головой.— Ученый просит, чтобы ему помогли. Помощь, вовремя оказанная, гарантирует успех. Страна получает наконец долгожданный синтетический каучук. Почему не оказать помощь?

— Помилуйте! — Кузьма Ипатьевич привстал и снова сел.— Но где этика? Где щепетильность?.. Более можно сказать вам, товарищ Киров. Лебедев, увлекшись своими изысканиями и не желая видеть далее и шире своих изысканий, всей своей неумной энергией начинает наносить моральный вред большому государственному делу: решению резиновой проблемы. Вы, как человек большого государственного ума, вы, наверное, отлично понимаете, что синтетический каучук — это же частность. Это же еще не та самая многострадальная резина, в которую нужно, фигурально выражаясь, обувать страну от самого рядового крестьянина, который не прочь по праздникам покрасоваться в калошах, до аэропланов, которые тоже никуда, никуда без обуви... Товарищ Лебедев, наш многоуважаемый и многогочтимый Сергей Васильевич, фигурально выражаясь, стремясь выиграть мировой приз на международных научных скачках, увлекся. По-человечески его понять можно: победа на конкурсе — это мировое признание, это деньги и деньги!.. Есть от чего вскружиться голове. Но мы же ученые. Мы экономисты. Мы не можем встать на его точку зрения. Мы не можем сегодня воскликнуть, что этот самый синтетический каучук — панацея от всех наших бед.

Опять замолчали, и пауза была настолько долгой, что Киров вынужден был сказать:

— Я слушаю вас, товарищ Первушин. Слушаю. Вы даете весьма

своеобразное освещение вопросу, который мне, признаюсь, казался и кажется более простым.

— Простым?.. Нет, нет, товарищ Киров. Этот вопрос не может быть простым. Наш вождь, как вы это тоже отлично знаете, сказал недавно, что в стране есть все, кроме, пожалуй, каучука. Но что и каучук в ближайшее время мы будем иметь.

— Так вот Лебедев, Бызов и предлагают стране этот каучук.

— Ну нет, товарищ Киров. Нет! — Кузьма Ипатьевич замотал головой. — Нет! Вы отлично знаете, что сейчас снаряжаются огромные экспедиции на поиски наших советских, отечественных каучуконосов. Вы отлично знаете, что из южных стран в наши советские субтропики привезено каучуковое дерево.

— Но одно другому не мешает. Тем более что дерево пока не растет. Упорно не желает расти.

— Правильно. Дерево не растет. Но где есть гарантия, что нашим отечественным селекционерам в конце концов не удастся вывести тот гибрид, который будет расти? Где гарантия, что грандиозные экспедиции, работой которых лично занимается товарищ Сталин, не найдут на огромнейших просторах нашей страны, равных одной шестой суши земного шара, другой каучуконос? Где этому гарантия?

— Но при чем здесь все это? — Киров не поддавался горячности представителя Резинотреста и говорил очень ровно. — Проблема каучуконосов — проблема каучуконосов. Проблема синтетического каучука — проблема синтетического каучука. Зачем их противопоставлять? Тем более гарантий нет, что проблема каучуконосов решится в год-два. А резина нам нужна сегодня. Вы лучше моего знаете, сколько золота мы отдаем за каучук. Но золото — это еще победы. А если завтра война? Или даже без войны Запад скажет нам: «Не дадим! Не дадим большевикам каучук!» Во что тогда, фигурально выражаясь, обувать по праздникам крестьянина и аэроплан?

— Мы с вами говорим на совершенно разных языках! — Кузьма Ипатьевич достал портсигар, набитый продукцией турецкого импорта, закурил и кинулся горячо громить тех, которые сделали для себя идолом синтетику, кто перестал верить в богатства родной земли и не живет серьезной государственной заботой. Он громил искусственников, которые пытаются обкормить страну резиной, уступающей по качествам натуральной в сорок (минимум в сорок!) раз. Он громил их с пафосом, с убежденностью почти религиозно-исступленной. И в это время весь, от жиденьких волос на черепе до иссохших ног, дергался. — Сорок! Вы понимаете, — Кузьма Ипатьевич закатил под морщинистые веки белесо-выцветшие глаза, — в сорок раз искусственный каучук, по прогнозам специалистов, будет уступать по всем статьям натуральному.

Чепуха! — сказал себе Киров. Он как-то заставил академика Лебедева прочитать ему лекцию о шкале свойств каучука натурального и предположительных качествах искусственного. У того и другого были свои неоспоримые достоинства, были и свои «но». Чепуха.

— И все-таки не эти сакраментальные сорок — главная беда лебедевской синтетики. Есть вообще предположение... Авторитетное предположение. Да, да, авторитетное! — Кузьма Ипатьевич защелкал вдруг замочками портфеля, с хрустом выхватил из темного его зева (не пустым все-таки оказался портфель!) большую, не нашу, газету. — Читайте!.. Сам! Да, сам!.. Сам Эдисон заявляет: «Вряд ли процесс синтеза каучука увенчается успехом. Мой собственный...» Да, да, так и пишет: «Мой собственный опыт показывает...»

Киров, перегнувшись над столом, смотрел не мигая на вихляющего в пафосном экстазе представителя Резинотреста. Тяжелый кировский подбородок подался вперед и заострился.

Кузьма Ипатьевич смешался. Кировское лицо его вдруг напугало. Под буравящим кировским взглядом ему стало тяжело.



— Нет, понимаете,— он говорил сбивчиво.— понимаете, Сергей Миронович, это все-таки очень серьезно. Честно сказать, если бы вы не стояли за спиной Сергея Васильевича Лебедева, мы, в центре, давно бы нашли возможность урезонить, поставить его на место.

Киров поднялся и, обойдя стол, остановился перед Первушиным. Говорил он негромко, даже со скорбью в голосе:

— Понимаете, Кузьма Ипатьевич (он не забыл, что Анна Андреевна представила того Кузьмой Ипатьевичем), я не стою за спиной Лебедева. Я стою... рядом с ним. А иногда, когда партийное положение обязывает, и впереди. Так что вы, в Резинотресте, имейте в виду: прежде чем Лебедева, как вы выражаетесь, ставить на место, придется ставить на место нас, ленинградских большевиков. А вы представляете себе, что это такое — ленинградские большевики? Нет, Кузьма Ипатьевич, вы представляете вполне серьезно, что такое ленинградские большевики?

— Жаль! — Кузьма Ипатьевич бросил газету в портфель, захлопнул его и резко поднялся.— Очень жаль! Я ожидал встретить здесь понимание. Я ожидал, что ко всей сути гигантского резинового вопроса здесь существует иной подход.— Демонстративно, с театральной четкостью поклонившись, сунув свернувшийся вдвое портфель под мышку, Кузьма Ипатьевич почти строевым шагом вышел из кабинета.

Сергей Миронович вернулся к себе за стол, посидел неподвижно, потом, нажав кнопку звонка, вызвал Анну Андреевну.

— Такие к вам просьбы. (Она сразу приготовила блокнот и карандаш.) Пригласите, пожалуйста, Стрешнева. Да, да.— Он как бы еще сомневался, но тем не менее поборол сомнения.—Прежде всего Николая Фадеевича. У меня к нему разговор. И тут же, не теряя времени, свяжите меня... сначала с Куйбышевым. Потом с Серго. Резинщиков нужно серьезно одернуть. И третья просьба: позвоните в партком Ижорского завода. Есть там у них член партии, матрос бывший, Печников Григорий Арсентьевич. Попросите дело, характеристики, отзывы. Пусть пришлют... И мне — на стол...

### Ш

После тряского тесного вагончика пригородного поезда, долго преодолевавшего два десятка верст от Колпина до Ленинграда, после сутолоки привокзальных площадей и улиц спокойный, немногочудный простор площади перед Смольным обязывал к воински строгой подтянутости. Выпрыгнув из трамвая и взяв курс на парадное крыльцо дворца, Григорий одернул пиджак, встряхнулся, расправил плечи. И почувствовал опять, будто висит у бедра тяжелый маузер, патронные ленты охватывают грудь, от лимонок топырятся карманы. На голове бескозырка, где золотом: «Громобой». Бушлат — грудь нараспашку. И во всю грудь — бело-голубой тельник, удостоверение в принадлежности к братве, которая не подведет, не подкачает... Первый раз сюда, к этому дворцу, в октябрьские дни семнадцатого пришагал именно таким — опоясанным, перепоясанным, посланным Балтикой на самые горячие дела революции...

В кабинете Кирова, видимо, шло заседание. Потому что появилась целая группа людей с портфелями и папками, но секретарь их не пустила.

Они остановились посреди приемной и, верно, потому, что перед этим спорили, сейчас тоже сразу заговорили горячо. Особенно один из них, державший в руке скатанный лист ватмана. Сухощавый, высокий, этот мужчина был горяч и порывист в движениях. Сейчас, рассерженный, он вскидывал перед собою тонкий, похожий на палку бумажный рулончик. Узкое лицо, обрамленное пышными кудрявыми баками, казалось тесным для больших, полыхавших черным пламенем

глаз. Острый кадык над галстуком-бабочкой обтягивала тонкая кожа; выступая почти до уровня подбородка, кадык постоянно двигался — казалось, что можно было уследить, как в нем рождались слова, гудевшие густо, раскатисто, этак утробно-мощно.

— Огнь! Огнь сегодняшних страстей должен озарять это деяние.

Он наступал на другого человека, в котором Печников узнал работавшего здесь, в областкоме, Стрешнева Николая Фадеевича. У Стрешнева в руке пузатый, набитый до отказа бумагами портфель. Добродушный и обходительный, Стрешнев сейчас выглядел взъерошенным и злым. Волосы на голове, белесые и обычно гладко зачесанные, теперь как бы взвихрились. Усы, пышные, похожие на лебяжий пух (в них нос как бы утопает), ершатся беспорядочно-клочковато, и нос из них выставился, как наконечник стрелы. Карие глаза тоже как острия взведенных, готовых вырваться из лука стрел. И голос резкий, без всегдашней, помнящейся Григорию Арсентьевичу теплинки.

— Проще вопрос ставится.— Это он в ответ тому, на него нападающему.— Жилищная проблема. Коммунальное хозяйство города. Реконструкция ли, новая ли стройка...

— Это даже не оппортунизм! — гудит громко, басовито и мощно высокий. Стрешнева он, кажется, не очень и слушает.— Не эта поганенькая болезнь всех политических маловеров сегодняшнего дня. Это во сто крат омерзительнее... Вы же идолопоклонники! — Он совсем близко подступил к невысокому Стрешневу, навис над ним.— Вы готовы каждому гранитному валуну, оброненному телегой истории, бить поклоны и валиться перед ним на колени. Вас не задевает, что этот гранитный валун — олицетворение рабства. Он так и вопит: рабство! рабство! рабство!.. Его отпиливали от скалы рабы. Его тесали рабы. Его волокли сотни верст лошаденки рабов. Его какой-нибудь Монферран, раб из рабов, нанятый царем-тупицей за золотые гроши, не придумал ничего лучшего как поставить на попа, вверху воткнуть дурака с крылышками: «Молитесь! Падайте ниц! Идиоты! Рабы!» И вы падаете. Вы бьетесь лбами о камень, олицетворяющий рабство... Перепахать! — Он это так могуче сказал — не выкрикнул, нет, но выдохнул из себя со всей мощью, — что Григорий Печников почувствовал, как и в его груди ворохнулось что-то большое и горячее. — Перепахать!.. Пусть под ножом исторического скрепера скрежещут останки императорских гробниц! Пусть рушатся нелепые, ненужные человеку сегодняшнего дня нагромождения камня! Которые вы, да, вы, идолопоклонники, не имеющие ни своего взгляда, ни своего мнения, ни фантазии, ни полета духовного, вы называете творениями. Творения!.. Скрепером! Пусть нож исторического скрепера...

— А почему не бульдозера?

— Что? Какого бульдозера? — Высокий с черно-пламенными глазами как бы оступися. Бывает так: идет человек быстро, торопится и вдруг — оступися, будто даже икнул. Так и получилось у высокого. Он будто икнул от ядовито-спокойного вопроса.— Что?.. Какого бульдозера?

— Скрепером! Ножом исторического скрепера! Так вы изволите выражаться.— Стрешнев говорил уже уважительно-мягко, и поэтому язвительная издевка в его голосе обозначалась с особою резкостью.— А я хотел бы уточнить! Почему тогда бы не бульдозером? Заехать, скажем, с Петроградской стороны — и до Московской заставы!

— Вы!.. Вы!.. — Высокий, кажется, сильно, чуть не до кашля, перхнулся.— Вы плоский человек. Ваше однолинейное, одноплоскостное, мизерных измерений мышление...

— Товарищи! Товарищи! — В торопливо выговариваемых женщиной-секретарем словах звучала нескрываемая радость («Как вовремя!» — словно слышалось в этой торопливости.— Как хорошо, что вовремя! Здесь бы вас не утихомирить. А вот посмотрим, как там вы

будете петушиться!») — Товарищи, вас просят. Всех, кто по вопросу реконструкции и строительства города, просят проходить.

Все прошли в распахнутые двери кировского кабинета. Только высокий, с одухотворенным лицом, на котором черно-пламенные глаза, задержался посреди приемной. И когда последний из входивших в кабинет был уже в дверях, двинулся по ковровой дорожке следом за всеми... Отдельно от всех...

Григорий Арсентьевич настроился на то, что здесь, в приемной, быть придется долго: люди зашли на заседание бюро с портфелями, набитыми бумагами; спорят, чуть не за грудки держат друга друга — такие скоро обсуждение не закончат.

Анна Андреевна, закрыв двери в кировский кабинет, вернулась к себе за стол, посмотрела на бумажный листок, где, как знал Григорий, записана и его фамилия, на часы и вздохнула. Сочувствовала Григорию Арсентьевичу и, видимо, переживала, что в строгих здешних распорядках намечается прорыв.

Однако такого не произошло. Двери кабинета распахнулись, из кабинета повалил дым (папиросно-махорочный), выплеснулся шумный говор. Неторопливо, продолжая разговоры, начали выходить и члены бюро и все, недавно вошедшие под водительством Стрешнева.

Вышел и Киров, но возле дверей его задержал тот, высокий, с пламенно-черными большими глазами, которым, казалось, было тесно на узком лице. Он теперь не жестикулировал, наоборот, движения его были округло-неторопливы и как бы подкрепляли мощь басисто-утробного гласа. Он говорил, стараясь придать каждой фразе пухлую мягкость, и иногда голос его начинал звучать виновато.

— Меня неправильно понимают, уважаемый Сергей Миронович. Я действительно что-то иногда заостряю. Но только лишь для того, чтобы обнажить самую-самую суть. Самую сущность без оправдательных, оборонительных, предохранительных атрибутов. Метод заострения помогает выявить...

— А что вы заостряете? — перебил его Киров. Голос Сергея Мироновича звучал спокойно. — То, что мы живем во время величайших революционных преобразований? Разве это заострение? Это же самая что ни на есть наша рабочая повседневность.

Высокий, соглашаясь, степенно кивнул.

— Или то, что в каждом камне нашего города труд и пот рабов феодализма, рабов капитала? Что под каждым камнем их косточки? «Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?...» И что действительно в каждой тесаной и полированной колонне наших дворцов можно видеть памятник этому рабству? Разве это заострение?

Высокий его собеседник поднял, даже откинул назад голову, как бы приготовив ее к тому, чтобы опустить неторопливым, подтверждающим полнейшее согласие кивком.

— Нет, это не заострение. Это опять же — простая, самая простая реальность.

Высокий кивнул.

— Вот потому что эти ваши послы, эти отправные точки всех ваших умозаключений и утверждений предельно реальны, — в голосе Кирова прозвучало что-то, заставившее высокого не двигать головой, она у него застыла где-то на полукивке, — вот потому... я понимаю Стрешнева. Других ваших оппонентов тоже понимаю.

— Скрепер! Скрепер! — вскричал вдруг Стрешнев, вскинув перед собой портфель, набитый бумагами; портфель был тяжеленный, и Стрешнев держал его перед собой на уровне груди обеими руками. — Да потому что звучит! «Под ножом исторического скрепера!» Звучит! Заражает! Одухотворяет!.. «Долой Воронихина, Растрелли! Плевать на Захарова и Ринальди! Сбить палкой социалистической разум-

ности,— он очень хорошо подражал голосу узколицего,— нелепо вырубленные творения Монферрана и Росси! Сровнять!.. Да, да, не боимся всей святости и миссионерской новизны этого удивительного слова! Перепахать! Сровнять! Перекайлить! Наша божественно коммунистическая миссия: смахнуть все, пахнущее империями и рабством, развратом и нищетой! Расстелить по полям первозданно чухонский триумфат! Мемориал! Мемориал! Мемориал революции! Гранит декораций! Знамена! Знамена! — Он делал ударение на «а». — Пусть плачут счастливый гранит и мрамор, разворачиваясь на века, на тысячелетия в багряные знамена мемориалов!»

Киров засмеялся и положил руку на плечо Стрешнева.

— Николай Фадеевич, ты чего так разбушевался? Само олицетворение спокойствия в Смольном — и вдруг такой пожар! Одним словом, товарищи,— Сергей Миронович продолжал это уже без смеха и без улыбки,— сегодняшний разговор считаем боевой разведкой вопроса. Время у нас есть. Отжимайте из портфеля Николая Фадеевича все лишнее. Отжимайте и из собственных мозгов. Как строить, что строить, что реконструировать, как реконструировать — предлагать Центральному Комитету партии будем мы. Потому — ответственность. Судьба Ленинграда в ваших портфелях, руках, головах...

Киров быстрым шагом направился к стоявшему в стороне возле своего стула Григорию.

— Извини,— сказал он, протягивая руку.— Извини, Григорий Арсентьевич. Немного не рассчитал. Но вопросы были сегодня один другого круче. Не будем заператься в тесных стенах? Пройдемся? Хватим ветерка с Балтики?

#### IV

Стояла погода, нередкая для здешних мест: летнее жаркое солнце боролось с холодом северного ветра; на солнцепеке, в затишье — теплынь, на ветреной стороне, в тени — хоть шубу надевай.

Резкий шквальный порыв чуть не сдернул кепку с головы Григория; Сергей Миронович тоже натянул фуражку потуже на голову.

— Шалит Балтика,— сказал, усмехнувшись, Киров и свернул с широкой ветродушной улицы Воинова.

Ветер сразу словно затих, в тени домов жары не чувствовалось. Идти было легко.

Сергей Миронович шел неторопливым экономным шагом, какой обычно вырабатывается у людей, знакомых с длинными переходами. Плащ распахнут, лежит складками на руках, заведенных за спину.

Шли сначала молча — Киров как будто был еще во власти мыслей и чувств, рожденных спорами в его кабинете. Григорий Арсентьевич не считал нужным лезть с расспросами.

Зеленый массив парка возле Гаврического дворца, видимо, дал новое направление раздумьям Кирова.

— У вас на Ижорском зелени мало,— сказал он, как будто вспомнив картину шихтового двора, огромной, в добрый километр свалки металлического «ломия», будто припомнив вид кирпичных, закопченных цехов, путаницу мощеных дорог, железнодорожных путей, паро-, водо-, топливопроводящих магистралей.

— Были у нас об этом разговоры. Были. Намечаем на осень крупный аврал. Правда, наши дымки зеленой братии не по душе. Но тополя расти будут.

— Надо, надо Ижоре зелени побольше... А вообще, что еще у вас нового? Должны были уже приступать...

Сергей Миронович был не из тех, от кого надо было скрывать, что это за такая загадочная ямка роется посреди сталеразливочного

пролета. Сергей Миронович сам знал поболее Печникова о спорах-торговле с иностранными фирмами, которые могли бы изготовить для нас нужнейший агрегат. Которые даже и соглашались на это, да цену заломили в семнадцать миллионов золотых рублей!.

— Приступили, Сергей Миронович. Самым широким фронтом работы начались. Во многих цехах и мастерских. В том числе и станину отливать готовятся. Только вот...

Не стал скрывать Григорий Арсентьевич, что не нравится ему: дело ответственнейшее, а допускают к нему таких, как Ремезов. Да, да, тот самый Ремезов, которого все ижорские помнят. Из бывших. Чванливый, для которого, видать, как в давние времена, так и в нынешние рабочий люд, а уж бесталанные землекопы в особенности,— навозные жуки, не более. Недаром же этого Ремезова, рассказывают, в семнадцатом просто-напросто вынесли из здешнего Морского собрания (это где рабочий клуб теперь). Вынесли и выбросили в кучу грязного снега. И для Сергея Мироновича фамилия Ремезов не была пустым звуком. Печников сразу заметил: услышав эту фамилию, Сергей Миронович насутился и ушел в молчаливое раздумье.

«Древний мир принадлежал философам! В поверженной Греции над властью римского наместника высилась власть мудреца, которого императоры Рима ставили так высоко затем, чтобы не рушились нравы, чтобы своекорыстие не одолевало напрочь человеческие души, чтобы грубая сила не царил безраздельно. В теперешнем государстве, где техника — все и человек немислим вне сопряжения с нею, власть — инженерству! Только это разумно и жизненно. Только в этом могут проявить себя истина и добро. Только в этом великий смысл сущего может раскрыться полно и мощно... Можно было бы, наверное,— раздумывал Сергей Миронович,— принять это и подобное этому за пустое фразерство. Но... Этой идейкой спекулировали те, кто оставался в зарубежном далеке. А здесь, в кругах технической интеллигенции, подавляли на эту удочку доверчивых и увлекающихся».

Инженерный союз! Особенности, великие помыслы! О трансокеанском и трансатериковом. И утверждение, что все сегодняшнее, наше — это все мелочь, пыль. И, чтобы в этой пыли не потеряться избранным, им надо объединиться стремлениями и... делами. Дела какие? Совсем поначалу и невеликие. Дискуссионно, просто в разговорах доказывать, вдавливать в головы таким вот, как этот бесхитростный, шагающий сейчас рядом ижорский рабочий, никчемность их потуг что-то там построить, что-то создать. Помочь подсчитать этим строящим и создающим, что обречены они быть улитками истории. Угля у них нет и не будет. Электроэнергия... Ею они обеспечат себя через добрую сотню лет. Нефть?.. Нефти нет. Трактора лучше купить. Станки привезти и всегда завозить оттуда. Диспропорции... Есть хлопок — нет машин, а значит, нет ткани. Есть зерно, но не хватает вагонов. И пусть зерно гниет, пусть у рабочего не будет хлеба... И вот как же легко инженерному союзу, а лучше нескольким союзам, объединенным в этакую тайно существующую промышленную партию, городить невидимые изгороди, взрывать безвзрывно промышленность, отбирать у того, кто строит, всякую уверенность в успехе своего дела. И в конечном счете создавать в городе, в селе обстановку всеобщего недовольства, готовить день, когда грянет вдруг подготовленное теми, что в зарубежном далеке, зазвучит для всей подпольной дряни благовестом: «Ин-тер-вен-ци-я!»

— Ну, а ты, Григорий Арсентьевич, взялся бы проектировать вместо Ремезова ту же станину? Взаяся бы все высчитать, вычислить?

Григорий Арсентьевич даже слегка закряхтел.

— Да понимаете, Сергей Миронович,— заговорил он угнетенно,— я практически... В литейной. Пусть и непростые работы. Слож-

ные. Но, однако же, считать, чертежно вырисовывать... Проектировать то есть...— И помотал головой решительно.

— Вот видишь... Я вот, между прочим, по образованию инженер. Но задай мне тот же вопрос — так же заматаю головой. А почему? Не пришлось поработать инженером. Всю жизнь другие дела, иные заботы. И выходит: ты не можешь, я не могу. Так что же, лучше все-таки на семнадцать миллионов золотых раскошелиться, сказать германским «Закку», «Демагу», американской «Месте» — согласны?

— Эх,— вздохнул Григорий Арсентьевич,— если бы наша ребятня да поскорее бы рабфаки одолела. Да поскорее бы институты... Знаете, Сергей Миронович, какая у нас ребятня есть! Вот парень, скажем, к нам пришел, Степка Неверящих. Из архангельских. Совсем деревенский. Нагиба! Под кочегарским совком еще переламывается. А все-таки сразу все наилучшее в его душе, как в садике под вешним солнцем, зацвело, загустилось. Рабфак. И всякие диспуты. И спорт. И понимает себя при деле, громаднее которого на земле нет... На будущий год на Ижоре свой вуз открывается, сейчас профсоюзники тысячу парней подбирают, подковывают. Только вот в чем беда: может, он и на профтысячу, а может, и совсем в другую сторону... У нас по заводу военные шастают. Воздушно-техническая школа РККА. И тех же самых ребят, которые посмекалистее, зазывают. Таких парней, что этих ремезовых могли бы в одночасье заменить...

— Нет, Григорий Арсентьевич,— Сергей Миронович глубоко, с искренним огорчением вздохнул,— в одночасье таких, как Ремезов, не заменишь. Бакалавр Лейпцигского университета. Бывший цеховой начальник. Капитан-лейтенант императорского флота. Это ведь все не слова. Не слова...

Они остановились перед зданием, напоминавшим не то собор, не то дворец. Круглая башня, как шахматная тура, другие башни — островерхие. В Ревеле, когда там базировались, подобных крыш Печников видел много. Там, помнится, называли их готикой. Киров смотрел на люльку, висевшую на фасадной стене здания. Стена была наполовину свежезагрунтована. А какая-то часть стены выкрашена в малиновый цвет. А половина и не загрунтована и не закрашена. Здание, наверно, давно, может еще с дореволюционных годков, не знало ухода. Но все-таки кое-где остались следы прежней покраски. Светло-коричневый колер тут был — как есть в самый раз.

— Памятник архитектуры,— сказал Киров, все еще рассматривавший стену, как бы сравнивавший крашеное и некрашеное.— Историческая реликвия. Как, по-твоему, Григорий Арсентьевич, если все исторические здания Ленинграда мы возьмем вот под такой малиновый цвет, город похорошеет?

Печникову, как, пожалуй, всякому на корабле, приходилось наводить колер, то есть заниматься покраской бортов, надстроек, внутренних помещений. А послужив и на Черном море и на Балтийском, он знал, что на разных морях корабли разно окрашены — это и маскировка (поближе к цвету воды) и в то же время какая-то своя, стремящаяся к предельной простоте, к соответствию одного другому красота. Здесь малиновость, несмотря на всю ее выразительность, яркость, била по глазам. Он и сказал это. И сказал еще, что, судя по всему, красить бросили не случайно. Видимо, спор зашел: продолжать одевать в малиновое старинное это здание или не одевать?

Киров выслушал Григория Арсентьевича, улыбнулся и спросил:

— Значит, считаешь, что тут не сошлись мнениями?

— Да, кажется мне, что заспорили...

Киров опять улыбнулся, и в его взгляде вместо цепкости появилась теплая доброта. Она же прозвучала и в голосе, когда он сказал:

— Давай-ка пройдемся до Невского. Нашему коммунхозу краски целый вагон выделили. Понимаешь, какое богатство: целый вагон!

Где-то от нового строительства оторвали. Где-то на чем-то сэкономили. Для Ленинграда. У нас же, как и везде в стране, со времен революции, а может и с империалистической, ни одно здание не красилось. Теперь бы хоть самые ценные здания в порядок привести...

Невский красить еще не начинали. Прошли по нему от перекрестка Литейного до Фонтанки и далее чуть. Киров кивнул вдруг в сторону сквера:

— Зайдем, Григорий Арсентьевич, посидим на лавочке.

Печников понял: Сергей Миронович здесь скажет то, зачем вызвал его, что ему приготовил. Однако... Однако сойдя с тротуара на дорожку сквера, он даже чуть поотстал от Сергея Мироновича. Удивило его, что, как говорится, средь бела дня, не стеснясь...

Перед памятником, занимавшим центральную часть площадки, окруженной древними высокими деревьями, небольшая, человек десять, толпа. Перед нею, чуть возвышаясь над всеми, морщинистый старичок в шинели. Шинель заношена, вытерта от долгой службы, схожа чем-то с хозяином. У того лицо — сплошные складки дряблой, с синевато-зеленоватым оттенком кожи. Во рту недостает многих зубов. Однако он из-за отсутствия зубов не шепелявит, говорит хотя и глуховато, севшим от годов голосом, но достаточно громко, чтобы каждый из обступивших его мог бы все слышать. А публика возле него собралась самая разная. Старушки такие же сухие и морщинистые, как сам он. Несколько парней и девушек, судя по самодельным чемоданам и узелкам в руках — приезжие, не городские...

Мужчина стоит спиной к памятнику, лицом к толпе, охватывающей его полумесяцем. Белесо-бесцветные от старости глаза не кажутся потухше-нев्यразительными: в них плещется живой огонек. Подняв руку над головой, указывая на возвышающуюся за его спиной бронзовую фигуру, он говорит:

— И вот матушка Екатерина тогда заявила: сделайте прививку мне. Я молодая, сильная — я выдержу. Но заграничный лекарь напугался. Самой великой императрице! Еще не до конца испытанную вакцину! Ну а вдруг матушка богу душу отдаст? А императрица настаивает: я молодая, я сильная...

— Красивая, — не сдержался Печников, которого разозлил не сам этот морщинистый любитель старины, но две старушечки, благоговейно вознесшие вверх морщенные личики и усердно прикладываясь белыми батистовыми платочками к слезившимся глазам.

В толпе, почтительно взиравшей на возвышающуюся на мощном постаменте Екатерину Вторую, безмолвно слушавшей иссохшего, завернутого в длиннополую шинель старика, произошло движение. Приезжие парни и девчата, не уловившие издевки в голосе Печникова, повернули в сторону Григория Арсентьевича удивленные лица.

А старушечки с батистовыми, отороченными кружевами платочками, которые они только что прикладывали к слезящимся глазам, вдруг, как кобры с картинки, приглашающей в зоопарк, вытянули шею. Повернули маленькие злые лица к тому, кто разрушил тихую, мирную беседу возле ног матушки Екатерины. Смотрели с испепеляющим негодованием. И от гнева не могли найти слов.

Григорий Арсентьевич не заметил, что в глазах Сергея Мироновича опять появилась та цепкость, с какою Киров всматривался в него возле красившегося в малиновое старинного здания.

— О красоте не утверждалось, — сказал сухой в черной шинели, всматриваясь в лицо Печникова. — Наоборот, даже и здесь, на этом сугубо реалистическом произведении ваятельного искусства, — опять вскинул вверх руку, — можно видеть, что императрица не отличалась красотой и изяществом фигуры. Но царственная грация и принадлежность к высоким кровям...

— Продукт феодализма, а не высоких кровей.— Григория Арсентьевича приводила в негодование, но он пока еще сдерживался, любезная учтивость, которую демонстрировал морщенный старичок.— Да. Продукт феодализма. И — немка.

— Чистокровная немка,— согласился старый в черной шинели; он изо всех сил старался, чтобы голос его оставался учтивым.— Этого отрицать не приходится.

— Вот именно. И плевала она с клотика на трудящегося человека. Где у нее, интересно, Емелька Пугачев? Куда она его припрятала? На правах какого вельможи он у нее числится?

— Вы упрощаете, молодой человек, российскую историю.

— Да нет, это для вас в этой российской истории все просто. Матушка Екатерина! Оспу себе разрешила привить. А сколько мужицких голов она покосила? Она сама хуже всякой черной оспы для крестьянского труженика была!

— Ужасно! Ужасно! — Старушеницы, прикрывая личики батистовыми платочками и оглядываясь на Печникова, кинулись к выходу из сквера. Парни и девчата с самодельными чемоданами топтались растерянно. Сергей Миронович, оказавшийся среди них, переводил взгляд, в котором прятались заинтересованность и улыбка, то на Григория Арсентьевича, то на морщеного старичка.

— Меня не матушка Екатерина привлекает,— не отступал от своей деликатно-вежливой формы изъяснения человек в шинели.— Это же одно из прекраснейших творений искусства. Работа знаменитых Микешина и Опекушина, оставивших нам такие вещи, как памятник «Тысячелетие России». Разве они не заслуживают?..

— Да по-вашему каждая церковь заслуживает...

— Не церковь! Не церковь! — Старик в черной шинели не удержался на возвышавшей его снисходительной учтивости, перешел сразу чуть не на крик.— Плевал я на церкви! Как вы выражаетесь, с клотика! Плевал я с вашего клотика на церкви! Памятники!.. Удивительнейшие творения рук человеческих! Казанский собор стоит, разваливается. Исаакий замшел! Кому богатства такие достались? Погубите все. Хватитесь! Потом, опосля! — Это словечко он выкрикнул с издевкой, подчеркивая, что не его это слово, но тех, кого он не уважает и в чей адрес шлет свои обвинения.— Хватитесь опосля! Когда каждая эта храмина, как римский Колизей, развалится. Тогда над развалинами приметесь слезы лить. Сокрушаться о потерянном. Варвары!

— Извини меня, папаша! — сказал Печников с предельной яростью, которую он, тоже с предельной силой, старался в себе удерживать. И сделал шаг по направлению к морщеному старичку.

Киров нахмурился. Он уже не смотрел то на Печникова, то на того, в длиннополой черной шинели. Он вдруг будто бы и забыл, что в толкучке; парни и девушки возле переминаются, не знают, кончилось тут все интересное и можно дальше идти или, наоборот, самое интересное только начинается. Он вдруг как бы совсем один. Сам по себе. Задумался хмуро. Ушел от всех. И до него, может быть, уже плохо доходили слова пришедшего в ярость Григория.

— Извини. Если бы ты был помоложе, я бы за этих варваров вытряхнул сейчас тебя из дореволюционной шинелишки, обнюхал бы твою изнанку городского.

— Эх вы! — воскликнул папаша ядовито.— Серость портовая. На мне шинелишка-то совсем другого ведомства! Я, как и отец и дед мой,— ломовые лошадки Николаевской, первороссийской, Санкт-Петербург — Москва. Даже еще и путейские молоточки на пуговках. Смотреть надо внимательнее, милейший!

И, гордо выставив из просторного воротника сухонькую голову на длинной, тонкой, как палка, шее, пошагал вокруг обширного, по-



хожего на перевернутую чашу пьедестала. И, почти обогнув его, направился в сторону Аничкова дворца.

Печников был смущен. Если бы ему не показалось, что этот мужичонка — бывший городской, он бы, может, внимательнее послушал его. Плюнул бы на все его восхваления цариц и царей, а суть постарался бы схватить. До всякой сути у него была большая жадность. Не случайно еще черноморский, знакомый по «Трем святителям» гардемарин много раз говаривал: «Тебе бы, Григорий, колледжи да академии пройти. У тебя не голова, а вместилище необыкновенной емкости!» Чувствовал себя сейчас ничтожеством Григорий Печников, обругавший, выходит, ни за что ни про что морщеного старичка.

— Вот уж который раз так, — смущенно проговорил он; толпа редела, Григорий Арсентьевич и Киров, все еще хмуро-сосредоточенный, оказались опять рядом. — Который раз. Будто бы и знаешь и всеми печенками чувствуешь — прав. Прав — и вдруг как бы лбом о стенку. Аж искры из глаз.

На лицо Сергея Мироновича возвращалась заинтересованность: он начинал вслушиваться в негромкие сетования Печникова.

— И сейчас вдруг... Чего я на него напал? Нет, все ж таки, — сказал он сокрушенно, — бои боями. И бронепоезд. И другие бои. И поллитрамата заводская, над всякими иными грамотами — мать-наставница... А все ж таки двинусь я ныне в Промакадемию... Говорят, туда с самым средним образованием берут? Если человек с опытом? И партстаж какой-никакой, но со времени революции?

Киров не отвечал. Он глядел на Григория Арсентьевича и не прятал внимательности, с которою вслушивался в его слова.

— Сядем-ка, — сказал он, кивком указывая на свободную скамейку. — В Промакадемию, значит? — спросил, когда сели.

— Да если возьмут, то я бы с душой... Зубами бы грыз, когтями царапал, когда не хватало бы разума. День и ночь бы, если нужда, над книжкой корпел!

— Это хорошо... в Промакадемию, — сказал Киров, но голос его наполнился грустью. — Это очень правильное решение. Но все-таки, Григорий Арсентьевич, — он посмотрел на Печникова с виноватостью, поразившей того, — но все-таки на год, на два можно отложить? Потом, честное слово, сам рекомендовать буду...

Григорий Арсентьевич молчал растерянно: его просил Киров. Киров мог ведь и не просить его, члена партии со стажем и с опытом. Молчал...

Сергей Миронович заложил в автомат бумагу, насыпал махорки — выстрелил готовой цигаркой. Передал диковинный автомат Печникову: сворачивай, мол. Завернул и Григорий Арсентьевич, хотя в кармане лежали привычные злые папиросы «Трезвои».

— Знаешь, что такое синтетический каучук? — спросил Сергей Миронович.

Григорий Арсентьевич молчал с минуту, перетряхивая свою память. Сказал, помотав головой:

— Нет, не знаю. Каучук — это знаю. А синтетический каучук — такого не слыхал.

— Послушай тогда. Расскажу тебе, что такое синтетический каучук. Этим делом наши ученые вплотную занимаются. А ученым мешают. Иные дураки. Иные завистники. Или просто равнодушные. А дело большое. Первостатейное для нашей страны дело. И надо бы ученым помочь. Одному из них, в частности. Надо всех недобрых, дураков, равнодушных, которые временами на него наваливаются, на себя принять. Надо освободить ученого от всяких отвлекающих от главного дела забот. Помощником ему надо быть: ненавязчивым, душевным, крепким. Вот и кажется мне: из тебя такой помощник как раз и получится... А синтетический каучук... Это такая, значит, вещь...

Разбирая утреннюю почту, Сергей Миронович отложил записку секретаря Нарвского райкома партии и обзор зарубежных газет, рисовавший шабаш, устроенный церковниками Запада в защиту верующих в большевистской России. Еще отчеркнул в газете сообщение с Дальнего Востока о возможном вторжении Японии в Маньчжурию.

Секретарь Нарвского райкома, судя по тону записки, слегка запаниковал. На «Красном путиловце», оплоте революции, становом хребте сегодняшних революционно-технических преобразований,— буза!

«Бузят какие-то темные элементы, в основном бабы, организуя пикеты возле заводской церквушки, в отношении которой принято решение: превратить в клуб!»

Секретарь райкома просил дать указание ГПУ заняться элементами и выявить среди них организаторов бузы, которая неблагоприятно воздействует на коллектив завода, отвлекая его внимание от решения основной задачи сегодняшнего дня — выдачи стране десяти тысяч тракторов и еще кое-какой иной продукции, о которой товарищ Киров сам знает.

Сергей Миронович позвонил автору взволнованной записки.

— Послушай,— сказал он ему,— органам дать указание, конечно, можно. Органы, если надо, займутся этим делом. Но я не верю, чтобы эту пустую церквушку кто-то защищал всерьез. Ты поручи-ка своим работникам разобраться во всем этом.

— Поручал! Поручал, Сергей Миронович! — Секретарь и правда был весьма взволнован.— Боевой паренёк вчера туда ходил. Чуть морду парню не набили. Рубашку порвали.

— Да не надо туда боевого. Спокойного, думающего пошли...

— Думающего? — Секретарь Нарвского райкома, кажется, был слегка обескуражен.— А ты что, Мироныч, считаешь, среди моих работников недумающие есть?

— Да ладно, не придирайся. Вдумчивого. Неторопливого в суждениях. В подобных спорах пылить, горячиться нельзя...

В этот день была намечена поездка по Петроградской стороне. На этом настоял Стрешнев. В связи с подготовкой проекта постановления о коммунальном хозяйстве Ленинграда возникало много самых неожиданных предложений. Одно из последних — увеличить этажность города.

Заманчивое предложение, сулившее большой экономический выигрыш. Нужно было проверить его, как сказали бы художники, на натуре. Натурой была избрана Петроградская сторона.

На торце, коим мощен бывший Невский (переименован, а все равно зовут Невским), машину мелко трясло. Сергей Миронович, часто наклоняясь к боковому стеклу, задирает голову, смотрел вверх.

— Не красят,— сказал он, не оборачиваясь к Стрешневу, сидевшему на заднем сиденье в уголке и помалкивавшему.— Не красят...

Стрешнев сказал:

— Из коммунхоза докладывали: люлька оборвалась. Канат некачественный. Теперь проверяют все люльки и канаты.

— Побился кто-нибудь?

— Нет. Парень в люлке был. Она одной стороной оборвалась. Он за другую уцепился. Опустили быстро.

— Все равно я до вас до всех доберусь. Ох и доберусь! Волинщики.— Киров говорил ворчливо и покачивал из стороны в сторону головой. Стрешнев завозился в своем уголке, будто там сидеть ему было очень неудобно.— Полмесяца уже прошло, как краску получили. Веревки теперь у них нет...

Проводив долгим взглядом памятник Екатерине Второй, Сергей Миронович вдруг сказал шоферу:

— Сверни-ка к Исаакию.

Они вышли из машины у «Астории». Пересекли улицу, направляясь к фасаду мрачно-огромного, безлюдно-угрюмого собора.

Подойдя к ступеням портика, Киров заложил руки за спину, закинул вверх голову. Щуря глаза, стал разглядывать из-под длинного козырька фуражки рельефную группу на фронтоне, изображающую поклонение волхвов. И Мария с младенцем и цари эфиопский, арабский, месопотамский, ей поклоняющиеся, выглядели отсюда, снизу, маленькими и, взятые беловатой синью коррозионного налета, сердитыми. Особенно нелюбезной казалась сама Мария. И Киров уже хотел улыбнуться на эту ее нелюбезность, как вдруг голос, раздавшийся рядом, заставил его обратить глаза долу.

— У, ироды!.. Ироды!.. Христоубивцы!

Старуха или не старуха, но очень изможденная женщина (такие воспаленно-изможденные лица обычны у религиозных фанатиков, изнуряющих себя постами да молитвами) вся в черном стояла на ступенях сбоку от Кирова и Стрешнева. Черный платок, стянутый узлом под подбородком, сейчас развязался, один его конец старуха прижимала к горлу, а другой, перекинувшись через голову, трепыхался на ветру; седые космы спутавшихся, давно не чесанных волос развеивались над плечом. Воспаленно-горячечные глаза, огромные на изможденном лице, сверкали — словно в них вспыхивали отсветы близкого пламени.

— Ироды! — Взмах костлявой руки — и выкрик. — Ироды!.. Христоубивцы!.. Сгинь! Сгинь!

И как внезапно невесть откуда появилась, так и исчезла: не то за углом собора скрылась, не то еще куда пропала.

— Чертовщина какая! — проговорил Киров. Он был немного растерян: в социалистическом Ленинграде, успешно выполняющем грандиозный план пятилетки, в городе революции, ударного труда, передовой науки — и вдруг этакий средневеково-черный вихрь.

— Она что, бешеная или чумовая?

Стрешнев был тоже смущен.

— Церковь, — махнул рукой на собор. — Около церкви всегда все темное и прошлогоднее. Что тут поделаешь? Милиционера ставить? Она и на него — ирод! Может, — хмуро улыбнулся, — и правда скрыть? Тем более что инструментальная съемка сооружения показала: собор оседает, разваливается. Я картинку видел, понимающие люди рисовали: так на ней не собор, а три пьяных мужика, за руки взявшиеся. Ни один купол, ни одна, как понимающие выражаются, ось сейчас на своем естественном месте не присутствует — все в сторону поехали. Поговаривают, что неуч Монферран и вся компания русских архитекторов, над собором трудившаяся, опростоволосились: фундамент бездарно положили. Смахнуть, может быть, — и опять мрачно усмехнулся, — пока сам не развалился и какого-нибудь проходящего мимо современного революционного архитектора не придавил?

Киров посмотрел на него хмуро, словно сказал: «Не понимаю таких шуток. Не принимаю». И пошел к дверям. Они были закрыты.

Пришлось торкнуться в другие врата, в третьи — барьеры. Стрешнев выразил опасение, что в пустующий собор им не попасть. Придется, видимо, приехать в другой раз, известив соответствующее начальство из Глазнауки.

Но тут им на помощь вдруг пришел какой-то дед. Довольно-таки колоритный. Или из старых петербургских извозчиков, или из иного сословия, знавшего себе ранее цену. Бородато-мохнатый: глаза только не позаросли курчавыми, с рыжиной волосами. Могучий. В стариннейшей, давно исчезнувшей даже с толкучек поддевке. С длинной палкой в руке, похожей на царский посох.

— Чего это вы во храм рветесь? — спросил он довольно миролюбиво: наверное, видел, что они подъехали на машине. А простой народ в машине, да еще такой ладной, не ездит.

— Хотели бы войти, — сказал Стрешнев.

— Войти? — Маленькие глазки ощупывали Кирова и его спутника. Дед, видать, был дипломатом, а это еще раз подтверждало, что он или из извозчиков, или из трактирных половых, словом, из тех, которые в людском море поплавали, знают это море. — Как же вы войдете, когда ходу нет? Закрыт храм. Постановление сурьезное на этот счет издано. Теперича тут только одна наука.

— Мы хотели бы осмотреть собор, — сказал Сергей Миронович и назвался: — Я Киров.

Взгляд деда стал особенно острым и ощупывающим. Дед обмерил Кирова с ног до головы и с головы до ног опять. Он даже и в плечах его обмерил. В плечах, видимо, Киров деда удовлетворил. Но только в плечах. Сказал разочарованно:

— Киров-то поболее должен быть... Ну ладно, раз Киров, то проходите. Да не через врата, а вон дверца, которой раньше, считай, цари да архимандриты пользовались. Наша наука третий день как ключи от ее потеряла. Так что она отперта. Через нее пожалуйста.

Две огромные крысы, возле которых шевелились их тени, в сумраке расплывавшиеся до размеров свиней, возмущенно захоркав, разошлись по-хозяйски неторопливо и растворились в темноте боковых нефов.

Дед-дипломат, он же сторож (так назвал его Стрешнев), он же ключарь собора (так он сам, иронически ухмыльнувшись, назвался, не соглашаясь со стрешневским определением), зажигал огни. Немногие и несильные, они не подавляли сумрак, они лишь отбрасывали его от себя, чтобы там, чуть в отдалении, он стал еще гуще и неприятнее.

Кирову казалось, что в соборе происходит неслышный переполох. Все эти сотни и сотни святых и не совсем святых, все эти великомученики и совсем не мученики, все эти написанные красками, высеченные из камня, выбитые на медном листе — все эти сотни задвигались, зашущукались, усталились на прищельцев, громыхавших сапогами по мраморным плитам, устилавшим пол.

Тусклые огни и окна высокого купола боролись с мраком. Сергей Миронович, закинув голову, старался взобраться взглядом на самые верхние этажи расписанных ярусов. Там, вверху, что-то кружилось, там опять мелькали лица, одежды, ангельские крылышки.

Стрешнев подбирал кусочки мрамора, которые, осыпавшись со стен, колонн, пилястр, лежали в пыли на полу и не были приметны до тех пор, пока нога не наступала на них. Под подошвой они хрустели, и какие послабее превращались в труху, покрепче оказывались в ладони. Оставив на платке копоть и грязь (Стрешнев протирал каждый кусочек носовым платком), отложенную столетием, они начинали сверкать и лучиться то белым сиянием, то нежно желтизной, то ярко темностью красного, то весенней зеленостью или черной аспидностью — всеми цветами земли, воды, воздуха, солнца.

— Прелесть какая! — Стрешнев удивленно качал головой. — Сюда бы сейчас женщин с ведрами горячей воды да с тряпками.

Киров все силился рассмотреть широкую роспись сводов. Он не слышал, как за спиной дед-дипломат, он же сторож, он же ключарь, растащил в стороны бронзово-позлащенные, легкие на ходу створки царских врат. Сергей Миронович, может, и не обернулся бы, если бы не яркий свет, вдруг из-за спины его ворвавшийся в полусумрак собора. Он повернул голову и остался так, представив себе силу, вдруг навалившуюся, пытающуюся сломить верующего человека, сделать маленьким.

— Держать взаперти, — сказал Сергей Миронович. И по-

шел к дверям, слабым светом обозначившимся в темной утробе пустого собора.

На ветру, на солнце, миновав колонны портика и спустившись со ступеней на землю, Сергей Миронович широко, всей грудью вздохнул.

— Оплот мракобесия это величественное нагромождение камня,— сказал он глухо.

— Еще недавно тут оружие против советской власти прятали,— сказал Стрешнев.— Тут много оружия выгребли.

— Вот-вот...

Они шли к машине.

И когда Сергей Миронович взялся за ручку, чтобы открыть дверцу, он остановился, повернув голову к Исаакию.

Солнце уже шло к Неве. Видимая отсюда, от машины, парадная сторона собора была в тени. Она казалась угрюмой. Гранит и мрамор были одинаково тусклы и серы, фигуры над фронтоном и по углам зелено-осклизлыми...

— Покажи-ка камушки,— сказал Сергей Миронович Стрешневу.

Тот зацепил их разом в кармане и, раскинув ладонь, выставил перед собой. Они, эти камушки, обломки мраморных плит, какими был облицован Исаакий, сверкали всеми цветами земли, воды, неба.

Киров смотрел на них долго. Сел молча в машину. И весь путь до Петроградской стороны не проронил ни слова.

## VI

На первую встречу с большим ученым, занимающимся сверхважным для страны делом, Григорий Арсентьевич Печников шел с робостью. Ученые — они ведь какие?..

Лаборатория Лебедева размещалась в здании университета. Переступив порог, прикрыв за собой двери, Григорий Арсентьевич почувствовал совсем невероятное смущение: кругом стекло. Показалось Григорию Арсентьевичу, что, если сделает он хотя бы один шаг от двери, вся эта хрупкость, стоящая на стеллажах вдоль стен, и посреди комнаты, и в воздухе замысловато смонтированная, рухнет. И он стоял, опасаясь сделать этот шаг, хотя видел в дальнем углу комнаты, у отдельного столика, человека, по всей вероятности одного из помощников ученого. Тот в синем рабочем халате, с паяльником в руках прижигал что-то на боку большого, медного, похожего на самовар сосуда. Прижег, припаял и, насадив самовар-котел на руку, держа в другой паяльник, двинулся к двери, где стоял неподвижно Григорий Арсентьевич. У Печникова даже рука чуть-чуть приподнялась. «Осторожнее, осторожнее, мастеровой!» — хотелось крикнуть ему, потому что было опасение: посшибает мужик котлом-самоваром стеклянные четверти со стола, шнуром паяльника зацепит выгнувшуюся шей лебеда прозрачную трубу.

— Вы к кому, товарищ?

Не заносчивым был Григорий Арсентьевич. И никогда, даже если что-то важное делал, не выставлял грудь, не восклицал: «А вот мы!» Трудящийся, по-настоящему что ни на есть трудящийся был Григорий Арсентьевич. Но тут, в этой полной хрупкого стекла лаборатории, перед таким же, как сам, трудящимся, мастеровым человеком, паявшим котел для науки, почувствовал некоторое свое превосходство. Пусть и никакого мандата в кармане не лежало, никакого предписания наподобие: «Предъявитель сего, имярек, направляется на фронт науки для оказания помощи ученому Лебедеву в борьбе со всякими оппортунистами, вредителями и вольтыщиками», — а чувствовал при себе такой мандат Григорий Арсентьевич. Кировскую руку на плече своем чувствовал и слова напутственные, сказанные как будто сейчас вот, в эту минуту, слышал ушами своими: «Надеемся на ленинградского большевика, на питерского пролетария, на балтийского матроса. Надеемся». И, вооруженный такими чувствами, ощутил Гри-

горий Арсентьевич совсем небольшое, а все-таки превосходство над этим вот паявшим для науки мастерам...

— Профессора мне нужно бы,— сказал Григорий Арсентьевич, глядя прямо в узкие, не то щурившиеся, уставшие от работы с огнем, не то от роду такие нерусские маленькие глаза, смотревшие на него. Глаза эти его не понимали. Брови над ними, пышно-черные, но короткие, поползли чуток вверх — большой лоб от этого стал поменьше.

— Ну, академика,— пояснил Григорий Арсентьевич.— Который по синтетическому каучуку. Лебедев Сергей Васильевич.

Мастеровой положил к своим ногам котел-самовар, паяльник с ним рядом. Через голову, не развязывая лямок, обхвативших тело, стянул с себя синий, на животе замазанный ржавчиной, обсыпанный металлическими опилками халат. Положил на котел. Достал из кармана платок, беленький очень, обмахнул руки.

Стоял теперь перед Григорием Арсентьевичем другой человек. Не мастеровой. Но и не ученый. Военный стоял. Гимнастерка, петлицы. В петлицах — ромб. Порядочное звание, комсоставское. Ремень широкий. Галифе. Сапоги... Сапоги и совсем необычные. Гладкий блестящий хром. И вокруг голенища полоска ременная обвивает сапог. Бородка совсем не мастерового. Лицо от широкого большого лба идет вниз как бы на узость. А бородка ровную полосой от одного уголка рта до другого как бы узость эту раздает вширь. Усы, ровно подстриженные, смыкаются возле уголков рта с бородкой.

— Я Лебедев,— протянул руку. Ладонь у него шершавая, пальцы с заусеницами, рукопожатие сильное.— Вы не Печников ли Григорий Арсентьевич?

В горле немножечко перехватило, поэтому Григорий Арсентьевич только кивнул — сильно бросил голову вниз.

— Таким решительным я вас и представлял.— Академик не выпускал руки Печникова из своей и увлекал его к столу.— По аттестации Сергея Мироновича. Таким и представлял. Садитесь. Будем знакомиться. Как вы представляете себе эту проблему? — Он усадил на стул Григория, сам сел напротив.— Проблему синтетического каучука. Вы представляете ее?

— Ну! — Григорий опять сильно, достав подбородком до груди, кивнул.

— Превосходно! А верите вы в синтетический каучук? Верите вы, что может быть резина на искусственной основе? Есть у вас эта вера? Или ее у вас нет? — Лебедев наклонился близко к Печникову и острыми небольшими глазами испытующе впивался в него.— Если веры нет, то работать тут не надо. Тогда сразу лучше по рукам. И разойдемся товарищами.

— Сергей Миронович очень верит в эту резину,— сказал Григорий, проглотив все, что заперало горло, и почувствовав полную возможность говорить.— Очень верит. Я верю Сергею Мироновичу. Бескрайне. С полной отдачей сил.

— Превосходно! — Зеленоватые, острого испытующего взгляда глаза академика засияли и, казалось, даже сделались больше.— Превосходно! Значит, будем работать!

...Наука, поразившая Григория Арсентьевича при первом знакомстве с нею замысловатостью хрупкого стекла, оказалась куда более скромным делом. «Все просто, как спирт»,— даже вывел Григорий Арсентьевич такую формулу, облегчающую усвоение сути вопроса.

Действительно, на первом плане был самый обыкновенный, который гонят из картофеля, спирт. «Картофель»,— говорил еще Сергей Миронович, обсказывая всю научную проблематику Печникову,— это на ближайшее будущее наш отечественный каучуконос. Из него берем основу основ синтетического каучука — спирт.

Выходило, что от спирта, как от печки пляска, начинались все хитрости, которые в конце концов приводили к тому, что в руках че-

ловека вместо жидкости, которую можно пить, оказывалась желтоватая эластичная штучковина, которую даже и не ужуешь.

Чтобы не заблудиться во всех научных проблемах, о которых в небольшом, но дружном коллективе академика все время велись разговоры и споры (контактирование спирта, работа катализатора, выход дивинила), Григорий Арсентьевич старался пока все это научное переводить в образы простого жизненного обихода. Тем более что и то конкретное дело, которым он в скором времени занялся, было сверхпростым и понятным.

В лабораторных условиях каучук получали граммами. Теперь стоял вопрос о создании опытного производства. На это были отпущены средства. Но неожиданно опять возникла сложная проблема. Или строить новый завод? Или приспособить для опытного производства уже что-то существующее? Новый завод — это, конечно, заманчиво. Но — сроки! Сроки! Никто не питал иллюзий — проектирование и строительство нового, никогда ранее не существовавшего в природе завода может бесконечно затянуться.

Гораздо выгоднее было приспособить для опытного производства что-то существовавшее ранее. И тут... Три крестителя! Да все же просто, как спирт!.. На Гуттуевском острове стоял заброшенный (по документам — законсервированный) спирто-водочный заводик. Если кое-что там перестроить, переделать, а иное и совсем не переделывать, а к существующему приспособиться, так это же как раз будет то самое, о чем академику Лебедеву Сергею Васильевичу мечтается!

Однако завод хотя и числился законсервированным, хотя и был он заброшенным-презброшенным, а, оказывается, хозяев своих имел. Крепкие у него оказались хозяева. И ключи от проржавевших, не годных уже никуда замков так просто отдавать они не хотели.

Жили-были эти хозяева где-то в Москве. В каком-то наркомате. «С ними нужно вступить в контакт», — так выражался академик Сергей Васильевич. «Выйти на них надо», — так понимал Печников. «Нужно склонить, убедить», — развивал свою мысль ученый. «За шиворот их надо взять. Тряхнуть!» — так понимал обстановку Григорий Печников. «Нужно максимально ускорить решение вопроса». «Надо раздавить гидру оппортунизма!»

Поскольку ни телефонные звонки, ни телеграммы не могли сдвинуть с места решение вопроса, Лебедев попросил Григория Арсентьевича съездить в Москву. Эту просьбу Печников воспринял как боевой приказ.

В Москву он приехал, когда город еще спал. Лишь московские дворники, старинное родовитое сословие, никогда не считавшее свою работу незначительной или третьестепенной, уже при фартуке, при метле, со шлангом, прикрученным к водопроводному крану, мели, чистили, умывали столичных двory и улицы. Погромывивал пока еще пустоватый, многозаботный трудяга трамвай.

Григорий Арсентьевич хотя и редко бывал в Москве, но город знал, любил пройтись по его улицам и площадям. Он и сейчас решил отправиться пешком по Москве. Тем более что вещей — всего лишь один портфель, переоборудованный ученический ранец.

Площадь трех вокзалов казалась еще пустынной: ее огромность поглотила те немногие людские сотни, которые изрыгнул поезд, привезший Печникова. В этой пустынности обнажилась неприметная в многолюдье и толкотне красота Каланчевской.

Под утренним, боковым солнцем выглядел подчеркнута строгим, дворцово-величественным фасадом Ленинградского вокзала. Здесь, на этой работно-служивой площади, он словно утверждал свою принадлежность к чему-то иному; он словно говорил, что есть, и не в таком уж огромном отдалении отсюда, город дворцов, строгих проспектов, величественных фасадов. Город, названием которого, как бы удосто-

верявшим права представительства, и был проименован этот вокзал — Ленинградский.

Будили что-то в душе терема и теремки Ярославского. Как небольшую вспышку рождали, чтобы осветилась, представилась дорога (огого какая дорога!), что пролегла тысячеверстными расстояниями, днями, неделями — и все дорога! Дорога! И мимо нее — поля, и веси, и горная хмурость, и улыбка лесов. Россия. С Сибирью своей. С Забайкальем своим. С Приамурьем. С Дальним Востоком. Какая дорога!..

Казанский при первом взгляде на него казался холодно-каменным и неприветным. И лишь взглядевшись, можно было увидеть, почувствовать его красоту. Он словно распахнутой чуть не во всю площадь, с востока до запада, ширью своей говорил о просторах южно-восточных русских степей и среднеазиатских пустынь. Об их маревном дымке в погожие летние дни и зябком, пронизывающем холоде зимних ветров. На нем, на этом здании, меняющем цвет в зависимости от солнца, будто вуаль была, как на лице женщины. И хотя кажется, что лицо не скрыто, а вместе с тем каждому, кто смотрит на такое лицо, дорисовывается свой, ему лишь видящийся облик.

С площади хорошо просматривалась Каланчевская улица, бодро взбегавшая на холм к Красным воротам. По ней Григорий Арсентьевич и вышел на Садовое кольцо.

Улиц, подобных Садовому кольцу, в Ленинграде не было. Неширокое пространство как бы стиснуто с обеих сторон зелеными, сейчас, по осени, уже начинающими увядать джунглями...

Замысловатая, то распахивающаяся красотой дворцовых ротонд, белыми колоннадами старинных, скрывающихся в пышной зелени особняков, то вдруг выпирающая чуть не впритык к трамвайной линии какой-нибудь развалюхой хибарой, бывшим торговым домом или складским помещением настырного лабазника, необыкновенная, неповторимая улица, наследие дворянско-купеческой Москвы..

«Гулять по ней славно, — отметил Григорий Арсентьевич. — И вправду — Садовая. Если же ехать...» Покачал головой, не стал дальше думать. Шагалось хорошо...

Как было условлено с академиком Лебедевым, Григорий Арсентьевич должен был агаку на станицу начинать с Резинотреста. Заручившись поддержкой этой солидной организации, можно было идти дальше, до самых верхов.

В Резинотресте всем было некогда. И к тому же, видимо, ученический ранец, переоборудованный в дорожный портфель, не вызывал особенного благорасположения к его обладателю. Даже швейцар при дверях солидной организации, глубокий старичок, разговаривал с Григорием Арсентьевичем через плечо. Однако этот старичок выдал важные и серьезные тайны солидной организации. Он сказал, что решить может все Кузьма Ипатьевич. Он хотя и референт (от незнакомо звучащего слова Григорий слегка содрогнулся, однако внешне этого не показал), но все решает. Другие только согласовывают.

Но Печникова могущественный Кузьма Ипатьевич выслушать не пожелал.

— От Сергея Васильевича?.. Лебедева?.. Довольно! Москва говорит вам: довольно! Москва не позволит заниматься черт знает чем! И кому бы то ни было! Все!

В приемной перед женщиной-секретарем, в позе напряженного ожидания вытянувшейся за своим столом, Кузьма Ипатьевич, бросив руку к двери в коридор, продолжал говорить громко, как будто вахтенный на верхней палубе, отдающий команду.

— В буфет! Этого товарища в буфет! Накормить! Комиссар Лебедева. Нашего синтетика. Накормить.

— Да я...

— Вниз! — говорил Кузьма Ипатьевич спокойно и властно. — В нижний буфет. И вообще — вниз, вниз! Москва — город большой. И на



вокзале чайком побаловаться можно. Вниз... Проводите товарища хозяйственника. При Лебедеве...

Москва раздражала. На узких тротуарах теснота. Кривые улочки затянуты паутиной проводов. Везде грохочет трамвай. Вагоны набиты битком. Кажется, что особое счастье москвича — ехать, повиснув на подножке в клубке тел, который уже не может втиснуться в вагонные двери и висит, угрожая сорваться, но не срывается.

Григорий Арсентьевич, сам того не замечая, уходил от тесноты и толкучки центральных улиц, брел лабиринтами патриархально-тихих зарядьевских переулков. Вышел на набережную Москвы-реки. Шел долго по берегу, неприбранно-затоптанному, вдоль мелководья изнемогавшей в городской тесноте реки. «В набережные бы взять ее, как ленинградскую Неву», — подумал сокрушенно.

Пройдя мимо Кремля, свернув на Волхонку, достигнув небольшого скверика, присел на лавочку отдохнуть.

Что же делать? Может быть, Лебедеву позвонить? Подбросить Сергею Васильевичу забот и нервотрепки? Спасай, мол, выделенного тебе в помощь ленинградского большевика!

С Сергеем Мироновичем связаться — мелькнула вдруг смелая мысль. Но тут же сомнения взяли верх. Ну и что сказать Сергею Мироновичу? Вспомните, мол, Сергей Миронович, как вы одного работягу с Ижорского послали на фронт науки. Обязали принять на себя разных вольтыжников, завистников, то есть, по-другому говоря, всякую оппортунистически-зредительскую сволочь. Так вот этот примеченный вами работничек принял на себя одного... резинщика. И лужа сейчас! Да, да! Лужа от мужика осталась!

Хотя самокритика и была жесткой, но в груди потеплело. Все-таки почувствовал, что в тылу, за спиной, всегда есть такие, которые поймут, посочувствуют, поддержат. Потеплело...

Милиционер его заметил. Бесцельно сидящего. Стал демонстративно выказывать милиционер, что наблюдает за бесцельно сидящим и не подходит с расспросами лишь потому, что не имеет пока формального повода. Впывался глазами в портфель-ранец и тем самым как бы давал понять, что хорошо понимает, насколько эта штука удобна вместо подушки под голову. Костюм мятый, подушка в руках — не ночлежку ли здесь, на скамеечке, открыл для себя гражданин?

Демонстрация милиционера, маневрирующего на пересекающихся курсах, разозлила Григория Арсентьевича. Он встал, сблизился вплотную с наблюдавшим порядок и огорошил того вопросом:

— Не подскажешь ли, браток, адрес Совета Труда и Обораны?

Милиционер хотел, видимо, поначалу обрезать праздню шатающегося за фамильярное «браток». И насчет Совета Труда и Обораны тоже что-то хотел выразить. Может быть, похожее на старомосковское: «С таким-то рылом (костюмишко имел в виду помятый и портфель необыкновенный) да в калашный ряд!» Но глаза сердитотребовательные, большие, черные смотрели слишком серьезно. И если бы в них было меньше серьезности и если бы не казалось, что взгляд этот какой-то особенный, будто бы из глубины темных, без dna омутов, то, может, большелобое, с топырившимися в стороны ушами, с некрупным, не по-мужски курносившимся носом, с невыразительно-легким остреньким подбородком лицо, прикрытое кепочкой, словно взятой напрокат у того же мальчишки, у которого был отнят и ранец, — все бы это, наверное, показалось милиционеру неубедительным, вызывавшим улыбку. Однако черные большие глаза смотрели слишком прямо и с требованием дать точную справку. Милиционер поднял руку, взмахнул и назвал адрес.

Григорий Арсентьевич шагал в Совет Труда и Обораны очень решительно. Так же, как еще десять минут назад он решительно ничего не знал, что должен делать дальше.

Действовать! И по самым верхам. К чертям всех резинщиков из

Резинотреста! К чертям их всякую помощь и поддержку, на которые опять напрасно понадеялся наивный академик! И своей наивностью заразил, разоружил балтийского матроса. Напролом! По самым верхам! Мы же, три крестителя, важнейшее для государственной обороны и хозяйства дело ставим. Сами верха об этом деле пекутся. Так почему же побитым щенком должен вертеться представитель академика Лебедева? Хвостиком повиливать перед резинщиками.

Так рассуждал Григорий Арсентьевич, словно раскручивал в себе машинку, похожую на ту машинку в торпеде, которая, заведясь, гонит тяжелую махину до цели и бьет, вызывая взрыв. Раскручивал в себе такую машинку подгонявших его мыслей и чувств Григорий Арсентьевич, а затылком будто слышал чей-то голос с ухмылкой: «Да чепуха! Ждут тебя в Совете Труда и Оборона. Просто-таки дожидаются... Надо же было тебе своей головой варить! Зачем слушал академика? У него же опыт пробования какой? Да никакого! Он, кроме своих резинщиков, никого и не знает. Он тебя к ним потому и отправил, что других для него на свете нет. Надо было к тому же Сергею Мироновичу пойти. Он бы сюда позвонил. Договорился бы, чтоб тут приняли, выслушали. Ленинградского большевика. По важному делу. А так в Совете Труда и Оборона кто тебя ждет?»

Действительно, никто его там не ждал. Внизу, возле бюро пропусков, его, естественно, остановили и спросили: к кому, зачем? Сказал, что насчет спирто-водочного завода. Пожали плечами. Спирто-водочные дела — это, кажется, к Микояну надо. В его наркомат.

— Да нет, дело не в спирте и водке,— разгорячился сразу Григорий Арсентьевич.— Наше дело совсем противоположное. Каучук в спирто-водочный завод улируется.

Каучук? Один из мужиков с наганами на боку, загораживавших ход далее, знал насчет каучука. Он сразу определил:

— Каучук — это резина. Надо в Резинотрест!

Круг опять замкнулся. Понял Григорий Арсентьевич, что придется в этот раз возвращаться ни с чем. Опустив голову, чувствуя в руке страшно потяжелевший свой портфелишко, растащив пошире галстук дурацкий, к которому шея не могла привыкнуть и чувствовала в нем себя как в удавке, побрел он от мужиков с наганами на боку к дверям на улицу. И вдруг у самых дверей остановился. Услышал своим военно-морским ухом нечто!.. Остановился и повернулся..

А через десять минут он входил в кабинет к ответственному работнику Совета Труда и Оборона. Еще через десять минут тот представил его начальнику отдела. Начальник отдела при нем позвонил... Эта фамилия была уже всей стране знакомая. Позвонил, рассказал, кто, откуда. Положил трубку, сказал уже Печникову:

— Очень хорошо, что вы именно сегодня приехали. На коллегии будете докладывать.

Заметив, что Печников оробел, повысил чуть голос:

— Как мне рассказали, так и там расскажете. Идете.

Через полчаса Григорию Арсентьевичу вручили выписку из постановления, отпечатанную на машинке, в которой говорилось, что стоящий на консервации спирто-водочный завод на Гуттуевском острове (г. Ленинград) передается академику Лебедеву С. В. для развертывания на базе его опытного производства СК. Реконструируемому заводу присваивается наименование «Литер Б».

Оказывается, есть уже решение о другом заводе. Тот, другой завод именуется «Литер А». Еще какой-то академик, такой же почетный, как Лебедев, над этим самым каучуком бьется. Тоже ему целый завод выделили. «Литер А»...

Самоуглубленный, неторопливый, чувствуя шелестящую могучую бумагу в кармане, спускался Григорий Арсентьевич вниз, к выходу. Услышал вдруг:

— Ну как, кореш, все в порядке? Или опять три крестителя и прочая полундра?

Это спрашивал попавшийся навстречу начальник охраны здешнего здания. Григорий Арсентьевич заулыбался:

— Спасибо, спасибо, браток. Легкая у тебя рука.

## VII

В «живой газете» «Противогаз» Степану Неверящих, Нагибе, как звали его дружки по бригаде, поручили важнейшую роль — должен был изображать «токаря по хдеру». Мужичка, прибывшего на завод из таежной глубинки с надеждою быстро обогатиться — и айда обратно в лес. Изображать мужичка было легко, потому как сам из леса: родная деревня в припечорской глухомани. На таких мужичков насмотрелся в Архангельске. Да и здесь, на знаменитой Ижоре, на самых простых работах: круглое — перекаатить, тяжелое — перетащить, тесовую опалубку сколотить, формовочной земли гору перелопатить — этот же сочувственно-понятный Степке Неверящих, братски родственный ему контингент.

Понимал каждого таежного мужичка. Потому, видать, и играл «токаря по хлебу» душевно, убеждающе. И его хитрости с большим животом, когда пытается улизнуть, не желая подписать пятиалтынный на постройку дирижабля «Осовиахим», — все представлял натурально. Репетирующая «живая газета» хохотала, когда жердеобразный Нагиба, Степка Неверящих, появлялся на сцене. А вот вчера взбучку устроили: опоздал к репетиции. В который уже раз опоздал! Говорят: «Переведись в утреннюю смену! Комсомольцам, фабзайчатам, трамовцам всегда навстречу идут. Надо если, походатайствуем...» «Ох, дурачье, дурачье! — пытался опять и опять объясняться с активистами культурфронта Степан. — Да я в первую смену и работаю. Одна у нас смена. Единственная. Ломим от зари до зари».

Широченный и длинный, двухметровой глубины бетонный ящик вполовину, может и более, насытился формовочной землей. С одного края, где земля уже по самый верх, торчат из ее черноты, как трубы диковинного затонувшего парохода, нарядно-свежие, собранные из белесо-коричневых керамических колец летниковые стержни — узкие гирла, которые будут глотать и глотать струистую огневую сталь. Перевернутыми пустотелыми грушами торчат емкости прибылей. Но это только с одного края ямы-кессона как будто что-то уже до ума доведено. А во всей остальной — полный ералаш.

Из-за одного проклятого уголка — поворотик незаметный на бумажном чертеже — бились, мытарились. Дядя Вася, усатый заслуженный пенсионер, вернувшийся на завод только ради этой небывалой даже для знаменитой Ижоры отливки, вчера тоже вконец уходился. «Эхма, детушки! — кряхтел призывно под вечер. — Возьмем уголок этот аховский. Прикончим его. Там уже на ровное выедем — веселее дела пойдут!» Бились с уголком этим чертовым дотемна. Потому и на «живую газету» ко времени не попал. Бились, но добились. Видать, по случаю такой победы и старик сегодня разрешил себе слегка отдохнуть. Обычно раньше всех к кессону заявлялся. Как бы проверял бдительность караульщика. Не спал ли караульщик? Не допустил ли оплошки? И не исполнил ли кто из канавных, которым пришлые тут как кость в горле, угрозы-обещания помочиться при случае в кессон?.. Припозднился сегодня старик. Бригадники уже возле ямы. Степан (поприще-то какое!) самым последним, оказывается, притартал. Но все же на минуту-две опередил усатого.

Подошел дядя Вася к кессону. Покивал всем:

— Здравствуйте, здравствуйте, детушки. Начнем, благословясь...

— Здравствуй, Романыч!..

— Утро доброе!..

— Салют, Романыч! Салют!

Загадели разом. Взялись за трамбовки, лопаты, решета. За помачки, счищальки, крючки.

— Рванем, Романыч, сегодня по ровному.

— Сегодня не мы по графикам плакать будем. Сегодня графики будут наши пятки целовать!

Ремезов, инженер из ОКБ, в своем всегдашнем габардиновом сером плащ-пальто появился. Тоже всем покивал.

— Ох, детушки, детушки! — вздохнул Романыч. — Видел я, детушки, вещий сон... И опять как в году тринадцатом, когда в чугунолитейном рвануло. И как будто друг мой, вместо которого я должен был погибнуть, но животом в тот день приболел, опять нечеловеческим голосом, насмерть обожженный, взывал... Вещий сон, детушки. Вещий... И этот аховский уголок подведет нас. Как пить дать подведет. Разрывайте все, вчера содеянное, родные. Разрывайте...

Степка с размаху сел на кучу глины.

Вчера он этот самый уголок трамбовкой обхаживал-ухаживал! Пятью потами смочил. Водой брызгать на землю, когда он ее, свежую, с горелой перемешивал, не надо было: она потом его взялась, схватилась. Сам Романыч в пятерне своей Степкину землю растирал, прощупывая, головой качал: «Добра, добра!» Позже, когда бобышку деревянню из земли выудили, Степка над этим чертовым уголком висел вниз головой, ноги и корма (так бы дядя Гриша Печников выразился, будь он тут) вверх. Крючком-ложечкой каждую соринку-муринку из глубокого колодца, оставшегося на месте деревянной бобышки, вылавливал-выуживал. Потом мехами ручными нежненько продувал. У парикмахера, когда он тебе на морду пульверизатором брызгает, в руках такой нежности нету, как у Степки вчера, когда он мехами гонял пылинки-соринки с места, где огненный ручей будет течь. Затем карасиком все стеночки обгладил. Опять же припудрил их. Припыл руками растер, разровнял. Девка-модница, в Дом культуры собираясь, не пудрит, не мажет себя с такой нежностью, как он эту землю самую, которая потом гореть-плавиться будет под металлом огненным, обхаживал, оглаживал. И все полдня, не менее как полдня, вверх кормой да вверх кормой. Глаза из орбит повылезли. Голова — не голова, а котел чугунный, по которому, вроде бы не переставая, палкой бьют — и котел гудит.

Сел с размаху на кучу глины Степка Неверящих. Сел и ошалело-радостно воскликнул:

— Сон?! Видел сон, Василий Романович?.. Настоящий? Вещий? Сон-предсказун?

— Видел, ребяташки. Видел. — Дядя Вася усатый покачивал головой отрешенно и горестно. — Видел. И потому раскрывайте уголок этот аховый, разбивайте. Заново будем мытариться...

— Сон?! — Степка вдруг повалился на спину и задрогал длинными ногами. Захотел с подвыванием и подвизгиванием. — Сон!.. Он сон вещий видел! Сон-предсказун! К ему архангелы дореволюционные во сне заявлялись! Архангелы дореволюционные им руководят! Во темнота! А тут комсомольская братия во имя архангелов, потакая темноте дореволюционной, костями ложиться должна!

Добродушный Романыч, по-стариковски покряхтывавший только что, сутулый, согбенный, вдруг как бы вырос враз. И на усатом, темном, похожем на горелую формовочную землю лице вдруг глаза, совсем ранее неприметные, стариковски блеклые, сверкнули яростно. Длинная жилистая рука, казавшаяся немощно-дряхлой, схватила тяжелую совковую лопату и простежько, как будто не лопата то была, но легкая камышовая дудочка, взбросила ее над головой.

— Пащенок! Мякинник прибудный! Да я тебя!..

Лопату перехватили. Повисли на лопате сразу несколько. А он,

казалось, сейчас их всех вверх вскинет и обрушит на долговязого Нагибу, спиной на кучу земли упавшего, ногами дрыгающего.

— Понаехало, поналетело вас, по хлебу токарей, которым неведомо, почему железка настоящая гнется — не ломается, которым бы лишь схватить-ухватить. Которым бы лишь тят-ляп — и готово! — Ярость дяди Васи осаживалась, но он все равно еще кричал: — Темнота?.. Дореволюционная?.. С архангелами? Ах ты мякинник срамной! Эту темноту сам их превосходительство, советник всяческий и управляющий ижорскими адмиралтейскими в пролетке собственной через все Колпино до заводской проходной везли, когда отливке небывалой для «Андрея Первозванного» надо было жизнь давать... Темнота?!

— Да ты что? — Степка лежал спиной на куче сырой глины, но не хохотал уже и ногами не дрыгал, пытался от глины локтями оттолкнуться, а сыра земля будто объятиями обняла, не отпускала. — Ты что, Романыч... Да ведь уходились... Ухряпались вчера... Уголок чертовый... Радость вчера, что вырвались... А тут — сон...

— Сон! Что тебе сон! Пащенко! — Ярость в душе старика опять, видать по всему, вскипела круто. — Я сорок лет других снов не вижу — одна земля. У меня во сне мысль самая свежая, вашей шуткой-прибауткой не припудренная. Во снах все откровения являлись: как холодильник нутрянной металле разъяренной подсунуть, как глубокий газовый пузырь проколоть. Темнота!.. — Дядя Вася обмахнул вдруг глаза рукавом — заблестели у него глаза подозрительно. И в горле хлипнуло. — Темнота...

— Но опять же, ломить от заутрени и до вечерни, — вставил тут парень с мопровским значком на груди, — что за радости этакие! Для кого ломим? Зачем? Для какого такого «Андрея Первозванного»?

И тут шагнул к ним стоявший в стороне (он всегда как будто в стороне, если даже в самой куче народа, и лопаты, трамбовки вокруг него мелькают, но мелькают как бы сами по себе, а он среди них сам по себе, холодный, чужой, запахнутый в неизменное габардиновое плащ-пальто) — шагнул Ремезов Андриан Леопольдович. Инженер из Особого конструкторского бюро. Он шагнул и, придерживая стекла очков (очки у него как будто бы подпрыгивали на носу мелко-мелко), голосом негромким, жидким, как у женщины, сказал:

— Но это же... блюминг!

Его, конечно, слышали. И повернулись к нему. Но повернулись как-то небрежно: так и чужому, встречающему неожиданно и неумело, невпопад, не к месту, когда свои ссорятся, вкладывая в ссору всю душу, поворачиваются, — так вот повернулись к Ремезову и тут же не захотели более смотреть. И сказанное им как бы не расслышали.

— Блюминг!..

Он не сдавался. И в свой по-бабьему жидкий голос пытался вложить нечто, заставившее бы их всех слушать его.

— Блюминг!

— Да что вы все блюминг да блюминг! — взорвался парень с мопровским значком. — И что из того? Видим, что большая куча железа.

— Как вы говорите! — В жидком голосе Андриана Леопольдовича дрогнуло нечто, заставившее всех поднасторожиться. — Это же... небывалое!.. Это... впервые. Это... можем и не сделать. Но сделать нужно. Семнадцать миллионов золотом... Хотели семнадцать у нас забрать. Немцы. Американцы. Фирмы мощнейшие. «Места», «Демаг», «Закк». Да что миллионы! Они уверяли, что, кроме них, — никто! Это же завод. Сложнейший, труднейший... Блюминг — это целый завод! И мы для него станину отлить должны.

— Не агитируйте, — сказал мопровский парень. — Не агитируйте. Если бы тут миллионы, если бы тут кому-то доказывали... Да что говорить! Днепрогэс — это доказываем! Магнитогорск — это доказываем! СТЗ, ХТЗ, Уралмаш — это да! А тут?.. Кроты! Мордой в землю! Потом землю поливаем, а для чего, зачем?.. Кроты — и все.

— Это — блюминг!

Анриан Леопольдович шагнул вдруг к мопровскому парню; полы серого габардинового плащ-пальто разлетелись, и всем увиделось: грудь Ремезова ходит часто и высоко.

— Блюминг! Я говорю вам: блюминг!.. Заводов, всяческих заводов, на земле сотни и тысячи. А блюмингов на всей земле — только двенадцать. Этот — тринадцатый. Первый в России. Уникальнейший агрегат. Средоточие технической мысли, рабочего опыта, искусства. Вы через всю жизнь пронесете величайшую гордость: работали блюминг! Вы детям своим и внукам будете повторять, и они будут смотреть на вас бескрайне уважительно: работали блюминг!.. Вы завтра, сегодня же будете здесь, на Ижоре, где делают так много удивительного, необыкновенного, впервые делают, вы будете самыми почитаемыми, уважаемыми: работают блюминг!

Еще минуту назад Анриан Леопольдович ни о чем из того, что сейчас говорил, и не думал. Мир, в котором он пребывал, существовал как бы сам по себе, а он хотя и был в этом мире, но чувствовал как-то очень реально свою от него отъединенность.

«Власть инженерству!.. Как в древнем мире над властью жесточайших сатрапов, римских наместников, высилась власть философа-мудреца, так и теперь, в современных государствах, где всесильный молох диктует свою волю человеку, впряженному в колесницу технических переворотов, власть — инженерству!..»

Поздней осенью семнадцатого, чувствуя в душе своей рождение пророческой силы, Анриан Леопольдович Ремезов говорил эту речь в битком набитом людьми Морском собрании. И на самых высоких нотах, на взлете души, когда не просто верилось в произносимое, но когда чувствовал в груди своей рождение этой пророческой силы.. Да, да, в самые эти минуты — свист, гвалт! Некая братия, кажется большей частью литейщики, которых мало кого знал в лицо, хотя и был у них цеховым начальником, — эта братия подхватила, вынесла за двери Морского собрания и швырнула в кучу грязного снега...

«Власть инженерству!» — это как-то забылось потом, когда жизнь на ижорских адмиралтейских стала затухать. Останавливались цехи. Мастерские брались за винтовки, уходили то на Восточный, где Колчак, то на Южный, где Деникин и Врангель, то на Западный против недалекого отсюда Юденича или более далекого Пилсудского...

Кто он для нее сейчас, для этой братии, стащившей его с пророческих трибун, забросившей в кучу грязного снега?.. Он далек ей. Бесконечно далек. Потому что его мир — не этот мир. Но тот, другой, в который кому-то из Ремезовых, из их большого старинного рода, уже пришлось уйти... Вот и недавно жена сообщила, что опять какая-то из сестер — а их, двоюродных и троюродных, такое великое множество насчитывалось до семнадцатого, когда пусть эфемерные, легкие связи, но существовали в ремезовском роду, — дает о себе знать. Посланцы ее предлагают два варианта. Или под чужим именем, в сопровождении надежных людей через южную границу. Придется лишь побыть в шкуре чернорабочего в геологической партии. Неделю. Две... Или — другой канал. В официальном порядке. Государственная договоренность. Виза на выезд. Гражданство в Германии или в Америке. В самых мощнейших фирмах, поставляющих оборудование металлургическим заводам, высокооплачиваемая должность. Вилла у моря... Нужно решиться. Выбрать вариант. Выбрав, дать знать. Дальнейшие шаги будут подсказаны...

— Здесь работают блюминг!

Обступившие его люди пахли сырою глиной, горелой землей, окалиной и потом — давно знакомые и... нелюбимые запахи.

— Агитатор, — сказал ворчливо мопровский парень.

Сказал и хотел отвернуться. Но дядя Вася, освободившийся от ло-

паты, которую у него из рук помаленьку вытянули, взялся за козырек кепки парня и надвинул ее тому на нос.

— Мякинники,— сказал хотя уже и миролюбиво, но по-прежнему презрительно.— Токаря по хлебу... Я попервости, когда начинал, как вы, я сковороду отлил. Так я ту первую свою сковороду до сего дня помню. И раковинку махонькую, какую мастер не приметил, потому что приметить ее было нельзя, это лишь я своими мальчишечьями, нежными тогда еще пальчиками, ущупать ее мог. Как лицо милой женщины, ту сковороду до сих пор помню. А вы — блюминг...

— Нет, братухи! — сказал долговязый Нагиба, поднимаясь с кучи глины; его указующий палец, устремленный вверх, как бы призывал всех тоже посмотреть туда.— Нет! А вы помните, как и Григорий Арсентьевич загадочно улыбался?.. Нет, братухи, блюминг... Да это же блюминг! Али из вас не слышал никто, что это за штука!

Андриан Леопольдович, злой на мопровского парня, настолько злой, что, казалось, готов был броситься на него с кулаками, но в этом вот долговязом Нагибе, устремившем взгляд в небеса и с благоговейной дрожью в голосе произносящем «блюминг!», почувствовавший пусть что-то и далеко родственное, но все-таки родственное,— Андриан Леопольдович вдруг ощутил: он все-таки свой в этом мире. И мир этот гаревно-шлаковый, кирпичный, чугунный и с запахами сырой глины, горелой земли, окалины и... пота (да, да, запомнились эти запахи, когда сильнющие руки этих чертей несли его с пророческой трибуны к куче грязного снега) — этот мир здесь. И он — в нем. Это все-таки и его мир.

## VIII

У Марии Львовны, видимо, опять разыгралась мигрень. Вернувшись домой после поездки по области, Сергей Миронович увидел ее на софе с компрессом на голове. Ноги укутаны пледом. Обеспокоился, но она сказала, что все это пустяковое, пройдет. И попросила, так как дома больше никого не было, пока он еще не снял пальто, сходить в магазин за хлебом.

Продуктовый, как множество ему подобных, располагался в полуподвале — старый Петербург был экономен, когда дело касалось обычного и можно было обойтись без зеркальных витрин и мозаичных витражей, без парадно-торжественных подъездов. Но в магазине, как опять же в любом магазине, оставшемся ли от старого города, вновь ли отстроенном, было чисто и аккуратно. Брикеты ягодного чая и кофе с цукорием в разноцветных обертках, уложенные невысокими штабелями на верхних полках, бутылки темного стекла с этикеткой, на которой крупно — «Вермут», выставленные стройными рядами на нескольких полках ниже чайно-кофейных, не казались просто-напросто драпировочно-маскировочным материалом, но даже производили впечатление изобилия. Обычные же продукты: масло, сахар, колбасы и подобное, все то, чем отоваривались карточки рабочих, служащих, иждивенцев,— появлявшиеся лишь в определенные дни, напоказ не выставлялись: как-то было не принято ими украшать витрины...

В хлебном отделе, как всегда, было более оживленно.

Впереди Сергея Мироновича стоял мужчина, несколько удививший бы Кирова, доведись увидеть его лет пять назад, когда Ленинград и ленинградцы были еще мало знакомы Сергею Мироновичу. Пальмерстон, цилиндр, на руках рыжие перчатки, башмаки тоже необыкновенно рыжие, в одной руке ветхозаветная кожаная хозяйственная сумка, в другой массивная, дорогого дерева трость с рукоятью в виде львиной головы, щерившей хищную пасть.

Продавщица, улыбнувшись как старым знакомым и мужчине в цилиндре и Сергею Мироновичу, разрежала буханку пеклеванного и подала им.

— Ба! — сказал мужчина, опустив свои полбуханки в сумку и по-

ворачиваясь к Кирову.— Сергей Миронович! Знаю, что мы с вами соседи. В одном доме живем. А вот встретиться как соседям лишь первый раз довелось.

Это был Николай Михайлович Ершаковский. Архитектор, с которым в последнее время приходилось встречаться немало, но действительно не как соседям, а на другой стороне города, в Смольном.

Вышли из магазина, помахая в вместительными сумками, в коих покоились пеклеванные полбуханки.

— Удивительные времена! — сказал Ершаковский, он шел коротким четким шагом, взбрасывая трость высоко и затем опуская ее резким быстрым движением — будто и не ставил на землю, но каждый раз словно укалывал ею твердь, которая его несла.— Как верно сказал про эти времена Володька Маяковский. «Берите пока што ногу лошажью!» Нет, идешь и чувствуешь себя Дантоном, Маратом, Робеспьером!.. Кромвель какой-нибудь, черт возьми, разгоняющий парламенты! Чувствуешь, что живешь в революцию.

На них оглядывались. Пара была весьма колоритной. Сергей Миронович только что вернулся из многодневной поездки по области. У него под осеннее пальто подстегнут мех. Не освободившийся еще сейчас от него, охваченный поверх пальто ремнем, Сергей Миронович кажется кругленьким, толстеньким. И так невысокий, от этой полноты совсем колобок колобком. Лицо, исхлестанное ветром, красное. Глаза, понасадившиеся на ослепляющей белизне заснеженных просторов, припухли, еще и сейчас чуть слезятся, щурятся. Руки без перчаток (перчатки сбросил дома) красные, как лапы гуся,— тоже перемерзли за эти дни. Одним словом, мужичонка какой-то. Из дореволюционных мастеровых, купчиков третьей гильдии или еще более низкого торгового люда. А рядом — аристократ. Даже для прежнего Невского и то неординарность. А уж здесь, на проспекте Красных Зорь, в некотором роде петербургской периферии, и подавно.

— Это и тяжело и все-таки это величайшее счастье,— говорил обычным своим голосом, соответствовавшим выразительности одежды и одухотворенности, пылавшей в глазах и каждой черточке лица, Ершаковский,— принадлежать революции. Чувствовать ее бремя на своих человеческих плечах и идти вот так,— он потряс своей сумкой,— опираясь, как говорит Володька Маяковский, на ногу лошажью! Нет, это удивительно. В бытность мою в Париже, увлекаясь Вольтером, Ренаном, я испытывал нечто похожее, но это была слабая игра бесплотных теней. А теперь!.. У всей плотской сути своей чувствую принадлежность к революционнейшему из времен... Нет, у каждого человека бывают радости. Совсем недавно, подписав в набор рукопись своей книги, той книги, которая могла быть лишь благодаря вашей поддержке, я был счастлив.

Сергей Миронович, услышав о книге, несколько удивился. Ершаковский производил впечатление говоруна, фразера. Не так давно во время одного из споров на бюро он раскричался, что давно ему не дают высказаться публично, не дают возможности издать книгу, своеобразный итог всех его жизненных поисков и размышлений. Киров попросил Стрешнева разобраться в этом вопросе и помочь архитектору. Совсем недавно. И вот, оказывается, книга уже в наборе...

— Все лучшее,— продолжал Николай Михайлович,— в моей жизни, как казалось мне, сбылось, состоялось. Все лучшее, прекраснейшее! Ан нет! Жизнь, бьющая нас каждодневно молотом утилитарности и чьей-то ограниченности, преподносит все же иногда крупинку радости, сколочек звезды, сияющей где-то в даях мироздания. Сегодня один из моих учеников раскатал передо мною лист ватмана, и я... Поверьте, Сергей Миронович, я задохнулся. Я почувствовал себя счастливейшим из смертных. Я понял Пушкина, воскликнувшего не в сомнамбулическом экстазе: «Нет, весь я не умру!» Да, Сергей Миронович, истинно революционное не умирает!



Ершаковский остановился — видимо, дошел уже до своего подъезда. Говорил, повернувшись лицом к Сергею Мироновичу:

— Лист ватмана. Но это же — поэма! Взлет духа! И устремленность помысла, рвущегося в неведомые закраины мира. Нет, это не церковь, не храм. Не игла костела, протыкающая небо. Но словно сложенная и красиво и мощно человечья длань и... И — легкий наклон. Опять же, не падающая башня в Пизе, но вместе с тем не слоновье-добродетельная основательность избы, дворцовой храмины, сарая. Нет, я готов был встать на колени перед этим юношей. И я сказал ему: если даже ваш проект никогда не воплотится в овеществленную реальность, считайте все равно себя великим из великих и не ломайте шапки ни перед Растрелли, ни перед каким-то рабски-бездарным Монферраном. Проект здания, — пояснил он голосом, все равно оставшимся соответствующим одежде его и облику, — редакции «Ленинградской правды». В старухе Москве. Мы конкурс некоторый на это здание развернули. Знаете, с очень большим энтузиазмом ломала головы молодежь над этой задачей. Пнуть старушечье-купеческую Москву сапожком не какого-то там вчерашне-дряхлого корбюзонизма, но подвить неумностью истинно революционной фантазии, артистичностью и аристократизмом Санкт-Петербурга — о, это вдохновило молодежь! Редакция «Ленинградской правды» в Москве! — перед этим померкли бы всякие Блаженные и храмы Христов Спасителей.

Сергей Миронович почувствовал в груди что-то похожее на мохнатый, с льдисто сверкающими иглами шар, на такой самый, какие висели на фонарных столбах. Но на столбах шары висели неподвижные, застывшие-лучистые, а шар-еж, возникнув в груди, тут же зашевелился, раскинул жесткие лучи-иглы до ребер; вонзившись этими иглами в ребра, стал мешать дыханию.

«Фанфаронство это бездумное? — задал себе вопрос Сергей Миронович. — Отрыжка петербургского столичного ячества? Или это зинovieвское провокаторство? Стремление хоть в чем-то, хоть как-то, но столкнуть лбами, поссорить ленинградскую парторганизацию с ЦК?.. «Ленинградская правда» в Москве! Почему областная газета, даже издающаяся в таком крупнейшем промышленном центре, как Ленинград, должна иметь свой филиал в столице? Как могли додуматься до такого конкурса?»

Но говорить это Ершаковскому, спорить с ним не хотелось. Не потому, что многодневная дорога не в переносном, а поистине в прямом смысле повытрясла душу. И сейчас, одной ногой уже побывав дома, Сергей Миронович чувствовал обычную, навеваемую домашней обстановкой, снимающую напряжение рабочего дня расслабленность. Опять напряженно собираться, натягиваться, как тетива взведенного лука, не хотелось. Но смолчал, не начал спор не поэтому.

Не хотелось спорить потому, что Сергей Миронович почувствовал, и как-то очень четко, разнородность мышления свою и вот этого человека, даже одетого не под погоду, но под некую ярко подчеркнутую выразительность. На разных волнах, в разных, очень далеких диапазонах мыслили. Разнородность мышления, как виделось Сергею Мироновичу, порождена была очень простым, обыденным и потому мощным. Так каменный фундамент того же Исаакиевского собора, лежащий в земле невидимым и потому для многих как бы несуществующим, определяет крепость постройки, ее долговечность. Разный житейский опыт, разная степень причастности к тому самому, что Ершаковский голосом, полным вдохновения, звал революционным временем, — вот это и определяло разнородность их мышления.

Революционное. Что есть сегодня революционное?

Развить индустрию. Дать стране основу основ. Тот же каучук. Нет его сегодня у нас, а завтра он будет... Переиначить деревню. Перевернуть то, что кажется деревне извечным, данным от бога. Как было до сего дня в деревне? Кто может быть сильным — тот и силен. Кому, на-

оборот, на роду написано горе мыкать, тот должен принимать сие как неизбежное, освященное небесною волей. И это перевернуть, сме-сти. Вот что есть сегодня революционное.

Ученые металлурги собирают конференцию. Вопрос: «Проблема прямого восстановления железа». Заговори сейчас об этом с Ершаковским, поймет ли?.. Ну, понять, может быть, и поймет, но почувствует ли ту же захватывающую одухотворенность, которую испытывает, когда восклицает: «Словно сложенная и красиво и мощно человечья длань!»? Почти экзальтация! А вот прямое восстановление железа!.. Идея освобождения человечества от рабства доменной печи. От выплавки чугуна, этого никому не нужного сплава. Попытка вернуться к тому, чтобы получать железо и сталь, как получали их в древности — прямо из руды. Но при помощи современных, экономически эффективных способов, которые исключили бы доменный процесс, конверторы и многое-многое, что не нужно человеку. Думают сейчас над этим ученые. У нас. В нашей молодой социалистической стране. Совершить технический переворот в основе основ всей промышленности — вот это действительно революционно.

Сегодня изобретатели предлагают совершенно новое — ракету. Не теорию ракеты, не идею, но уже сконструированную установку. Сделать такое — разве это не революционно?

А электромагнитный луч, радиолокатор!.. Летят на нас самолеты, и за триста — четыреста километров мы уже видим каждый из них. Если даже темнота, непогода. А мы все равно видим... И если нам сегодня, в начале тридцатых годов, получить в свои руки этот луч защиты — разве это не революционно?..

Академия наук развернула поход за пластмассы. Материалы совершенно невиданных свойств, качеств. Сейчас мы можем наше индустриальное перевооружение умножить истинной технической революцией. Сейчас, в начале тридцатых...

Но высказывать всего этого Ершаковскому, человеку, который пел свою песню, и, кроме этой своей песни, был ко всему иному глух, не хотелось. Высказывать все это ему, заводить спор было бесполезно. Самое большее, чего можно было добиться в этом споре, — заставить Ершаковского слушать, кивать. Заметил Сергей Миронович, что иногда даже не деморализованные его кировскими аргументами люди умолкают и начинают кивать. Кивают, соглашаются, хотя только что утверждали почти противоположное. Уважительность, авторитетность... У этих вещей тоже есть своя оборотная сторона.

Не хотелось спорить. И хотя очень не понравилось Сергею Мироновичу сообщение Ершаковского о конкурсе на здание редакции «Ленинградской правды» в Москве, хотя взял он себе это на заметку и решил независимо от происхождения этой идеи и ее природы (санкт-петербургское чванство, неозиньевское провокаторство) нащелкать ей при случае по носу, спорить не стал. Сказал просто:

— А нам с вами скоро опять деловая встреча предстоит.

На бюро должны были рассматривать окончательно отработанный проект постановления по реконструкции городского хозяйства Ленинграда. Предварительно обсудить этот проект мыслилось на широком активе.

— Да, да, — кивнул Ершаковский. — Ваш чиновник уже извещал меня телефонно. Извините, — сказал он, чуть клоня голову и рыжей перчаткой свободной левой руки прикасаясь к полям черного, взблескивающего, как будто бы отполированного, цилиндра. Опираясь на «ногу лошажьей», приподнял хозяйственную сумку и встряхнул. — Я еще должен зайти в ЖАКТ заплатить за квартиру.

— Всего хорошего, — сказал и Сергей Миронович с искренней учтивостью. И подумал: «А за квартиру тоже бы нужно сегодня заплатить — время!»

## IX

Научный работник, один из помощников Сергея Васильевича Лебедева, подшутил над простодушным Печниковым.

Как-то, остановив его на заводском дворе, всего, с ног до головы, обсыпанного будто бы крупчаткой (Григорий Арсентьевич помогал сбросить с подошедшей машины страшнейший дефицит — цемент высокой марки), наука сказал:

— Не видел, что такое дивинил, Григорий Арсентьевич? Посмотри! — Поднял перед глазами Печникова толстую пробирку, на треть заполненную прозрачной жидкостью. — Вот тут и сидит золотой воробышек. Не хочешь в руках подержать?.. Только держи крепче. Сам понимаешь, каждая капля — дороже золота.

О дивиниле так много пеклись! Дивинил всех так заботил! О дивиниле так часто спорили. Не уступит ли он бызовскому бутадииену? Даже самого Лебедева пытались втягивать в такие споры. Сергею Васильевичу, видать по всему, споры подобного сорта не нравились. «Наше дело, — выговаривал он не без сердитости своим боевитым, любящим посудачить помощникам, — верить в свое дело. Верить в правильность своего поиска... А там... жизнь покажет...»

Так много места в сегодняшней жизни начинавшего дышать заводика «Литер Б» занимал дивинил, что и Григорий Арсентьевич, стоявший как бы чуток в стороне от всех научных тревог, все равно чувствовал к этому непростому веществу рабскую почтительность. Казался он Григорию Арсентьевичу загадочнее и чудеснее сказочной райской птицы. А тут, оказывается, вот он — в пробирке толстого стекла, под резиновой пробкой.

— Подержи чуть да и обратно давай, — говорил наука, отворачивая хитрые мордасы в сторону.

Подставил ладонку Григорий Арсентьевич, сделал ее лодочкой. Вырвав пробку, научный сотрудник налил из пробирки щедро, чуть не полную ладонь. Сам, отвернувшись, принялся закупоривать пробирку. Говорил что-то неторопливое, опять же насчет ценности дивинила, каждой его капли. И как сейчас над каждой каплей академик Лебедев печется — каждая капля сейчас не то что золотую цену имеет, но бриллиантовую.

Григорий Арсентьевич стоял, держа ладонку-лодочку перед лицом, замерев в благоговейной почтительности, не дышал. И чувствовал, как жидкость, показавшаяся похужей на обыкновенную, лишь очень чистую водичку, в руке становится холодной-прехолодной и как будто своим холодом снимает кожу с ладони, касается самой кости и... И исчезает. Исчезала жидкость!

— Подержал? — спросил небрежно наука, принимаясь опять раскупоривать пробирку. — Подержал — давай сливай обратно. Капля каждая, понимаешь... А где дивинил? — изобразил глаза большие. То заглядывал в ладонку, то в лицо Григория Арсентьевича вперялся. И голосом, полным смятения: — Где дивинил? Ты, Григорий Арсентьевич, его куда?.. Нет, ты давай без шуточек! Ты понимаешь, каждая капля!.. А ты полпробирки! Ты куда полпробирки подевал? Я жаловаться сейчас на тебя Сергею Васильевичу пойду. Пошли! Пошли!

И Григорий Арсентьевич, обалдевший слегка и все держа перед собою ладонку-лодочку, в которой словно лежал кусочек льда, двинулся послушно за наукой. Но тот, сделав несколько шагов, не выдержал, захохотал во всю мощь молодой груди, присел даже, схватив себя за живот. На хохот его подошли еще несколько научных сотрудников, каменщики, тогда заканчивавшие кладку стен компрессорной, грузчики, сгружавшие цемент. Григорий Арсентьевич, придя в себя, тут же, пока наука хохотал, приседая и держась за живот, надавал ему тумачков. А потом они все кучей, опять же почти религиозно благоговей, смотрели, как капли этого самого дивинила, выпущенные из про-

бирки, тут же исчезали. Испарялись. «Переходили в газообразное состояние», по-научному. А на ладони оставался пяточок холода.

Теперь, когда дела шли к тому, чтобы дивинил, из которого потом будут уже получать каучук, выгонять целыми центнерами и тоннами, он, этот самый дивинил, принялся сам подшучивать над наукой. Да так принялся подшучивать, что и Григорию Арсентьевичу, стоявшему как бы обочь научных забот, тоже было не до смеха.

Во вместительные кубколонны, заполненные странными жидкостями, дышали мощные компрессоры. Там, в этих кубколоннах, как будто что-то варилось-парилось. И дивинил этот в невидимом, в газообразном состоянии, выражаясь по-научному, должен был отгоняться из жидкостных смесей. А потом, конденсируясь (словечко знакомое по кораблю, когда от дыхания многих людей на холодной подволоке кубрика вдруг начинает появляться капельная россыпь), должен был стекать в сборник. В мерном стекле должно было видеться, сколько уже долгожданного дивинила набралось-накопилось. Шумели компрессоры; бегала наука в своих белых халатах, то и дело заглядывала в мерное стекло, откручивала краник, где должны будут брать пробы; сам Сергей Васильевич, невозмутимо-спокойный, обходил злосчастные кубколонны — а дивинила не было.

Не поднапутала ли что со своими сногшибательными жидкостями наука? Нет. Проверяли-перепроверяли. Сам Сергей Васильевич подтвердил скипидарную надежность кивком и негромко брошенным научному сотруднику: «Естественно...»

Компрессоры барахлили?.. Но они же новехонькие! С помощью Сергея Мироновича, его звонка из Смольного прямо на изготовлявший компрессоры завод, заполученные.

Подывали от напряжения компрессоры, могуче дыша в кубколонны. Вызванивали тоненько под ними фундаменты — особая гордость Григория Арсентьевича. Такой цемент достал, такой цемент для этих фундаментов! Только посредством «балтийского варианта». У Григория Арсентьевича, самоотверженно помогавшего науке ставить совершенно новое, неизведанное дело, был отработан для всяких горящих случаев этакий прием, который сам Григорий Арсентьевич называл балтийским вариантом.

Впервые этот «вариант» он применил, прорываясь в здание Совета Труда и Оборона.

Там было так. Григорий Арсентьевич совсем уже отчаялся попасть к кому-нибудь. Потому что, во-первых, не знал точно, к кому ему нужно попадать. Во-вторых, портфель его, переоборудованный из ученического ранца, памятью костюма не внушали особенного расположения. Обменявшись несколькими репликами с товарищами, проверявшими пропуска, и убедившись, что его не понимают, Григорий Арсентьевич направился к дверям на улицу. И тут вдруг услышал:

— Эй, вахта! Чей черед шуровать на камбуз?

Небольшой зал, где вдоль стен стояли стулья для посетителей, ждавших, когда им оформят пропуска, пересекал широкоплечий малый с наганом в кобуре, висевшей низко, как у настоящего вахтенного по кораблю.

Пройдя за барьерчик, где находились проверявшие пропуска, малый властно махнул рукой искомандовал:

— Всем обедать! Парадом команду я.

Другие тут же ушли. Он один за барьерчиком остался.

А Григорий Арсентьевич, застывший в двух шагах от дверей на улицу, стоял, высвобождая шею из удавки галстука, расстегнул даже верхнюю пуговицу рубашки — так ему вдруг стало душно. И, повернувшись, подойдя к барьерчику, поставив на широкую доску, которой барьер был сверху отделан, свой портфель-ранец, оперся локтем опять же об эту доску и, приняв совершенно небрежную позу не зависимого ни от кого человека, сказал:

— Слушай, кореш, а ты, кажется, тоже на «Громобое» вкалывал? Низкорослый плечистый малый угрюмовато посмотрел на него, как будто срочно решая, что это за тип и надо ли его как можно стремительнее отсюда выставить. Но, видимо, тельняшка, которая открылась, потому что верхняя пуговица рубашки была расстегнута, удержала его от решительных действий.

— Да нет,— сказал он несколько смущенно,— на «Громобое» мне быть не приходилось.

— Так, наверное, тогда на «Гаврииле»? Швартовался однажды ваш «Гавриил» к нашей посудине. По-моему, ты тогда боцманил на «Гаврииле»?

— Нет,— замотал головой потерявший свою самоуверенность широкоплечий малый.— На «Гаврииле» я никогда не был.

— Удивительное! — сказал Григорий Арсентьевич.— Почему же ты мне тогда так Балтику напоминаешь?

— На минных складах...

— Ах на минных складах! — вскричал Григорий Арсентьевич, намереваясь, видимо, разразиться длинными выражениями, говорящими о радости по тому случаю, что встретил балтийского корешка. Но корешок пресек его намерения.

— Нет! Нет! — сказал он решительно.— На минных складах я был всего лишь два дня. Взяли мины и ушли. Вот и вся моя Балтика.

Григорий Арсентьевич потускнел. Хоть и стоял еще, небрежно опираясь локтем на барьер, но это была уже не поза безразличного, независимого человека, а другое нечто. Удручен был очередным своим поражением Григорий Арсентьевич.

— Но ты не темни... кореш,— с некоторой издевкой сказал малый.— Тебе что надо? Выкладывай.

— Не поймешь ты меня, как твоя братва не поняла,— вздохнул Григорий Арсентьевич.— Я им говорю: «Мне надо спирто-водочный завод отбить. Принадлежащий Микояну». А они: «Иди к Микояну!» Я им говорю: «Дело важное. Искусственный каучук. Ему все резинщики такую волюнку устроили, что ай да ну». А твоя братва: «Ах каучук? Резина, значит? Вали в Резинотрест». Да меня только что в этом Резинотресте через валики-ролики пропустили... Да. Первое дело, можно сказать, Сергей Миронович доверил — и проваливаю.

— Киров?

— Киров.

— А ну погоды!

Малый взялся за трубку и стал названивать. Во многие отделы позвонил. Даже разволновался, что не может найти тех, кого это дело заинтересовать должно. Нашел, однако.

— Застегнись,— сказал только, когда сам же и пропуск написал.— Неприлично нижнюю рубаху, даже если это и тельник, на показ выставлять...

Вот к подобным «балтийским вариантам» нет-нет да и приходилось прибегать Григорию Арсентьевичу. Если надо было где-то что-то достать, выбить, он разузнавал сначала, а нет ли в той организации своего брата, бывшего балтийского матроса. С ним, с бывшим балтийским матросом, если он теперь уже и пост солидный занимал, всегда было легче найти общий язык.

Работали компрессоры. Ходили в напряженной дрожи под ними фундаменты. Мрачно высились кубколонны. Все бы, кажется, как надо. А вот нет в сборнике дивинила — и хоть убейся!

Пошел Григорий Арсентьевич к Сергею Васильевичу, занимавшему, пока здание заводоуправления и лаборатории не было закончено, временное помещение близ проходной, сказал:

— Надо, видать по всему, остановить процесс. Всю аппаратуру придется опять обстучать, обнюхать.

— Герметичность, герметичность,— покачал головой утомленный,

изнервничавшийся за эти дни академик.— Остановить, естественно, придется. Но мы уже выходим из правительственных графиков, Григорий Арсентьевич. Сколько дней потребуется, чтобы, как говорите вы, обстучать, обнюхать?..

— Со временем тут уж не придется считаться. И днем и ночью...

Сергей Васильевич за своим сколоченным из свежеевыструганных досок столом, в синем халате поверх военной формы походил на бригадира плотников. Он что-то перебирал в памяти, прикидывал; не сомневался, но рассчитывал.

— Жена приглашала на вернисаж. Придется, видимо, позвонить жене: пусть отправится одна.

— Сергей Васильевич, не нужно.— Григорий Арсентьевич тоже не мог скрыть, что измотан, утомлен, в глазах чертики прыгают.— Нет нужды. Что тут сейчас вы да и вся наука может? А ничего. Тут сейчас, три крестителя, железо. Где-то железо подводит. И мы должны его технически правильно за горло взять. Выбьем из железа.

— Ну, отлично,— усмехнулся Сергей Васильевич, поднимаясь за своим временным, как все здесь пока, столом.— Науке тогда, три крестителя, даем до утра отбой!

И повеселевший, как будто бы сразу все решилось, как будто бы уверенный, что будет порядок в деле, которое пока не получалось, Сергей Васильевич снял халат, пожал руку Григорию Арсентьевичу, сказал: «Я буду вам звонить. Дерзайте». Ушел к машине.

...Григорий Арсентьевич почувствовал усталость. Как не имеющий подходящей для сегодняшнего дела специальности, сейчас здесь, среди слесарной братии, он держал себя на том, чтобы самое тяжелое подтащить, шуточкой-прибауточкой подхлестнуть, поторопить нерасторопного. Заразительный в своей веселости, гоношливый, но не надоедливый, нужный (где, в чем он был не нужен, то там его словно и не существовало), он, казалось, не мог притомиться, хотя бы на малое время потерять что-то от своей неутомности. И вот — присел. На обрубок тавровой балки, на котором, как нахохлившиеся сонные куры на насесте, сидели, борясь с подступавшею беспощадною дремотой, самые молодые, пацаньего возраста, слесарьки. Ах, как бы тут нужна была расхожая шуточка! Как бы нужно было вкусным щелчком открывающейся табакерки вспугнуть дремотную оторопь с пацанов! Морскою, и как все морское — с подсоленностью, байкой пощекотать мальчишечье, неприхотливо-отзывчивое на всякую баланду подреберье! Да вдруг почувствовал сам себя старым бесхвостым кочетом, взгромоздившимся на насест и перо распушившим, в безволии утопившим шею и голову в щипано-старенькой поросли пера. Тягость в руках, опавших безволие вдоль тела, ощутил, как будто бы слишком мясистыми были руки, и это сейчас совсем чужое мясо отяжелело, трудно держать его костям и сухожилиям. В глазах под набрякшими веками как бы песок. «А который теперь час?» — подумал. Часы, мозерская луковица, которой обзавелся недавно в комиссионном, в карманчике под поясом. Достать надо луковицу и посмотреть. Но странное это ощущение, когда даже рука не поднимается,— упикался! Ей-ей упикался — так мать говаривала, когда до тюфяка в углу барачной комнаты добраться не мог, засыпал на ходу, набегавшись за день с себе подобными колпинскими огольцами.

— Арсентъич! — прокричал вахтер, появляясь в дверях цеха.— К телефону кличут опять!

Телефон был пока тоже временный и единственный, стоял у вахтера в проходной. Похлопав по хилой спине сидевшего рядом слесарька («Не свались с насеста, не тукнись носом о проклятую кубколону»), побрел к проходной.

— Не спит еще революционная Балтика? — заговорил телефон голосом не Сергея Васильевича, хотя была уверенность, что звонит снова он, очень беспокоящийся за сегодняшнюю работу. — Наслышан

я о ваших заботах, — говорил кто-то далекий, но... знакомым был голос. Узнававшимся. И человек, который этим голосом говорил, как будто стремительно сюда приближался. Не было уже никакого далека между ним и Григорием Арсентьевичем. — Вечером звонил, но не стал отвлекать. Здравствуй, дорогой. Киров говорит.

Все!.. Тяжести цепенеюще-привязчивой, угнетающей душу и тело, в глазах осевшей песочком, веки свинцово наполнившей, как будто и не было! Как будто бы сквозняк ворвался в комнату с застоявшимся, тяжелого духа воздухом и сразу выбросил все застойное. Григорий Арсентьевич глубоко (даже показалось ему, что увидел свою грудь — так далеко вперед пошла она, набирая воздух) вздохнул.

— Здравствуйте, Сергей Миронович!

— Ну, расскажи, что там у вас? Не торопясь.

— Горим, Сергей Миронович! По всем статьям горим!..

Взгромоздился на стол верхом Григорий Арсентьевич, потому как знал: разговор предстоит обстоятельный, без торопливости. Сергей Миронович по-иному беседовать не любит. Так что лучше сразу устроиться основательно. Сидеть, чувствуя себя никуда не спешащим, не подгоняемым.

— Горим, Сергей Миронович. Горим... Но намерение твердое: пожары погасить и наладиться в графики. Сейчас, как выяснили точно, кубколонны подножку нам подставили. В кубколоннах утечка дивинила. Когда он, значит, газует, или, говоря технологически точно, обращается в газообразное состояние, он, значит, дает деру из кубколонны. Но мы, Сергей Миронович... Голь на выдумки хитра! — Григорию Арсентьевичу вдруг пришла хитроумная идея, как еще раз проверить кубколонны на герметичность. Он почувствовал вдруг, будто поспал и сонную дуроватинку, ослабляющую мысли, сном унесло.

— А может быть, вы все-таки зря не спите? — спросил Сергей Миронович. — Как на Руси всегда считалось? Утро вечера мудренее.

— Если так, Сергей Миронович, то вы-то почему не спите?

Сергей Миронович рассмеялся.

— Трусоват я немного, Григорий Арсентьевич. Меня оратором считают. А я, когда какой доклад готовлю, плохо сплю, и все... Все, понимаешь, кажется не так. Горю вроде бы, горю, как вы с кубколоннами. Вот и сейчас сижу, пишу. Тезисы окончательные. Реконструкция городского хозяйства. Будто бы все и готово. А в то же время как будто где-то течь. Как в вашем железе сейчас течь. Вот и холодок по коже, нервность.

— Это вы зря, Сергей Миронович. Перед докладом спать надо как следует. Мы бы тоже спали, но тут принцип: науке пообещали, что все железки будут налажены. Мы должны фронт работ науке предоставить. Принцип. Обещание святое, революционное. Потому мы спать никак не можем.

— Завидую вам. Дворнику вот тут завидую. — Сергей Миронович вздохнул. — Он часа через два уже начнет метлой по тротуару шаркать. Раззудись плечо, размахнись рука! Полная грудь свежего воздуха! Пот этакий мужицкий целительный меж лопаток. А тут спать надо. Правильно ты, Григорий Арсентьевич, говоришь: перед докладом хорошо выспаться надо. Уложу сейчас себя. Глаза закрыться заставляю. И если будет охота перевернуться с боку на бок, не разрешу. Спи, скажу, спи, такой-сякой! Завтра доклад ответственный — ты спать должен... Привет твоей — как это там по-флотски? — братве! Привет самый горячий от полуночника. Раз принцип — пусть науку не подводят. До свидания...

Григорий Арсентьевич сидел, держал в руках, лежащих на коленях, телефонную трубку; она монотонно чуть слышно попискивала... «Ладно, кубколонны будут в норме» — это Григория Арсентьевича уже не беспокоило. Беспокоило другое: «Неужели перед каждым до-

кладом такая нервогтрепка у Мироныча? А ему сколько же этих докладов, выступлений, речей перед нашим ушеразвесистым братом делать приходится!.. Какие же нервы тогда человеку нужны!..»

## X

В разливочном пролете мартеповского цеха, как всегда, кипела жизнь: выдавали плавку сразу две печи, возле третьей раздевали канаву; с грохотом, сотрясавшим стены, и с оглушительным, подавлявшим все иные звуки колоколом двигался мостовой кран. В распахнутые ворота, ждавшие железнодорожные составы, врвался холодный, растративший все свои морские ароматы и лишь не утративший размах свой и силу, промозглый зимний балтиец.

Надвинув фуражку глубоко на лоб, клонясь навстречу ветру, Сергей Миронович шагал, одолевая почти полукилометровую длину пролета. И с каждым шагом, приближавшим его к воротам, чувствовал, как в холодных порывах ветра вдруг появляется теплая, даже жаркая, словно дыхание раскаленной пустыни, струя воздуха.

В стороне от железнодорожных ворот на земле, вдавив в нее массивные подпорки, дыма, истекая жаром, лежала серая, с пепельно-сизыми отливами гряда. Кое-где куски формочной пепельно-сизой земли отвалились и малиново раскаленный металл обнажил свое будто бы совсем и не собирающееся тускнеть нутро. Сергей Миронович, не выдерживая обжигающего жара ни кожей лица, ни ладонью, которой тщетно пытался загородиться, отступил. В отдалении тепло гигантской отливки, лишь несколько дней назад извлеченной из кессона, согрело грудь и щекотно свербило глаза. И еще это тепло навело тихие, как бы тронутые легкой грустью мысли.

Лежат, продавливая под собою землю, сто десять тонн особой, выколдованной ижорскими умельцами стали. Пока еще никто не может сказать, есть ли это станина первого нашего блюминга... Даже секретарь здешнего парткома, мужик серьезный, и то находит нужным отшучиваться: «Металл, как и океан,— стихия. Мы до сей поры не знаем, что важнее: или те же расчеты-подсчеты инженера Ремезова, или то, что дядя Вася усатый вырвал из своих усов волос, бросил в жгучую струю, прошамкал: «Господи, благослови!» Одним словом, вот когда оскребем землю, обрубим прибыля, простучим, прослушаем станину, поищем раковины, трещины..!»

Сергей Миронович спрятал руки в карманы реглана. Стоял, зябко поеживаясь. Ярко-малиновые пятна, говорившие о том, что металл, еще недавно огненно-жидкий и схватившийся теперь в единую глыбу, хотя и остывал, но все равно был еще раскаленным, напомнили вдруг слова древнего мудреца: «Ничто в этой жизни не вечно. Вечен огонь».

В расцвете лет — сорок четыре года! Жизнь наполнена большими и мелкими заботами до отказа. И потому мысли не о сегодняшнем, не о повседневном приходят не часто. Им некогда быть, когда иное, самое житейски-обыденное стоит на карауле каждой минуты и требует помнить о себе, помнить постоянно, и в гомоне дня и в тихой ночи. «Ничто в этой жизни не вечно. Вечен огонь».

Сколько здесь правды? А сколько просто красиво звучащего? Или — все правда? И вся правда здесь? «Вечен огонь».

Этот вот, в малиново-огненном слитке, скоро тоже погаснет. Не вечен... Не всякому огню дарована вечность. Огонь мировых катастроф? Когда гибнут звездные системы и возгораются необъятные миры? Что ж, тот огонь, наверное, вечен. Что есть в том огне человек? Огонек человеческой жизни...

Холод балтийского промозглого ветра заставил вновь встать на то место, с которого недавно отступил; теперь, не загораживая рукою лица, стоял и хотя чувствовал жар огнедышащего слитка, но не чувствовал в этом жаре обжигающей резкости — обвыкал.



Вечен огонь...

Достав табак, свернул сигарку.

Огонек человеческой жизни... Неужто он так и ничто в сравнении с пожарами вселенских катастроф, уничтожением или возникновением новых миров?.. Какая бы цена была миллиардолетнему солнечному пожару, солнечному свету, если бы лился он лишь на камень безжизненных планет?.. Огонь, огонек человеческой жизни...

Внимание Сергея Мироновича привлек человек, появившийся неподалеку. Он подошел неслышно: шорох шагов тонул, растворялся в шумах огромного пролета. И казалось, что человек этот не подошел, а просто возник перед станией. Высокий и чуточку сутулый. Вочках. Легкое габардиновое плащ-пальто топорщится над лопатками. На голове шляпа, тоже не новая, но вместе с тем все равно непростая, с очень маленькими, когда-то модно загибавшимися полями.

Появившись, он застыл неподвижно. И в этой неподвижности и молчаливости он как бы весь, без остатка, ушел во взгляд, которым ощупывал, трогал, гладил (тут все это было, в этом взгляде) громаду раскаленного металла, покрытого сизо-пепельной коркой формочной горелой земли. Наверное, так от всего иного может отрешиться мать, если она над ребенком, борющимся с недугом. Так про все иное может забыть фанатик-верующий перед ликом того, который видится ему не красками на доске или камне, но предстающим как бы живым, во плоти и крови... Ремезов. Андриан Леопольдович. Да, это он...

Ремезов не пошевелился и тогда, когда к станине подошел еще один незнакомый Сергею Мироновичу человек. Немолодой, в бобриковом старом пальто. Заношенная шапка с кожаным верхом и вытершейся овчинной опушкой слегка сдвинута на затылок. Седые волосы, виднеющиеся из-под шапки, не очень густы. А вот усы даже не столько пышные, сколько особенные: что завал старого, темного от времени бурелома. На такие буреломные кучи когда-то, еще году в тринадцатом, в дальних прогулках по кавказским лесам набредал Сергей Миронович. Каждая волосинка в усах этого немолодого мужчины словно сама по себе, каждой хочется быть отдельным деревом. Наверное, в юности хозяин пытался сладить со своими усами, пригладивая их и расчесывая. Да, видать, отступился. Бурелом, хаос. И этим они хороши. Без них лицо мужчины с глазами синевато-блеклыми, с аляповато-неопределенным носом было бы весьма невыразительным. А тут — сила. Сразу, еще не зная, с кем имеешь дело, уважение и даже робость чувствуешь перед такими усами. Наверное, это, как сразу подумал Сергей Миронович, и есть знаменитый литейных дел мастер дядя Вася усатый.

Подняв с земли обломок доски, усатый стал счищать сизо-пепельную землю с узкой части отливки как раз перед лицом стоявшего неподвижно Ремезова. Земля осыпалась, малиновое тело под доскою, касавшейся его, искрило.

— Меня этот уголок, Андриан Леопольдович, тоже более всего заботит, — сказал усатый, приближаясь своим аляповато-бесформенным носом к малиново-жаркому боку настолько, что Сергею Мироновичу показалось, что сейчас его усы затрепчат, возгораясь. — Я за этот уголок, как только глянул в эскизные бумажки, душой заболел. За этот уголок с мякинниками чуть душу друг другу не вынули. Если будет лопина, то только здесь. И нигде более...

Кинув на землю доску, обив ладонь о ладонь, усатый повернулся от станины и, миновав неподвижно застывшего Ремезова, подошел к Сергею Мироновичу. Протянул руку.

— Здравствуй, Миرونыч.

Рука у него была крепкая и жесткая; глаза оставались хмуро-озабоченными; усы-бурелом пошевеливались слегка. И, пошевеливаясь, походили на иголки старого ежа.

— В беспокойстве все который уж день, — продолжал он ворчли-

во. — Парткомовские здесь днюют и ночуют. Даже удивительно, что нынешней минутой в отсутствии. А то вроде бы как караул.

Ремезов, услышав негромкое, но с душевным теплом прозвучавшее «здравствуй, Мироныч», стяхнул оцепенение, его сковывавшее, и будто вернулся из далекого мира, где пребывал, на землю. Вернувшись, сразу же ощутил и холод ее и жару. От холода, пробившегося через его легкое габардиновое плащ-пальто, поежился и ссутулился. От жары, дохнувшей в лицо, загородился выставленной вперед рукою с растопыренными пальцами.

Киров подошел к Ремезову и встал сбоку.

— Я слышал,— сказал Сергей Миронович,— крупновские специалисты выражают полную уверенность, что отливка станины была несостоятельной затеей металлургов Ижоры. Рассыплется станина еще до того, как поставят ее под нагрузку.

Ремезов ответил не сразу. Он, до недавнего времени чувствовавший как-то предельно реально свою отъединенность от этого мира, будто тогда, осенью семнадцатого, не просто был выброшен в кучу грязного снега, но выброшен был из жизни, которая пошла сама по себе и была ему чужой, в чем-то враждебной, он сейчас принадлежность свою к этой жизни как-то опять очень реально почувствовал. Металлурги Ижоры... Кем бы он ни был в этой жизни, кем бы его ни называли и ни определяли за приверженность к жившей давно в душе его идее об исторической миссии инженерства, но... Но, черт возьми, металлурги Ижоры... Он тоже этот самый ижорский металлург... Когда он заговорил, голос его хотя и звучал глуховато-приглушенно, но ясно чувствовалось: Ремезов с трудом себя сдерживает.

— А почему крупновским специалистам не выражать такую уверенность? Здесь,— Андриан Леопольдович неторопливым движением руки обвел вокруг себя,— не литейный двор, но совершенно иное производственное помещение. Его приспособили. Лучше сказать, к нему приспособились. Печи, которая бы выдала плавку нужного объема, не существует. Нет еще в России такой печи. И все другое, все то, где должна быть технология,— там все сочинительство, изобретение, фантазии. Почему же крупновским металлургам, специалистам откованной, отшлифованной технологии, не выразить своего недоверия?

— Значит, они правы?

По лицу Ремезова опять скользнули неясные тени: как будто отсвет раскаленного металла, поигрывавшего сполохами остывания, пробежал и угас.

— Правда — вещь не простая,— сказал он уже откровенно раздраженно, не удалось удержать голос на глуховатой приглушенности.— Не болтик, оброненный на дороге: подошел, взял, в карман положил. Тут вот перед самой заливкой станины двух мерзавцев схватили. У них, наверное, тоже своя правда... Чего они хотели? Они очень немного хотели. Несколько ведер воды в кессон. Да, несколько ведер. И — ад! Грохот. Разрушение. Обезображенные, обгорелые трупы. Огонь, пожирающий труд десятков и сотен людей...

— Огонь,— повторил машинально Сергей Миронович.— Огонь... Вечен огонь...

— Вечен огонь созидания! — Ремезов уже и не стремился скрывать своей злости и раздраженности, он не кричал еще, но в голосе его звучали самые высокие ноты.— Да, да, только этот огонь, и в толковании философа древности, несет в себе смысл. Вечен огонь не потому, что все рухнет прахом, все предается сожжению. Но потому, что, вечно пылая, огонь рождает миры, открывает дорогу живому.

Киров, чуть повернув голову, набычась, смотрел на Ремезова. Соглашался или не соглашался?.. Казалось, что этот голос, бабьи несильный, с подвизгиванием, его раздражает так же, как его, кировский, вопрос вывел из себя Андриана Леопольдовича Ремезова.

— Вечен огонь, окрыляющий душу! Огонь как благо. Огонь как добро.

Еще что-то все на тех же высоких нотах, выразивших желание не соглашаться и быть при мнении только своем, хотел высказать (выкрикнуть!) Андриан Леопольдович. И вдруг будто споткнулся. Не соглашаться-то было не с кем. Стоявший рядом с ним человек улыбался, чуть склонив голову набок. И в этом наклоне головы к плечу и в улыбке — широкой, всем лицом, но вместе с тем легкой, как бы мимо-лётной, — светилась сама душа. Открытая, откровенная, бесхитростная душа доброго человека.

— Вечен огонь... Огонь, окрыляющий душу...

Он чувствовал лицом близкий, плотски-земной жар, который, затухая, не станет частью прошлого, ушедшего, частью небытия. Он затухает, обращаясь в мощнейшую гибкость, неразрывность металла, который примет на себя все тяжести, которые и предопределено принимать такому простому, такому обычному, как станина. Он будет всегда там, в своем холодном сжатии, в своей спружиненности. И лишь изредка, когда его перенапрягут, он напомнит о себе легким теплом. И человекья рука, ощутив это тепло, воочию почувствует всю могучую сжатость, гигантскую спружиненность, всю силу, что есть вот здесь, в порождении рук человеческих, в порождении ума и огня...

## XI

Позвонил Сталин. У него было несколько вопросов к Кирову. И, задавая каждый, он, как всегда, не торопился с ответом, давал возможность обсказать все обстоятельно. Телефон доносил посапывание труб, когда Сталин молча выслушивал секретаря областкома.

Если же сталинский голос врывается вдруг, то обязательно в паузу и тогда, когда мысль какая-то была уже закончена, суждение высказано. Вопросы генсека были прямыми и четкими, без какого-либо сокрытого смысла. Звучали все очень ровно. Но, может быть, именно эта ровность, с какою задавались вопросы — и небольшие, которые могли Сталина не волновать, хотя и интересовали, и другие, которые не волновать его не могли, — пожалуй, более чем что-либо иное заставляла держаться в напряжении. Хорошо знакомый человек, с которым где-то и по-товарищески, где-то и по-дружески и все-таки с которым чувствовать себя просто, тем более запросто, невозможно, — такое ощущение жило при встречах, при разговорах с ним всегда, этим же чувством и сейчас, отвечая на его вопросы, жил Киров.

В сознании Сергея Мироновича мелькнула картина осенней охоты: они вдвоем с Орджоникидзе бродили по Дудергофским лесам. Серго там сетовал, что иногда трудно становится вести товарищеский, рабочий диалог с генсеком. Иногда в этом диалоге первостепенную важность обретает не смысл, а скорее форма высказывания. И потому в иной ситуации, в ином рабочем споре чувствуется превосходство того, кто, по существу, бывает менее прав.

Сталина интересовал каучук. Он подробно расспросил о работе Лебедева. Расспросил и о каучуке академика Бызова. В разговоре о бызовской работе приходилось то и дело упоминать нефть. Киров вдруг обратил внимание, что в устах Сталина очень схоже звучат два, казалось бы, далеких слова: «нефть» и «нет». Сталин произносил эти слова с одним и тем же акцентом, и одинаковая созвучность удивительно сближала, казалось бы, такие разноликие слова: «нэт» и «нэфть».

Киров неожиданно поймал себя на том, что у него в сознании вдруг с мрачной однотонностью зазвучали два эти слова: нет нефти... Нет нефти...

А Баку?

Вспомнив Баку, он почувствовал тепло, согревшее грудь, и улыбнулся.

Сталин говорил неторопливо. И в паузах его высказываний можно было пронестись мыслями по многим фактам и цифрам, чтобы приготовить нужные. Слушая генсека сосредоточенно, Киров всегда успевал перебрать в уме многое и остановиться на том, что и было самым главным. Но сейчас, вспомнив Баку и почувствовав тепло, согревшее грудь, Сергей Миронович быстро мысль унесся в сторону, благо что тот, дальний голос опять ушел в глубокую паузу. Киров подумал, что все-таки ему, разобычнейшему смертному, жизнь определила много удивительного. Кем только он, этот разобычнейший смертный, не был за четыре стремнинно-бурных десятилетия!

Приютский мальчик, сирота, знакомый со всею несправедливостью мира, поделенного на господ и рабов.

Выпускник Технического училища...

Подпольщик, профессиональный революционер... Если бы только им быть в служении вековечной народной мечте, мечте и борьбе за свободу, то и тогда жизнь можно считать не напрасной.

Председатель ревкома. Член Реввоенсовета... Тысячи вооруженных людей. И ты — выразитель их воли. Ты... Полководец ли это по старым понятиям? Или кто-то иной? Но в твоей воле и власти тысячи вооруженных и сведенных в народные армии... Жить и умереть причастным лишь к этому значит уже заслужить добрую память родного народа, остаться в его душе на долгие, долгие времена.

Но... Сергей Миронович опять улыбнулся и будто посторонним взглядом, взглядом иронически щурящегося человека, взглянул на себя. Иронизировать над собой у него было в привычке, потому как он не стеснялся иронизировать и над иными, когда была в том нужда. Но можно даже и с иными измерениями, лучше сказать — аршинчиками, подойти измерять. И все равно! Все равно!

Газетчик разве был плохой?.. Совсем даже неплохой газетчик. Да если бы всю жизнь работал репортером «Терека» и умер бы им, передовая общечеловечность Владикавказа такие бы либеральные похороны заката! Речи бы, черт возьми, говорили и, как водится, допускали бы некоторые аналогии с писавшими в древности филиппики...

Ну — и дипломат! Революции потребовались дипломаты. «Не могу», «не знаю» не признавалось. Черт возьми, иному ясновельможному на какие ухищрения не приходилось идти, чтобы получить это: «посланник», «посол». А тут: «Надо!» И что, разве оплошал? Разве подвел свою страну, ее народ послом в меньшевистской Грузии? В делегации на мирных переговорах с пилсудчиками?

Или опять же! Каким интересно бы знать, был путь в нефтяные магнаты небезызвестного Нобеля?.. Нефтяной магнат!.. Звучит это. Нефтяной магнат! А что тот же Нобель с его миллионами и миллиардами был в сравнении с новою, народною властью в нефтяном Баку? Да никакому магнату не снилось того, что сделала за самые короткие годы на бакинских нефтепромыслах власть Советов. «Нефтяной магнат!» — Сергей Миронович улыбнулся иронически. И нисколько не усомнился этой иронии, потому что был тем, кто в разрушенном, разоренном войною Баку выражал высокую волю новой, народной власти. Власти Советов.

Баку... Нет нефти... Это же несовместимо!

Но именно потому, что побывал и в шкуре «нефтяного магната», Сергей Миронович понимал эту совместимость. И сталинская озабоченность, сказавшаяся так своеобразно («нет» — «нефть»), не казалась Кирову необъяснимой.

Что тут необъяснимого?

Сто тысяч тракторов, о которых мечтал Владимир Ильич Ленин, в ближайшие два-три года выходят на поля крестьянской России. Сколько же им нужно горючего?.. А Баку остается Баку.

Автогиганты Москвы, Нижнего Новгорода сегодня-завтра на дороги страны выпустят сотни тысяч машин. Сколько же бензина запросят эти машины?.. А Баку остается Баку.

Война... Страна готовится к войне. Ему, руководителю ленинградских большевиков и секретарю Центрального Комитета партии, это особенно хорошо известно. Война будет войною моторов. Но всякий мотор мертв без горючего. А Баку остается Баку.

И продать вынуждены. Вынуждены продать капиталистишкам нефть. За бесценно. Но за валютный бесценно. Чтобы накопить на бесценке и уже за золото у тех же капиталистишек купить что-то, чего в стране пока еще нет. Хотя бы тот же каучук...

Каучук... Бызов... Нефть...

Нефть и ее производные — исходные продукты для получения каучука по способу академика Бызова.

Полтора десятилетия колдовал ученый, чтобы нефть обратить в резину. И обратил-таки. Его каучук спорит с натуральным. Бызовская шина, поставленная на одной машине для испытания, лишь облысела слегка, когда из натуральной резины стесались как топором.

Сталин спросил, будут ли выдержаны сроки пуска опытных заводов Лебедева и Бызова. И как сейчас обстоят дела на этих заводах? Обеспечен ли опытно-промышленный эксперимент сырьем?

Сырье для завода «Литер Б», где Лебедев,— спирт. Для завода «Литер А», где Бызов,— нефть...

И опять, заговорив о нефти, Сталин задумался. Киров молчание его не прерывал.

Много ли ее, этой самой нефти, у нас в стране? Или мало? Может, Баку — это счастливый и единственный дар небес? Может, вся иная наша земля бесплодна? Об этом сегодня гигантские споры. Быть и пессимистом и оптимистом в этих спорах легко. Страна на три четвертых всей территории еще не исследована геологами. Это даже поверху. Почему пессимистам не утверждать, что все равно ничего не удастся найти? Не найти!.. Но и оптимистам зато есть где размахнуться гипотезами. Газонефтеносными провинциями сегодня называются огромные земли в Поволжье и по обе стороны Урала. Прикаспийская низменность. Прибайкальские районы. Минусинская котловина. Бассейн Амура. Утверждают, что нефть есть в Якутии и Средней Азии. Предлагают начинать разведку бурением вдоль Транссибирской магистрали и на Печоре.

За поисками здешней, печорской, нефти Сергей Миронович следит внимательно. Все статьи и книги о приполярной нефти проштудировал, как честный школяр. Оказывается, здешняя земля с незапамятных времен пахнет нефтью. Еще чудью, населявшей когда-то эти места, велась добыча нефти. Ямами. Рыли ямы — в них скапливалась нефть. Чудь лечилась нефтью, попивая ее кружками. Так утверждают в некоторых книжках знатоки.

Еще знатоки утверждают, что на Печоре из скважины в двадцать два фута глубиной, закрепленной трубой из лиственницы, сама собою течет-льется волшебная жидкость. В год не менее четырехсот пудов. И сторож при сидоровской конторе по хорошей цене, от полутора рублей до двух за пуд, продает ее прямо в неочищенном виде на смазку пароходов, рейсирующих по реке. Благодать!..

Просил проверить эти данные начала века Сергей Миронович. Проверяли. Действительно пахнет припечорская земля нефтью. Пахнет. Но сидоровская контора с самоизливающейся благодатью — это, по всей видимости, ловкий трюк рекламщиков, стремившихся завлечь в здешние края богатых простодушных купчишек. Не льется на Печоре нефть сама собою. Если она и есть там, надо ее еще найти. Как и на Урале, за Уралом, в Минусинской котловине, в Прибайкалье... А у страны пока единственная нефтяная реальность — Баку.

Сталин сказал, что принимать опытные заводы нужно будет не

только специалистам-химикам. Обязательно надо предоставить возможность высказать свое мнение экономистам.

Сталин высказал мысль, что стоило бы уточнить и конкретизировать постановку вопроса о реконструкции коммунального хозяйства городов на предстоящем Пленуме ЦК.

— Постановка вопроса вообще, — говорил он, как всегда, неторопливо и почти безынтонационно, лишь акцент, становившийся более приметным на том или ином слове, как бы растягивал это слово, выделяя его среди других, усиливал его, — всегда несколько бесхребетна. В то время как изучение положения с хозяйством Москвы уже говорит — вопрос может решаться только кардинально. Проблема водоснабжения — только кардинально. Москву может напоить только волжская вода. Значит, нужно привести Волгу в Москву... Проблема городского транспорта — только кардинально. Никакой трамвай, двухэтажный и трехэтажный, не решит проблему транспорта. Значит, Москве нужен новый транспорт. Я самым решительным образом поддерживаю идею метро... Москва — столица первого в мире социалистического государства. У нее должен быть облик, соответствующий ее мировому значению. Эпоха социалистического наступления должна найти свое отражение в архитектурных формах и композициях. Директивы Первого съезда Советов о строительстве в Москве как в столице Союза Дома СССР сегодня обретают реальную материальную базу.

Киров был абсолютно согласен, что постановка всех городских проблем с учетом опыта Москвы действительно придаст разговору на Пленуме конкретность, программную целеустремленность.

— Конкретизируя вопрос, — сказал Сталин, — сужать его не будем. О развитии городского хозяйства СССР — такова генеральная мысль разговора. Так скажем и в повестке дня...

Положив трубку, Киров поднялся из-за стола и стал расхаживать по кабинету. Разговор со Сталиным каждый раз требовал того, чтобы к нему возвращаться и как бы заново то один в нем момент, то другой восстанавливать, прослушивать. И, прослушивая, не пропускать ни одного оттенка голоса, ни одного слова — за всем этим всегда мысли, что-то еще обдумываемое Сталиным, что-то уже решенное им...

## XII

— Вы, конечно, знаете Бориса Васильевича Бызова? — спросил Киров Стрешнева, когда тот принес ему материалы к заседанию бюро по вопросам городского хозяйства.

Бюро должно было вот-вот начинаться, и Николай Фадеевич чувствовал себя потонувшим в огромном ворохе цифр, сведений, которые, как знал он, могли оказаться нужными при обсуждении вопроса и которые поэтому он считал обязанным держать в голове. Бызов никакого касательства к коммухозникам не имел, но... Сергей Миронович ждал ответа.

Киров, задав вопрос, смотрел пристально, и этот пристальный взгляд, как продолжение вопроса, заставил Стрешнева не ограничиться простым и коротким «да, знаю». Николай Фадеевич, с трудом отрешившись от коммухозовских забот, стал рассказывать, что академик поражает его всегда какою-то почти детской веселостью. Шутник, остролов. Эпиграмму запросто сочинит. А то за рояль сядет — и экспромтом сатирические куплеты на собственную, тут же рожденную музыку. Человек, свободно владеющий пятью языками, объездивший почти полмира, а любит чисто ребячьи шалости.

Киров смотрел пристально и как будто бы говорил: «Продолжай, продолжай, Николай Фадеевич. Продолжай. Все равно скажешь то, чего от тебя жду...»

— Трудно ему сейчас. — Стрешнев не фальшивил, вздохнув и

перейдя с приподнято-восторженного тона на простой, с печальной окрашенностью.— Трудно...

Киров кивнул, будто сказав: «Вот-вот... Но все равно продолжай. Продолжай, Николай Фадеевич».

— Дело всей жизни... Он же всю жизнь вложил в этот бутадиев. Нефтяной каучук. Все остальное, хотя он за то остальное и мировые премии получал, это лишь подступы. Плацдармы. А смысл смыслов, душа души, боль сердца — это лишь каучук. И ведь открыл. Создал. Подарил: «Возьмите!» Но... Как вы знаете, это экономически нерентабельно. Копейки! Пока какие-то копейки не за него, а против него. Но ведь будут, будут еще времена!.. Будет у нас нефть в избытке!..

Киров, как будто бы собираясь гасить страстность распалющегося все более и более Стрешнева, подошел к нему, помахивая перед собой тонкою книжницей в обложке из грязновато-серой толстой бумаги. Название книги, отгиснутое почти в тех же серовато-голубоватых, скорее даже в грязновато-серых тонах, почти не прочитывалось. «Химия». Не то прикладная... Не то еще какая-то.

— Понимаешь,— Киров покачивал этой тонкою «Химией» перед собою,— вот, путаясь и распутываясь в этих самых каучуках, дивинилах, бутадиенах, наткнулся вдруг... Понимаешь — юноша. Совсем, мне кажется, еще юноша. Но замеченную сразу всем химическим миром работу опубликовал. Тридцать лет назад. Понимаешь, выходит, что как раз тридцать лет назад. Это же — дата!.. Химикам, может быть, и некогда. Там, наверное, своих забот полон рот. И поэтому, может быть, нам самим подсказать? Поскольку ты вхож в этот мир, подскажи. Мне кажется, такому ученому, человеку, у которого собственные изыскания и наши потребности в таком единстве, тридцать лет научной деятельности надо бы отметить.

Стрешнев торопливо и размашисто писал в блокноте, который у него всегда был с собою. Лицо его понемногу высветлялось...

— Понятно,— сказал он, поднимая глаза.— Понятно, Сергей Минович. Я обязательно напомним об этой дате... Химикам или... Соображу, кому следует напомнить.

Сергей Минович настроился благодушно. Проводив Стрешнева до двери, не сел сразу за стол. Прогуливался, косясь на папку скоросшивателя, только что принесенную Стрешневым.

Тоже вот — обычная папка. Простая сероватая бумага. Восемьдесят страниц машинописного текста. Это же — глыба. Глыба!..

Несколько месяцев во всех отделах и службах Ленсовета, горкома и областкома ломали головы. Споры... Какие споры!.. Но теперь все подходит к концу. Наверное, вчера какая-нибудь из машинисток облегченно вздохнула, печатая на титульном листе: «Проект постановления ЦК ВКП(б) по докладу Ленинградского областкома ВКП(б) о городском хозяйстве Ленинграда и его реконструкции».

Завершены, кажется, споры. Отношения выяснены. Определены объемы газификации и теплофикации. Тем, кто без учета реальных возможностей хотел бы сегодня в каждую хибару, которую не сегодня-завтра на слом, привести газ, дать теплую воду, нащелкали по носу: умерь прыть! Тем, кто не хотел бы утруждать себя излишними хлопотами и перестраивать заводские, фабричные угольные кочегарки на более выгодное топливо, нахлопали по затылку: смелей вперед! Подумали фундаментально над проблемами водоснабжения быстро растущего города. «Ладожский водопровод... Довести суточную подачу воды до 50 миллионов ведер». Худо ли, бедно ли, но по два десятка ведер на каждого ленинградца — можно каждый день купание устраивать. Не всякий город Европы и мира может десятками ведер свежей воды на своего жителя похвастаться...

Пришлось дать бой квасному патриотизму. Удивительное это дело — квасной патриотизм. Какое только обличье он иногда не принимает! Вдруг ухватился за кирпич. На Руси издревле — кирпич... Да раз-

ве только на одной Руси издревле?.. Но если есть возможность внедрить более прогрессивные методы строительства? Ускорить возведение целых новых городов вокруг Ленинграда? То самое, что именуется «новый жилой массив», — это же не что иное, как город. Тем более если его мерить мерками тех, у которых в руках аршин под названием «издревле». Очень крепко пришлось с этими аршинниками схватиться. Они, помимо ссылок на «издревле», подвели под свои позиции еще и «марксистскую» основу. «Нечего нам уподобляться капиталистическому Западу, нивелирующему человеческую личность! Каждый человек социалистического общества имеет право жить в доме, у которого свой облик. Неповторимость человеческой личности имеет право проявиться и в неповторимости того, чем человек окружен».

«Вот сукины дети! — Сергей Миронович хотя и вспоминал сейчас опять все эти баталии, но благодушно: все-таки это прошлое. Отшумело. Отгремело. Улеглось. Пороху извели немало... — Вот сукины дети! Возьмите подсчитайте, сколько сотен тысяч неповторимых человеческих личностей ютятся в подвалах, полуподвалах и в черт-те знает каких еще помещениях! С вашим подходом к этой за горло берущей нас проблеме когда вы сумеете все эти неповторимые личности извлечь из этих закутков, полуподвалов и подвалов?».

Сев за стол, раскрыл папку, нащел строчки проекта постановления, которые, когда коснулся их, даже будто бы грели кончики пальцев. Простые такие, чугунно-канцелярского языка строчки, а грели человечье-добрым теплом:

«Обеспечить:

применение в массовом масштабе стандартного домостроения — каменного по Ленинграду, деревянного в пригородах...

стандартизацию блоков и деталей...

механизацию строительства, уничтожение ручного труда на земляных работах...

стандартизировать не только стены и перекрытия, но и внутреннее оборудование и отделку...

вести каменное монтажное строительство в течение круглого года».

Отшумели, закончились споры. Утихомирились этикие стихийно возникшие партии: сверхрешительных, бесповоротных, для которых город — это не что иное, как исчадие капиталистического ада, а потому — разрушай, и других, сверхробких, окрещенных починщиками. Крышу приподнять, этаж надстроить, сквер вырыбить и дом поставить — вот максимум решительности у этих.. Вырисовывается проект Большого Ленинграда. Застройка будет вестись на свободной площади крупными жилыми массивами, районами-комбинатами. Десять таких районов предполагается на сегодняшний день. Город выйдет на площадь примерно в семьсот квадратных километров. Большой Ленинград, в котором целым и нетронутым останется существующий ныне...

Отшумели, закончились споры. Теперь вот последний разговор. Одно из последних заседаний — и проект восстановления, в котором пожелания, думы, чаяния, расчеты, подсчеты, коллективная воля Ленинградской партийной организации, хозяйственного и культурного актива города, пойдет на рассмотрение Центрального Комитета...

Сергей Миронович, перелистывая страницы скоросшивателя, поглядывал из-за своего стола на общество, все более и более заполнявшее кабинет. Нравилось Сергею Мироновичу, как прохаживались по кабинету, иногда выходя из него через распахнутые двери и возвращаясь, Стрешнев и Ершаковский.

Высокий Ершаковский обнял Стрешнева за плечи и, наклоняясь к нему, говорил что-то, видать по всему, задушевное. Стрешнев сначала ершился, даже плечами так недовольно поводил, будто чувствовал себя в объятиях спрута и все хотел от них освободиться. Но постепен-



но отошел. Улыбка появилась на хмурившемся лице. Кивать начал в такт шагам. Остановились они потом, повернулись лицом друг к другу. Ершаковский быстрыми шагами сходил к оконцу, на котором стоял его портфель, достал пухлую стопку листов. Сергей Миронович мимолетным, но цепким взглядом определил сразу, что это верстка книги. Вернувшись опять к Стрешневу, встав перед ним, Ершаковский церемонно поклонился и, держа пухлую стопку листов обеими руками, преподнес ее Николаю Фадеевичу.

Чувствуя благодушное настроение и как-то явственно ощущая, что большинство, абсолютное большинство, а может и все, кто здесь, сейчас тоже в таком настроении: «Какую гору с плеч свалили! Какую гору!» — Сергей Миронович, начиная заседание, постарался по этому благодушию несколько пройтись. Он даже и не задавался этой целью, но просто почувствовал нужность проехаться бороною по благодушию, взрыхлить, взорвать его, дать простор и возможность прорасти семени других настроений, более полезных для дела. Не поднимаясь из-за стола и приведя в некоторое замешательство девушку-стенографистку (начало это заседания или не начало? пора пускать в дело карандаш или не пора?), стал вспоминать о том, как коммунхозники, основные именные сегодняшнего заседания, красили городские фасады.

— Помните? — говорил он, сцепив пальцы выложенных на стол рук; легкая улыбка на лице, в этой улыбке и ирония и грусть, как будто если он иронизирует, то и над собой тоже, потому ему и грустно; кто еще не сел — горопились найти место или за длинным столом, или на стульях вдоль стен; Стрешнев и Ершаковский сели друг против друга за длинным столом как раз в том месте, где он примыкал к Кировскому. — Помните, первое, над чем задумались: как красить? Каждый дом на улицах, и не только генеральных, — история. Не выкрасить бы как-нибудь неладно. Я тогда заметил: месяца полтора думали. Ну, пусть, говорю себе. Пусть. Подождем... Люди думают... Тихо все было. Полтора месяца думали. Лишь изредка легкий шумок — думают. И опять тихо. Спрашиваю товарищей: «В чем дело?.. Или цвет, соответствующий истории, не нашли?» Нет, говорят. Насчет цвета теперь полная ясность. Краски нет...

Заулыбались в кабинете; кое-кто (было ясно, что это и есть коммунхозовские, красивые город) заерзал на своих местах. Улыбались тоже, но было заметно: неловко коммунхозовским.

— Нашли краску, — продолжал Сергей Миронович. — Нашли. Но не красят. Время идет себе, а дело по-прежнему стоит. Подождем, думаю. Работа же не простая. Ответственная. Фасады домов покрасить! Но не выдержал, спросил: «В чем же дело, товарищи?» Говорят: «Да, понимаете, люлек нет. Много же люлек нужно, чтобы сразу широко, по-революционному развернуть покраску города». «Люлек нет? А веревки уже нашли?» «Какие веревки?» — говорят. «Но люльки же на веревках, насколько я понимаю, подвешивать придется». «Ах да, — говорят, — веревки действительно будут нужны. Над этим надо подумать».

Смеялись. Ершаковский, поставив локоть на стол и полуобернувшись к смеявшимся, тоже снисходительно улыбался и, скользя взглядом с лица на лицо, как бы вопрошал: «Так кто же, почтеннейшие, из вас красил? О ком речь идет? Невысоко, весьма невысоко, почтеннейшие, летаете. Не орлы».

Стрешнев уронил голову, как будто бы собирался раскрыть портфель, стоявший на коленях, чтобы начать рыться в нем, разыскивая что-то нужнейшее. Помнил он тот разговор с Кировым. Помнил. «Ну погодите, волынщики, я как-нибудь вам задам!» Помнил он это, полушутя брошенное, когда ехали в машине по Невскому.

— Я хотя несколько и шучу, но вместе с тем понимаю, — продолжал Сергей Миронович голосом, ставшим суше, — что дело это действительно было серьезное. Мне по душе осторожность, с которой, ка-

жется, к такому простому делу, как покрасить фасад дома, подходят наши товарищи. У нас же действительно что ни дом, то история. Прошлых ли веков. Наша ли, революционная. Понимаю я осторожность наших товарищей. И все-таки теперь, когда вот здесь, — он чуть приподнял левую руку и опустил ее на папку скоросшивателя, — лежат четыре с половиной миллиона квадратных метров жилой площади, Ладожский водопровод, два новых моста, набережная на Обводном канале и многое-многое другое... Осилим? Или будем раскачиваться, как в тот раз?..

Молодая стенографистка, которая сегодня впервые попала на заседание, явно растерялась. Тех выступавших, которые приготовили свои соображения на бумаге и поэтому их можно было не очень тщательно записывать, она записывала. А кто врвался репликами в ход обсуждения, кто подсоблял выступавшему дельным предложением в развите нечетко сформулированной, но интересной идеи — она это упустила. Разговорность иных высказываний (прямо с места, полувопросом, полупредложением) ее сбивала с толку. «Это заседание? — был написан на ее лице в иные минуты вопрос. — Или заседание прервалось? Товарищи беседуют — можно беседу на бумагу не заносить?» Она совсем растерялась, когда сошлись (сошлись-таки опять ходившие в обнимку перед заседанием!) на кулачки Стрешнев и Ершаковский.

Уже, кажется, можно было закругляться. Сергей Миронович перебирал записи на столе: дельные и не дельные у него сортировались по разным кучкам; на блокнотных оторванных листах он каждую запись делал крупно, так, чтобы можно было читать без очков — не любил на людях очки; отдельно отложил те листочки, которые собирался передать стенографистке, чтобы внесла в свои записи важные реплики и серьезные предложения, если упустила. Готовился сказать завершающее слово, а тут — турнир! Гладиаторы. Быки. Купцы Кирибеевичи.

Ершаковский бросил этак небрежно, походя:

— Конечно, еще бы эту малость не упустить. — Пощелкал пальцами перед собой. — Чтобы в цеховском постановлении нашло отзвук. Так как все равно энтузиасты работают. Проекты еще в эскизах. Но это не эскизы. Каждый эскиз — песнь песней. Может быть, так и сформулировать. Пункт. Соответствующую номерню ему выдать. «Предусматривается коренная реконструкция всех площадей города в целях пропуска мощных демонстраций».

— Что? — Стрешнев, невысокий, сутулившийся над портфелем на коленях, набитым многочисленным справочным материалом, совсем съезжился. Но в этой съезженности не испуг был и не робость, но та спруживенность, что у кошки, приготовившейся к прыжку.

Ершаковский сделал вид, что не услышал стрешневского «что». Глядя в зал, на публику (если таковое определение хотя в какой-то мере применимо было к собравшемуся здесь деловому и серьезному народу), он левой рукой небрежно подтолкнул в сторону Николая Фадеевича лежавшую между ними на столе пухлую стопку листов, будущую свою книгу (и получилось, что жест этот можно было истолковать: читай пока, читай опять и не мешай, пожалуйста!), продолжал:

— Что получается? Улица Двадцать пятого октября. Этот самый бывший Невский. Течет народная река. Под музыку и марши. Развернув знамена. И, извините за неподходящее сравнение, как похоронная процессия. Однообразное, почти унылое течение равнинной реки. Чем взбурлить, дать новую жизнь этому течению?.. Не новшество сегодняшнего дня — громкоговоритель на столбе, и даже не листовочный дождь с аэроплана способны оживить унылое течение. Но! — Пощелкивавшие перед носом Стрешнева пальцы ушли ввысь, голос Ершаковского перестал звучать с будничной бесстрастностью. — Но — архитектура! — Ершаковский привстал; стенографистка широко раскрытыми глазами смотрела на него почти влюбленно. — Выманить этот унылый поток на простор площади. Скажем даже проще: уширения. Обычайшее уши-

рение улицы. И выманив его, подспрессовав и, скажем, зарядив из того же громкоговорителя на столбе, пустить далее. Но это будет уже не то простенькое движение, но как бураящая и полная новой энергии, в самой себе тайвшейся и вот теперь разбуженной, река!.. Скажем, простор перед нагромождением Казанского — чем не такое прямо-таки богом и недомыслием прежних сочинителей города данное нам уширение? Площадь!.. Превратить это уширение в площадь. Отодвинуть выставленные смешными рядами невесть что выражающие собою колонны...

— Не нами поставлены! — вскричал Стрешнев и не разогнулся, а как бы еще более присел, спружинился. — Не нами!

— Вот! — сказал и Ершаковский полногрудно, выпустив всю мощь своего утробного баса. И не только выпрямился во весь рост, но изогнулся над столом, навис над сжавшимся возле своего портфеля Стрешневым. — Вот она опять — эта рабская психология, живущая в каждом из нас! Не нами поставлено! Значит — молитесь! Значит — трепещите! Значит, и не приемля, все же приемлите!

— Да! Да! — вскочил и Стрешнев, перегнулся над столом в сторону Ершаковского. Устремленные друг к другу, они как бы образовали не сомкнутую вверху арку. И все, кто сидел за столом далее их, видели за этой аркой сидящего невозмутимым Кирова. Он, как и открывая заседание, сидел, выложив на стол сцепленные в пальцах руки, таким и сейчас оставался. Только не улыбался. Смотрел прямо. Не на Ершаковского и Стрешнева, взорвавшихся вулканами перед ним, не на членов бюро и приглашенных из партийно-хозяйственного, культурного актива, не на стенографистку, спрашивающую его растерянным взглядом: «Это что? Это заседание? Или это друзья, товарищи? Они спорят? Они не подерутся?» Смотрел, не касаясь никого взглядом.

— Да! Да! — вскричал Стрешнев и, схватив обеими руками верстку книги, почти так же театрально подчеркнуто, как ее протягивал ему перед самым заседанием автор, поднял перед собой. — Да, я, может быть, ничего не понимаю. Ничего не смыслю. «Геометрия изображения»! — Он, освободив одну руку, хлопнул ею по раскрытой странице. — Я, может быть, круглый дурак, раз должность занимаю и хожу с портфелем. Может быть. Но, — опять хлопнул по новой раскрытой странице, — усыпальница великих деятелей искусства и культуры! Может быть, обойдемся пока обыкновенным кладбищем?.. Для учащихся вузов нужно построить общежитий минимум на пятнадцать тысяч человек. Минимум! К чертям, может быть, пока все ваши усыпальницы?.. Музей-памятник борцам революции! Твердыня-монолит! — Хлопнул по новой странице. — Сам город наш — живая твердыня. И монолитнее вы ничего не придумаете!.. Сказки индустрии! — Опустив кипу листов, стал листать их; мелькало что-то ярко раскрашенное, непривычное для глаз. — Явно надуманная архитектурная композиция из сплошных изогнутых элементов... желание передать наши представления вне зависимости от всех существующих установок, приемов и подходов. — Стрешнев задыхался от гнева, он не принимал ни одного слова из будущей книги, но читал каждое слово четко, с выразительностью, на какую был предельно способен. — Создать такие построения, которые говорили бы в полной мощи о поставленной проблеме, но не были бы связаны требованием их обязательной непосредственной утилитарной пригодности... Резвитесь! — Он опять выгнулся в сторону Ершаковского, который над своим стулом распрямился, заложил пальцы рук за отвороты жилетки, слегка откинул голову, разбросив пышную рыжую шевелюру, глазам и всему лицу своему придал насмешливость. — Есть желание резвиться — и резвитесь! А я — чиновник. Утилитарная пригодность — моя первая забота. Если хоть одна из ваших изысканных композиций будет продуваться ветром, новоселы-рабочие мне усы оторвут! А как человек я вам говорю: не трогайте! То, что поставлено до вас, не трогайте!

— Все? — спросил его Киров, не меняя позы, не разжимая пальцев выложенных перед собой рук и голосом очень негромким.

— Все! — сказал Стрешнев, мотнув сильно и пропаще головой.

— Николай Михайлович, вы закончили? — спросил Киров так же ровно и монотонно, как спрашивал Стрешнева, но девушка-стенографистка почему-то вдруг очень испугалась, схватилась за карандаш.

— Я еще не начинал, — сказал Ершаковский, опускаясь на свой стул. И, взяв верстку книги, которая лежала теперь на столе опять между ним и Стрешневым, почему-то поднял ее над головой, покачал ею. — Не начинал!..

— Спасибо, — сказал Сергей Миронович.

Если бы он хоть чуть-чуть изменил голос, не оставил бы его точно таким же, почти бесстрастным, но молодую девушку, впервые здесь присутствовавшую, почему-то напугавшим, наверное, это его «спасибо» кому-то не понравилось бы. Может, Ершаковский опять бы вскипел: «Что за спасибо?!» Он серьезно поднял свою будущую книгу перед собой, и совсем он не шутил, когда сказал свое: «Я еще не начинал». Нет, не шутил. И никаких язвительных «спасибо» здесь отпускать, пользуясь властью, не следует... Могло бы и Стрешневу не понравиться: «Что это за расшаркивание перед тем, перед которым, может быть, и не следует расшаркиваться? Что за этакая не к месту учтивость?» Могло и кого-то... удивить. «Так у них же деловой разговор был! Деловой! А я сидела. Рот разинула! Дурочка! Не работать мне здесь! Никогда не работать!» — так бы могла вдруг понять Кирова, измени он хотя бы слегка голос, молодая стенографистка.

Но Ершаковский остался спокоен. «Понимаем мы вас, — услышал он в кировском голосе. — Понимаем, что вы не пошутили. И совсем сейчас не важно, разделяем мы ваши взгляды или не разделяем, — об этом в другой раз. Но сейчас здесь продолжать спор бесполезно. Не нужно для дела. И хорошо, что вы признаете это — сели. Спасибо».

Стрешнев услышал: «Не горячись, чиновник. Держи марку. И нервы надо держать в кулаке. Хорошо, что хотя и взорвался, но вовремя себя осадил. Спасибо».

«До тебя ли сейчас, девушка! Радуюсь, что сейчас будто никто тебя и не замечает. Не видит никто... Научишься еще понимать, где заседание, а где хоть и не сказано: «Не для стенограммы!» — а все равно лучше не записывать — пустое. Поработала в поте лица, с переживаниями — спасибо».

«Надеюсь, товарищи и члены бюро и приглашенные, надеюсь, что вы понимаете: наш уважаемый Николай Михайлович, как и каждый творческий человек, имеет право на выражение своего мнения, так сказать, языком образным, ярким, для нас, хозяйственников и партработников, не всегда привычным. Но вы все сейчас это право признали. Ни у кого из вас заявление Ершаковского, преподнесенное в своеобразной форме, протеста не вызвало. Спасибо. Всем вам спасибо... Будем продолжать работу дальше. Заканчивать будем обсуждение».

Он это и сказал:

— Заканчивать будем обсуждение. — Поднялся. — Прежде всего по вопросу, поднятому Николаем Михайловичем Ершаковским. Реконструкция площадей для пропуска демонстраций.

Стенографистка торопливо записывала слово в слово. Все в кабинете, как и всегда, когда говорил Киров, и не из почтительности к нему, слушали не только внимательно, но даже с напряжением, потому что слышать надо было и каждое слово и еще то, что за словом, что не вместилось в него. Стрешнев лишь, вскинув голову, будто вопрошал негодующим взглядом: «Нет, неужто и в самом деле это предложение заслуживает того, чтобы о нем вести речь?»

Киров коротко, глаза в глаза, взглянул на негодующего Стрешнева. «А ты все же помолчи! — сказал тот сверкнувший коротко взгляд. Лишь только для него, для Стрешнева, одного из первых кировских помощников, и не по должности помощников, но по духу, сути (друж-

ба их начиналась еще на Кавказе, в Баку), сверкнул понятно, с открытостью.— Помолчи все же!»

И голосом обыденно простым, тем самым, которым говорил и то всем понятное «спасибо», он продолжил:

— Мне кажется, что предложение заслуживает внимания... Коренная реконструкция всех площадей для пропуска мощных демонстраций.— Помолчал. Посмотрел на Ершаковского, который, заложив кончики пальцев за отвороты жилетки и разведя в стороны локти, сидел широко.— Только, может быть, не нужно — коренная?.. Не каждой из наших прекрасных площадей потребуется для этой цели коренная реконструкция.

— Я думаю, что так. Именно так,— кивнул Ершаковский.

— Может быть, не нужно и — всех? — продолжал Киров, как бы рассуждая вслух.— Не через все же идут потоки демонстраций.

— Конечно!

Ершаковский не кивнул, но качнул энергично голову вправо, влево. «Абсолютно правы. Для меня нет никаких сомнений, что вы правы» — говорили убедительно эти энергичные покачивания.

— И еще у меня одно соображение... Может быть, нам не стоит записывать этот конкретный пункт в разрабатываемый нами сегодня документ. Тем более что в нем есть параграф, который, если разобратся, включает и предложение Николая Михайловича. Читаю тридцать третий пункт предлагаемого нами документа: «Планировка города. В связи с решением ЦК о городском хозяйстве городов Союза и необходимостью решительного улучшения дела планировки города предложить Ленсовету в трехмесячный срок проработать основные установки в планировке города Ленинграда, имея в виду освоение пригородных территорий, и составить к первому февраля тридцать второго года законченный план развития города Ленинграда. В дальнейшем развертывание строительства Ленинграда вести в строгом соответствии с утвержденным планом». Мне представляется, что перепланировка, реконструкция площадей, как и определение районов новой застройки,— это наше, рабочее, сугубо внутреннее дело. Мы же все-таки сами вполне полноправные хозяева города. Хозяева?.. Я думаю, товарищи, и члены бюро и наш актив с этим согласны?

Его сразу же поддержали. Люди, сидевшие здесь, действительно и с полным основанием считали себя отвечающими за город, чувствовали себя хозяевами в нем.

— Хозяева,— согласился и Ершаковский, в душе которого чувство это пусть по-своему выраженное, но жило.

— Давайте будем решать это, как мы говорим, в рабочем порядке. Мы можем решать этот вопрос в рабочем порядке.

И хотя он сказал это очень утвердительно, он повернулся к Ершаковскому и остановил на нем свой взгляд. «Верно ли я сказал? Как вы считаете, верно или неверно?» — спрашивал этот взгляд.

— Думаю, да... Да! — Ершаковский решительно кивнул.

Киров тоже кивнул. Не сказал ничего более. Повернулся ко всем лицом. Опять неторопливо ему присутщим, несколько плавным и будто бы прятывшим в себе силу движением поднял руку.

— Подведем итоги сегодняшнему разговору...

Он более на Николая Михайловича не смотрел — весь вместительный кабинет был у него перед глазами, он со всеми, кто был в нем, вел разговор. Поэтому конкретно, с разглядыванием, смотреть на Николая Михайловича ему было теперь некогда. А если кто на Николая Михайловича смотрел, то казалось ему обязательно, что и в неподвижно застывшей, подкупающе-выразительной, колоритной фигуре и на лице Николая Михайловича (не простом, но с одухотворенностью, с особенностью, даже, можно сказать, с эффектностью ярко выраженной) закаменел, как-то очень четко проступил и не скрывается простецкий вопрос: «Надули все-таки меня или не надули?»

## XIII

Да, шила в мешке не утаишь. Хотя это «шило» особенно и не прятали. Просто-напросто до какого-то дня Запад не верил. Теперь наконец разобрался. Поняли наконец на Западе, что не в игрушки играли Советы, когда несколько лет назад пригласили ученых всего мира принять участие в конкурсе по синтезу каучука. Прослышал Запад о строительстве опытных и о проектировании мощных заводов.

«Россия налаживает промышленное производство синтетического каучука!» Это — как разорвавшаяся бомба. Сверхсенсация. Кажется, нет ни одной газеты, ни одной газетенки, которая не отозвалась бы на сверхсенсацию, не выразила бы к ней своего отношения.

Сергей Миронович с угрюмоватой печалью вчитывался в строки обзора зарубежных газет. В другой день, не сегодняшний, многое бы в этих газетных кликах казалось ему просто смешным.

«Синтетический каучук? Подумать только... Завтра они изобретут синтетический хлеб. Синтетическое масло. На богатейшие приволжские поймы выпустят стада синтетических коров и быков!..»

Сергей Миронович, в свое время поработавший в дореволюционной либеральной газете, отлично знал, что у кого-кого, но у газетчиков «свободного» мира дыма без огня не бывает. Если поднялся шум и иная бульварная газетенка плетет то, на что способна фантазия ее нищего издателя, то другие, покрупнее, всегда знают, в какую дуду дудеть. Ничто так не чувствительно, как западная пресса, кичащаяся своей свободой и независимостью, подчиненная воле немногих власть имущих! И если она подняла шум, значит, где-то покушаются на безраздельное господство этих немногих.

«Последний рычаг воздействия на Советы выбит из рук свободного мира: зверь большевизма срывается с каучуковой привязи!»

Ну вот оно! Вот! То самое, чем обеспокоен «свободный» мир. Выбит последний рычаг воздействия!.. Как бы хотелось бедному «свободному» миру держать советскую Россию в кабальной зависимости. Чем угодно! Как угодно! Но только чтобы чувствовала Россия — на привязи. В зависимости. С петлей на шее. Захотели — ослабили петлю: дыши! Захотели — захлестнули, затянули, приподняли: стой на носках, еле земли доставая, и соглашайся на все, что требуем, что диктуем.

За окном на берегу Невы виднелись молодые и пока еще голые деревья. Но они говорили: весна! Каждый ствол, влажно-матовый, словно впитывающий в себя разлитую в воздухе одухотворяюще-солнечную свежесть, налитой, упруго-тугой, говорил: весна! Она где-то рядом...

Но почему-то было грустно. Как будто чувствовал, что рядом с радостями всегда вместе и печаль. Как будто чувствовал, что вот вновь войдет Стрешнев, принесет обзор западных газет и, рассказав о делах, не поторопится оставить кабинет. Захлопнет неизменный блокнот, постоит в молчании. Скажет негромко: «Завтра некролог напечатает. Об академике Бызове... Борис Васильевич умер... Неожиданно совершенно. В расцвете сил, здоровья. Да, да, совершенно был здоров. И вот перед дверями своей лаборатории. Неожиданно... Хотя когда этот факт бывает ожидаемым...» Умолкнет. Сергей Миронович тоже не нарушит молчания. Но потом негромко, как говорил и Стрешнев, сообщая о скоростижной кончине открывателя каучука на нефтяной основе, спросит: «Тридцатилетие научной работы не успели отметить?» «Отметили... Месяц назад. Это так Бориса Васильевича открыло. Так открыло. Столько планов! И вот эта неожиданность». Они опять помолчат...

Вечером, когда ехал домой, попросил шофера свернуть к Исаакию. На набережной отпустил машину. Захотелось, как это часто бывало после рабочего дня, побыть одному, пройтись.

Набережная была пустынной. Здесь резче, чем где-либо, ощущалось холодное дыхание еще скованной льдом Балтики. Но вечер все равно был чудный. Солнце еще не зашло, висело низко и, неяркое, будто чуть прибрекшее, сеялось светом, очень близким тому, каким начинается белая ночь.

Как и каждый из людей, видевших Ленинград белой ночью, Сергей Миронович особенно любил его именно тем, безмолвным, но одухотворенно-живым. В белой ночи он словно расцветает, словно открывает все свои прелести. Неярким мерцанием зажигаются воды Невы и Невки. Чудесное сияние, настоящее на густой темноте, наполняет каналы, Фонтанку и Мойку. Каждый старинный фасад — в обновляюще-позлащенной неяркости. Каждая статуя, тускнеющая в сутолоке дня, вдруг возносится песнею песней, словно магический свет белой ночи дарует ей одухотворение, жизнь. Раздвигаются острова, разводятся мосты, отдаляются берега. Ростральные колонны, и минарет мечети, и шпили Адмиралтейства, собора Петра и Павла, не тускнея, а, наоборот, еще с большею четкостью обрисовываясь в серебре безнебесного, с непонятною глубиною пространства, тоже отодвигаются друг от друга, даря земному, обычному, казалось бы, совсем неземной, необычный простор.

Сергей Миронович остановился и, опершись локтем о каменный парапет, полуобернулся к Исаакию.

Облитый закатным солнцем, собор выглядел очень молодым. Каждый его камень виделся той своей неодинаковостью, которая была в нем, именно в этом камне, чуть более темном, чем иные, или, наоборот, чуть более светлом; и вместе с тем все эти камни были единством; и легкая их пестрота, неодинаковость давали некую живинку стене, которая, будь она однотонной: или серой, или коричневато-серой, или аспидно-темной, — выглядела бы все равно слишком мрачной, могущественно угрюмой.

Чуть отодвинувшийся в глубину площади, за кружевною сеткой сейчас безлистных деревьев, четкий в каждой своей линии, не тяжелый и очень родственный домам-дворцам, стоявшим по сторонам, и памятнику Петру, располагавшемуся перед ним, собор выглядел не просто хорошо вписанным во все здешнее, но абсолютно здесь необходимым. Без него, без его куполов, без его фронтонов и фасадов этот город сразу стал бы бледнее и невыразительнее.

Один из первых соборов рухнувшей царской империи. Его серокаменная громада и сейчас еще для всего мира олицетворяется с блеском коронаций, крестных ходов, молебствий во славу всего ушедшего. И сейчас возле него вьются кликушествоющие и юродствующие, предсказывающие второе пришествие, пугающие обывателя геенной огненной. Закрытый и пребывающий в запустении, он и сегодня — пристанище чужого духа, чужих устремлений, крепость всего не нашего. Он и сегодня не наш...

Сергей Миронович вздохнул тяжело. Вспомнился Ершаковский. Человек в какой-то мере почтенный. В своих кругах, как утверждают, даже весьма почитаемый. Но он же так запросто, как будто ведя разговор о куле картошки: «Оттеснить! Перенести!» Другими словами говоря — разрушить. Так он — о колоннаде Казанского!.. А завтра, скажем, наши трамвайчики придут. Махнут рукою в сторону вот этого (Сергей Миронович посмотрел опять пристально на Исаакий), предложат: «Перенесем. Оттесним. В целях выравнивания городских трамвайных линий».

«Почему это возможно? — спросил он себя; он и себе привык задавать вопросы предельно ясные и откровенные, как задавал их всегда другим. — Здесь же пот, кровь крепостного мужика. Разве зубилом тесал эти камни мужик? Любовью своей и проклятьем. А мраморы здешние и порфиры — чьи это копейки, рублишки? Не того ли самого мужичонки, пахаря, крепостного, бессовестно отнятые у него? И от-

шлифованы и выложены в узоры его же работающими руками. И слезой его политы. Он строил и думал, наверное, что не для кого-нибудь строит. Но для себя и для своих Мишатки, Ванюшки, Авдотьи. Себе и потомкам. Смахнув пот, утерев слезу, любовался: «Эк наворочал! Поставил! Вот будет стоять!» И, может, когда-то, далече-далече, посмотрит опять же кто-то и скажет: «Эх, наворочали. Поставили. Ладно ведь все-таки ставили. Видать, с душой и слезой. Мастера!»...

Почему же все-таки сегодня, скажем, тот же Ершаковский с легкостью и простотой предлагает отеснить, перенести... разрушить?.. Наверное, потому, что все это стоит сегодня пустым, никому не нужным. Да, да. Сегодня это своеобразная пустота. А жизнь не терпит пустот. На незанятом месте должно сразу же возникать что-то новое...

«Держать взаперти...»

Да нет! Не стоят эти пустующие здания слепыми пустотами. И, как памятники, охраняемые государством, не бездыханны они. В борьбе они, в драке. И, может быть, ты, убежденнейший атеист, работник революционного дела, не так уж не прав, когда опасаясь их. Когда их боишься, как боишься верующего, этого нерассуждающего, не могущего или не желающего рассуждать, а потому — слепого.

Сергею Мироновичу вдруг вспомнилась кипа бумаг на его столе. Недавно прошли выборы в местные Советы. Избиратели давали наказания депутатам. Все эти материалы Сергей Миронович изучал. Один из наказов его подивил.

«Пусть поставят маятник Фуко,— говорилось в нем.— Чтобы каждая темная старуха и каждый набожный ретроград своими глазами могли видеть, как Земля уходит у них из-под ног, что она все-таки действительно (а не теоретически) вращается, эта самая Земля, на которой мы стоим, сидим или лежим!»

Сергей Миронович вспомнил сейчас этот наказ, над которым тогда поулыбался, но почему-то все-таки из общей кипы бумаг его отложил. Вспомнил и сейчас, глядя на Исаакий, опять, как тогда над этой бумагой, улыбнулся.

И почувствовал, что родилась простая, ясная мысль.

«Наверное, когда-нибудь попозже,— подумал он,— когда в жизни нашей не будет все так предельно обострено — сегодня и в деревне вопрос кто кого, сегодня и в партии борьба с маловеерами, уклонами, врагами ленинизма не на жизнь, а на смерть,— наверное, попозже каждый из этих архитектурных памятников будет служить народу своей красотой, своим совершенством. Они просто будут памятниками времени своему и тем, кто их сотворил. Сегодня же... Могут, должны и эти чужие нам громады в чем-то послужить общему делу. Могут побороться за тех, кто как раз сюда и льнет душою, непросветленным сознанием. Могут. Должны. И тогда никаким волюнтаристски, анархистски настроенным Ершаковским — он почувствовал поднимающуюся в груди раздраженность — не будет тут ощущаться нечто пустотное, которое требует приложения его неумной энергии, проявления его самих себя одухотворяющих дерзаний».

#### XIV

В конце марта Григория Арсентьевича пригласили на партактив в Смольный. В актовом зале он устроился в заднем ряду. Хотя кругом и поговаривали, что, может быть, выступит Киров, однако всякие лесные проблемы, о которых собирались здесь на этот раз разводить дебаты, никак не привлекали. Своих забот полон рот.

Григорий Арсентьевич, вытягивая шею, высматривал «нужных» и «братишек». Сразу прикидывал, из кого при случае и что можно выжать. Заканчивался ремонт заводоуправления: штукатурка, покраска. Григорий Арсентьевич хотел, чтобы, скажем, кабинет Сергея Васильевича Лебедева был самого высокого класса. Потому — где до-



стать дефицитные сегодня дерматин, мебельные гвозди, паркет? Выступающих Григорий Арсентьевич слушал краем уха. Выступающие все рассказывали, как там у них, в лесу, на заготовке дров и древесины, плохо. Но тем, что плохо, как раз никого из здесь присутствующих удивить было нельзя. Вот если бы у кого было, наоборот, хорошо, вот тут бы, может, удивились. «Смотри-ка, мужик социализм уже построил! — вскричали бы, показывая пальцем на такого.— Лошади у него есть! Рабсилы у него достаточно! Гвозди у него в избытке. Проволокой и веревкой он даже торговать может! И сани у него есть! И трактор! И план безо всякой натуги выполнил!» Но таких счастливиц среди лесного народа не находилось. Они все более плакались. Они, словно считая, что здесь кисейные барышни собрались, а не такой же, как они, тертый пролетарий, будто слезу из слушавших вышибить хотели. Но собравшийся тут народ на слезу был беспредельно скуп, а вот веселыми репликами лесовиков, проваливавших планы похлестывали.

Киров не председательствовал. Он сидел с краю за столом президиума, и было не совсем понятно, слушает он плачущихся, кающихся лесовиков или не слушает — хмурым он был и что-то писал.

«Волнуется он сегодня или не волнуется? — все пытался рассмотреть его Григорий Арсентьевич.— Если волнуется, значит, может быть, и выступит...»

Смотрел опять на Сергея Мироновича, иногда поднимавшего голову над столом, как бы вслушивавшегося в слова говорившего с трибуны и опять что-то писавшего неторопливо, размашисто.

«Кажется, не волнуется. Просто на заметку берет, чтобы потом — соответственно!..»

Председательствующий совершенно неожиданно объявил:

— Слово предоставляется товарищу Кирову.

К трибуне Сергей Миронович шел хмурым. Взгляд его, сосредоточенно-отрешенный, был где-то в нем самом, как будто бы то, с чем шел, что в себе нес, Сергей Миронович сейчас еще и еще раз просматривал, проглядывал, оценивал и переоценивал и потому не мог своим взглядом перейти на что-то иное.

Встав на трибуну, Сергей Миронович положил перед собою листы с записями, которые делал, сидя за столом президиума, из нагрудного кармана достал широкий блокнот. Листы с записями и блокнот за бровкой трибуны не были видны, но по движению рук и по тому, как перемещался взгляд Сергея Мироновича, можно было понять, что он переложил записи с левой стороны на правую, потом вернул их обратно (искал место для них: чтобы и не мешали и чтобы тут были, под рукой), придвинул к себе блокнот.

— Здесь подробно говорилось о положении, создавшемся на лесозаготовках в области.— Голос его звучал глуховато, но не потому, что был сдержанно приглушен,— озабоченность, в нем проступавшая, придавала голосу эту мягчившую его окрашенность. Взглядом своим, бродившим по листам с записями и блокноту, Сергей Миронович как бы оставался там, на маленьком пространстве за трибунною бровкой,— не вышел еще взглядом в зал, к людям, его заполнившим. И голосом, озабоченным, глуховато-отрешенным, тоже еще был целиком где-то там же, возле себя, на этом маленьком пятячке, с записями своими, мыслями, лишь начинавшими разбег.

«Волнуется... — обеспокоился Григорий Арсентьевич.— Кажись, серьезно волнуется. Не под стать лесовикам, плакавшимся, ахавшим, шутить пытавшимся, потевшим, заикавшимся, а все же меньше волновавшимся, чем Мироныч... А что бы ему волноваться-то! Перед кем? Тут все коренники. Народ, прошедший революцию и гражданскую: ижорский рабочий, балтийский матрос... Что волноваться?»

— Товарищи...

Григорий Арсентьевич почувствовал взгляд, сейчас обращенный к нему; Сергей Миронович, невысоко возвышаясь над трибуной,

смотрел в зал; он, видимо, узнавал знакомые лица; знакомых было много, и незнакомые, сегодня в этот зал пришедшие впервые, но теперь уже тоже острым взглядом Кирова примеченные, не проходили мимо него бестелесно и бесцветно — он смотрел в глаза и этих, пока еще незнакомых ему людей.

— Здесь подробно говорилось о многом, волнующем сегодня наших товарищей, занятых лесозаготовками. Мы услышали немало дельного, рисующего картину реального положения на этом трудном участке нашего хозяйствования. Озабоченность, звучавшая в сообщениях товарищей, рассказывавших о положении на лесозаготовках, не может быть для нас чужой и непонятной.

Григорий Арсентьевич заметил, что у мужичка, сидевшего двумя рядами впереди и только что, десятью минутами ранее Сергея Миرونюча, выступавшего от имени олонецких лесозаготовителей, плечи будто бы подвыросли. Не могучий мужичок, а тут вдруг как бы над всеми, сидящими рядом, приподнялся, расширился.

— И вместе с тем когда в этих выступлениях с чувством, доходящим до библейского пафоса, начинает рисоваться картина вселенского снегопотопа, где и избенка каждая занесена по самый конек, и лошаденке крестьянской сугробы выше седелки, то выбьет ли это у нас горячую слезу сочувствия?.. Не выбьет.

Григорию Арсентьевичу, захотевшему рассмеяться, еще захотелось и увидеть олонецкого мужичка. А олонецкий мужичок вдруг как бы исчез: сравнялся со всеми другими.

— Снег падает и на Урале. На Урале нынешней зимой морозы — воробьи замерзали на лету. А Урал заканчивает первую очередь гордости нашей отечественной индустрии — Магнитогорский металлургический. Первенец новой угольно-металлургической базы страны в этом году выдаст чугуна. Снег и морозы мешают строителям Нижегородского автозавода, строителям АМО, — ровно звучал кировский голос, очень ровно. И только какая-то тихая боль, прятанная в нем глубоко, нарушала эту ровность, и даже не нарушала, а будто хотела вырваться и не могла: вот такая есть особенная сила в морской зыби, когда тихая, гладкая вода пружинится и гнется могучим, огромного размаха валом, а верх, самый верх воды, зеркально ровен, чист. — Тому же нашему мужику, который по собственной охоте или исполняя трудгужповинность, сам по себе или артельно на этих бескрайнего размаха стройплощадках копает, кайлит, возит землю, бутит камень, кладет кирпич, очень мешают наши родные, со скрипом, с ядреностью морозы, наши добротные, ко времени и без времени снега. Но и АМО и нижегородский автогигант, на чьи машины с нынешнего лета пересядет тележная Россия, строятся в сроки, с опережением сроков. С их конвейеров завтра, буквально завтра пойдут первые сотни автомашин. Тому, кто знает ветра зимнего Прикаспия, нижеволжских степей, не надо красочно рассказывать о здешних ветрах и морозах. Строитель Сталинградского тракторного знает ветры с песочком и снегом, со скрипом на зубах и за воротом, дробью ружейной бьющие по лицу. Сорвали эти ветры сроки пуска Сталинградского тракторного? Нет. Уже первая тысяча наших «СТЗ», настоящих, не копирующих маломощные «фордзоны», выходит к началу нынешней посевной кампании на поля. На те поля, где русский мужик еще вчера пахал, еще сегодня пашет сохой времен Владимира Красное Солнышко. Первого июля вступит в строй Харьковский тракторный. Саратовский комбайновый, который будет слать на помощь нашему колхозному крестьянину двадцать тысяч машин ежегодно, тоже вступает в строй действующих. Ростовский сельмаш, Ташкентский сельмаш — это заводы, начинающие действовать в скором времени. Господшипникстрой и Уралмашстрой. Четыре мощнейших угольных шахты. Тихвинские бокситовые рудники... Вся, вдумайтесь в это, товарищи, вся дореволюционная Россия имела двадцать одну доменную печь;

Мы за один, только за один год вводим в строй двадцать четыре вновь построенных. Нам ли здесь говорить о снегах и морозах, об очень неблагоприятных погодных условиях, хотя они действительно были такими этой зимой. И еще менее благоприятными эти погодные условия ожидаются весной, потому что, как предсказывает метеорологическая служба, весна будет ранней и бурной... Я бы вот на каком обстоятельстве хотел заострить ваше внимание, товарищи...

Сергей Миронович смотрел в зал. Григорию Арсентьевичу казалось, что смотрит он на него, что будто, начиная речь, Сергей Миронович сразу заметил ту неозабоченность, равнодушие к делам лесовиков, которые действительно у него, Григория Арсентьевича, в душе жили. Смотрит, нажимает, нажимает словами и взглядом на него, на Печникова, будто говорит: «Нет, а ты задумайся, задумайся, почему тебя-то я сюда вытянул?» И когда Сергей Миронович перевел свой взгляд на бумаги, лежавшие перед ним, Григорий Арсентьевич почувствовал облегчение. Захотелось встряхнуться. Он и встряхнулся и повел глазами по сторонам: кажется ему, что Киров на него нажимает, или не кажется? другие как?.. Другие будто бы тоже в этой короткой паузе почувствовали себя свободнее.

— Здесь вот у меня есть справка, которая говорит, что в прошлом году лес дал нам около двухсот миллионов рублей валютой. Товарищи, дело в том, что лесозаготовительная кампания в этом году, как и в прошлые годы, не может рассматриваться только как кампания хозяйственная. Лесозаготовки вырастают в огромный политический вопрос для всей нашей страны. Вы понимаете, вы должны это прекрасно понимать, даже вы, представители индустриального Ленинграда, помогающего каждой из тысячи пятисот новостроек пятилетки, что мы сами, опираясь на ту техническую вооруженность, что осталась нам от царя, не можем построить все новые заводы, которые строим, не можем создать новые отрасли промышленности, которые создаем, без того, чтобы какую-то часть техники не закупать у заграницы. Мы эти покупки сводим к минимуму... Требуется золото, валюта. Где взять?.. Нужно что-то продать. Той же за границе. За это самое золото, на валюту. У нас есть много экспортных статей. Мы, например, хотя и сами не очень жирно едим, вывозим масло, птицу. Но все это, товарищи, чепуха, пустяки. За это мы гроши получаем. А если говорить о том, что мы действительно продаем, за что получаем иностранную валюту, а значит, машины, оборудование и прочее, так тут разговор может идти о трех китах: пушнина, нефть, лес. Лес! — Сергей Миронович чуть задержался, не спешил говорить.— Вот почему сегодня Центральный Комитет партии и Совет Народных Комиссаров бьют самую настоящую тревогу о лесе! И если не каждый присутствующий здесь (Григорий Арсентьевич опять во всей мере ощутил тяжесть кировского взгляда, навалившегося на него) эту тревогу чувствует, то только лишь потому, что мы не можем на всех углах и перекрестках кричать об этом. В частности, вы видите, в газетах этот вопрос освещается довольно скромно. Положение наше не позволяет развернуть агитацию так, как нужно. Мы не можем кричать, чем это пахнет. Но понимать это каждому из нас нужно.

Григорий Арсентьевич все-таки некую неловкость чувствовал. Хотя и оправдывал его Сергей Миронович, говоря о том, что в газетах никакого шума по поводу срыва лесозаготовок не было и потому об этом срыве Григорий Арсентьевич мог не знать и не должна была его душа болеть об этом, но все же полностью оправдание это Печников принять не мог. Даже если и особенного шума не было, все равно он должен был между строчек в газетах тревогу уловить. Если бы пошире думал. Не сидел бы, уткнувшись пусть и в очень важное, но все-таки не всеобъемлющее дело. Не принял оправдание себе Григорий Ар-

сентяевич, тем более что чувствовал: устремленный на него кировский взгляд не потеплел.

— Товарищи, зима нынче действительно была тяжелой. Весна ожидается скоротечной. Мы, и этому нужно посмотреть прямо в глаза, занимаясь большими, важнейшими задачами индустриальной пятилетки, не уделили достаточного внимания лесозаготовительному фронту. Примерно лишь тридцать процентов древесины, той древесины, что должна лежать на берегах рек в ожидании паводка, которая сразу за весенним ледоходом должна двинуться к морю, к лесобиржам, к запаням, где ее будут ждать купцы и зафрахтованные нашим Лесоэкспортом корабли, только тридцать процентов этой древесины лежит сегодня там, где должно на сегодняшний день лежать минимум семьдесят — восемьдесят процентов...

Григорий Арсентьевич решил, что все-таки дней пять нужно будет выторговать у работников областкома, которые будут оформлять отправку на лесоучастки. Все-таки должны понимать: каучук — это тоже золото, валюта. Это больше, чем золото, чем валюта.

«Нет, — сообразил он тут же, — о пяти днях не удастся договориться. Раз солнышко так начало жарить, снег очень скоро может сойти. Денка два отвоевать, чтобы покраску в кабинете Сергея Васильевича закончить. За два дня нужно будет железно побороться!»

Киров говорил ровно. И слова его были теми очень простыми, которыми говоришь сам и какие слышишь от других при разговорах. И все его рассуждения (а все время казалось, что он рассуждал с тобой, именно с тобой, что-то объяснял тебе, с тобою спорил) были очень обычны. О здешней деревне, которая лишь наполовину пашенная, а наполовину лесная. О трудгужповинности, которую, как кое-кому кажется, очень легко проводить.

Простыми словами и очень ровно говорил Сергей Миронович. И неторопливо предельно: как будто долго собирался вести эту беседу. А в душе рождалось чувство, и Григорий Арсентьевич ясно видел, что не только это у него, чувством этим заражаются все, кто здесь: надо спешить, в этой жарко-весенней ситуации медлить нельзя.

А весна и действительно шла буйная. Печников во всем размахе ощутил ее буйство, когда на глухом разъезде выпрыгнул с товарняка, на каком он сюда добирался и который специально тут притормозил, чтобы братишка-балтиец, признанный машинистом и кочегаром паровоза своим, не расколол форштевень, сигая на землю...

## XV

Если Печников авралил на лесных делянках и должен был вот-вот вернуться в город, то Степан-то со здешними местами расстался навсегда. Поступил он в военно-воздушную школу РККА, расположенную в городе Эн...

Перед отъездом бродил по Ленинграду — прощался. Зашел и в Исаакий.

Он, этот двадцатилетний парень, считал себя крестным отцом вновь открытого собора. Пришла ему, этому двадцатилетнему парню, когда-то в голову мысль: «Хорошо бы у нас в стране устроить свой, такой же, как в парижском Пантеоне, маятник Фуко. Прибор, наглядно демонстрирующий вращение Земли. Здорово же это, черт возьми, стоять перед таким прибором и верящий ты или неверящий, но собственными глазами видеть, как у тебя под ногами вращается Земля!»

На предвыборном собрании, где заводские избиратели давали указы будущим депутатам городского и областного Советов, Степка вылез (так это и рассматривалось тогда, потому что не было предусмотрено всем ходом собрания) с этой головокружительной идеей.

— Общежития пестроить, — говорил он, ухватившись за трибуну, словно боясь, что освищут его сейчас и прогонят, — это хорошо. Закон-

чить строительство мулядового двора — распрекрасно. Замостить дорогу к мартеновскому и заасфальтировать — мечта! Мостите и асфальтируйте, товарищи депутаты. Но вот бы еще что мне, разнорабочему и рабфаковцу, от вас желалось. Повесьте маятник Фуко...

Пожелание это в заводской многотиражке, перечислявшей наказания депутатам, было упомянуто. Читавшие газету не могли не улыбнуться, знакомясь с пунктом наказа, касавшимся устройства этого самого маятника. Но через несколько дней «Ленинградская правда» в большой статье о наказах избирателей своим депутатам пункт об устройстве маятника Фуко выделила особо. И назвала место. Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор...

В чреве его господствовал сумрак. Электрическое освещение было слабым — словно кто-то где-то еще спорил: или это музей — и тогда сплошное электричество, или все-таки это собор — и тогда, как и прежде, будет здесь гореть двухтысячелетняя свеча и ее тусклое пламя, колеблемое дыханием, слабое и трепетное, нагляднее наглядного будет говорить каждому о неустойчивости, легкой гасимости человеческой жизни.

Но, как и всегда, в соборе было людно. Здесь, как будто на стремнинном течении, возле мощной скалы сильно кружило и ярилось. Еще, казалось, люди никак не могли привыкнуть к тому, что столь различное, прямо противоположное здесь стало рядом. И, пожалуй, наиболее непривычным, не укладывавшимся в сознании многих было самое простое: открыли!

Открыли Исаакий? Открывают Казанский?.. Да не может того быть! Не могут открыть!.. Не могут! Потому что если даже сломают иконостасы и разобьют витражи, выскоблят росписи, то камень, сам камень возопит против них! Не могут открыть, потому что боятся! Не могут они не бояться... Сломать — могут. Открыть — не могут!

Открыли все-таки? И прямо в ночь на пасху?.. Не может быть того. Не может... И все-таки открыли?..

Степан показалось, что в соборе сегодня менее сумрачно, чем обычно. Думал, что прибавили лампочек. Нет, увидел, что огромный заалтарный витраж, где изображен Христос, плывущий на облаке, сегодня не задрапирован тканью, как первые дни по открытии собора.

Старуха, точнее немолодая женщина, но страшно изможденная, с горячечными глазами и в черной до пят юбке, в длиннополой, тоже черной кофте, стояла на коленях перед алтарем и отбивала поклоны. Ее обходили и группы и одинокие, медленно двигавшиеся, если предоставлены были сами себе, и более скоро, если следом за экскурсоводом.

Степан прошел к деревянному заборчику, огораживавшему круг, где раскачивался маятник. Экскурсовод, девушка, стоявшая за ограждением в самом круге, узнала Степана, заулыбалась ему.

Получилось так, что первый поход сюда, как раз в предпасхальную ночь, Степан предпринял с товарищами, друзьями по заводу. Среди них был и редактор многотиражки, прихвативший с собою газету. «Наказы депутатам, — показывал он газету девушкам-экскурсоводам. — Видите, моя фамилия. Редактор — я. А это вот тот самый Неверящих. Видите: требует маятник Фуко».

Редактор газеты девушкам почему-то не запомнился, а Степана они приметили. И сейчас девушка заулыбалась ему как хорошему знакомому. Заторопившись куда-то (позвали ее), подтащила тяжелый шар маятника к Неверящих, сказала людям, толпившимся за круговым деревянным заборчиком:

— Степан Петрович сейчас вам все покажет. Степан Петрович не хуже профессора Каменьщикова понимает всю эту механику. Здесь все очень просто...

Ушла.

— Все гениальное просто,— сказал мужчина в длиннополой черной шинели, с лицом старообразным и морщенным, похожий на кликушу, что, стоя на коленях перед алтарем, демонстративно била поклоны, заставляя всех обходить ее.

— Да,— согласился Степан и, удерживая с трудом тяжелый шар, оттянутый в сторону и потому рвавшийся из рук, попытался нацелить его ровно на белую черту, перечеркивавшую круг.

— Не муж, кажется, и не любовник,— скрипел морщенный мужичок с легкой ядовитостью в голосе,— судя по кепи, не здешний слушитель, а какое доверие!

Заметил тип, что кепка еще допотопная: в Архангельске на толкучке приобрел. Все сменить хотел, да вот... А теперь зачем менять, если завтра в курсантскую форму обмундируют.

— Нам всюду доверие,— попытался незлобиво отшутиться Степан; пустил шар, но не попал ровно на черту.

— Не передоверили бы,— проскрипел старичок, кажется оставшийся довольным, потому что тоже увидел: не попал на черту летевший на нити, почти невидимой, тяжелый, но не казавшийся крупным бронзовый шар.— Уж очень вам большая земля досталась. Как пишите в учебниках: одна шестая часть суши. Сбережете?

— Сбережем,— сказал Степан, поймав шар, махнувший в воздухе десятиметровку туда и обратно.— Можешь, папаша, не сомневаться. Сбережем.

Он опять стал целиться вдоль черты и чувствовал опять, как хрипловатый старческий голос, поскрипывающий обочь, раздражает и мешают быть точным.

— Легко заявлять. Стоять за объявленное труднее. Вот как фокус кажешь сейчас: Земля вращается! Смотрите! А за эту истину, простую из простых, и погибали, и на кострах горели, и отрекались.

Степан не выпустил из рук тяжелый вырывающийся шар. Понял он, что опять будет мимо, так как смотрел на старика и должен был ему ответить.

— За истину, простую из простых,— повторил он стариновское,— погибали, на кострах горели, отрекались... Как же так? — спросил.— По-русски ли: за истину отрекались?

— Может быть, и не по-русски, если видеть грамматику. А ежели вдуматься: отречение — тоже наказание. За истину горели. Гибли. Отрекались. Сгореть на костре, может, легче, чем пытку отречения пройти. Вот ты веруешь в свой социализм, а завтра тебя поставят на колени — отрекись!

— Не отречемся,— сказал Степан хмуровато: злить его начинал всерьез морщенный старикашка.— Не отречемся.

Шар из его рук поплыл точно над белой линией, перечеркивавшей огромный круг. Теперь он, Степан Неверящих, попавший на должность экскурсовода, обязан был начинать рассказ о том, что маятник Фуко устроен так,— и глаза вверх, чтобы и за ним все туда, под купол собора, глазами устремились. Чтобы, там побывав хотя бы глазами, уяснили: нехитрая механика отключает висящий на длинной нити шар от обычной зависимости от Земли. Вместе с Землею все вращается, все, что есть на ней, над ней, даже облака. А вот этот единственный шар, изобретение француза Фуко, не вращается вместе с Землею, но висит будто бы сам по себе.

Должен был этот рассказ начинать Степан Неверящих, а тут — скрипящий старик. Мешает. Продолжает язвительно.

— Знаем, знаем вас, храбрых,— хихикнул.— В квартире напротив — такой же. Свадьбу готовился сыграть. Любовь — куда там Ромео и Джульетте! Вдруг узнал — невеста кулацких кровей. Сомнительного, так сказать, происхождения. Прогнал. Тафту подвенечную топтал ногами.

— Ну и дрянь, значит. Паразит. Негодяй.

— Слова! Слова!.. Вы вон всюду объявили: долой стыд! Разве без стыда любовь истинная может быть?.. А завтра в другую крайность броситесь. Загоните любовь в такие тартарары, куда ее и в другие всякие времена не загоняли. А любовь — штука опасная. Из-за нее люди друг на друга не раз с топориком или пистолетиком хаживали. Связать ее, спеленать, затюкать, как падчерицу, отречься! — вот и спокойнее жить...

Шар, выпущенный Степаном из рук, плавно уходил туда, далеко, к другой стороне круга, а потом, медленно поначалу, а затем все более набирая скорость, летел обратно, будто хотел достичь Степана и ударить в грудь. Но не достигал. Где-то в нескольких сантиметрах перед грудью замирал и с неохотой устремлялся обратно.

Сбоку на Степана смотрел Сергей Миронович. Смотрел, и было ему интересно, что же ответит этот парень морщеному старику.

Киров сегодня впервые попал сюда. Сразу после открытия — столпотворение; не хотелось в это столпотворение. Потом все как-то некогда и некогда. И сегодняшний день тоже, в общем-то, некогда. Вечерним поездом — в Москву. На Пленум. Вопросы на Пленуме, как всегда, один сложнее другого. И хотя, кажется, все материалы готовы, все десятки и десятки раз продумано, а все-таки Пленум есть Пленум...

Перед отъездом решил пройтись по Ленинграду. Хватить ветерка с Балтики. Освежиться. Проветриться. Посмотреть, послушать, чем живет народ. Зашел в Исаакий. А тут — спор...

Ну так что же скажет этот долговязо-нескладный парнище, как защитит он святая святых человечества и в то же время такое простое — любовь?

— Не отречемся, — тихо, спокойно, ноги расставив чуть шире плеч, как будто бы груз на плечи свои принимая, чувствуя всю тяжесть нелегкого груза, но и предельно ясно чувствуя силы свои.

Старичок опять захихикал. Остроносо-клювастое, морщенное лицо кинул в одну сторону, в другую: поискал глазами поддержку. Увидев рядом с собой женщину в черном одеянии, с горячечно-воспаленным взглядом из-под платка, обтягивавшего лицо, — кончила отбивать поклоны кликуша, сюда подошла. — продолжал:

— Слова. Слова... Нет истин на земле — одни слова. Сегодня веруют в одно. А завтра — все перевернули. Как вы, — он вскинул руку на Степана, но Сергею Мироновичу, стоявшему за парнем, виделось, что перст, выставившийся из морщено-костлявого кулачишки, обращен на него, — как вы можете во что-то веровать? Как можете вы что-то утверждать? Как можете объявлять что-то истиной или неистинной? Вы, которые всесветно заявили: «Подвергай все сомнению!»

Маятник качался бесшумно. Он плыл по направлению от больших южных дверей собора к северным дверям. Он приподнимался заметно в концах своего размашистого движения, и если в самой высокой точке его качания оторвать от него взгляд и скользнуть взглядом выше, можно прочесть начертанное над дверями древнеславянской вязью: «Кесарю кесарево, богу богово».

Очень ясно. Очень четко. С тою предельною краткостью, которая говорит о веках, обкатывавших, шлифовавших изречения, придававших им неотразимость истин.

«А у вас? — Перст, выставленный из разлохматившегося в обшлагах, черно зиявшего рукава, смотрел стволом пистолета. — Где ваши истины? Где то, во что можно веровать?»

Степан уже хотел ответить старикашке. Но показалось ему, что тот смотрит не на него. И все, кто рядом со старикашкой, и вообще все вокруг вроде бы в его, Степана, сторону смотрят, а вместе с тем не на него самого. И Степан повел глазами в сторону и увидел, что рядом с ним стоит Киров. И очень серьезно, как будто это не парня в круге, запустившего шар маятника, экзаменуют, а его, смотрит на старика.

— Где ваши истины? Где?..

— А вот.— Киров приподнял руку и показал на шар; они говорили, а шар в это время качался. Он, этот шар, шел сначала точно вдоль белой черты, пересекающей круг. Сейчас черта уползла из-под него. Уползла вместе с землей, которой принадлежала.— Вот одна из истин, простых и доходчивых.— Сергей Миронович показывал на шар и черту под ним.— Земля вращается..

— До вас еще открыто,— прошамкал старичок.

— Верно. До нас,— согласился Сергей Миронович. И, посмотрев вослед улетающему к северным дверям бронзовому шару, поднял руку выше. Все, следуя неторопливому и вместе с тем подчиняюще-властному движению кировской руки, повернули головы.

Там, где шар, поднимаясь всего более, останавливался, как бы показывая, что взглядом надо подняться еще выше (туда и указывала кировская рука), древнеславянская вязь: «Кесарю кесарево, богу богово». Четко и безоговорочно.

— А это тоже до нас открытые истины?

Старичок спрятал руку в бахромчато-жеванный обшлаг рукава. Но в глазах его не угасло иронически-насмешливое выражение. Он не собирался капитулировать.

— До вас. До вас,— сказал он.

— Так вот, эти истины пусть остаются. С теми, при тех, кто якобы их открыл. А эту,— опять указал рукою на близко подкачнувшийся к груди Степана шар,— мы забираем с собой. Это наша истина. Слышали ведь, читали, знаете,— продолжал он негромко и без всякого нажима, лишь с легким осуждением в голосе, как бы говорившим: «А вы не прячьтесь, не прячьтесь за иронию, за усмешку. Давайте серьезно».— Наше учение всесильно, потому что оно верно. Совсем ведь небольшое отличие от иных учений: неверны. А наше — верно. Вот так и истины. Это вот — наша. Потому что она действительно истина. Она — верна. И на таких истинах будет стоять коммунистический мир.





---

---

## АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ

★

# ГИМАЛАИ

### Эверест

Чем ближе вершины,  
Тем дальше высоты,  
Езжай в Гималаи —  
Познаешь там все ты.

Как был Эверест  
Для людей недоступен,  
Храня подо льдами  
Не мумии — трупы.

Другие потом их  
В пути находили.  
И все же, и все же  
Не срезаны крылья.

Другие, оставив  
Привычное место,  
По скалам и льдам  
Ползли к Эвересту.

И все же вершины его  
Достигали;

Их коротко помнили  
И забывали.

Но дело не в памяти —  
Дело в движенье  
И в сердце бессонном,  
В горенье и жженье.

Поэтому снова идут  
К Гималаям,  
Туда, где восходы  
Пожаром пылают.

Идут и не знают,  
Вернутся ль обратно;  
Так было, так будет  
Еще многократно.

Обязан поэтому  
Знать это все ты:  
Чем дальше вершины —  
Тем ближе высоты.

### Рерих

Теперь понимаю,  
что делал здесь Рерих,—  
Не краски, не кисти,  
не солнца восход.  
Он просто здесь был  
и просто он верил,  
Что время настанет,  
что время придет.

Конечно, и низом  
и даже болотом  
Из края до края  
захочешь — пройдешь;  
Ведь хлеба кусок —  
это тоже забота,  
Без этого хлеба  
не проживешь.

Но он не желал  
пробиваться низиной —  
Низина полегче  
укроет, спасет.  
Но все-таки, все-таки  
где-то Россия,  
Ее непонятный  
еще небосвод.

Былины ее,  
холстяные одежды  
И древних церквей  
под дождем купола...  
Но были ж невежды?  
Ох эти невежды!  
Им всем долголетье  
судьбина дала.

Поэтому — в горы,  
 поэтому — к небу,  
 Где краски, и кисти,  
 и те же холсты!  
 И все, что явилось  
 пред взором как небыль,  
 Все зришь ты глазами,  
 все чувствуешь ты.

Пророки, они ведь  
 такие же люди,  
 Из кожи, и плоти,  
 и тех же костей,  
 Но только они  
 понимают, что будет  
 В глубинах далеких,  
 невидимых дней.

Теперь понимаю,  
 что делал здесь Рерих,  
 Из Руси идущий  
 по склонам сюда!  
 Не просто он видел,  
 не просто он верил,  
 Что явится миру,  
 что вспыхнет звезда.

Поэтому скалами  
 по Гималаям  
 Он в Индию шел,  
 оставляя холсты,—  
 И падали люди,  
 изнемогая,  
 И кости легли их  
 как крепь под мосты.

Он видел не просто  
 под льдами вершины  
 И черные скалы,  
 где ветры мели.  
 Он шел впереди  
 небывалой дружины,  
 Шел с верой  
 в незыблемость этой земли.

Сейчас-то мы это  
 уже понимаем,  
 Что там,  
 среди белых вершин и снегов,  
 Построены Рерихом  
 мосты в Гималаях,  
 Мосты для живущих  
 на веки веков!

#### Тибетский колокольчик

Этот колокольчик словно память —  
 Ты его не трогаешь, а он звенит...  
 Звон, зовущий эхом над горами,  
 Там, где скалы в небе и гранит.  
 Я вижу здесь глаза, как смоль, тибеток,  
 Таинственные черные глаза...  
 И кто, какой был у последней предок?  
 Какие их рождали небеса?  
 Тронешь колокольчик, язычок к металлу  
 На мгновенье только лишь прильнет —  
 И опять зовущий, чистый, без накала  
 Звон вокруг серебряный пойдет.  
 И опять почувствуешь за этим звоном  
 Черные, как смоль, глаза,  
 Голос кедров на туманных склонах,  
 Где недавно отошла гроза.  
 Колокольчик, колокольчик из Тибета,  
 Словно птица опустился ты сюда,  
 Лучиком заоблачного света,  
 Как полупрозрачная слюда.  
 И с тобою — кажется мне — слиты  
 Вечности нестынущая боль,  
 Гималаев темных монолиты  
 И глаза зовущие, как смоль.

\* \* \*

Да, Гималаи дики,  
 Скажем для себя,  
 Не потому, что здесь  
 Ты видишь все иное,

А потому, что льды,  
 Глаза слепя,  
 Как бы тебя  
 Обходят стороною.

И все ж, и все ж  
 Не остываешь ты  
 И, так как был всегда ты  
 К жизни жаден,  
 От одного предчувствия  
 Высоты  
 К себе безжалостен  
 И беспощаден.

К себе,  
 Особенно к себе —  
 И никуда от этого  
 Не деться;  
 Обиды, как тавро  
 В твоей судьбе,  
 Теперь навеки  
 Выжжены на сердце.

Мы так хотели  
 Видеть Эверест  
 И солнечный восход  
 Над Эверестом,  
 Что в глухоте  
 И темноте небес  
 К пяти утра  
 Мы прибыли на место.

Но был туман,  
 Сплошной туман вокруг;  
 Он все закрыл,  
 Мешаясь с облаками...

И все же, все же  
 К Гималаям ты  
 Взволнованной душою  
 Прикоснулся  
 И от видений  
 Снежной высоты  
 К земле обычной  
 Обернулся.

Ты знаешь: вечен лед  
 И скалы те,  
 К которым ты  
 Без усталости стремишься;  
 Пусть скалы стынут  
 В вечной мерзлоте,  
 Но, как ни странно,  
 Ты их не боишься.

\* \* \*

Но между облаков  
 Сверкнуло солнце вдруг,  
 И потянулись все к нему  
 Руками.

Как солнце появилось,  
 Так и скрылось вмиг,  
 Лишь лучики в тумане  
 Вновь блеснули...  
 И показалось мне,  
 Что к солнцу я приник  
 И к Эвересту  
 Руки прикоснулись.

Индия, Даржилинг. Дели. Май 1980 г.



---

ОТАР ЧЕЛИДЗЕ

★

## БАЛЛАДА О СТАРОМ ДОМЕ

*С грузинского*

Когда-то в Имерети,  
Овеянном теплом,  
Жил человек на свете,  
Имел хороший дом.  
И высоко над крышей  
Деревья поднялись,  
И в доме, дранкой крытом,  
Текла счастливо жизнь.  
И сыновья мужали —  
Три птицы озорных,  
И все вокруг дрожало  
От игр бедовых их.  
Всегда и всюду рядом  
С мужем жена была,  
Во всем любила порядок,  
На свете достойно жила.  
Вот и весна подросла,  
Землю пора вскопать!  
Братья звонко запели,  
А подпевала мать.  
Работа вовсю кипела,  
Гремел отцовский бас,  
Славно семья пела,  
Пела в полуденный час.  
Эхом дом отзывался,  
Когда все пели кругом,  
И подпевать старался  
Старинный, добротный дом.  
И в селеньях окрестных  
Затихал разговор.  
Слушали люди песни —  
Чудный семейный хор.  
Жило семейство красиво,  
Песня другом была,  
В песне черпали силы,  
С песней вершили дела.  
Честью семьи дорожили,  
Как дорожат очагом,  
Трудностей не боялись,  
Страх не прокрался в дом.

Песня в сердцах бурлила,  
 Удача спешила к ним,  
 В работе семья походила  
 На легендарный гимн.  
 В доме не знали горя,  
 В буднях привычных дел  
 Быстро промчались годы,  
 Дом родной постарел.  
 Годы над домом кружили  
 И поливали дождем.  
 Братья по-братски решили:  
 Выстроим новый дом!  
 Каждый участок выбрал  
 На месте, где жил отец,  
 И каждый себе выстроил  
 Современный дворец.  
 И друг другу на зависть,  
 Мозоля друг другу глаза,  
 Три новых дома поднялись  
 В синие небеса.  
 Но мне это видеть странно,  
 Что братья, создав уют,  
 Слушают песни с экрана,  
 Сами же — не поют!

### Баллада о трех басках

Сквозь облака едва видна вершина горная,  
 Три баска спор со скалами ведут...  
 И водружают на вершину знамя гордое,  
 Об этом знамени рассказ я поведу.  
 Чиновник докладывает палачу,  
 На лбу испарина:  
 — Прошли три баска средь нехоженных дорог,  
 На непокоренную вершину вознесли флаг Испании:  
 Выполнили невыполнимый долг! —  
 Поразился диктатор и выдохнул:  
 — Неужто страх даже врагов в друзей обратил?  
 Гряньте, оркестры! Победные марши на толпы выплесните!  
 Сегодня я упрямых басков укротил! —  
 Сливаются с воплями труб человеки проклятия,  
 От пушечных залпов земля под ногами дрожит:  
 Баскония проклинает трех несмышленных предателей,  
 Молва о предательстве из деревни в деревню бежит.  
 У Басконии как камень на сердце лежит горе,  
 Вопли фалангистов стены Мадрида сотрясли,  
 Звон колоколов плывет в Бильбао через горы,  
 Из Толедо доходит до гренадской земли...  
 Три баска идут во дворец, гремят победного марша звуки,  
 Ни один тореадор подобных почестей не снискал,  
 И кричали «ура» трем баскам верноподданные слуги,  
 И казалось — весь Мадрид рукоплескал.  
 — Награду храбрецам! — палач вымолил,  
 Перестал хмуриться, улыбнулся озорно.  
 Солдаты на подносах золото щедро вынесли.  
 — Вина! — повелел диктатор. — Баски любят вино! —  
 Сквозь облака едва видна вершина горная,  
 Там баски шли тропею среди скал  
 И водрузили на вершину знамя гордое...  
 Так я баллады узел завязал.

— Я, баски, вам отец! — диктатор бросил фразу,  
И улыбнулся, и глаза притворно опустил.  
Но выпалили баски сразу:  
— Народным палачом народ вас окрестил!!!  
И не ваше знамя было с нами,  
Когда ветер и мороз терзали нас,  
Мы к сердцу прижимали древних басков знамя,  
Вива Иберия — пели в звездный час.—  
Содрогнулись своды дворца,  
Слуги в оцепенении замерли.  
Слова басков, как порох, сумели дворец тирана взорвать.  
— Вива восставших басков знамени!  
Иберия — наша единственная мать!

*Перевел ВЛАДИМИР РАВИЧ.*



---

---

ВАЛЕНТИН СОРОКИН

★

## РОДНАЯ ПРИРОДА

1

Вся земля морозом дышит,  
и звенят пургою травы,  
Только память так же слышит  
шумы летние дубравы  
И не хочет покориться  
дням, идущим в наступленье.  
Ведь не скоро повторится  
песня грома и цветенья.  
Ночь осенняя, сырая  
опускается на воды,  
Звезды в небе, замирая,  
ждут снегов и непогоды.

2

Поле родное  
да ветер, да ветер.  
В жизни, как в битве,  
за все я в ответе.  
Детство, и юность,  
и молодость, где вы?  
Ветер пронесит  
лесные напевы.  
Молодость, зрелость,  
любовь и признание —  
Поле родное  
да ветер страданья.  
Звезды, горящие  
в небе глубоко,  
Поле родное  
да лунное око...

3

Уходят березы в мятущемся дыме,  
В разбросанной хмари большого июля.  
Уходят, уходят холмами седыми,  
В ложбинах которых века потонули.  
Родные просторы, леса да болота,  
Луна, что плывет над полночною Русью.





---

---

СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ

★

## ЕЛКА

Тебя с матерью разлучили. Тебя с сестрами разлучили.  
От земли тебя отлучили. Привезли тебя в чей-то дом.  
В платье пестрое облачили. Людям кланяться научили.  
Золотые шары вручили, чтоб не думалось о худом.

А украли тебя под утро. Подрубили под корень самый.  
А тебе бы на волю. К полю. К лесу. К звончатой тишине.  
Повелели стоять в кадучке, под щелястой оконной рамой,  
И ушастые тени шастали по холодной глухой стене.

А в квартире сидели двое. Молчаливых. И неутешных.  
Разлюбивших давно друг друга. Неуступчивых и чужих.  
Им давно ничего не надо. Ни святых вечеров, ни грешных.  
Просто тут их свела привычка. Просто тут посадила их.

Раззолоченная, цветная, ты им что-то сказать хотела?  
А пока ты сказать хотела, прикоснувшись к чужой судьбе,  
Все глядел на тебя в окошко клен, от стужи заледенелый.  
Простирая пустые ветви, как завидовал он тебе!

А потом догорели свечи. Утро стерло натеки грима.  
И раздели тебя под утро. И закинули в снежный звон.  
Пробегали собаки мимо. Пролетали воробны мимо.  
И глядел на тебя в испуге потянувшийся к солнцу клен.



---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ

★

## ВСТРЕЧИ

*Заметки о русском языке*

**Э**тим летом гостил в Москве друг моего детства. Говорили мы с ним без устали. Вспоминали родные места, друзей, знакомых, даже коров и лошадей, которых когда-то пасли на холмах, окружающих наше село Милешты, что на самой западной границе, у реки Прут. Сколько же лет прошло с тех пор? О, почти сорок! Мы расстались до начала войны. И, встретившись в Москве пятидесятилетними, обнаружили, что беседуем по-русски, на языке, которого в день расставания не знал ни я, ни он, и каждое слово этого языка такое же свое, понятное и неотделимое от каждого из нас, как и слова родного молдавского языка, впитанного с материнским молоком. Мы говорили о существе понятий растущая однородность советского общества, образование новой социальной и интернациональной общности — советского народа. Эти категории укореняются в быте, в сознании сейчас, в наше время. И, естественно, рассуждали мы с другом и о значении русского языка, о его созидательной роли. Для народов, населяющих нашу страну, русский язык играет великую, ни с чем не сравнимую роль, он помогает всем нам, разноязычным, преобразовать нашу общую родину на новых, ранее неизвестных человеку революционных началах.

Ознакомление с «Заметками о русском» академика Дмитрия Сергеевича Лихачева дало новый толчок моему намерению попытаться рассказать, каким образом язык русского народа стал моим вторым родным языком и какую роль играет он в жизни многих миллионов людей. Недавняя перепись населения СССР выявила, что почти 60 миллионов человек нерусской национальности владеют русским языком, как и своим родным.

### I

В отторгнутой от советской родины Бессарабии в 1918 году был введен жесточайший террор. Запрет любого упоминания о революции, марксизме, большевиках и о Ленине был распространен и на русский язык. На стенах, заборах, в газетах и крупных афишах повторялась одна и та же надпись: «Ворбиць нумай ромынеште!» («Говорите только по-румынски!»). Это был не призыв, а повеление. По домам ходили приспешники властей и разыскивали русские газеты, книги, бумаги, написанные по-русски. Обнаружат — беда: хозяев наказывали плетью, прикрепляли к спинам дощечку с надписью «Ворбиць нумай ромынеште!» и водили по селу для устрашения других, провинившихся сажали и в подвалы жандармского поста «на прохладу», как говорили.

В старом сундуке под скатками отбеленного конопляного полотна, из которого мать шила нам белье и сдежду, был запрятан том в твердом переплете: «Стихотворения А. Полежаева». Отец не без гордости говорил нам, что получил эту книгу за отличные знания по всем предметам. Об этом свидетельствовала надпись на книге, скрепленная подписью председателя попечительного совета двухклассного церковноприходского училища села Унцешты и печатью. Ищейки наведывались и к нам и однажды обнаружили книгу Полежаева. Рослый фельдфебель,

шеф жандармов села, долго вертел книгу, явно радуясь находке, почему-то очень долго изучал печать, а когда, видимо, убедился, что книга действительно подарок за отличную учебу и что отец сказал правду, подошел к горячей плите. Со знанием дела он распорол книгу, комкал с хрустом листы и бросал в огонь. Портрет, с которого глядели печальные глаза усатого человека в мундире офицера, фельдфебель держал за уголок, пока убедился, что все превратилось в пепел. Тогда он оглядел всех нас и сказал победно: «Вот так!»

За время оккупации нас обыскивали еще не раз, но почему-то первый на моей памяти обыск и сжигание книги, написанной на незнакомом мне в то время языке, запомнились особенно остро. Захотелось узнать, о чем та книга, которую уничтожили, как звучат слова, из которых такие книги составлены, мне снился сожженный поэт, он читал свои стихи...

Когда я подрост, отец стал брать меня с собой в поле в помощь, я уже мог идти за плугом, умел запрягать волов, водить их на водопой, приготовить корм. Однажды, когда волы спокойно отдыхали на краю вспаханного поля, отец достал из-под соломы книгу в красочной обложке и начал приучать меня к буквам и словам запрещенного языка. Это была азбука, по которой учился он в конце прошлого века. Аккуратно выписанные буквы русского алфавита, четкая каллиграфия, яркие рисунки, незнакомые, не такие, как у нас, цветочки, деревья, зверьки. После первых же уроков я стал внимательнее к разговорам родителей, когда они «секретничали» по-русски, пытался понять, о чем шепчется отец по-русски и с незнакомыми мужчинами, заходившими к нам поздними вечерами. Я прислушивался к музыке слов, пытался улавливать их смысл.

О том, что я слышу дома русские слова, о том, что отец учит меня тайне незнакомых букв и слов, я не рассказывал даже самым близким друзьям: запрет на русский язык и наказание за нарушение его пугали, держали в постоянном страхе.

В нашей семье было многолюдно, и мать всегда что-то делала — все для нас. Мы ложились спать — она работала, вставали — тоже работала, я никогда не видел мать без дела, отдыхающей. Шила, кроила, латала, готовила и всегда пела. Пела она по-русски. Помню, как я мучительно пытался вникнуть в смысл ее мелодичных песен. О чем они?

Отца нередко забирали в полицию, увозили надолго. И всего чаще мать повторяла песню:

Тихий месяц плывет над рекою...

Для меня тогда все слова сливались, и я не мог уловить звучание отдельного слова, строка запоминалась целиком. Как я радовался возвращению отца и тем мгновениям, когда он доставал из-под соломы заветный букварь...

Так шел ко мне русский язык, или, вернее, я шел к нему.

20 августа сорок четвертого года начавшие наступление на яско-кишиневском направлении части Советской Армии освободили наше село. Двери погреба, где мы укрывались от бомбежек, открылись, и усатый богатырь в мокрой от пота гимнастерке крикнул: «Выходите, родные!» Из наших глаз лились слезы, и солдат успокаивал: «Не плачьте, родные, вы свободны!» В мою память эти фразы впечатались целиком. В день 20 августа 1944 года я понял, что с языком, в тайны которого я проникал при помощи отца и его букваря, сливаются воедино освобождение, наша мирная жизнь. В ту послевоенную пору в наши сердца и в наше сознание через русский язык проникала суть свободы, справедливости, человеческого отношения друг к другу, внедрялся истинный смысл слов **р а в н о п р а в и е** и равенство людей независимо от их происхождения, веры, национальности. Эти понятия освещали всю нашу послевоенную жизнь. Они обновляли душу, придавали особый оптимистический настрой нашему нелегкому быту, когда никто не имел на столе в достатке даже мамалыги. Тяжелой голодной зимой сорок шестого года второго секретаря Котовского райкома партии Сергея Семеновича Пужаева и меня пригласили в Кишинев на заседание укома партии с отчетом о работе районного комсомола. Мы шли пешком целый день и на ночь остановились в чайной села Бардар. Пили чуть подслащенный чайный суррогат, и Сергей Семенович вспоминал, как до войны был в чайных чай с вареньем и к

нему подавали белую булочку. «Скоро, скоро,— ободрял меня Сергей Семенович,— настанут другие времена, станет легче, еще чуточку напряжения». Русский рабочий из нижегородских краев, боевой комсомолец времен гражданской войны, Сергей Семенович Пужаев дал мне рекомендацию в партию и на бюро райкома сказал: «Надо принять Феодосия, он верит в наше будущее.— Подумал немного и добавил: — Он из тех, кто живет не по принципу «не драться, не бороться, а посытнее напороться», он дерется за будущее». Сергей Семенович посмотрел на меня, улыбнулся, а члены бюро единогласно проголосовали за прием в партию. Мне было тогда восемнадцать лет. А со дня освобождения республики прошло три года с небольшим. Такие, как я, шли в партию тогда тысячами и вместе со старшими товарищами повели большую «драку» за обновление республики.

## II

Веру с полки книгу формата томов БСЭ. Отличная бумага, шрифт литературной гарнитуры, хорошие иллюстрации, великолепные цветные вкладки. На 500 страницах идет квалифицированный, строго научный рассказ о моей родной республике. Книга называется «Молдавская ССР». Огромный коллектив ученых-историков, литературоведов, физиков, математиков, врачей, агрономов, учителей, журналистов и писателей, передовики промышленности и сельского хозяйства, партийные и государственные работники рассказывают стране и всему миру о своем крае, о социалистической Молдавии на русском языке. Тираж этой своеобразной «визитной карточки» республики 40 тысяч экземпляров!

Хотя я и слежу все время за развитием родного края, признаюсь, что, прочитав эту книгу, я как бы заново прошел вместе с ее авторами и составителями весь послевоенный путь моего народа. Я знаю немало из того, что стоит за строками книги «Молдавская ССР». Вот лишь одно свидетельство. «Удостоверение. Выдано Видрашку Феодосию Константиновичу в том, что он является секретарем Ниспоренского райкома комсомола Молдавской ССР. Секретарь Кишиневского укома ЛКСМ Молдавии Марьина. Февраль 1945 г.». На обратной стороне — повесть о вызове в фашистский суд по обвинению в «оскорблении нации» Видрашку Константина, моего отца. Этот документ напомнил о том, что в 1944 году, когда была освобождена Молдавия от фашистов и начинала входить в нормальную колею наша жизнь, ни в столичных, ни в уездных, ни тем более в районных учреждениях не было самой обыкновенной писчей бумаги. Даже протоколы заседаний бюро райкома партии, удостоверения личности, другие документы писались на чем попало. Помнится, мы радовались удаче, когда среди бумаг, оставленных оккупантами, обнаруживали листы с чистой обратной стороной.

А как с книгами? Их просто не было. В республике не осталось ни одной книги, все было сожжено, уничтожено. И в открывшиеся в полуразрушенных домах библиотеки стали поступать посылки, присланные из отдаленных уголков Советского Союза: израненная страна делилась с нами и книгами, как и всем другим. Эти книги мы переводили с русского — вначале учебники, затем самые знаменитые, нужные книги: Толстого, Пушкина, Горького, Чехова, Маяковского, Островского, Шолохова, Макаренко, Фадеева... Потому что за три с лишним года оккупации фашисты разорили не только хозяйство — они душили естественное стремление народа к культуре, к свету. Включаю сейчас радио, открываю газеты, слушаю очевидцев. В Кампучии разрушили школы, сожгли книги, во всей стране не осталось ни единого листа с нотными знаками — и музыку захотели уничтожить. И я знаю, как трудно сейчас Кампучии. У современных полпотовцев и маоистских мастеров «культурных революций» были учителя — гитлеровские фашисты. Я видел, как они жгли книги моего народа. И чтобы это сравнение стало более понятным, приведу одну цитату из книги «Молдавская ССР»:

«За три года оккупации МССР фашисты уничтожили 64 тысячи и угнали в рабство 49 тысяч человек. Более 207 тысяч мирных граждан подверглись истязаниям и пыткам. Было разрушено 1037 промышленно-производственных объектов, 45 процентов жилого фонда, свыше 600 зданий школ, 180 больниц, уничтожено более 180 тысяч гектаров посевов и около 30 тысяч гектаров садов и виноградни ков».

Политика выжженной земли, растоптанных человеческих душ осуществлялась с невиданной жестокостью. Все разрушенное надо было быстро восстановить. Что бы мог сделать народ, лишенный школ, лишенный книг? Что бы мог сделать народ, оставшийся на пепелище, если бы не плечи великой семьи советских народов, и в первую очередь русского народа?

Наука восстанавливать истощенный и разрушенный экономический и культурный организм республики пришла к нам прежде всего через русский язык. Молдаване взялись за книги. Все накопленные за века богатства человеческого знания и культуры приходили к нам бесплатно, на русском языке. Это было то, что на языке политиков и дипломатов называется бескорыстной помощью. Меня всегда поражала и трогала до глубины души щедрость русского народа, открытость, готовность делиться всеми своими духовными богатствами — и не только духовными — бескорыстно, то есть без никакой корысти. Ищу в знакомых языках аналог этому слову и не могу найти. Это слово исконно русское и переводу не поддается. Смотрю у Владимира Ивановича Даля: **«Бескорыстие, отсутствие корысти, сребролюбия, жадности к имуществу, любостяжания, желания скоплять богатства, приобретать неправо; нежелание пользоваться чем-либо в ущерб, обиду или убыток другим... Бескорыстен тот, кто думает о других более, чем о себе».**

Кто близко узнал русских, тот почувствовал, насколько понятия корысти чужды им. И чего может добиться народ, у которого такие бескорыстные друзья, говорит открытая передо мной книга. Всего лишь 0,15 процента территории Советского Союза занимает моя республика. Но благодаря всестороннему расцвету она находится на шестом месте среди союзных республик по валовому производству продуктов сельского хозяйства и на первом месте по их производству на сто гектаров сельскохозяйственных угодий. Молдавия занимает первое место в стране по производству винограда, третье — по заготовкам плодов, эфиромасличных культур, подсолнечника и сахарной свеклы, четвертое — по производству зерна и овощей. Как радуются бывшие когда-то культурмейцы, обучавшие грамоте своих односельчан при тусклом освещении керосиновых ламп, масляных и карбидных светильников, когда читают, что в республике выпускается ежегодно на родном языке около полутора тысяч названий книг и брошюр тиражом свыше 13 миллионов экземпляров, а годовой тираж издаваемых 330 газет и журналов приближается к 400 миллионам! Во многих молдавских селах открыты книжные магазины с поэтическим названием «Луминица» — «Огонек». Переведенные на русский язык молдавские книги распространяются в более чем 100 странах мира.

### III

К тайнам русского языка я пробираюсь уже более четырех десятилетий. Когда мы начали переводить на молдавский язык русские книги, то встречались с разными теориями и разным отношением к тому, как должны это делать. Некоторые «теоретики» доказывали и даже административно требовали дословного перевода, чуть ли не буквенного, чтобы при накладывании листа на лист слова и буквы совпадали, «падали» друг на друга. Абсурдность подобных требований была очевидной, и эти «теории» очень быстро были сметены практикой. Опытные мастера перевода, такие, как Александру Козмеску, и особенно один из самых выдающихся — Игорь Крецу, чья деятельность в области перевода русских произведений на молдавский язык была удостоена Государственной премии республики, доказали, насколько сам молдавский язык обогащается в процессе творческого подхода к переводимым произведениям. Богатством русского языка диктуется творческий поиск нужных слов, словосочетаний, поговорок и выражений в глубинных тайниках молдавского языка. И какое же богатство, какие краски обнаруживаются при переводе «Мертвых душ», «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Войны и мира» или «Тихого Дона»! «Жемчуг должен быть эквивалентен жемчугу, а не гороху», — говорил не раз мне Александру Козмеску.

Вместе с тайной русского языка для меня с самого начала существует тайна каждого русского слова в отдельности. Я постоянно думаю о том, как возникали слова, что служит первоосновой слова, откуда оно. Разумеется, я далек от мысли оспаривать давно установившиеся взгляды на истоки и корни русского языка, тем

более я не претендую на открытие каких-либо новых положений. Это было бы с моей стороны несерьезно. Но давно уже волнующие меня мысли о русском языке приводят ко все более твердому убеждению, что колыбелью русского слова, его нежности, мужественности, красоты и объемности, является русская природа, русская ширь, создавшая русский народ, питавшая его душу. Ко многим русским словам я научился примерять определенное явление или движение русской природы, могу вообразить, как рождалось то или иное слово, как возникали звуки, а из них образовывались слова, складывалась речь. Сколько в России рек? Великих и малых? Рек, речушек, речек, реченок.. Оставались ли вы наедине с речкой тихой ночью, когда замолкают птицы, спят деревни и села, успокоились дороги, нет заводского гула и только вы и она, реченька? Вы слышали ее говор? Поняли, о чем она шепчет? Она делится с вами, сообщает неведомые и непонятные звуки, она достает эти звуки из невидимых далей своих притоков, доносит до вас никому, кроме нее, не известный голос подводных, невидимых источников. Вдруг между луной и речкой подкрадывается и тихо обхватывает и вас и воду мягкая белая мгла, и вы услышите просьбу речки — прикрой меня, облачко, укутай меня, дай отдохнуть...

Прислушиваясь к лесу. Он передает вам смысл самого своего названия — лес, в музыке незаметного дыхания леса вы откроете тайну слов шорох, шелест, дуновение, тень, прохлада, покой, ветка, лист, пенек, поляна... Каждое из этих слов само без перевода передает свой истинный смысл, потому что оно связано с сутью леса, с его жизнью. И человек лишь занял у леса его язык. А если выйти в поле, то обнаружишь, что и оно, поле, передало русскому человеку свой язык через свою безграничность, передало свое широкое дыхание и уходящие в высокое небо запахи и звуки. Поле, высота, небо, долины, луга, просторы, травы, раздолье... Разве можно услышать эти слова и не понять их истинного смысла?

От вечного общения человека с природой, от их взаимодействия в русском языке родились слова, полные высокой значимости, слова, не терпящие к себе облегченного отношения, и эти слова почти не имеют уменьшительных значений и множественного числа. Великое слово труд. В нем слышится вечный бой человека за обретенную жизнь. Слово это объемлет все понятия, все разумные движения человека. И отсюда трудится. Это серьезно, это жизненно необходимо и важно. Можно работать спустя рукава, но трудиться спустя рукава нельзя. Потому что всякое несерьезное отношение к тому, что ты делаешь, это оскорбление труда, а он оскорблений не терпит и наказывает за это. С трудом неразрывны мастерство, терпение, старание, честность — слова также серьезные, не терпящие уменьшительности, легкого отношения.

Отношения людей родили слова, полные доброго смысла, по звукам, их составляющим, сразу же улавливается первозданность доброго начала, заложенного природой в русском человеке: любовь, нежность, милый, ласковый, ненаглядный. Обратите внимание, что эти слова не содержат в себе резких звуков, они созданы для самых нежных, сокровенных чувств. И будто для обозначения обратной, скрытой и опасной стороны этих понятий созданы другие слова. И если прислушаться, то они трудно произносимы, потому что должны быть редко употребляемы, то есть поведение человека не должно давать повода для их употребления. Лесть. Так и чувствуешь что-то липкое, противное, от чего хочется тут же отряхнуться, вымыть руки. Ложь, лгать, оболгать. Как нелегко произношение этих слов, они с трудом вырываются из уст, будто советуют — убедись хорошенько, а затем обознач мною человека! Язык человеку советчик. Он предупреждает: не торопись произносить слово, оно подарок, высший дар природы, оно колыбель и сказка, радость и возвышение, но оно может стать оружием, слово умеет и сражаться, уничтожать врага. Не потому ли во время оккупации Молдавии фашисты малевали на стенах и вывешивали на заборах приказы, запрещающие русский язык? Для чего это нужно было? Прежде всего для того, чтобы держать под контролем язык, знать и проверять, о чем люди говорят. Это был страх перед словом, была война с русским языком. Вот один наглядный пример.

Куда ни глянешь — ширь, простор, бескрайнее синее небо. Лишь на горизонте темная полоска леса. Эту полоску замечашь, куда бы ни направил взгляд.

Типичная картина средней полосы России. Столетиями люди вырубали леса, отвоевывали у природы землю для деревни, для поля, для луга и сада. Два ряда домов, между ними улица, за домами поле, за полем — лес. Сквозь сплошное поле ржи — тропинка к лесу. Узкая стежечка к прохладе, к ягодам. На чуть согнутых колосьях золотистые сережки пыльцы, слегка подунь — и отлетят. Только настало ясное утро и такая тишина, что когда из-под самых ног взлетает в небо землянистый комок — вздрогнешь, забьется сердце. Подымеешь вслед за комочком глаза и с досадой обнаруживаешь, что потерял его. Но не спеши, подожди, он даст о себе знать, он лишь коснется крыльями лучей невидимого еще с земли всходящего солнца — и над тишиной зазвучит знакомый родной голос. Вот птица уже там, на границе между лучом и тенью, крылышки окунулись в алмазное сияние, сверкают маленькой молнией, и ты радуешься этой пойманной взглядом молнии, замираешь и ждешь чуда. Моргнешь — молния исчезнет, и снова видишь только высокий купол неба. Досаднешь на этот миг, когда глаза невольно закрылись, но тут же с высоты, куда ты смотришь с надеждой поймать снова крошечную, улетающую из-под твоих ног крылатую жизнь, ударил звук. И все пространство над полем, над селом до самого леса оглашается первой утренней песней жаворонка. Покоренный льющимися звуками, ты все продолжаешь искать глазами ту точку в небе, откуда они льются. Ты с огромной силой почувствовал мощь, связующую всего тебя с природой, с бесконечно прекрасной жизнью. Ты пытаешься представить себе, какие тайны любви, радости, заботы, восхищения открылись бы тебе, будь такая сила, которая смогла бы растолковать, переложить на человеческие слова этот гимн с вариациями, эту чудо-песню над ширью русского поля.

Жаворонок. Завороженный. Что-то слышится общее в этих двух словах русской речи. И не представляешь себе, что эта утренняя песня во славу жизни может исчезнуть — что ее можно оборвать.

Оборвать песнь жаворонка...

Эту легенду я слышал в нескольких вариантах от бывших немецких военнопленных в СССР.

Группа немцев возвращалась с ночной карательной операции по русским селам. В поисках русских партизан они сожгли пустую деревню, обшарили лес, но ни партизанских троп, ни партизан не обнаружили. Старший по команде бред устало, бормотал: думал вслух о том, что он доложит о результатах операции начальству. Ведь их послали поймать живых русских, но они не смогли их обнаружить ни живых, ни мертвых. И вдруг прямо над ними раздался голос жаворонка. Он пел высоко над полем, громко, бесстрашно. Песня жаворонка то ли напомнила немцу о том, что на свете существуют и другие звуки, кроме военных команд, рапортов и грома выстрелов, то ли нарушила его мысли о предстоящей выволочке. Он остановил своих и сказал: «Поспорим, что я сниму этого певца с неба! Одним выстрелом!» Ни один из одиннадцати озлобленных и усталых солдат не усомнился в том, что командир снимет певца, подумаешь, доблесть — стрелять в птицу. «На, возьми снайперскую. — И один из них протянул свой новенький карабин с оптическим прицелом. — Стреляй по партизану!» Прогремел выстрел, и одухотворенный певец русских просторов полетел к земле камнем. Все кинулись искать в поспешем овсе окровавленный мертвый комочек, надеялись протянуть его пославшему на задание: посмотри, мол, мы все обыскали, но ничего живого, кроме этой глупой голосистой птицы, не нашли, возьми ее! Долго они вытаптывали спелый овес, ползали на четвереньках, высматривали, вынюхивали каждый сантиметр сухой земли, но убитого жаворонка не обнаружили.

Наступило время окончания операции, и фашисты побрели к своей части. И вдруг прямо над ними снова зазвенел жаворонок. Маленькая птичка висела в небе и пела необычную песню: в ее звуках немцам слышались русские слова. Командир вскинул карабин, взглянул в оптический прицел и выстрелил. Раз, два, три... де-сять. Но птица продолжала петь. Теперь все схватились за автоматы, и над полем гремел бой между маленьким жаворонком и фашистами. Они израсходовали все оставшиеся от ночной операции «на всякий непредвиденный случай» боеприпасы, а птица плескалась в лучах солнца и пела самозабвенно. И на смелые и бесстрашные звуки ее песни прилетали все новые и новые жаворонки, они то кидались к земле, то взмывали ввысь, а в их общей песне оккупантам мерещились рус-

ские слова, которыми их встречали всюду на этой земле: «Убирайтесь домой, смерть вам, смерть вам!»

## IV

Русский народ отстоял свою родину от поработителей благодаря своей удали, своему мужеству и своему языку. Язык сохранял и передавал от поколения к поколению предания о мужестве, о стойкости русских людей, об их готовности защитить отчизну. Какое широкое и емкое слово отчизна! Это и отчий дом, и место рождения, и вся земля, унаследованная от отцов, защищенная ими, обогретенная их кровью. В земле отечества лежат те, которые ее отстаивали.

Два свидетельства, оставленных отечеству двумя детьми. По времени их разделяет более семи столетий, по расстоянию — сто пятьдесят верст. Одно найдено в Новгороде, другое — в Ленинграде. Первый документ написал и нарисовал новгородский мальчик Онфим, второй — ленинградская девочка Таня.

В 1951 году при раскопках в Новгороде было сделано открытие огромной важности. Обнаружена целая библиотека берестяных грамот. И оказалось, что население гордой республики в XI веке владело грамотой, а переписка между ее гражданами была обычным повседневным делом. Шестилетний мальчик-грамотей по имени Онфим писал на бересте поклон своему другу Даниле. А на одном рисунке Онфим изобразил себя всадником с мечом и копьём. У ног его боевого коня лежит поверженный неприятель. Значит, мальчик Онфим в раннем детстве был наслышан о существующих врагах своего свободного города, а может быть, отец его пал в сражении с ними. Рисунок шестилетнего мальчика призывает к защите отчизны и показывает, как надо обращаться с врагом.

«Женя умерла 28 дек. в 12.30 утра 1941 г.

Бабушка умерла 25 янв. 3 час. дня 1941 г.

Лека умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г.

Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942.

Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.

Мама 13 мая 7-30 час. утра 1942 г.

Савичевы умерли.

Умерли все.

Осталась одна Таня».

Хотя в записках ленинградской девочки Тани нет призыва к отмщению, ее слова, известные теперь всему миру, звучат как призывный набат, зовут к бдительности и к тому, чтобы оградить отчизну от врагов, от тех, которым очень бы хотелось, чтобы мы «умерли все».

Далек от Молдавии, от Новгорода и Ленинграда уральский город Очер. Я оказался там в гостях у семьи одной из первых трактористок района Глафиры Ильиничны Толмачевой. Шла тихая, спокойная, как сама здешняя природа, беседа, заговорили о записках Тани Савичевой, о человеческих документах прошедшей войны. Глафира Ильинична вспомнила о письмах с фронта от тех, которые не вернулись, и о тех фронтовиках, которым выпала нелегкая доля сообщать родным о погибших. Из близких Глафиры Ильиничны на фронте погиб Василий Васильевич Паньков, плотник и мастер на все руки. Сохранилось два письма от похоронивших его. Позднее я держал в руках эти письма, адресованные жене Василия Васильевича. Вот одно из них:

«Дорогая Панькова Прасковья Егоровна!

В августе наш батальон выполнял боевые задания. Каждый из нас в августовских боях за пункт Т. хотел быть достойным высокого звания бойца Красной Армии, защищающего Ленинград.

Ваш муж Василий Васильевич Паньков был в первых рядах бойцов-саперов, показывая пример выполнения боевого долга. Ответственное задание, порученное группе саперов, где был тов. Василий Васильевич Паньков, успешно выполнялось, обеспечивая успех всей боевой операции.

В этот момент проклятая фашистская мина, разорвавшись, своим осколком смертельно ранила тов. Панькова Василия Васильевича. Он умер с честью в бою с врагами, как подобает славному воину героической Красной Армии.

Бойцы и командиры, глубоко скорбя о смерти своего боевого товарища, клянутся честно отомстить за его смерть.



Дорогая Панькова Прасковья Егоровна, не нужно слез по погибшему герою, слезами горю не поможешь. Помните о нем всегда и гордитесь им, он, сражаясь за Родину, завоевал себе честь и бессмертную славу.

Командир 325 ОАИБ  
капитан Кириллов  
4 сентября 1942 г.».

Военком 325 ОАИБ  
б-ный комиссар Осипов

Глафира Ильинична, рассказывая мне о трудностях военной поры, когда часто приходили похоронки, восхищалась добротой и человечностью командиров, которые под вражеским огнем находили минуту, чтобы написать и отправить письма родным погибших героев со словами утешения, хотя сами не знали, сколько им еще придется быть живыми. Потом Глафира Ильинична захлопотала по дому и тихо запела:

Тихий месяц плывет над рекою,  
И все объято его красотой,  
Ничего мне на свете не надо,  
Только видеть тебя, милый мой...

Я прислушался к словам и мелодии. Да, это та самая песня, которую пела по-русски моя мать более сорока лет назад в оккупированном фашистами селе в нескольких тысячах километров отсюда.

— Откуда вы знаете, Глафира Ильинична, эту песню?

— С детства, мать пела, когда отец уезжал... А в войну пели ее со слезами на глазах все, кто ждал вестей с фронтов... Мы с Паней, с женой Васи, часто ее пели...

Русская песня моего детства.

Язык и песня. Какая объединяющая разные времена и разных людей сила!

## V

— Русский язык явился языком нашей общей победы, — чеканно, по-военному дает определение мой земляк, ветеран Великой Отечественной, проживающий сейчас в Донецке, Борис Робул.

О Робуле я впервые услышал от Адели Николаевны Литвиненко, прокатчицы Макеевского металлургического комбината, Героя Социалистического Труда, когда работал над очерком «Делись огнем». Она знает его со времен Великой Отечественной. Борис Пантелеймонович — герой войны, бесстрашный боевой командир истребителей вражеских танков, а сейчас человек самой мирной профессии — начальник созданной им много лет назад первой в Союзе школы внедрения в народное хозяйство радиоэлектроники. А по общественным делам — член президиума Донецкого областного комитета защиты мира. К его боевым орденам и медалям прибавилась медаль за работу на пользу мира.

У него молдавская фамилия — Робул, в прямом русском переводе это означает «раб». Откуда такая фамилия? Где ее корни?

Оказывается, во время многовекового турецкого господства угнанных в неволю молдаван обозначали общим словом «раб», ни имен, ни фамилий. Сбежавший от турок далекий предок Бориса не знал ни своей фамилии, ни своего имени, а односельчане называли его Робул — Раб. Так и закрепилось это прозвище за целым родом, а потом оно стало фамилией. Земляк помнит очень хорошо, как во время урока русского языка, когда он учился в 20-е годы, учительница вызывала к доске каждого ученика и каждый должен был написать мелом: «Мы не рабы. Рабы не мы».

— На русском языке было опровергнуто это понятие вообще и настоящий смысл моей фамилии в частности. — Борис Пантелеймонович задумывается и продолжает: — А затем нам с оружием в руках пришлось доказать, что мы не рабы, быть рабами не собираемся и поможем и другим народам освободиться от рабства...

Подполковник запаса Борис Робул — участник московского ополчения, был на фронте с первого до последнего часа войны, в дни освобождения Донбасса стал командиром полка, ему шел тогда двадцать третий год. В жестоком бою за село Староигнатьевку погибли многие его однополчане. И там, где был командный пункт, сейчас обелиск Славы и братская могила. После демобилизации Робул поселился в Донецке, по соседству с Староигнатьевкой. Сказал кратко:

— Хочу быть около своих погибших товарищей, постоянно напоминать о них живым и прикажу, когда умру,— похороните меня рядом с моими боевыми братьями.— Добавил: — А пока есть силы, будем делать все, чтобы обеспечить надежную защиту отечества. Потому как охотники сделать из нас рабов не перевелись.

...На косогоре, неподалеку от дороги, что ведет от Донецка к Азовскому морю, за придорожными рядами цветущих мальв и полями подсолнухов стоит страшное сооружение — виселица из двух сваренных железнодорожных рельсов на бетонном основании. Прочно. Надолго. Такие сооружения «возводились» по всему Донбассу. Гитлеровцы хотели обосноваться в этих краях надолго. Лес виселиц был сметен вместе с непрошеными «хозяевами», оставлено только это напоминание о гитлеровских символах «нового порядка» в Европе.

— Они хотели вернуть моей фамилии ее настоящий смысл — раб. Орудия для этого весьма разнообразны и убедительны — перекладины, газовые камеры, крематории, колючая проволока. И только единое братство народов, скрепленное единой идеологией, оказалось способным сбить аппетиты фашистов.

О едином братстве народов Борис Пантелеймонович говорит как о самом значительном итоге совершенной в нашей стране под ленинскими знаменами великой революции. В братских могилах Староигнатьевки, Иловайска и Донецка, на холмах и в долинах родной Молдавии, землю которой он освобождал, на кладбищах героев многих европейских столиц и городов покоятся останки сыновей и дочерей советской многонациональной отчизны. Павших героев независимо от национальности хоронили в общих могилах. Миллионы человек, лежащие в братских могилах на пути от Сталинграда до Берлина, разве не призыв, чтобы на земле оставшиеся в живых и растущие поколения жили в мире, как братья?

Два ветерана Великой Отечественной — Адель Литвиненко и Борис Робул, два активиста нынешнего фронта мира, ведут между собой беседу о прошедшем и будущем. Понятия П о б е д а, С в о б о д а, Т о в а р и щ е с т в о пришли на землю Европы на русском языке. Носителями этих понятий явились представители всех народов Советского Союза. Они своей борьбой, своей кровью, а нередко и своей жизнью утвердили понятие мы не рабы. Открывая ворота фашистских концлагерей, сметая огнем колючую проволоку, каменные застенки и виселицы, они пришли к народам Европы со словами высочайшего смысла: «И вы не рабы!»

## VI

Не приводит ли освоение русского языка в качестве второго родного языка к уменьшению роли своего национального языка?

Личный опыт и многолетние наблюдения помогли мне прийти к твердому выводу, что, овладевая русским языком, человек обретает более глубокое дыхание, выходит на огромную пространственную и духовную ширь, перед ним открывается возможность ознакомиться своих земляков, не знающих русского, с сокровищами русского народа, народов Советского Союза и других стран мира на их национальном языке. Духовное богатство любого народа советской семьи при посредничестве русского языка становится достоянием всех национальных республик, автономных областей, округов. Приведу лишь два самых свежих примера.

На красивой суперобложке выведено грузинской вязью: «Великий Питуунт». Книга написана грузинскими учеными и рассказывает всесоюзному читателю о знаменитой Питуунде. Многие, разумеется, знакомы с этой жемчужиной нашего юга или слышаны о ней. Но из книги грузинских ученых мы узнаем то, о чем никогда не знали. Это история древнейшей земли, одной из колыбелей человечества. А если бы эта интереснейшая книга, плод многолетних исследований грузинских ученых, вышла только на грузинском языке? Когда бы история Великого Питуунта дошла бы, например, до моего края, до Молдавии, если бы не русский перевод этого прекрасного труда?

Второй пример. В Кишиневе вышла отдельным изданием поэма Георге Чокоя «Возраст монументов». Это новая поэма о Ленине, новое слово в Лениниане. Примечательно, что свое слово о Ленине сказано человеком, родившимся в 1942 году в оккупированной фашистами Молдавии. Он знаком с Лениным и с

историей нашей страны только по книгам и рассказам представителей старших поколений. Глубокое знание русского языка дало возможность одаренному молдавскому поэту изучить все, что было создано в Лениниане до него как у нас в стране, так и за рубежом. Знать все, чтобы сказать свое. И я, прочитавший поэму «Возраст монументов» на едином дыхании, не ошибусь, если скажу, что перед нами новое замечательное произведение о Ленине и революции, созданное на молдавском материале. Со страниц поэмы молдавского поэта веет обновляющий мир ветер революции, и хотя действие разворачивается в молдавском селе Джямэна, читатель чувствует дыхание и размах созидания на бескрайних просторах огромной страны, видит величественный памятник Ильичу, которым стал «построенный в боях социализм».

\* \* \*

Идет шестьдесят четвертый год с того исторического дня, когда граждане бывшей Российской империи на русском языке были объявлены равными во всех правах независимо от национальности, вероисповедания, имущественного положения, цвета кожи. За шестьдесят четыре года (срок меньший, чем средний возраст человека) осуществлен невиданный в истории человечества опыт объединения разноплеменных людей на основе общей цели и общей идеологии. Кто может измерить значение русского языка в осуществлении этого опыта! При его помощи и цементирующей силе трудом и кровью октябрьских поколений опровергнута существовавшая тысячелетиями реальность, сжатая в формулах «человек человеку волк» и «разделяй и властвуй». Два постулата, корни которых тянутся в глубинных пластах человеческой истории.

Сколько тысячелетий передается от поколения к поколению эта легенда?

На всей земле был один язык и одно наречие. И люди сказали: «Построим себе город и башню высотой до небес». Но, оказывается, единство людей уже тогда пугало властителей, и были найдены средства против этого единства. Удобнее всего, естественно, было привлечь в качестве верховного авторитета самого господина бога, который, разгневавшись, изрек: «Вот что начали они делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого» (разрядка моя. — Ф. В.). *Homo homini lupus est — divide et impera!* Это от самого бога. А он всемогущ и непререкаем.

Октябрьская революция устами Ленина во всеуслышание и на весь мир на русском языке заявила, что божественным принципам «разделяй и властвуй» и «человек человеку волк» пришел конец. Началось строительство мира на совершенно противоположных этим принципам началах. При помощи русского языка носители 130 языков коренных народов, населяющих нашу страну, общаются как истинные братья. Национальные языки развиваются и взаимообогащаются. Пришедшее, например, в молдавский язык лишь простое наименование этих народов уже обогатило язык 130 новыми, неизвестными до недавнего времени словами. А сколько названий песен, танцев, игр, трав, ягод, животных, обычаев братских народов вливается каждодневно в язык моего народа! И в то же время множество молдавских слов при помощи русского языка обогащают братские языки. Напомню хотя бы несколько: «Жок», «Флуераш», «Дойна», «Кодры», «Ляна». А сколько фамилий молдавских поэтов, прозаиков, драматургов, композиторов, художников, артистов стало известно всей стране! Имена Букова, Лупана, Крученюка, Биешу, Лункевич, Друцэ, Чобану, Виеру, Лотяну, Доги и скольких других еще стали широко известны далеко за пределами зеленолиственного края. И, как выразился один поэт, им дал крылья для полета русский язык.

...Нас целый автобус. Виктор Астафьев, Лариса Васильева, Владимир Жуков, Даниил Гранин, Лев Ошанин, Василий Белов, Владимир Бешлягэ, Олжас Сулейменов, Мария Прилежаева, Геворг Эмин, Виталий Озеров, Григоре Виеру... Идут Дни советской литературы в Молдавии. И мы, все участники этих Дней, едем к Пушкину, к Александру Сергеевичу. В селе Долна, через гору от моего села Милешты, где в годы моего детства за русское слово наказывали плетьюми, стоит памятник великому Пушкину. В молодые годы, когда скитался здесь и оглашал пустыню своею дивной «лирой северной», Александр Сергеевич приезжал в Долну. По преданию, здесь, между Долной и селом Бурсук, он увидел Земфиру и Алеко. Мы, представители всех свободных народов Страны Советов, едем в до-

лину Долны со словами благодарности тому, чей великий язык стал нашим общим родным языком.

Я умею говорить по-русски,  
Потому беседовать могу  
С братом-негрѣм, с докером французским,  
С другом на кубинском берегу.

Я ко всем наукам ключ имею,  
Я со всей Вселенною знаком —  
Это потому, что я владею  
Русским всеохватным языком!

Русский язык, этот бесценный венец, в который прибавляли и прибавляет немеркнущие самоцветы выдающиеся мастера русского слова, пришел к нам, нерусским людям, во всей своей красе после Октябрьской революции. Русский язык — это сказочное сокровище, это богатство, которое с каждым днем пополняется, это дар, который никто не отнимет, это счастье бесконечных открытий и встреч с прекрасным. А разномастные хулители всего советского не устают похабить своей ложью наш язык. В потоке их книг, журналов, статей, радио- и телепередач видится одно-единственное — злоба, граничащая с безумием. Еще свежи в памяти события прошедшего лета. Какие только преграды не были возведены на пути молодежи мира к Москве! Но Олимпиада победила, несмотря ни на что. Вечером 3 августа, после того как погас олимпийский огонь в Лужниках и взгрустнувший мишка поднялся в огнях прощального салюта, в моей квартире зазвонил телефон. В трубке раздался голос человека, с которым я обменялся визитными карточками во время одной из международных встреч.

— Я звоню вам из ФРГ, — говорил он взволнованно. — Нас здесь лишили возможности смотреть Олимпиаду, но мы поехали на автобусе к границам ГДР и сегодня прослезились вместе с вашим симпатичным медвежонком... Правда, мишка ронял слезу от грусти расставания с Олимпиадой, а мы здесь плачем от досады и горя, от стыда за тех, кто пытается задушить правду о Москве и о вашей стране...

Человек этот говорил по-русски.

Когда-то жандарм сжег на моих глазах книгу стихотворений Александра Полежаева. Он спалил бумагу, а образ, запечатленный в моей памяти, превратить в пепел не смог, и я иду в Библиотеку имени Ленина. Лишь одно движение руки — и перед моими глазами карточка с точным названием книги. Еще чуточку терпения — и произойдет встреча.

По ковровой дорожке между рядами столов, за которыми сидят, склонившись, сотни читателей, неслышно идет девушка. Мне кажется, что она движется очень медленно, идет из того отдаленного довоенного времени. Минута тянется бесконечно. Но вот девушка приближается, протягивает книгу:

— Вам это?

Я держу на раскрытых ладонях давно сожженную книгу. Я вижу, как она горит, и, наверно, изменился в лице, потому что голос звучит снова:

— Это?

Не могу произнести ни слова, и девушка, пожимая плечами, уходит — мало ли чудиков приходит в библиотеку...

Сквозь пелену, заставляющую зрение, вижу, как играют язычки того давнего пламени, как они подбираются к портрету человека с печальным лицом, но делаю над собой усилие — и огонь исчезает. В моих руках та книга. Читаю: «Стихотворения А. Полежаева с портретом автора и статьей о его сочинениях, писанною В. Белинским. Издание второе Н. Солдатенкова и Н. Щепкина. Цена 50 к. сер. Москва, в типографии Э. Барфкнехта и комп. 1859». Открываю и смотрю на портрет. Молодой офицер, густые усы, печальное лицо — чуть похож на Лермонтова.

— Здравствуйте, Александр Иванович! Вас не сожгли! Вы живы!

Перед моими глазами проходят те, которые научили меня русскому языку. Спасибо им.

Москва, сентябрь, 1980 г.

<sup>1</sup> Из стихотворения Семена Данилова «Мой русский язык» в переводе с якутского Михаила Львова.

# О ЧЕ РЖИ ЖАШУИХ ДЖЕИ

ЕГОР ЯКОВЛЕВ

★

## ДО ЧЕГО ЖЕ ТРУДНО ХОРОШО РАБОТАТЬ!

*Шагая за конвейером Волжского автозавода*

**С**лучается, что и в Тольятти встречаешься с привычным. Едешь, скажем, в сторону главного конвейера, а ориентиром служит многоэтажная, просматривающаяся насквозь коробка незаконченного заводоуправления. Выходит, и здесь действует общее для всех правило: сразу не построил — потом долго не завершишь.

Впрочем, это лишь присказка. Куда как чаще поражают масштабы созданного, безотказно действующего. На том же пути к заводу — яркие щиты-транспаранты с броскими надписями: «ВАЗ — 170 километров конвейерных линий», «ВАЗ — 19 тысяч единиц основного технологического оборудования», «ВАЗ — 300 автоматических линий», «ВАЗ — 10 тысяч деталей для «Жигулей». Щиты-транспаранты появились, надо полагать, еще во времена пуска завода.

В музее истории завода хранится объемистый том — красный коленкор обложки, золото тисненых букв: «Очерки истории ордена Трудового Красного Знамени Волжского автомобильного завода имени 50-летия СССР». Этот труд создал не историк — его написал начальник планово-экономического отдела ВАЗа Борис Михайлович Кацман. Выступал когда-то на заседании генеральной дирекции, настаивал, торопил: «Пока мы все здесь и все живы — надо не откладывая заняться историей завода». И на последнем для него совещании все время посылал записки — друзья хранят их: «Надо как можно быстрее решить...», «Очень важно успеть завтра...» Жизнь оборвалась сегодня, не в больничной палате — за письменным столом. Много не успел, а вот о заводе, его людях рассказал — передал эпоху создания ВАЗа. «Мы все жили тогда ясным сознанием: делаем огромное дело, — писал Борис Михайлович. — Каждому из нас нужно было освоить массу новых для себя знаний, преодолеть психологические и прочие барьеры. Все нужно было успеть к сроку. Времени не хватало. Прекрасное было время!»

В апреле 1970 года появились первые «Жигули» — помните, как их осматривали, ощупывали, разве что на зуб не пробовали? А в октябре семьдесят четвертого завод достиг проектной мощности, поднялся на порог своей зрелости. И все последующие годы — десятая пятилетка — стали для Волжского автозавода, его коллектива проверкой того, что было создано, внедрено, задумано. Стремление к ритмичной работе утверждалось как непреложное правило. Его нарушили лишь дважды: был день, когда разливом снесло линию электропередач, в другой — снежные заносы не дали автобусам с рабочими пробиться к заводу. Намерение выпускать новые модели закреплялось практикой постоянной модернизации той первой машины, с которой все начиналось. Теперь с конвейера сходят непрерывной чередой шесть моделей, а с ними и сельский вездеход «Нива». Наконец, принципы организации — централизация управления, бригадный метод, прогрессивные формы оплаты — складывались в систему. Она отмечена решением ЦК партии, внедряется на других предприятиях.

Таковыми были для Волжского автозавода годы, которые соединяются в нашем летоисчислении как один шаг — от съезда к съезду. А измеряется пройденный путь (не одного коллектива — всех нас) не только тем, что построено и пущено, выращено и убрано. Итоги, которые подводят партийные съезды, задачи, которые ставят, выражают и современный уровень нашего общественного мышления и пути его развития.

...Время, как и конвейер, знает лишь одно направление движения — только вперед. И вот уже новый город, небывалый размах производства, даже безукоризненная ритмичность работы — все начинает уместаться в наших представлениях об обыденном. И яркие щиты-транспаранты если поражают воображение, то лишь приезжих. А те, кто с окончанием смены бурным потоком минует проходные, толпится подле автобусов, а лишь присев, устало, всем телом откидывается на спинку кресел (скорее бы отдохнуть), — для них эти броские надписи давно уже не новость. 170 километров конвейерных линий — пойдй-ка обслужи их, совмести движение, да не однажды, а изо дня в день. 19 тысяч единиц основного технологического оборудования — оно работает без усталости многие годы, и приходится все время поддерживать, ремонтировать, заменять и закупать технологическое оборудование. 300 автоматических линий — десятки тысяч агрегатов, и все нагружены до предела, выйди из строя хоть один — беда. 10 тысяч деталей для каждого автомобиля — их надо сделать самим, это еще полбеды, труднее договориться, заказать, вовремя получить и завезти все нужное от поставщиков...

В общем, будни.

— Постоянного взаимодействия между стабильными объемами производства, как на нашем заводе, и обновлением техники, всего предприятия пока не существует. А годы идут — оборудование, да не только оно, требует ремонта, модернизации. Отсюда растут вложения, а это, естественно, сказывается на экономических показателях, — говорит заместитель генерального директора по экономике и планированию П. М. Кацура.

Нынешний генеральный директор ВАЗа А. А. Житков вспоминает. Накануне пуска завода вел по цехам очередную делегацию. Рассказывал, объяснял. Гости слушали заинтересованно, не перебивая. И только прощаясь, кто-то заметил: «Великолепный завод — это просто мечта, которую и представить себе было трудно. Но возникает вопрос — чем же вы станете заниматься, когда все будет сделано, пущено, пойдет своим ходом?»

Не знаю, ответил ли в тот раз Анатолий Анатольевич. Сегодня он говорит:

— Мы все пережили героическую эпоху становления завода. Но и сейчас нелегко. Тогда все создавали на чистом месте, теперь, запуская в производство новую модель, приходится взаимодействовать с тем, что сложилось. Спросите-ка любого портного, что проще — шить заново или перелицовывать?

Проникнуть в жизнь ВАЗа непросто: подавляют все те же масштабы. Каждые двадцать секунд сходит с конвейера автомобиль. Большие цифры гипнотизируют: 180 машин в час, 2500 в сутки, 700 тысяч в год. Каждый час в товароборот страны поступает продукции более чем на миллион рублей. Астрономические величины заслоняют те обыденные, скажем, ежесекундные трудности, которые приходится преодолевать, выпуская каждую машину — всего лишь одну, но совершенно конкретную, как та, на которой едешь сам или хотел бы купить. А перед тобою главный конвейер движется непрестанно. И так же плавно поступают к нему части будущих автомобилей. И в этом же ритме трудятся люди — все выверено, отлажено, и правда начинает казаться: идет своим ходом. Ситуация, как ни странно, напомнившая мне остров Кунашир. Прилетают гости в Южно-Курильск и всегда удивляются: «До чего же у вас хорошая погода». А хозяева только усмеваются в ответ: «В плохую погоду к нам и не прилетают». Какие уж там самолеты, когда сотрясают остров подземные толчки, носится тайфун и перемахивают волны через мыс Весло, сухой и зеленый в солнечный день...

А если взять под наблюдение всего лишь один автомобиль? Пройти за ним по конвейеру, совмещая, так сказать, пространство и время: через полтора километра и спустя шесть часов произойдет обыкновенное чудо — 10 тысяч деталей, соединившись в автомобиле, дадут движение. Может быть, в конце пути все станет яснее? Было же замечено — не существует человека самого по себе, он всегда часть суши; и этот завод не остров в океане — часть нашего материка.

...Ряд за рядом — к старту готовы — выстроились разноцветные кузова будущих машин. Накопитель. Отсюда, чуть покачиваясь на крюках грузонесущего конвейера, движутся они к конвейеру главному, опускаются на его грудь. И так, читатель, пришла пора выбирать «наш» автомобиль. Какой цвет кузова больше привлекает — желтый, бежевый, зеленый? Или же тот, который особенно в моде, — «белая ночь», а может быть, «снежная королева»? Не станем, однако, нарушать привычное: остановимся на первом попавшемся, как и предлагают нам чаще всего в автомобильных магазинах.

Вышел из накопителя очередной кузов — цвет рубин, модель 21011, № 3600804, — его и изберем, за ним и двинемся в путь.

Позади уже многие этапы производства: штамповка, сварка, окраска. И в 21 час 04 минуты кузов вышел на главный конвейер. Отсюда по телетайпу операторы передают информацию в цех обивки (надо предусмотреть ее цвет согласно цвету кузова), в цех сборки моторов (там готовят для нашего автомобиля двигатель — его детали сегодня же были отлиты в металлургическом производстве). А теперь загорелась, забилась тревожными сполохами желтая сигнальная лампа: на линию сборки моторов поступил очередной блок цилиндров — чуть продвинулся вперед, и опустилась клемма. Отбит порядковый номер — 48394721. Через три часа этот двигатель должен встретиться на главном конвейере с нашим кузовом — соединиться с ним навсегда. А номера их совмещены в памяти электронно-вычислительных машин уже сейчас. Одним словом, движение только начато, заботы же о будущей машине идут далеко вперед...

Времени десятый час, а в кабинете начальника центрального производственного управления А. И. Шенбергера все еще звонят телефоны, мигают разноцветные глазки селектора, толпятся люди. Прежде чем уехать домой (в половине седьмого утра вновь появится на заводе), Александр Иванович проверяет, как идут дела. Говорят здесь быстро, отрывисто: «Ковер только на завтра. Сальник на полдня. Проставки к бензонасосу, майлар-18...» Начальник управления делает пометки в списке, иногда уточняет и снова занят пометками.

Много лет назад — тогда начальник цеха Алтайского тракторного завода — Александр Иванович писал в местной многотиражке: «По нашему глубокому убеждению, нет настолько сложных вопросов (если вовремя займешься), чтобы поставить под угрозу срыва работу завода». По тем временам это действительно было лишь убеждение — теперь суть его занятий. Центральное производственное управление определяет повседневные ритмы завода, планирует работу и занимается ее обеспечением.

На Волжский автозавод Александр Иванович приехал в самом начале — тоже начальником цеха. Но не оказалось в цехе ни трудовиков, ни энергетиков, ни ремонтников. Даже транспорта своего не было — все обеспечивали другие службы. Централизация управления. На первых порах просил: «Дайте мне людей, полномочия, а я обеспечу работу». И всякий раз слышал в ответ: «Умейте заставлять работать на себя, учитесь взаимодействовать». На этом настаивал прежде всего В. Н. Полжков, в то время заместитель министра автомобильной промышленности и генеральный директор ВАЗа. Взаимодействие как осознанная необходимость.

И ничего не поделаешь — приходилось переучиваться. «До того было непривычно, так тяжело давалось это взаимодействие, словно сам себя за волосы поднимаешь, — вспоминал один из старожилов. — А выбора не было: хочешь работать — действуй согласно правилам предложенной игры». Теперь, бывая на оперативках, которые каждое утро проводит генеральная дирекция, всегда обращаешь внимание: каждый говорит только о своих делах, не ссылаясь на другого, не стараясь в упущениях соседа найти себе оправдание, — сказывается привычка к взаимодействию. Объясняют на заводе принципы организации и говорят обычно: у нас все построено на противоречиях. Это в том смысле, что твои неполадки сразу же отзовутся на делах смежников. Противоречия, которые каждый вынужден преодолевать, воспитывая тем самым привычку к бесконфликтной работе. И нынешние руководители цехов, других служб — инженеры, начавшие на ВАЗе свой трудовой путь, — не мыслят иной организации. Попади в другие условия, где цех — это мини-завод, мастер за все в ответе, а значит, и судьбы производства в его руках, вряд ли смогут работать.

Поставленная в начале пути задача, ее бескомпромиссное, заметим даже — волевое, осуществление со временем начинает работать на себя, создавать свои накопления, образует, если можно так сказать, свой культурный слой. Именно с самого начала пути, как бы это ни было трудно. Конечно, можно всегда и отложить: построим, наладим, пусть — тогда и займемся. Но и тогда придется начинать с нулевого отсчета, если не сумели прежде воспитать привычки, в данном случае к взаимодействию. А впрочем, так происходит всегда: каждый новый шаг немалым без предшествующего ему...

По-курортному тихая улица Омска привела меня как-то к подземному переходу — сделали его на пути к новому Дворцу пионеров: нельзя рассчитывать на внимание подле светофора торопящейся сюда детворы. Спустился вниз и зажмурился от яркости красок — все стены в мозаике. Выполнили ее по рисункам все тех же ребят, что приходят в свой дом. 129 детских рисунков, передающих представления о мире — прошлом, настоящем и будущем. А потом был и сам Дворец пионеров с великолепным зрительным залом, незабываемой фотовыставкой, гимнастическим залом для пловцов. Здесь же.

понятно, и бассейн. Над ним разбегающиеся волны потолка от светло-салатных до густо-зеленых — от мелкой части бассейна до самой глубокой: взгляни на потолок и поймешь, далеко ли заплыл. На улице еще бассейн, но совсем мелкий — для всех, кто хочет: приходи и бултыхайся в нагретой солнцем воде. Брызгаются, визжат малыши с самого утра и до вечера.

Во всем этом были приметы нашей нынешней жизни: давно ли величали дворцом любой старенький особнячок с парадной лестницей да чудом уцелевшей фигуркой купидона с облупленным носом. Но было и свое, омское, если задаться вопросом, почему именно в этом городе нашли так много оригинальных решений, выдумки, вложили, наконец, столько заботы и в этот подземный переход и в сам дом для детворы. Нет, понимаю — не только здесь встречаются талантливые архитекторы, увлеченные педагоги, энтузиасты-строители. Но важно, однако, не только хотеть и уметь, надо еще доказать, добиться, чтобы согласились с тобой окружающие — и они тоже должны быть к этому готовы. А иначе услышишь в ответ: стоит ли тратиться на мозаику ради отнюдь не совершенных рисунков, проще отделать стены кафелем; для чего разрисовывать потолок по глубине бассейна — ребята все равно занимаются под присмотром тренера?.. В Омске поступали не как проще, а как лучше — в этом как раз и было свое.

С четверть века назад в этом тогда степном и пыльном городе началось движение, редкое по своей гуманности и небывалое по охвату: у взрослых и детей появились свои деревья, которые они посадили, за которыми ухаживали; свои деревья у каждого отца и у каждого сына, у каждой матери и у каждой дочери, у всех горожан и у председателя горисполкома Николая Александровича Рождественского — первого зачинателя этого благородного дела. Так рождался город-сад и укреплялась привычка быть внимательными ко всему, что касается жизни города.

И тогда же в сквере подле Политехнического института соорудили большой фонтан. Отказались от типовых проектов (так уж повелось — все привлекательное, запоминающееся создается вопреки им) и построили свой. Изысканностью форм, законченностью линий фонтан привлекает и сегодня, но больше всего потому, что не похож ни на один другой. Вот так. Можете не соглашаться со мной, но уверен: надо было когда-то начать с оригинального фонтана, чтобы спустя время построить Дворец пионеров, подобного которому еще нигде не приходилось видеть, и небывалый подземный переход к нему.

Электронно-вычислительные машины, став одним из символов нашего времени, завоевали право на свои поколения. Приходится соглашаться с тем, что, не создав первое поколение этих машин, нельзя браться за четвертое или, на худой конец, третье поколение. Но и в других делах, пусть более скромных, есть тоже своя очередность, свои этапы и свои поколения...

Управление, которым руководит теперь на Волжском заводе А. И. Шенбергер (был же когда-то против централизации), и есть наиболее яркий пример этой централизации. Взаимодействие всех подразделений, весь внутризаводской транспорт — все в руках центрального управления. Через его склады проходят материалы, детали — десятки тысяч наименований. И нет здесь долгосрочных запасов: окажись — негде было бы и хранить. Поток поставок сливается с потоком производства. Взаимодействие внутри немислимо без взаимодействия вовне.

Для работников управления день сегодняшний чаще всего вычеркнут из календаря: отработан, пережит еще вчера, третьего дня. И Александр Иванович — человек, который живет заботами на послезавтра. Ни ночью, ни днем не прекращается учет материалов. Постепенно из сотен наименований определяется 50—60: детали, которых нет в достатке на два ближайших дня. И все усилия направлены к тому, чтобы «закрыть дефицит»: доставить к сроку все недостающее — поездом, машинами, нередко самолетом.

Но правила, как известно, не обходятся без исключений. Случается порой, что, перешагнув границы завтрашнего дня, нехватка материалов врывается в день нынешний. Сегодня на исходе уплотнитель для переднего стекла. Балаковское объединение Резинотехника не всегда справляется с поставками. А ежедневно нужно тысячи метров уплотнителя: обтянутые им стекла непрерывной чередой движутся из цеха к месту сборки.

— Уплотнителя осталось на два часа работы, — сообщает диспетчер.

— Возьмите взаимобразно в центре запасных частей, — говорит Александр Иванович.



— Взяли.

— Надо продержаться до конца второй смены. Выясните, когда вышла машина из Балакова.

...Балаково строится — одна сторона улицы будто наступает на другую: застывшие в своей бетонной наготе многоэтажные корпуса, а против них подслеповатые домишки, укрыпшиеся за частоколом заборов, спрятавшиеся в тени садов. По одной из таких улиц в колонне других машин пробирается тяжелый грузовик — везет те самые уплотнители, которых ждут не дождутся на автозаводе. За рулем бригадир транспортного управления ВАЗа С. А. Дувалкин. Отчего же так задержались, Семен Александрович? Причина все та же: простоял под погрузкой. 6 грузовиков постоянно курсирует между Тольятти и Балаковым. Закончен рейс — в кабину садится сменщик. Дорога только в одну сторону десять часов, а бывает, столько же времени занимает погрузка. Когда начинают слипаться глаза, водитель остановит машину у обочины, соснет часок-другой — и снова в путь.

Набирает скорость, все дальше уходит по степной дороге грузовик. Сумерки остались позади, темнота кругом.

Прошло тридцать восемь минут с того времени, как двинулся по конвейеру наш автомобиль. Появились детали под капотом, задние и боковые фонари, укреплены разноцветные переплетения проводов, ручной тормоз, амортизаторы... И очередной участок — здесь установят передние фары, проложат уплотнитель на дверях, багажнике. Последним и занята молодая женщина: быстрые удары молотка — резиновый жгут ровно обтягивает острый край металла.

Девять лет работает Люба Нефедова на конвейере в одной бригаде — выполняет одну и ту же операцию. За это время народ в бригаде сменился, и не раз. Из тех, с кем начинала Люба, остались лишь единицы. Недавно чуть не распростились и с бригадиром Николаем Казлюком. Посланцы из Тюмени уговаривали парня отправиться на нефтеразработки. Зарботки там приличные, а жить останется по-прежнему в Тольятти: на самолете отвозят на работу, а через две недели, закончив вахту, возвращают отдыхать домой.

Мелькает резиновый молоток в руках Любы Нефедовой — ни одного лишнего движения. За смену через ее руки проходит 400 машин. Девять лет на конвейере. Известно, что на монотонных операциях каждый второй рабочий стремится заняться иным, более квалифицированным трудом. А Люба все время оставалась в бригаде, хоть могла, да и не раз, перейти на другую работу.

Без суетни, следуя давно уже выработанному ритму, трудится бригада. Но вдруг словно ветерок пробежал: девушка, занятая установкой фар, всплеснула руками, бросилась к другим работницам. Они все вместе к машине. Несут новые фары, снимают те, что были прежде. Сделали и разошлись. Опять все спокойно. Девушка установила по ошибке не те фары, которые требовались для этой модели, а заметила, когда конвейер вот-вот поднимет машину над очередным пролетом — попробуй догони ее потом на другом участке. И все заторопилось — быстрее исправить оплошность одного. Это и удерживает прежде всего в бригаде — взаимная выручка, привычка к своему коллективу. Да, Нефедову устраивала зарплата. Приятно было взглянуть на себя как бы со стороны, участвуя в общей и слаженной работе на конвейере. (Признаюсь, нигде не видел девушек красивее, чем на главном конвейере ВАЗа, — вот уж когда и вправду работа красит человека.) Решающим моментом, однако, стали те отношения, которые сложились в бригаде. Много ли дано усовершенствоваться на конвейере, если все здесь выверено несчетным повторением одних и тех же операций? И все-таки сумела бригада облегчить свою работу. Тянется вдоль участка высокий порожек — сделали ребята в свободный день, девушкам с него проще дотянуться до машины. На краю стола укреплены стальные ролики, тоже местное усовершенствование: помогает расширить прорезь уплотнителя — легче его устанавливать.

Удар за ударом — заканчивает Люба обивку багажника нашего автомобиля. Сейчас, захватив молоток, взяв новый кусок уплотнителя, пойдет навстречу следующей машине. Есть на главном конвейере рабочие, что трудятся с самого начала и отсюда же собираются уходить на пенсию. Но это исключение, общее же — спустя несколько лет перейти на другую работу. Сетовать по этому поводу особенно не приходится. Преимущество конвейера, ускорение, которое принес он когда-то промышленному производству, все более отступают в прошлое, теряют свою ценность перед ценностями на-

шего времени — заинтересованностью рабочего в своем труде, возможностью выразить самого себя через этот труд.

В металлургическом производстве завода трудится сталевар Виктор Буденный. В Серове окончил металлургический техникум, работал подручным в Златоусте. И лишь на ВАЗе спустя почти полтора десятилетия, как связал себя с металлургией, стал старшим плавильщиком. А занятия продолжаются и теперь. Дома, отдохнув после смены, открывает толстую тетрадь. По главам, страница за страницей записано в ней все, что прочел по металлургии, соединил с практикой работы, сделал своими выводами.

Недавно Виктор сдал экзамены на шестой разряд, достиг формального потолка в своей профессии — выше разряда не бывает. И тогда же мы рассуждали с ним, не пора ли подумать о другом: стать, скажем, мастером, начальником участка, а со временем и цеха?

— Нет, я с этой работы никуда не перейду,— говорил Виктор.— Другой мне не надо. Понимаете, двух похожих плавок никогда не бывает. И я переживаю каждую, стараясь все предусмотреть, словно проверяю всякий раз себя...

Подобный ответ вряд ли услышишь от рабочего главного конвейера. Молодого человека, вступившего в жизнь со средним образованием за плечами, не может надолго привлечь работа, освоить которую можно буквально в несколько дней. И ничто не может помешать ему выбрать другое занятие, где от умения, мастерства зависит большее. Все чаще на главном конвейере появляются в свой трудовой семестр студенты, встречаешь школьников старших классов — проходят производственную практику. В бригаде, где сложился постоянный костяк, новички быстро втягиваются в общую работу...

Собралась наконец и Люба Нефедова — пора расставаться с конвейером, уже давно ожидают ее на новом месте. А мастер всякий раз просит еще поработать хоть день-другой: некого поставить на замену.

— Раньше, бывало, идешь в отдел кадров и отбираешь тех, кто годится,— вспоминает В. Д. Дашков, он тоже давно работает на конвейере, вместе с Нефедовой начинал слесарем, стал мастером.— Именно отбираешь — желающих было много. А теперь любому пополнению рады...

Во времена строительства, пуска завода приходило более 10 тысяч писем в день с предложениями приехать сюда. Страна строила ВАЗ — и все хотели на нем работать. Но и тогда, когда лишь успевали принимать рабочих, пришла вдруг удивительная для той поры телеграмма: «Выехал поездом №... вагон №... Плотник Голонышко». Пошутили, подивились — что за оригинал нашелся, специально извещает о своем прибытии,— машину тем не менее к поезду послали. Как знать, может быть, эта телеграмма была первым напоминанием, что и при самом большом наплыве людей надо разглядеть в толпе лицо каждого. Особенно теперь, когда нет, естественно, былого притока.

Старшина 2-й статьи К. Г. Сахаров рассказывал, как привели его впервые на военный корабль:

— Махина, какую в жизни не видел. Оставили внизу, а я и не знаю, куда податься, как наверх выбраться... Мне нашили на робу ноль — это значит новичок. Не обошлось, разумеется, без переживаний — бывало, и подшучивали: салага, мол. Но каждый объяснял, все старались помочь. А через месяц спорили мою первую нашивку, и знал я к этому времени весь корабль, все порядки на нем...

Историю эту, надо думать, Сахаров повторял не раз — сегодня Константин Григорьевич заместитель генерального директора ВАЗа по кадрам и сетует на то, как встречаются порой на заводе новичков:

— Только появился — не прочь поставить на самое трудное место. Идут обедать, а его не предупредили, что надо талоны кушать. Все садятся на свои места за столом — у него места нет. Пошел в буфет — очередь. Опоздал — его упрекают. И началось, поехало. Вот и случается — не приживаются ребята. А сейчас каждый человек на счету...

Текущая кадров на заводе не так уж велика (в сравнении, понятно, с другими предприятиями) — не выходит за 10 процентов. Но для стотысячного коллектива это 10 тысяч человек. И не хватает людей.

Шефствуют над школами, связаны со многими воинскими частями, посылают за пополнением своих рабочих в области, откуда они приехали. А положение зачастую складывается так, что приходится обивать пороги военкоматов в надежде на демобилизованных воинов, дежурить на вокзалах, ожидая приезжих. И это на заводе, где так много, казалось бы, делается для закрепления кадров, привлечения молодежи. Действует система профессионального продвижения. Общежития похожи скорее на перво-

классные гостиницы. Прекрасный профилакторий, целый медицинский городок, у каждого производства базы отдыха на берегах Волги. Сколько об этом было уже написано, сказано, снято на киноленту.

— Можно, конечно, упрекать каждого увольняющегося: тебе, мол, все условия созданы, а ты уходишь, — говорит Константин Григорьевич. — Но что-то его не устраивает, и в этом суть. Все, кто поступает на завод, желают спокойно работать, удобно жить, хорошо отдыхать — над этим и надо думать, здесь и искать. Прежде всего необходима разгрузка рабочего — исключение операций с тяжелым трудом. В цехе крупной штамповки — там особенно трудно с людьми — автоматизировали несколько линий, и каждую из них вместо пятнадцати человек теперь обслуживают четверо. Мы внимательно рассматриваем, например, возможности широкого использования роботов на главном конвейере. Впрочем, разгрузка нужна не только физическая, но и психологическая. Обед занимает пятнадцать минут, оставшиеся тридцать — лекции, беседы, кинофильмы, встречи с интересными людьми. А может быть, полезнее в эти полчаса ни с кем не встречаться: дать рабочему побыть одному, посидеть в удобном кресле в полутемной комнате, послушать музыку, да не любую, а ту, которую он хочет... На нашем заводе труд более интенсивен, чем на многих других предприятиях. Значит, и запросы людей здесь должны удовлетворяться более полно. Конечно же, многие неудобства — трудности с жильем или, скажем, отсутствие театра в Тольятти — определяются тем, что город рождался так же стремительно, как и завод. Но это лишь объяснение. А на практике выходит, что нам не удается пока удовлетворить в полной мере очень высокие запросы современного советского рабочего. Именно здесь и трудности и решение кадровой проблемы.

Перелистываю страницы блокнота — запись беседы с заместителем генерального директора: неужто не высказал ни одного кардинального предложения, которое позволило бы решительно изменить ход дел? Крепко, однако, живет в каждом из нас привычка — я бы назвал ее привычкой немедленного эффекта: начинанием, почином, инициативой сразу же, с места в карьер избавиться от того, что не дает покоя. Не стоит, однако, искать в этом особого криминала — не по злому же умыслу утвердилась эта привычка: идет от прежних времен, когда нельзя было не торопиться — использовали каждую возможность и добивались невиданного прежде ускорения на первых, еще не нагруженных витках нашей жизни. Но и в самом начале пути — на заре советской власти — лишь только заходила речь о явлениях социальных, об изменениях в жизни общества, В. И. Ленин неизменно называл исторически продолжительные сроки. Говорил о бюрократизме и отмечал: «Борьба с бюрократизмом потребует десятилетий». Касаясь совершенствования государственного аппарата, подчеркивал, что «едва ли не самой вредной чертой этой работы будет торопливость». Диктует свои последние статьи, советвал: «Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д.». И весной восемнадцатого, когда так велики были ожидания и кому-то казалось — до коммунизма рукой подать, Владимир Ильич говорил: «Путь организации — путь длинный, и задачи социалистического строительства требуют упорной продолжительной работы и соответственных знаний, которых у нас недостаточно. Едва ли и ближайшее будущее поколение, более развитое, сделает полный переход к социализму».

Сегодня все мы свидетели и участники небывалого размаха производства в мире невероятно усложнившихся взаимосвязей, каждый виток нашей жизни нагружен до предела и как никогда прежде приходится считаться с теми условиями, которые сами и создавали. Недавно говорили об этом с первым секретарем Львовского горкома партии Г. И. Бандровским, стараясь отличить то новое, что утвердилось в наших взглядах за последние годы. Генрих Иосифович отстает мысль, что сейчас нерешенных проблем до заводской проходной значительно больше, чем за ее порогом — на производстве. Размышляя о воспитании руководителей, замечает, что пора бы перестать рассчитывать на немедленные, сиюминутные результаты от любого дела, которым занят. А начал разговор с утверждения: одноплановые результаты не приносят желаемых результатов. Так и сказал — одноплановые, имея в виду те начинания, смысл и механизм которых свободно умещаются в заголовок газетной статьи. К этому убеждению привело моего собеседника, пожалуй, тоже начинание, но основанное на глубоко научных принципах и постижение которого требует систематического изучения. Речь о львовской комплексной системе управления качеством продукции. Начинание, отражающее современный уровень мышления.

И все-таки теплится еще кое в ком надежда: выступи с очередной инициативой, и будет как в сказке — станешь получать не вкладывая. Вот одна из таких печальных историй, услышал ее, когда собрался однажды пересечь Татарский пролив на пароме «Сахалин-3». И прежде был слышан об этих мощных 5 великанах-близнецах, обеспечивающих переправу с острова Сахалин, из Холмска — на материк, в порт Ванино. Теперь оказался на палубе одного из них.

Резво набегают белесая полоса тумана, исчезают за ней яркие огни порта. Капитан Р. Х. Гиниятулин прильнул к окуляру радара. На его зеленоватом экране, словно в игральном автомате, видны контуры берега, вспыхивают белесые точки — проходят поблизости суда. «Курс 337», — дает новое направление капитан и проводит карандашом линию на карте. Она напечатана на пластиковом листе, закончен рейс, и стираются пометки: не напасть же карт, беспрестанно плавая туда-обратно. Здесь многое продумано, приспособлено к бесконечной повторяемости челночных рейсов, четко взаимодействующих с железной дорогой. Тем неожиданней звучит команда: лечь в дрейф. Случилось что-нибудь из ряда вон выходящее? Да нет, по здешним порядкам привычное. Паром «Сахалин-4», выйдя после внеочередного ремонта, занял причалы порта.

Начинали с того, что путь от Холмска до Ванина и обратно, включая погрузку, занимал тридцать два часа. Общими усилиями всех, кто связан с переправой, сократили время рейса до суток. Прекрасная инициатива — вместо трех рейсов паром совершает за то же время четыре оборота. Однако сократилось время стоянок — значит, возросло время работы двигателей и необходимо пропорционально увеличить время, средства для ухода за ними. Этого не произошло, и вскоре участились поломки, начались внеочередные ремонты, забравшие те преимущества во времени, которых удалось было достичь.

Еще в порту, уловив минутку, капитан заторопился к будке диспетчера — успеть бы позвонить жене. Семья живет здесь же, в Холмске, к его причалам дважды в сутки пришвартовывает Гиниятулин свой паром, а дома не бывает по многу месяцев: пока идет погрузка — не уйдешь, а кончилась — сразу в путь. И другие члены экипажа появляются дома раз в полгода, словно возвращаясь после кругосветного путешествия. Увеличив интенсивность движения парама, надо было позаботиться о подменных экипажах. Но об этом не подумали. Вот и приходят моряки на паром с одной лишь мыслью — как бы побыстрее списаться с него. Велик соблазн — получать не вкладывая. Да не получается так — обходится себе дороже.

А не об этом ли, в конце концов, говорил и заместитель генерального директора ВАЗа К. Г. Сахаров? Не приуменьшал трудности, не старался облегчить их, а видел впереди напряженную и многолетнюю работу.

Нехватка рабочих рук все больше дает о себе знать. И на каждом предприятии, чтобы разрешить пусть лишь сегодняшние затруднения, стараются по большей части создать преимущества в заработках. Этим же и соблазняли бригадира-автозаводца посланцы из Тюмени, принимая на себя к тому же расходы по регулярной доставке на работу и домой — от Волги до Оби. И на самом ВАЗе, испытывая, например, постоянные трудности с людьми в цехе крупной штамповки, не раз уже повышали здесь заработки. Но результаты невелики, а если и есть, то ненадолго. К тому же и повышения эти имеют свои, напомним, весьма строгие пределы. Более действенной, очевидно, могла бы стать дифференциация иного рода: в предоставлении больших общественных фондов, больших возможностей для обеспечения бытовых запросов коллективов тех предприятий, которые по своим экономическим показателям действительно могут служить примером.

Еще за год до того, как вышел Волжский автозавод на проектные темпы производства — к концу 1973 года, — были возвращены средства, затраченные на его создание и на строительство нового жилого района. Но и сегодня в Автозаводском районе Тольятти — здесь и живут те, кто трудится на ВАЗе, — многое оставляет желать лучшего. Существуют общесоюзные, а значит, и весьма усредненные нормы различных сфер обслуживания населения. И если вести от них отсчет, то оказывается: в этом районе обеспеченность торговой площадью составляет 53,2 процента от нормы, мест в предприятиях общественного питания — 61 процент, больничных коек — 66,8 процента, предприятий бытового обслуживания — 24,1 процента, клубов и Домов культуры — 20,2 процента, а мест в кинозалах — 15,7 процента. «Проблемы оказываются разрешимы лишь тогда, когда рассматриваются во всем объеме» — еще одна строчка из записи беседы с Сахаровым.

Минуло еще семьдесят семь минут, давно наступила полночь. Работает вторая смена, трудятся люди в цехах, взлетают голубые искры электросварки, гулко ухает тяжелый пресс, бурлит, сотрясая огромную плавильную печь, раскаленная лава, неторопливо плывут по руслу главного конвейера будущие автомобили. И спешит водитель, гонит по степи свой грузовик С. А. Дувалкин. Ухнет на рытвине машина, и снова гудит мотор — успеть бы к сроку доставить уплотнители для ветрового стекла. Кто же выигрывает в этой гонке, кто придет быстрее — неторопливо движущийся конвейер или несущийся по ночной дороге грузовик?

Вот и кузов нашего автомобиля вползает на участок, где вставляют ветровые стекла. А запас уплотнителя исчерпан до конца, стекла поступают на конвейер с перебивками. Сборщики вставят стекло и ожидают следующее. Рабочие покинули свои места, сдвинулись вперед по ходу конвейера. Это называют здесь смещением: необходимые детали поступают с перебивками и бригада начинает смещаться, стараясь поспеть за конвейером.

Все — больше стекол нет. Сейчас придется остановить конвейер.

Сейчас.

И — остановка.

Заиграла музыка. Кончилась вторая смена. Сразу же опустели пролеты, тишина. Прошел еще один рабочий день. Началась ночная жизнь ВАЗа. Это время ремонтников — идет проверка оборудования, профилактический ремонт, спешная замена деталей узлов — надо пустить станки к началу первой смены.

Наблюдая, как трудятся ремонтники, и задаешься вопросом: какова же все-таки судьба оборудования, которое работает уже второе десятилетие? На сварке, в моторном да и в других производствах большинство станков не имеют дублеров: выйдет из строя — и остановится поток.

— Менять надо оборудование, устаревшее морально, а не физически, — говорит начальник управления главного механика В. А. Грищенко. — Занимайтесь постоянно профилактикой, модернизацией — и оборудование будет вам служить долго.

Да, с каждым годом станки, автоматические линии требуют все большего к себе внимания. Но в то же время происходит и иной процесс — идут накопления на противоположном полюсе. Отработана и действует система профилактического ремонта — программа его заложена в память ЭВМ. Опыт, квалификация ремонтного персонала стали совсем иными, чем были прежде. К тому же ремонтные рабочие, пожалуй, самые уважаемые люди, да и оплачиваются они выше. Наконец, на заводе создано свое станкостроение — оно занято модернизацией, воспроизводством своего же оборудования. Сегодня немало станков, линий, которые работают надежнее, чем было это во времена их установки.

В таком перечислении-скороговорке всего не скажешь, возможно, кто-нибудь и заметит: не проще было бы по прошествии времени установить новое оборудование? На ВАЗе в ответ на это лишь пожмут плечами: зачем говорить об условиях, в которых мы не живем? Никто не отказался бы располагать в достатке рабочей силой или, скажем, на каждый случай иметь под рукой новое оборудование. Но надо действовать в своем времени, использовать его возможности, находить оптимальные для него решения.

Услышав однажды оброненную кем-то из руководителей завода фразу: «Что значит неразрешимая проблема? Такого не бывает, надо найти пути ее решения» — признаюсь, я было насторожился: откуда такая уверенность, не чрезмерна ли? Лишь позже понял — идет от общих, принятых здесь всеми норм: на ВАЗе не признают туговых проблем. Одни решаются сейчас, другие спустя время, и все знают, какой им отведен срок. Но нет, не допускают сбоев, с которыми смирились бы навсегда, о которых и говорить нет охоты — все равно конца не будет.

Отсюда и отношение к делу. Для кого-то неполадки могут стать и поводом и оправданием к бездействию. А здесь ищут и находят выход из положения, как остается пока на своем рабочем месте сборщица Нефедова или ведет на повышенных скоростях грузовик шофер Дувалкин. Но заметьте при этом: люди действуют в условиях системы, которая обеспечивает их бесперебойный труд. А находчивость, воля, особое напряжение сил требуются от них лишь тогда, когда возникают перебои. И это действительно случай, который может нарушить ставшее обыденным, привычным для всех — планомерную работу.

Между прочим, на ВАЗе не любят, всегда настороженно относятся к тому, когда

пытаются поставить их пример в упрек другому коллективу. Обязательно напомнят: надо прежде разобраться с организацией производства, что стало на самом деле системой — работа или ее перебой? И если последнее — что же упрекать коллектив, не ждате же от людей ежедневных самопожертвований...

Года два назад по дороге на Байкал оказался свидетелем чрезвычайного происшествия. Километрах в восьмидесяти позади остался Улан-Удэ, лента дороги тянулась вдоль Транссибирской магистрали, то приближаясь к железнодорожному полотну, то отступая на сотню-другую метров. И вдруг услышали не то что взрыв, скорее почудилось, словно лопнула какая-то гигантская бутылка. Загорелась и разорвалась цистерна с бензином — одна из 50, которые были в составе.

Первыми успели к месту взрыва начальник станции Селенга Л. М. Мокров, с ним пятеро кондукторов. Горячая волна обуглила кусты. Валялась посреди поля вырванная взрывом лобовая стенка цистерны. А сама цистерна — в ней было 63 тонны бензина — развернулась ровным полотнищем, накрыла обе колеи дороги. Взрывом снесло бетонную опору, переломив ее на несколько частей, обнажив ржавые прутья арматуры. Волнами поднялись сорванные рельсы. Горели шпалы. Дымилась вокруг земля, по ней сполохами проносились языки пламени. Взрыв выплеснул огонь на соседние цистерны, и три из них уже полыхали, все больше нагреваясь, закипал бензин, и пары с шипением, как из паяльной лампы, прорывались сквозь люки.

Разделившись на две группы, бегут по разные стороны состава, сейчас поравняются с первой из горящих цистерн. А жар нестерпим, обугливаются соединительные шланги. Закрывая лица, люди лезут в самое пекло. Рванули шланг — отсоединился. — вырвали рычаг сцепки. Теперь можно и оттащить 24 цистерны с хвоста состава подалее от огня. Кондукторов обливают водой, на них дымится одежда. И снова вперед. Обегают горящие цистерны, начинают отцеплять ближайшую к ним. «Как пойдет черный дым — значит, взрываются!» — кричит кто-то. Он вроде и идет, этот черный дым. Еще минута ожидания, еще одно мгновение без взрыва. И тепловоз тянет за собой еще 22 цистерны — теперь с головы состава.

А три продолжают гореть. Подоспевшим пожарным машинам никак не удается сбить пламя. Наконец загушили. Кондукторы подъехали на тепловозе, прицепили цистерны — они еще дымилась, в них еще кипел бензин — и двинулись к себе на Селенгу. По насыпи, словно конвой, ползли две пожарные машины. На месте пожара осталось лишь развернутое полотнище взорвавшейся цистерны.

Позже удалось повстречаться с кондукторами.

— Вас никто не мог обязать лезть в огонь. Не подумали, что можно и отказаться? — Банальнейший вопрос, но по сути, по сути...

— А чего же здесь думать, когда цистерны горят, — ответил один из них, остальные молчали, осуждая, очевидно, суетливую мелочность моих вопросов.

Обратился и к начальнику станции:

— Эта бригада кондукторов на хорошем счету?

— Одна из лучших.

— Вы связываете это с тем, как вели себя люди во время аварии?

Мокров отрицательно покачал головой.

— Нет, прямой связи не вижу. Полагаю, что каждая бригада, случись беда, поступила бы так же.

Начальник станции не желал принизить мужество тех, кто спас состав, он и сам был среди них. Просто Мокров уверен: в подобных обстоятельствах уважающий себя человек не может поступать иначе. И мы все привыкли к тому же: через экстремальные ситуации видим по большей части благородство окружающих людей. А если бы так всегда — в минуты испытаний и в обыденной жизни, на пожаре и без него.

Значит, и самым повседневным занятиям должна сопутствовать столь же высокая мера ответственности. А это зависит от той работы, которую выполняет человек, она и есть воспитатель первой руки. С ее организацией во многом связано осуществление задачи, выдвинутой на XXV съезде партии: необходимо выработать такую позицию, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения.

— Система, которая лежит в основе деятельности Волжского автозавода, воспитывает людей в тех делах, которыми они постоянно заняты, — говорил секретарь парткома И. Рымкевич. — И если со времени пуска предприятия месячная ритмичность ни разу не была нарушена, значит, сказываются усилия людей, их творчество. И в этой напористости решающая, на мой взгляд, особенность коллектива, партийной организа-

ции. Вот она на практике — активная, действенная позиция коммунистов, каждого советского человека, о которой мы так часто говорим...

Здесь, на ВАЗе, обращался с вопросом ко многим людям: что, по их мнению, самое ценное в работе завода? Ответы бывали разными, а мысль в конце концов сводилась к одному: привычка хорошо работать. И обосновывали это примерно так: выйдет из строя оборудование — его можно восстановить; случится беда, не справимся однажды с заданием — наверное, найдут пути, чтобы нам помочь; но если будет утрачена привычка хорошо работать, чем ее восполнишь?

...Было это в начале 1921 года, когда сибирский крестьянин В. Г. Яковенко писал, что пора отказаться от продрозверстки: дает она мало хлеба, «но это еще полбеды», — убивает в крестьянине «любовь к своей пашне», приучает «к небрежному отношению к своему хозяйству», а хуже такого быть не может. В. И. Ленин прочел эти строки и пометил: «В папку о продналоге». А спустя меньше года по инициативе Владимира Ильича Василий Григорьевич Яковенко был назначен наркомом земледелия.

Опустевшие, погруженные в полумрак пролеты. Застывшие на полпути бамперы, сиденья, двигатели, шасси. Остановившийся поток машин на трех линиях главного конвейера. Здесь и наш автомобиль. Настанет утро, все придет в движение, всего должно быть в достатке. Снуют по цехам «пикапы», подаются на заводские пути вагоны, въезжают в ворота колонны машин.

И ведет сквозь дождь по темной насыпи дороги свой грузовик С. А. Дувалкин. Но что это? Неожиданно сворачивает влево, съезжает под откос, разбрасывая комья грязи, движется пахотным полем — туда, где и без него буксуют грузовики. Ревут, надрываются моторы. Редкое бездорожье. Почему же нет дальше пути? Ничейная это полоса: позади совхоз «Прогресс» Саратовской области, впереди село Бортеневка Куйбышевской, а между ними бездорожье. Куйбышевцы дотянули дорогу до своего последнего села — дальше дела нет.

Исключительный случай? Да. Но не станешь же всегда писать лишь о типическом. Стоит порой обратиться к исключениям, которые допускают одни, иначе не понять, как дается другим то, что стало правилом. Помните, взаимодействие как осознанная необходимость — в работе ВАЗа нет и не может быть ничейной полосы. Однако не увлекаюсь ли я, не перехожу грань реального, когда пишу, что здесь не признают туниковых проблем? Не все же зависит от воли и напора этих людей. Вспомните, к слову, балаковское объединение Резинотехники — оно же не в их ведении...

Из Тольятти до Балакова добраться непросто. Мне повезло: подвернулся попутный вертолет. Прежде они курсировали по этой трассе постоянно, подвозя, как говорится, с пылу с жару недостающие материалы. Теперь надобность в этом отпала. И летчики долго кружили над городом, над приземистыми, длинными, похожими на ангары корпусами, выбирая удобную для посадки площадку.

Долгое время коллектив объединения Резинотехники был занят реконструкцией предприятия, пережил все, что обычно связано с ней, — кто испытал, тот знает. Нос вытягивали — хвост увязал: штрафы за нарушение сроков поставок во много раз перекрывали все, что удавалось заработать. Взял штрафы и ВАЗ, это закон. А вместе с этим чем могли поспособствовали в реконструкции. Нужно было — хлопотали о сырье: не для себя — для Балакова. Сюда постоянно приезжали представители генеральной дирекции, работала бригада специалистов из Тольятти — помогли с организацией управления. На автозаводе прошли практику все начальники цехов, бригадиры, даже мастера. Теперь внедряют у себя систему ВАЗа. И наметился перелом, он несомненен: перебой с поставками бывают и сейчас, но правилом становится работа в срок.

Однако ВАЗ получает продукцию от 600 без малого поставщиков. Так не сочтите, будто ратую за то, чтобы его эмиссары сновали повсюду. Любое утверждение, доведенное до абсурда, всегда противоречит здравому смыслу...

Задумаемся над тем, что новое в нашей жизни всегда утверждалось двумя путями. Путь сверху — директивный. (Кстати, мы любим уповать на него, мечтая на досуге, как бы однажды и навсегда покончить со всеми недостатками.) И путь снизу — поиска, начинаний, которые со временем становятся общим достоянием. В него верил Владимир Ильич, говорил об этом с трибуны IX съезда партии. В решениях этого съезда указывалось на необходимость создания образцовых предприятий, которые «становились бы школой промышленного воспитания и очагом хозяйственно-техниче-

ского творчества для обширного района, для целой отрасли промышленности, если не для всей страны». И надо было достигнуть поры социалистической зрелости, воспитать не одно поколение квалифицированных рабочих, специалистов — людей, готовых действовать согласно своему опыту, убеждениям, чтобы этот путь снизу приобрел то значение, которое отведено ему было в последней пятилетке. Свидетельство тому и система ВАЗа и львовская система управления качеством продукции, сотни других начинаний, которые сказываются на экономическом развитии страны, шаг за шагом меняют наш общий стиль работы.

Этот путь не всегда совпадает с координатами идеальной прямой, которую, случается, мы прокладываем в своем воображении. Он отвечает контурам своего времени с его возможностями и с тем, что пока не удалось. Вспомним, на ВАЗе появилось свое станкостроение. И не только потому, что уникальные, единичные станки наиболее разумно здесь и делать, — эти работы лишь пятая часть от общего объема. Остальное восполняет пробелы нашего общего станкостроения. Самим приходится мастерить то, что проще было бы получить от других. Пока приходится...

Несколько лет уже существует во Львове весьма перспективный опыт соединения науки и производства. Это научно-технические комплексы, объединившие ученых независимо от ведомственной принадлежности и специалистов народного хозяйства. Здесь создают и внедряют на ведущих предприятиях научно-технические программы. Результаты, полученные на одном заводе, представляют интерес для других — и они используются, тоже минуя межведомственные барьеры. Характерно, например: коробку передач, принятую в производство Львовским автобусным заводом, одобренную всеми, сконструировали ученые Физико-механического института, прежде никак не связанные с этим предприятием.

Вернувшись как-то под вечер в номер львовской гостиницы, я рассказал обо всем этом соседу. И услышал тяжелый вздох в ответ:

— Опять самодеятельность. Ученые отрываются от работы, создают какие-то комплексы. Не проще ли дать указание тому, кому следует, чтобы сделали новую коробку передач?

Мой собеседник мыслил по идеальной прямой: кто-то должен дать указание на разработку нового узла, получив, в свою очередь, указание, что он должен дать указание.

Между тем разделение науки на три потока (академическая, отраслевая, вузовская) — реальность наших дней. Имея, очевидно, свои организационные преимущества, это разделение порой мешает ученым соединить свои силы. А существующая практика хозяйственных договоров между научными организациями и предприятиями весьма распространена, хотя и не во всем совершенна: само направление работ определяет заказчик, то есть производственник, а не ученый. И во Львове ищут, следуя истине, что дорогу осилит идущий. Не стоит загадывать, приживутся ли научно-технические комплексы в других районах страны. Но так или иначе они прежде пройдут проверку как форма, созданная энтузиастами, в масштабах одной области, в условиях свободного эксперимента. И это очень хорошо.

Одна из особенностей нашей жизни заключается в том, что возможности, которые открывает перед людьми социализм, есть и средство для достижения его целей. Социализм утверждает демократию, и в то же время без последовательной демократизации все возрастающей самодеятельности трудящихся немислимо его развитие. Именно путь снизу бесчисленным множеством своих ручейков определяет во многом общий фарватер страны, решения ее директивных органов.

И наконец, путь снизу, его постоянное самоутверждение в жизни, неотделим от самой конечной цели всего нашего развития: становление личности, обладающей благородным качеством гражданина — умением действовать в своем времени с максимальной пользой для общества.

— Важнейшая задача партийной организации, — говорил мне первый секретарь Львовского обкома партии В. Ф. Добрик, — суметь найти по-настоящему самостоятельных, инициативных людей, суметь их поддержать, суметь создать вокруг них такую атмосферу, чтобы шла спокойная работа, без оглядки и без опаски.

С этим нельзя не согласиться...

На Волжском автозаводе есть немало историй, которые рассказывают охотно и по многу раз — передают из уст в уста. Среди них и притча о маленьком заводе, все время срывавшем поставки большим предприятиям, — и шли телеграммы в самые высо-



кие инстанции одна тревожнее другой и приезжали комиссии одна авторитетней другой. А из Тольятти собрались и поехали инженеры. Пробывали они на том заводике не один месяц, дублируя работу директора и главного инженера, конструкторов и начальников цехов. Да, каждое утро приходили не в свои кабинеты и рука об руку работали с их хозяевами. А потом отправились восвояси. На заводе же остались работать прежние люди, но уже не было повода для тревожных телеграмм. Между прочим, руководителем этой бригады-десанта был Александр Иванович Шенбергер.

...В половине седьмого утра Александр Иванович приехал на завод. В воротах приостановил машину, пропустил забрызганный грязью тяжелый грузовик. Успел Дувалкин — доставил груз к началу первой смены. В кабинете начальника центрального управления взял список вчерашнего дефицита и убрал в нем последнюю невычеркнутую строку — уплотнитель для переднего стекла. Список положил в ящик письменного стола не для истории — в силу своей аккуратности. И начал новый — скоро утренняя оперативка. Списки, сшитые в толстые тетради, занимают весь ящик стола. Каждый листок — день жизни завода, каждая вычеркнутая строка — полученные (наконец-то!) детали, материалы. И за каждой строкой беспокойство, хлопоты, волнения, надежды, упреки, бессонные ночи водителей, решения пилотов о вылете в неблагоприятных метеословиях, спешная разгрузка вагонов, умоляющие телефонные переговоры и ожидание, ожидание, ожидание — когда же привезут?!

По-разному может быть отображен труд каждого из нас. Но, честное слово, не встречал другого случая, когда бы обычные листки, рожденные за письменным столом начальника управления, так красноречиво свидетельствовали своими вычеркнутыми строчками об усилении и энтузиазме огромного коллектива.

Издалека слышно — идет первая смена, разгоняя тишину еще не проснувшихся корпусов.

Заняты рабочие места, торопятся сборщики разложить все, что потребуется им в ближайшие часы. И раздается команда:

— Пуск!

Двинулись грузонесущие конвейеры к конвейеру главному. Тронулся было с места и наш автомобиль. Пошел над ним конвейер, который подает к месту сборки передние стекла. Но пуст он, все до последнего стекла забрали еще с вечера. И только начав свой путь, вновь остановился главный конвейер.

Уплотнители доставлены пока лишь в цех. И там аврал: скорее, скорее подготовить передние стекла для сборки. Поддетел «пикап», водитель не выключает мотор: едва обтянут уплотнителем передние стекла — скорее в кузов и к главному конвейеру. Но все равно уходят, растрачиваются мгновения дарованного времени: на подобные случайности, на простой конвейера за весь день отведено лишь тридцать минут.

Кто-то, быть может, уже не раз пожал плечами: как можно ставить работу огромного завода в зависимость от одного грузовика, одного водителя, который торопится доставить уплотнители. Конечно, имея, как принято говорить, десятикратный запас прочности, все станет проще. Но не от прежних ли представлений идет сама мысль об этих запасах, которые так часто оборачиваются омертвлением огромных ценностей, идет от недоверия к тому, что нам дано наладить бесперебойную работу. Но ведь не придешь к ней, создавая запасы, думая лишь над тем, как обезопасить себя от этой бесперебойной работы, делая шаг вперед и два назад.

Действующая на ВАЗе организация производства диктует свои суровые условия: нет одной детали, всего лишь одной из 10 тысяч, которые вбирает в себя каждый автомобиль, — и остановился поток. Дорого обходится коллективу все еще случающаяся нехватка материалов, деталей. Никакие штрафы, выплачиваемые поставщиками, не покроют, понятно, сбоя ритма. Впрочем, и размеры экономических санкций за недоставку продукции или ее негодное качество не покрывают пока убытков, которые несет предприятие-потребитель. Экономисты ВАЗа когда-то подсчитали: недоставка заднего фонаря к автомобилю обходится нарушителю в 15 копеек, когда недоставка по этой причине готового автомобиля приносит убыток Волжскому заводу в 100 рублей...

Подоспел «пикап» к месту сборки, двое парней берут из кузова переднее стекло, быстро вставляют в наш автомобиль. И снова пошел главный конвейер. Снова переходит машина из рук в руки. Встала на колеса. Установлен двигатель. Пройдет еще три часа — и автомобиль достигнет конца конвейера.

А из нового города в старый — там все еще помещается заводоуправление — идут машины. Руководители завода, производств торопятся на утреннюю оперативку.

Решил в свое время написать сценарий документального фильма о Волжском автомобильном заводе и хотел было снять такой эпизод: на берегу Воги в загородном коттедже у камина собрались здешние руководители. Рассказывают, вспоминают, спорят. Эти беседы по замыслу и должны были стать комментарием ко всему фильму. Но прочли сценарий мои герои и усмехнулись: вместе если мы бываем, то лишь на заводе, а так не соберешь. И правда, всю неделю на работе — обычно до позднего часа. Не останавливается производство и в субботу. Остается лишь воскресенье, когда хочется побыть с семьей. Да и фразы моих героев, их мысли, которые старался передать в сценарии, были услышаны не на прогулках, не за столом, а в кабинетах во время совещаний — на работе. Именно она складывала утвердившуюся между большинством руководителей завода чистоту дружеских отношений, даже некую взаимную схожесть — общий почерк, равная заинтересованность в общем деле.

А все они между тем различны характером и темпераментом, не одного поколения люди. Генеральный директор А. А. Житков немолод, на заре его юности строился Горьковский автозавод. Заместитель по экономике и планированию П. М. Кацура из тех, для кого лишь настала пора значительных юбилеев, кто отмечает пятидесятилетие. А заместитель по производству В. В. Каданников в генеральной дирекции самый молодой. Присмотреться к нему — это взглянуть на тех, кто и станет в первую голову управлять производством, хозяйством 80-х.

До чего же все-таки стремительна жизнь. Быть может, точнее сказать — коротка? Нет, именно стремительна.

Владимир Васильевич Каданников родился в сентябре сорок первого. В июне отец ушел на фронт, а в сорок третьем пришла похоронка — погиб под Кривым Рогом. В 50-е годы Каданников — школьник. В 60-е — студент. В 70-е — заместитель генерального директора Волжского автомобильного завода, организует работу 100 тысяч человек. Поразительный взлет! А скорее всего так и быть должно: именно на третьем десятилетии подходит время утверждения всех возможностей, всего, на что способен человек. Он и позже еще не раз заявит о себе: с годами станет более опытным, как принято говорить — зрелым. Но если представить себе жизнь словно прыжок во времени, то высшая планка берется от тридцати до сорока, конечно же при благоприятных условиях...

В своем кабинете в заводоуправлении Каданников бывает только по утрам. Первым — раньше восьми — приезжает на оперативное совещание. Оно и проходит в его кабинете — проведет и вернется на завод. Не садясь за письменный стол, примостясь где-то сбоку, держит телефонную трубку. Молчит. Может показаться, что ждет соединения. Нет, перо быстро движется по сложенному столбиком листу бумаги — записывает информацию, как сработала вторая смена и начали новый день.

Поднявшись от письменного стола, подходит к другому, протянувшемуся вдоль всей стены. Каданников высок, фигура спортсмена, хоть и стал в последнее время чуть тяжеловат. С детства, очевидно, совсем русые волосы потемнели, но и сегодня вьется зачесанный назад чуб. Лицо при всей определенности черт — заметный подбородок, лоб, ясно видные глаза, широкий разлет губ в улыбке — хранит выражение неуловимо мальчишеское, футбольное. Одет заместитель генерального директора весьма тщательно: прекрасно подобранные рубашка, галстук безукоризненно сочетаются с костюмом, настолько безукоризненно, что есть в этом даже нечто вызывающее. В дальних поездках его чаще всего принимают за скандинава. Каданников работал в Италии, кончил школу менеджеров в Соединенных Штатах, повидал большинство ведущих автомобильных заводов мира.

На оперативку собирается человек 40, все, кто отвечает за текущую работу завода. Докладывают. Каданников вставляет лишь замечания. «Очевидно, не было проявлено настойчивости: обстановка должна создавать точно такое же напряжение с другой стороны — тогда вопросы будут решаться вовремя»; «Есть вещи, которые нельзя допускать, как дырку в парашюте» — это по поводу упущений в технике безопасности. Кто-то обещает представить расчеты к понедельнику — «Почему непременно к понедельнику? На Руси в понедельник даже стога не метали: или сгорят, или украдут». Подобная куртуазность замечаний присуща не только Владимиру Васильевичу — она традиционна от самого рождения завода. Так, например, в ответ на обычное оправдание, что не успели, здесь говорят: «Вы работаете на заводе, где каждую минуту

сходит с конвейера три готовых автомобиля, потрудитесь совмещать свой труд с этими темпами».

Каданников ведет оперативку, словно жару поддает: «Быстрее... Не жуйте вопрос... Завтра ваше сообщение должно быть в два раза короче». Владимир Васильевич вспоминал, что в старших классах школы отметки у него оставались приличными, но учился спустя рукава: стало неинтересно, знал больше, чем давали на уроках. Вот и теперь стремится утвердить свои личные темпы постижения сути, тот ритм, который необходим ему, чтобы разобраться, принять решение, — и никаких повторений, боже упаси от прописных истин. И привлекает в нем больше всего молодая незамороченность, здравый смысл — вспарывает привычное, да так, словно целину пашет. «Почему водители автопогрузчиков обучаются шесть месяцев? — спрашивает у того, кто отвечает за это обучение. — Там всех премудростей — две педали и ручной тормоз». Тот, понятное дело, ссылается на установленный порядок. «Порядок и мне известен, а как ты думаешь, сам-то согласился бы ради автопогрузчика полгода жить на стипендию?»

Составленная по всем правилам докладная записка: на месте строящегося корпуса предлагается временно разместить склад деталей; приложен и план. Владимиру Васильевичу остается лишь начертать «утверждаю». Нет, давайте сперва посмотрим на месте, как обстоят дела на самом деле. Его отговаривают: достаточно свериться с планом — он соответствует действительности. На месте же оказывается огромная яма и бугор земли, занимающий остальное пространство, — где же здесь складывать детали? Тот случай, когда можно сказать: в действительности все было иначе, чем на самом деле.

Очередное совещание у заместителя генерального директора посвящено выпуску грузовика-самосвала. Технолог докладывает во всех подробностях: для сборки грузовика необходимо 14 позиций оснастки, подготовка займет почти полгода. Каданников слушает, уточняет, словно бы примеряется и говорит:

— Вы загоняете вопрос в угол со знанием дела, с прекрасной инженерной подготовкой. Нужен стенд для сборки самосвала — пойдите к бригадиру, и он сделает вам его в тот же день без всяких чертежей. Да и как не сделать: речь-то идет всего лишь об игрушечном самосвале — изделия ширпотреба, которые выпускает ВАЗ.

О себе Владимир Васильевич говорит:

— У меня характер скорее всего испорченный. Как всякий руководитель производства, я занят лишь отклонениями от нормы, на них и обращаешь внимание. Об этих отклонениях мне и докладывают изо дня в день — о другом не говорят. В общем, вижу только отрицательное — это, конечно же, сказывается на характере...

Чаше, пожалуй, доводилось встречать людей деловых, увлеченных, чья энергия рождалась словно искра от разницы потенциалов, возникала в благородном стремлении поднять окружающее до уровня мечты. При этом сил и энергии было не занимать — вы же понимаете, сколько их требуется для того, чтобы заполнить разрыв между желаемым и действительным. Но был здесь и некий момент ожидания: сегодняшнее — лишь промежуточное, вот завтра, когда сольются наконец жизнь и песня, тогда представится возможность отдать без помех все творчество, весь огонь души.

А Каданников не тяготится ожиданиями, многое, мол, должно быть иначе, — он действует. Предшествующие поколения сделали то, что было в их силах, обстоятельства сложились так, как они сложились, и надо это принять за исходное. Он выслушивает, когда говоришь ему, до каких же пор будут продолжаться перебои в поставках материалов, или соболезнуешь по поводу того, что приходится отрывать рабочих от основных дел, посылать на стройку, иначе она не сдвинется с места. Каданников выслушивает и отвечает чаще всего с улыбкой, повторяя все ту же слышанную здесь фразу:

— Зачем говорить об условиях, в которых мы не живем?

В Тольятти он приехал в 1967 году: был прежде заместителем начальника пресового цеха Горьковского автозавода и перевелся на ВАЗ в той же должности. Не обошлось без осложнений — не хотели отпускать. Каданников отправился в Москву на прием к В. Н. Полякову. «Может быть, вы сами не очень-то стремитесь, оттого и не пускают?» «А чего, интересно знать, мне было ехать к вам, если бы сам не хотел?» Сказал резко, не желая того, стремясь преодолеть давящее смущение. Оно и потом давало о себе знать: пришлось вскоре бывать по делам строящегося ВАЗа в кабинетах московских руководителей, не только выслушивать, но и возражать, настаивать.

Теперь, вспоминая о былом, Владимир Васильевич говорит, что в решении поехать работать на ВАЗ имели место и карьерные соображения. А следом добавляет:

— Правда, на уровне тех запросов, которые могли у меня быть в то время.

На Горьковский автозавод он поступил сразу же после десятилетки. Учиться в институте и не работать — эта роскошь не для него... Самый молодой в бригаде, вот и гоняли всюду — не было, казалось, на всем заводе парня грязней. Окончил вечерний институт, стал мастером в том же прессовом цехе. Красная рубаха к концу смены становилась черной от пота, покупал туристские ботинки, вроде бы сносу нет, а они от постоянной беготни по маслу уже к концу второй недели начинали каши просить.

Была комната в коммунальной квартире — жил там с бабушкой. Потом женился, потом и дочь из родильного дома сюда же принес. Хотелось вырваться из этого неустройства, и понимал — все зависит от него самого, не дожидаться же времени, когда жизнь сама по себе станет иной. С этим и поехал на новое место работы.

— К тому же я люблю быть в центре событий, быть первым, — признается Владимир Васильевич. — Быть может, это издержки трудного детства. Помню, сотворим что-нибудь в школе — других ребят за родителями посылают, а меня и посылать не за кем...

Судьба Каданникова на ВАЗе, не в обиду будет сказано Горьковскому автозаводу, сложилась более завидно, именно здесь в полной мере нашел себя, или, как говорили в старину, сделал карьеру. И удивительного ничего нет — на фоне рождающегося завода-гиганта это, в конце концов, закономерно. Сегодня ВАЗ — налаженное производство, и немало тех, кто уже покинул его, поехал на КамАЗ. Они образуют там слой старожил-основоположников, и в судьбах их тоже произойдут заметные изменения. Люди надеются на это, решают свою судьбу, исходя из этих отнюдь не зазорных ожиданий. И если руководствуются не просто карьерными соображениями чистой воды, если в основе всего желание и умение работать, то остальное — повышение по службе, материальные блага, квартира в новом доме — приложится.

Рассказываю о Владимире Васильевиче и все время хочу ответить, хотя бы высказать предположение, в чем секрет его продвижения. Понятно, хорошо работал. Строил завод, увлеченно монтировал прессовое оборудование. Послали в Италию — работал там. Вскоре стал руководителем советской технической делегации. Перед назначением говорил В. Н. Полякову: «Я же ничего не знаю». «Ничего, узнаете». Оказалось, что метод обучения плаванию путем непосредственного погружения в воду по-прежнему остается самым надежным. В Италии пробыл почти четыре года. В Турине уже сворачивались дела, каждый день улетали в Союз самолеты, груженные оборудованием, и уже никого не удивляло, что все грузчики в туринском аэропорту ругаются исключительно по-русски. А в Тольятти достраивали завод, начинали выпускать первые машины. И он рвался домой, чувствовал себя всеми забытым, хотел работать.

Вернувшись, стал заместителем, а потом и директором прессового производства, теперь заместителем генерального директора. Сказались способности, с юных лет утвердившаяся привычка к труду, да и готовность разделить нелегкую по нашим дням судьбу руководителя. А все-таки как ни привлекателен для меня этот человек, первооснову его служебной карьеры надо искать не только в нем самом.

Есть в истории завода, которую писал Борис Михайлович Кацман, и такая страница: «Волжский автомобильный завод явился тем магнитом, той притягательной силой, которая потянула к себе талантливых, дееспособных, не удовлетворенных достигнутым и увидевших в разворачивавшемся на берегу Волги деле ту самую точку приложения сил и способностей, которая грезится только в высоких мечтах. И тот, кто действительно был талантлив, дееспособен, мечтал о большем, чем досуг, тот не ошибся в выборе. Он утолил здесь постоянную жажду таланта к большому делу».

Они были друзьями — Борис Михайлович и Каданников. Когда пишут такие строки, их всегда сверяют с судьбами окружающих людей. Проведите сегодня анкету, обратитесь с вопросом: ВАЗ для вас? — и П. М. Кацура вам ответит:

— Если говорить о значении ВАЗа лично для меня, то это самые яркие страницы мсей жизни. Все, что было до ВАЗа, представляется теперь тренировкой, подготовкой к нему.

— Мне кажется теперь, что вазовский стиль работы — это то, к чему я всегда стремился. Я рад, что все мои четверо детей работают здесь и этот завод стал для

них первым,— говорит А. И. Шенбергер, право же, с непривычной для него восторженностью.

...Со временем многое перестает удивлять, не поражаешься и тому, что современным заводом, огромным производством руководит вчерашний паренек с рабочей окраины, проживший голодное послевоенное детство на бабушкину пенсию. Бабушка варила кашу из риса и пшена, называя ее «половина на половину», изредка баловала макаронами, жареными на постном масле,— потянешь за одну, а поднимется со сковородки весь круг, и начинаешь обкусывать его по краям. А еще, бывало, соседи угощали зеленым чаем на сале — прекрасный чай, после него два дня чувства голода нет как нет... Все это жизнь народа, и откуда же еще приходится руководителям, как не из этой жизни.

Измучает, пожалуй, иное. Была когда-то в ходу такая байка. Спрашивает человек, сможет ли он считать себя интеллигентом, окончив три института. И ему отвечают: сможете, если один институт окончил ваш дед, другой — отец, а третий — вы. И раньше не бывало правил без исключений, а теперь, знакомясь с Каданниковым, утверждение о том, что лишь в третьем поколении дано стать интеллигентом, вовсе представляется абсурдным. Сказалось время, шаги страны. Наши первые специалисты, те, что в 20-е годы проходили через рабфаки, были иными. Впрочем, они и были дедами сегодняшних инженеров. Сам-то Владимир Васильевич уже из третьего по крайней мере поколения советских людей, для кого открыты культура, образование.

И все-таки когда говоришь о человеке, что он абсолютно интеллигентен, интеллигентен, естественно, без труда, требуются подтверждения. Вот и стараюсь теперь ответить сам себе: что же имел в виду, когда писал о Каданникове? Привычку всегда быть подтянутым, умение отлично одеваться? Нет, конечно. Возможно, вспомнились слова одного из работников завода: «Я, например, в компании могу говорить или о делах, или о своей семье, а Владимир Васильевич любую тему поддержит». Или же произвело впечатление, как внимательно следит он за литературными журналами, а оказавшись хоть на день в Москве, непременно бывает на спектакле своего любимого «Современника»? И это не было решающим. Что же тогда?

Каданников занимается исключительно производством, из-за него, как говорится, и голова болит: действовало бы исправно оборудование, лишь бы поступали в срок детали, только бы двигался конвейер и сходили с него готовые автомобили. И тем не менее самое важное видит в людях. Он так и говорит:

— На нашем заводе при тех условиях, которые созданы, при системе, которая здесь действует, все в конечном счете зависит от добросовестности и ответственности людей.

Влюблен в завод, гордится его продукцией, наверное, и своей ролью в ее создании, но не забывает при этом:

— На ВАЗе все получилось потому, что с самого начала сложился коллектив. Думаю, что именно эти представления о роли людей в современном производстве, понимании значимости их отношений и свидетельствуют о разносторонности моего героя — его интеллигентности.

...Проведет оперативку и вернется на завод — здесь его постоянное место; застекленная стена кабинета выходит прямо на главный конвейер. И не нужно открывать дверь, чтобы уловить его движение: не смолкает привычный гул, а случись что-нибудь — изменятся и шумы; бывает — обрушится тишина: остановился конвейер. Но еще раньше, чем уловишь паузу, зазвякают, зальются на все голоса, словно запрыгают на месте телефоны. И чем дальше находишься подле заместителя генерального директора по производству, тем сильнее ощущение — ритмы конвейера каким-то загадочным и самым непосредственным образом соединились с ритмами жизни самого Владимира Васильевича, с работой его сердечной мышцы, кровообращением... Впрочем, конвейер встанет и снова пойдет, ничего с ним не делается. А у Каданникова развилась аритмия, врачам нет-нет да удается заталкивать его в больницу.

Поздним вечером — сам за рулем — едет по городу с женой. Надо купить масла: дома осталась одна пачка. Он отвечает: если одна есть — значит, завтрашний день обеспечен. Примерно так же отлегло от сердца, когда узнал утром — привезли уплотнители для ветрового стекла. Радовался, словно навсегда избавился от этой маеты.

1  
 Всеу свой час — и конвейеру пришел конец. Завершена сборка автомобиля модель 21011, цвет рубин. Вот и свершилось в очередной раз обыкновенное чудо:

вспыхнули фары, взревел мотор — началось движение. За рулем испытатель. Он ведет машину на автотрек. Скорость, еще скорость. И несутся только что родившиеся «Жигули» по наклонной дороге трека. Делают круг, другой. Круг за кругом.

А время, как и конвейер, знает лишь одно направление движения — только вперед. Опыт ВАЗа всем предприятиям — таков смысл решения ЦК партии, последовавшего за ним Всесоюзного совещания в Тольятти. Но то, что уже найдено, закреплено, оформилось в систему, становится прошлым для родоначальников этого опыта. Какими же станут их последующие шаги? Генеральный директор А. А. Житков говорит об этом так:

— В годы наступающей пятилетки нам предстоит продолжить сложившуюся у нас систему, обеспечив непрерывную модернизацию завода, его продукции — создать задел на пути, казалось бы, неминуемого старения предприятия. Возможна ли такая система? Несомненно.

Ее контуры складываются сейчас. На конвейере новая модель — 2105. Кузов этой машины заметен отличается от ее предшественниц, и для его сварки построили новый корпус, оснастили его самыми современными сварочными аппаратами. Значит, появилась возможность освободить одну из прежних сварочных линий, заняться ее модернизацией.

Со временем — оно не за горами — начнется выпуск совершенно иной машины, принципиально отличной от тех, что предшествовали ей: не модернизация прежних, а новый базовый автомобиль. Хотелось бы, конечно, подробней рассказать об этой современной машине, но на ВАЗе, впрочем, как и в любой фирме, не любят раньше времени распространяться о своих новинках.

Собраны первые образцы, конструкторы совершенствуют узлы, детали — все проходит множество испытаний. А на заводе, не дожидаясь их окончания, уже готовят производство для нового автомобиля. Вновь предстоят нелегкие времена. Для новой машины возводятся корпуса, приобретается оборудование. Много придется делать самим: строить, размещать, монтировать, конечно же, подгонять смежников и помогать им. «Или мы справимся с этим делом и вновь выйдем из него другими людьми, или... Впрочем, иного пути нет», — говорят здесь. Начатая работа принесет освобождение от теперешних узких мест. Она и оформит окончательно непрерывную систему модернизации завода — станет новым этапом его жизни, если хотите, второй молодостью ВАЗа.

Понятно, такая решимость заслуживает высоких слов, горячих похвал. Но важнее, однако, понять другое — это не просто энтузиазм, это трезвый расчет: создать условия, при которых и впредь можно будет хорошо работать. Вернитесь к начатому еще на первых страницах разговору о том, что пока не существует постоянного взаимодействия между стабильными объемами и модернизацией предприятия. И станет ясно: отнюдь не случайно пришли здесь к модели, не имеющей общего с теми, которыми заняты сегодня, иначе не удастся решительно обновить производство. Снова осознанная необходимость.

— Утвердить систему непрерывной модернизации ВАЗа — это, в сущности, решить проблему ускорения технического прогресса в целом ряде отраслей промышленности: такая же система должна действовать и на предприятиях, с которыми связан наш завод, — говорил А. А. Житков.

...Испытатель вернул с автотрека выбранный нами автомобиль. Поставил рядом с другими. Машина готова в срок, как и все предшествовавшие ей 5 721 542 автомобиля, построенных на Волжском автозаводе. Это в полтора раза больше, чем было выпущено машин в стране за все годы до рождения ВАЗа. Автомобиль модель 21011, кузов № 3600804, двигатель № 48394721. Пометьте эти цифры, читатель: машина попадет кому-нибудь из нас. И каждому из нас, честное слово, стоит задуматься: до чего же трудно хорошо работать. А можно все-таки!

# ПУБЛИЦИСТИКА

Н. А. ХАЛФИН,

доктор исторических наук, профессор



## ДОГОВОР РАВНЫХ

К 60-летию советско-афганского  
Договора о дружбе и сотрудничестве

**13** естого декабря 1917 года министр по делам Индии британского правительства Эдвин Монтегю отправил телеграмму вице-королю Индии лорду Челмсфорду. Она была проникнута чрезвычайным беспокойством: «Мы перехватили крайне зажигательную прокламацию большевиков, адресованную ко всем трудящимся классам мусульман России и Востока и переданную телеграфом русского правительства. Эта прокламация должна быть скрыта как можно дольше». Опасаясь, что местные английские власти не проявят должной оперативности, Уайтхолл через неделю, 13 декабря, снова дал им указание предпринять «все возможные шаги, чтобы задержать эту радиограмму». При неудаче соответствующих действий вице-королю предписывалось организовать эффективную контрпропаганду для нейтрализации «зажигательной прокламации большевиков»<sup>1</sup>.

О чем шла речь? Острую тревогу Лондона вызвало знаменитое ленинское обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», принятое на заседании Совнаркома РСФСР 3 декабря 1917 года. Верования и обычаи, национальные и культурные учреждения российских мусульман объявлялись в нем свободными и неприкосновенными. Пламенные строки, адресованные мусульманам зарубежного Востока, обличали «хищников империализма» и призывали: «Свергайте же этих хищников и поработителей ваших стран... Не теряйте же времени и сбрасывайте с плеч вековых захватчиков ваших земель! Не отдавайте им больше на разграбление ваших родных пепелищ! Вы сами должны быть хозяевами вашей страны! Вы сами должны устроить свою жизнь по образу своему и подобию! Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в собственных руках»<sup>2</sup>.

По решению Совнаркома это обращение было напечатано во многих газетах и миллионными тиражами в виде листовок на наиболее распространенных восточных языках. Волнующие, зажигательные строки укрепляли веру патриотов в успех их справедливой борьбы против колонизаторов, вливали новые силы в освободительное движение. Британские империалисты по достоинству оценили обращение (уже на третий день после его принятия!), пытались помешать его воздействию на народные массы Азии.

В. И. Ленин с огромным вниманием относился к развитию событий в колониальных и полуколониальных странах, характеризую их как тыл системы империализма, до отказа наполненный взрывчаткой — гневом и негодованием угнетенных и поработенных колонизаторами народных масс. Его статьи «Горячий материал в мировой политике», «События на Балканах и в Персии», «Пробуждение Азии», «Отсталая Европа и передовая Азия» и другие свидетельствуют, какие большие надежды возлагал Владимир Ильич на развивающуюся антиколониальную борьбу народов Востока. Ленинские «Тетради по империализму» и классический труд «Империализм, как высшая стадия капитализма» насыщены колоссальным, теоретически осмысленным материалом,

<sup>1</sup> Митрохин Л. В. Индия о Ленине (В. И. Ленин в индийской публицистике и воспоминаниях современников-индийцев). М. «Наука». 1971, стр. 29.

<sup>2</sup> «Документы внешней политики СССР». М. Политгиздат. 1957, т. 1, стр. 34, 35.

определяющим место стран Азии и Африки в жизни человечества. Речь шла о союзниках пролетариата в его непримиримой схватке с буржуазией. Именно поэтому Ленин в ноябре 1919 года подчеркивал: «За периодом пробуждения Востока в современной революции наступает период участия всех народов Востока в решении судеб всего мира, чтобы не быть только объектом обогащения. Народы Востока просятся к тому, чтобы практически действовать и чтобы каждый народ решал вопрос о судьбе всего человечества»<sup>3</sup>.

Исторически сложилось так, что первым государством Востока, с которым удалось налаживать дружеские связи молодой Стране Советов, явился Афганистан. Ленин изучал положение Афганистана и отнес его к областям, которым «недостает суверенитета. Обычно они переходят в руки великих держав: отдельные части этих областей *отрываются*»<sup>4</sup>.

В ходе двух ожесточенных и кровопролитных войн (1838—1842 и 1878—1880) могущественная Британская империя так и не смогла превратить Афганистан в свое владение, но все же навязала ему полуколониальный статус. Пришедший к власти в 1880 году эмир Абдуррахман-хан (1880—1901) обязался поддерживать внешнеполитические отношения лишь с Англией и уступил ей ряд афганских земель. В качестве своеобразного вознаграждения ему гарантировалась ежегодная «субсидия». Целевое назначение всех этих акций — превращение нашего южного соседа в военно-политический плацдарм против России.

Афганистан стал закрытой страной, что крайне пагубно отражалось на его политико-экономическом и культурном развитии, способствовало консервации отсталых феодальных отношений, осложненных родо-племенными пережитками. Однако и за высокие хребты Гиндукуша и Паропамиза проникали веяния эпохи, отголоски русской революции 1905—1907 годов, «пробудившей Азию», по выражению В. И. Ленина. Афганские патриоты возмущались ограничениями, наложенными на их страну, империалистами, и связанным с ними деспотическим режимом. Но сменивший Абдуррахман-хана его сын эмир Хабибулла-хан (1901—1919) свирепо расправлялся с малейшими проявлениями недовольства. В 1909 году власти разгромили тайное общество «Машрута» («Конституция»), казнив или заточив в тюрьмы его участников.

Практически единственным реальным выразителем прогрессивных идей была полугазета-полужурнал «Сирадж уль-Ахбар» («Светоч известий»). Ее издавал Махмуд Тарзи (1867—1934). Он провел молодые годы в эмиграции, куда эмир Абдуррахман-хан заставил выехать его отца. Это Индия, Стамбул, а главное — Дамаск. Учеба в лучших колледжах углубила его познания и расширила кругозор. Работая в провинциальной администрации Османской империи, он познакомился с жизнью и нуждами населения этой огромной державы, а общение с прогрессивной местной интеллигенцией вовлекло его в круг борцов против колониализма.

Вернувшись в 1903 году на родину, Махмуд Тарзи возглавил бюро переводов при дворце, информируя эмира Хабибулла-хана о мировых новостях. Основным делом его жизни в 1911—1919 годах был выпуск «Сирадж уль-Ахбара». Он призывал в ней к решительной борьбе за независимость Афганистана и его всестороннее развитие. Махмуд Тарзи умело и тонко вел газету, стараясь избежать поводов для правительственных репрессий. Положение Тарзи окрепло, когда эмир женил на его дочерях своих сыновей — Инаятутту-хана и Аманутту-хана.

Во время первой мировой войны Хабибулла-хан занял выгодную для Британской империи позицию нейтралитета. Он отстаивал ее, несмотря на нажим слева — со стороны прогрессивных сил, и справа — со стороны реакционно-клерикальных кругов, которые возглавлял его влиятельный младший брат Насрулла-хан, имам (религиозный глава государства) и наиб ас-салтане (заместитель правителя). Те и другие призывали эмира воспользоваться сложившейся обстановкой и восстановить независимость родины. Хабибулла-хан практически отклонил также предложения немецкого кайзера и султана Османской империи выступить против Англии.

Такая линия эмира была особенно на руку английским империалистам в связи с победой Великого Октября в России. Она облегчала для них контрреволюционные действия против Советской республики и наносила серьезный урон собственно интересам Афганистана. Уже в первые месяцы существования Страна Советов, несмотря на крайне тяжелые условия, в каких она находилась, проявляла заботу о своих соседях на

<sup>3</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 328.

<sup>4</sup> Там же, т. 28, стр. 81.



Востоке. Благодаря настояниям ее делегатов на переговорах о мире с Германией в марте 1918 года в Брестский мирный договор была включена статья, обязывавшая его участников «уважать политическую и экономическую независимость и территориальную неприкосновенность Персии и Афганистана»<sup>5</sup>.

Но Афганистану еще предстояло завоевать свободу. Пока же Лондон, возглавлявший международную реакцию, использовал соглашательскую позицию Хабибуллы-хана для ударов по молодой республике Советов. 29 июля 1918 года В. И. Ленин с горечью констатировал: «Вчера получено сообщение, что часть городов Средней Азии охвачена контрреволюционным восстанием при явном участии англичан, укрепившихся в Индии, которые, захватив в свое полное подчинение Афганистан, давно создали себе опорный пункт как для расширения своих колониальных владений, для удушения наций, так и для нападений на Советскую Россию»<sup>6</sup>.

Эти нападения, однако, завершались крахом. Успешное сопротивление полуостровных, плохо вооруженных рабочих и крестьян Страны Советов интервентам и внутренней реакции революционизировало Афганистан и другие государства Востока. Вести о грандиозных преобразованиях на севере проникали в самую глушь Азии, вовлекая колониальные народы в борьбу за свое освобождение. И в этом отношении особое значение имело обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». Ранней весной 1918 года оно проложило себе путь в переводе на персидский язык в афганские земли.

В Афганистане ширилось недовольство предательской политикой правящей верхушки. Мировая война пагубно отразилась на хозяйственных связях страны и ее экономике. Хабибулла-хан игнорировал опасные симптомы накалывающегося народного гнева. На эмира было произведено несколько неудачных покушений, а в ночь на 20 февраля 1919 года он был при таинственных обстоятельствах застрелен в шатре в местности Калайи-Гуш (область Лагман), куда отправился на охотничью прогулку.

В Джелалабаде эмиром провозгласил себя Насрулла-хан. Но он не пользовался популярностью среди населения и его эфемерное правление длилось всего неделю.

Третий сын Хабибуллы-хана, двадцатилетний Аманулла-хан, был известен прогрессивными, либеральными, патриотическими взглядами. Среди его учителей выделялся индийский политэмигрант доктор Абдул Гани, попавший в 1909 году в тюрьму за участие в обществе «Машрута». Аманулла-хан тесно сблизился со своим тестем — Махмудом Тарзи. Он был энергичным сторонником борьбы за освобождение Афганистана от империалистической зависимости и за социально-экономические, политические и культурные преобразования в стране на базе национальной независимости. Все это укрепляло авторитет Амануллы-хана и надежды, возлагавшиеся на него среди широких народных масс, не говоря уж об интеллигенции и передовом офицерстве.

28 февраля 1919 года Аманулла-хан короновался. Под радостные возгласы офицеров, солдат и многих сотен горожан, которые присутствовали на церемонии, он заявил, что намерен бескомпромиссно добиваться немедленной и полной ликвидации зависимого статуса Афганистана. Первый же изданный им манифест содержал знаменательные слова: «Правительство Афганистана должно быть независимо и свободно во внутренних и внешних вопросах, обладая всеми правами, какими пользуются другие суверенные государства мира. Нация должна быть свободной, ни один человек не должен быть объектом угнетения и тирании».

3 марта 1919 года Аманулла-хан известил о своей коронации британские власти, назвав правительство Афганистана независимым и свободным. Он заявил о готовности заключить с Англией взаимовыгодные договоры и соглашения. Вершители судеб Британской империи нашли послание эмира дерзким и беспрецедентным. Они не призывали, чтобы восточные правители говорили с ними языком равных. О полном пренебрежении к письму главы афганского государства свидетельствует конкретный факт: ответ ему был дан лишь через полтора месяца.

За это время произошло немало событий. Уже 27 марта 1919 года правительство РСФСР признало независимость и суверенитет Афганистана, выразило надежду на укрепление «союза его с Российской республикой» и на «улучшение взаимных торговых сношений»<sup>7</sup>. В отправленных на Парижскую мирную конференцию условиях

<sup>5</sup> «Документы внешней политики СССР», т. 1, стр. 123.

<sup>6</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 7.

<sup>7</sup> «Советско-афганские отношения. 1919—1969 гг. (Документы и материалы)». Политиздат. 1971, стр. 7.

мира с советской Россией Москва включила Афганистан в число государств, по отношению к которым участникам конференции надлежало принять обязательство «не делать никаких попыток к свержению силой фактически существующих правительств»<sup>8</sup>. Это было проявлением на деле ленинских принципов солидарности с освободительной борьбой народов Востока.

В Средней Азии и на других фронтах гражданской войны бойцы Красной Армии, поддерживаемые грядущими, громили несравненно лучше оснащенные армии белогвардейцев и иностранных интервентов. В апреле 1919 года Англия была вынуждена вывести свои войска из большей части оккупированного ею Закаспия в Иран. Колониальную Индию охватил мощный революционный подъем.

В этой обстановке Аманулла-хан предпринял практические шаги для установления прямых отношений с советской Россией. По его поручению в Москву выехал с неофициальной миссией моулави (ученый) Мухаммед Баракатулла. 7 апреля 1919 года эмир обратился к руководителям Страны Советов с дружественным посланием.

«Хотя Афганистан по духу и природе своей со времени своего возникновения и основания всегда был сторонником свободы и равноправия,— гласил этот прочувствованный документ,— однако до сих пор по некоторым причинам он был лишен возможности поддерживать связи и сношения с другими подобными ему государствами и народами.

Так как Вы, Ваше Величество, мой великий и любезный друг — Президент Великого Российского государства, вместе с другими своими товарищами — друзьями человечества взяли на себя почетную и благородную задачу заботиться о мире и благе людей и провозгласили принцип свободы и равноправия стран и народов всего мира, то я счастлив впервые от имени стремящегося к прогрессу афганского народа направить Вам свое настоящее дружественное послание независимого и свободного Афганистана»<sup>9</sup>.

В письме наркому по иностранным делам Г. В. Чичерину Махмуд Тарзи выражал уверенность в том, что он окажет «доброе и дружественное содействие для укрепления и развития дружественных отношений между обоими Высокими государствами — Россией и Афганистаном»<sup>10</sup>.

...А что же британские власти и рассчитывающий на их благоприятный ответ Аманулла-хан? Афганскому правителю нелегко давались эти недели ожидания. Он попытался ускорить ход дела. 13 апреля, через сорок дней после его обращения к вице-королю Индии, в Кабуле был созван дурбар, совет влиятельных лиц. Избегая двусмысленного толкования своих слов, эмир четко заявил в присутствии британского представителя: «Я провозглашаю себя и мою страну полностью свободными, самоуправляющимися и суверенными во внутренних и внешних делах. Моя страна будет, таким образом, самостоятельным государством, как другие державы и государства мира». Затем он задал вопрос представителю Англии: «Посол, понял ли ты, что я сказал?» Тот кивнул: «Да, понял».

15 апреля лорд Челмсфорд подписал ответное послание Аманулле-хану. Вполне определенно высказанное эмиром твердое стремление Афганистана сбросить с себя империалистическое ярмо вице-король постарался «не заметить».

Колонизаторы выгадывали время. Выясняя, не клонет ли Аманулла-хан на какие-нибудь экономические подачки, они торопились расправиться с бунтующей Индией, чтобы высвободить войска и подготовить удар по Афганистану. Эти войска уже подтягивались к его границам. Там сконцентрировалась почти 350-тысячная армия. Отборные части, прошедшие горнило мировой войны, были до предела насыщены артиллерией и пулеметами, располагали невиданным до того в Азии оружием — авиацией. За ними следовали соединения, количественно превышавшие передовой ударный кулак.

Благодаря предусмотрительности правительства Аманулла-хана впервые за всю историю нападения английских агрессоров на Афганистан оно не оказалось для него неожиданным. В Кабуле стали готовиться к решительной схватке. Британские вторжение в афганские земли обычно шло по трем операционным направлениям: с юга — через Кандагар, с юго-востока — Куррамской долиной, с востока — от Пешавара через Хайберский проход. В эти районы и отправил Аманулла-хан своих военачальников и

<sup>8</sup> «Документы внешней политики СССР», 1958, т. II, стр. 92.

<sup>9</sup> Там же, стр. 175.

<sup>10</sup> Там же.

солдат, соответственно — генерала Абдула Куддус-хана, сардара Мухаммеда Надир-хана и сипахсалара (главнокомандующего) Салеха Мухаммед-хана. Афганские силы насчитывали всего 38 тысяч пехотинцев. Конница состояла в основном из народного ополчения. Вооружение и снаряжение афганцев не шло ни в какое сравнение с английским. Но они были воодушевлены патриотическим освободительным порывом.

Многое зависело от позиции восточноафганских племен на соседней территории Северо-Западной Индии. В течение предшествующих десятилетий колонизаторы тщетно пытались подчинить их своему господству. Антиимпериалистические восстания не прекращались там ни на один год, получив у оккупантов устоявшийся термин «постоянная пограничная война». Следуя своей обычной тактике, империалисты сочетали свирепые карательные экспедиции в восточноафганские селения с попытками подкупить местное население, привлечь его к сотрудничеству. Они создавали иррегулярные отряды «хайберских стрелков», «вазиристанских скаутов», «момандских милиционеров» и т. п. В такие воинские части им удалось вовлечь какое-то число мужчин приграничных районов, но это мало отражалось на общей обстановке в данном районе. Учитывая сложившуюся ситуацию, лорд Челмсфорд велел главному комиссару Северо-Западной пограничной провинции Д. Рус-Кепелю «расходовать деньги без ограничения, чтобы добиться объединения племен против Кабула».

3 мая 1919 года в районе Хайбера произошло несколько пограничных инцидентов. Собственно, их происходило предостаточно и в прежние времена, но теперь правители Британской империи сочли момент подходящим для нового нападения на Афганистан. Возложив на него вину за эти столкновения, они 6 мая объявили Кабулу войну.

Традиционный ход боевых операций, однако, изменился коренным образом по сравнению с войнами XIX века. Англичанам удалось добиться незначительного успеха лишь на хайберском направлении. Используя численный перевес и неизмеримое материальное превосходство, они овладели Даккой на пути к Джелалабаду. Чтобы запугать афганское правительство и население, британская авиация нанесла несколько бомбовых ударов по Кабулу и Джелалабаду. Это были первые в истории человечества бомбежки мирных, незащищенных городов. Решительное сопротивление афганских патриотов вынудило агрессоров отказаться от развития наступления на Джелалабад и Кабул.

На юге боевые операции велись вокруг пограничного поста Спинбулдак. Когда почти все 600 его защитников были убиты или ранены, пост перешел в руки интервентов. Однако и здесь они не решились двигаться дальше, на Кандагар.

На центральном фронте удача сопутствовала афганцам. Их отряды смяли британские заслоны, пересекли границу и проникли в Вазиристан. Там немедленно вспыхнуло широкое антиимпериалистическое восстание восточноафганских племен. Иррегулярные скауты, милиционеры, стрелки отказались подчиняться английскому офицеру. Власть издала приказ об их срочном разоружении. Далеко не везде успели его выполнить: в ряде районов скауты и стрелки, захватив оружие, присоединились к наступающим афганским воинам. Они заняли укрепленные пункты — форт Вана, военный пост Спинвам и др. Под угрозой падения оказался важнейший в этих краях британский форт Тал.

Третья англо-афганская война длилась недолго: 3 июля 1919 года было заключено перемирие. По существу, она явилась крупнейшим военно-политическим поражением английских империалистов.

Существеннейшим фактором, определявшим всю международную обстановку, было, бесспорно, военно-политическое укрепление советской России. Моральное, дипломатическое и посильное в тех условиях материальное содействие Страны Советов сражающемуся афганскому народу укрепляло его силы. 7 мая 1919 года Мухаммед Баракатулла доехал до Москвы и, выполняя поручение Амануллы-хана, беседовал с В. И. Лениным о положении на Востоке, об установлении дружественных советско-афганских отношений и оказании Кабулу помощи в борьбе против британского империализма.

Генерал Маллесон получил срочное, хотя и явно невыполнимое задание — воспрепятствовать развитию советско-афганских отношений. «На нашу обязанность легко сделать все возможное, чтобы предотвратить заключение договора о союзе между Афганистаном и Советской страной», — отмечает он, не указывая, к сожалению, ка-

кими методами и приемами рассчитывал выполнить подобное фантастическое поручение.

21 апреля эмир Аманулла-хан известил Председателя Совнаркома РСФСР В. И. Ленина об отправлении в Россию (а через нее и далее, в Европу) своего чрезвычайного посла генерала Мухаммеда Вали-хана. Цель: «...обратить внимание руководителей Вашей великой страны на установление дружественных связей и искренних отношений с Афганистаном и «подготовить почву для установления необходимой дружбы между обоими государствами и обеспечения обоюдных интересов».

Интересно отметить: перед этим эмир с горечью и сожалением, хотя и достаточно дипломатично подчеркивал, что «благородный народ Афганистана, несмотря на полную свободу и независимость, коими пользовался и ныне пользуется, на некоторое время вследствие интриг заинтересованных лиц был лишен возможности достигнуть этого вполне естественного счастья и, разумеется, был отдален многими миллионами от своих самых близких славных соседей. Однако благодаря всевышнему алаху ему (афганскому народу) удалось устранить интриги вышеупомянутых заинтересованных лиц и восстановить природное свое достоинство»<sup>11</sup>.

Другой бумагой, ускользнувшей от внимания британских соглядатаев, явилось письмо Махмуда Тарзи Г. В. Чичерину от 14 мая 1919 года. В нем выражалась благодарность по поводу признания независимости Афганистана и назначения советского посла. «К сожалению, должен также констатировать,— писал Махмуд Тарзи,— что правительство Англии никогда не было и не будет дружественным по отношению к нам...»<sup>12</sup>.

Итак, 21 мая 1919 года Москва получила подлинный текст афганских посланий от 7 апреля. Здесь не стали медлить с ответом. Подготовленный В. И. Лениным, он уже 27 мая за его и М. И. Калинина подписями был передан в Ташкент и гласил: «Получив первое послание от имени свободной самостоятельной афганской нации с приветом русскому народу и извещением о вступлении Вашего Величества на престол, спешим от имени Рабоче-Крестьянского правительства и всего русского народа принести ответный привет независимому афганскому народу, героически отстаивающему свою свободу от иностранных поработителей».

В. И. Ленин приветствовал намерения эмира завязать близкие связи с советской Россией, предложил направить туда ее представителя и просил назначить в Москву посла Афганистана. «Установлением постоянных дипломатических сношений между двумя великими народами,— подчеркивал он,— откроется широкая возможность взаимной помощи против всякого посягательства со стороны иностранных хищников на чужую свободу и чужое достоинство»<sup>13</sup>.

В то время когда Ленин писал это обращение к Аманулле-хану, по территории Страны Советов уже ехало посольство генерала Мухаммеда Вали-хана. 28 мая 1919 года оно прибыло в Ташкент, где в торжественной обстановке было открыто афганское генеральное консульство.

Поскольку проезду из Москвы в Кабул все еще мешали «оренбургские пробки», туда по поручению общероссийского правительства отправилась дипломатическая миссия Туркестанской республики во главе с Н. З. Бравиним. То было первое иностранное представительство в Афганистане после провозглашения им своей независимости. Его приезд знаменовал прекращение длительной международной изоляции афганского государства, прорыв его политической и дипломатической блокады. Н. З. Бравин предложил эмиру любую помощь советского Туркестана (включая военную) в его справедливой борьбе против империалистических хищников.

Следовало, однако, назначить в Кабул полномочного представителя всего Советского государства и его центрального правительства. В. И. Ленин остановился на кандидатуре Якова Захаровича Сурица (1882—1952). Профессиональный революционер, подпольщик, хорошо знакомый с царской тюрьмой и ссылкой, Суриц закладывал основы большевистской дипломатии. Красочные детали о назначении Сурица приводит близко его знавший Илья Эренбург: «Это было до рождения советской дипломатии, и Яков Захарович рылся в архивах, чтобы составить проект верительной грамоты. Владимир Ильич сказал, что нужно написать иначе, сам составил текст с упоми-

<sup>11</sup> «Советско-афганские отношения. 1919—1969 гг. (Документы и материалы)», стр. 10.

<sup>12</sup> Там же, стр. 11.

<sup>13</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 385—386.

нением о признании полной независимости и суверенитета Афганистана»<sup>14</sup>. В самом деле, верительная грамота от 23 июня 1919 года, подписанная В. И. Лениным и замнаркомом по иностранным делам Л. М. Караханом, возлагает на Я. З. Сурица «дипломатические сношения с народами независимого Афганистана...»<sup>15</sup>.

Не менее целеустремленный и выразительный характер имела подготовленная Г. В. Чичериним на базе ленинских указаний инструкция полпреду РСФСР в Кабуле: «Наша политика на Востоке не агрессивна, она есть политика мира и дружбы. Вы должны систематически во всей Вашей работе выдвигать этот основной момент и, в частности, в Кабуле ставить основной целью Вашей деятельности развитие дружбы с Афганистаном. Дружба предполагает взаимное содействие, и, исходя из нашего желания по мере возможности способствовать развитию и процветанию дружественного Афганского государства, мы готовы оказать ему на этом поприще все содействие, какое в наших силах»<sup>16</sup>.

5 июля 1919 года газета «Известия» сообщила об установлении дипломатических отношений между РСФСР и Афганистаном. Газета информировала, что 10 июня 1919 года было передано в Кабул советское извещение о признании независимости Афганистана и согласия установить с ним дипломатические отношения. «Известия» цитировали ноту Наркоминдела РСФСР: «Советское правительство, как только осведомилось о провозглашении независимости афганского народа, тотчас же торжественно признало самостоятельность Афганистана и с величайшим благожелательством относится к борьбе афганского народа против его угнетателя и врага...»<sup>17</sup>.

К несчастью, упомянутого утешителя и врага еще никак нельзя было списывать со счетов. Лишь за два дня до появления известинской публикации завершилась перемирием третья англо-афганская война... Но перемирие еще не мир. Известен ленинский тезис, что война есть продолжение политики иными средствами. Заключив перемирие, оба участника конфликта вернулись к задачам своей довоенной политики. Афганистан — к обеспечению самостоятельности, Британская империя — к сохранению над ним своего господства.

26 июля 1919 года начались мирные переговоры. «Хозяева Индии» не случайно выбрали для них небольшой в те годы городок Равалпинди. Он являлся крупнейшей британской военной базой и крепостью в Индии. Обилие солдат и офицеров, боевой техники должно было создать определенный микроклимат и психологически воздействовать на афганских представителей. Трудно сказать, сыграл ли данный фактор какую-нибудь весомую роль. Но можно не сомневаться, что иной фактор имел существенное влияние на ход переговоров: в день их открытия мощная радиостанция кушкинской крепости передала сообщение о полном разгроме белогвардейцев и их империалистических пособников в Закаспии, о неудаче их попыток закрепиться в Кушке. Голос кушкинской радиостанции был великолепно слышен и в Равалпинди.

Афганских представителей возглавлял двоюродный дядя эмира — комиссар по внутренним делам Али Ахмад-хан (с ним был и доктор Абдул Гани), англичан — сам секретарь по иностранным делам сэр Гамильтон Грант и личный секретарь вице-короля Д. Мэффи в качестве политического советника. Переговоры носили крайне напряженный характер, перемежались мелкими конфликтами и продолжались полмесяца. 8 августа 1919 года был подписан договор, в котором фиксировалось лицемерное «желание» английских правящих кругов «восстановить старую дружбу, так долго существовавшую между Афганистаном и Великобританией», если Кабул «докажет свое стремление заслужить ее». По договору прекращалось состояние войны и признавалась прежняя граница, отменялись льготы в поставках афганскому государству оружия и военного снаряжения и выдача субсидии эмиру.

Британские дипломаты были достаточно опытны. Они прекрасно знали, чего желают правящие круги империи. Английская делегация категорически отказалась включить в текст соглашения признание независимости Афганистана. Но представители Кабула столь же твердо не желали подписывать этот документ без такого признания, заявив, что отклонение основного требования Афганистана приведет к возобновлению военных действий. С чрезвычайной неохотой Г. Грант был вынужден подписать

<sup>14</sup> Илья Эренбург, «Люди, годы, жизнь» («Новый мир», 1985, № 4, стр. 47).

<sup>15</sup> «Советско-афганские отношения. 1919—1989 гг. (Документы и материалы)», стр. 14.

<sup>16</sup> Труш М. И. Внешнеполитическая деятельность В. И. Ленина. 1921—1923. День за днем. М. «Международные отношения». 1987, стр. 23—24.

<sup>17</sup> «Документы внешней политики СССР», т. II, стр. 204.

компромиссную ноту. В ней говорилось: «...указанный договор и это письмо оставляют Афганистан свободным и независимым в его внутренних и внешних делах»<sup>18</sup>.

Лондон отказался признать независимость Афганистана. Договор в Равалпинди был назван предварительным, нуждающимся в дополнительном рассмотрении и ратификации, чтобы стать реальным, практическим соглашением. О конкретных сроках этого рассмотрения, а тем более ратификации колонизаторы предпочитали умалчивать.

Отношение высших имперских властей к договору от 8 августа 1919 года характеризует уже тот факт, что Г. Грант с поста секретаря по иностранным делам был переведен «на периферию» — он стал главным комиссаром Северо-Западной пограничной провинции. Тем самым ему словно бы предлагалось расхлебывать трудности, порожденные подписанием непродуманного документа. Империалисты снова решили тянуть время. Их расчеты на возможное изменение взглядов Амануллы-хана и его окружения основывались на том, что некоторые афганские сановники стояли на панисламистских позициях, старались толкнуть эмира на предъявление северному соседу политических и территориальных претензий. А не удастся ли на такой почве настроить Кабул против советской России, помешать развитию и укреплению их связей? Но в Афганистане прекрасно понимали значение бескорыстной дружбы с новой Россией для укрепления экономики и политического положения государства и дорожили ею.

В начале октября 1919 года Москва встречала дипломатическую миссию генерала Мухаммеда Вали-хана. 12 октября, сопровождаемый высшим судьей афганской армии моулави Сейфурахман-ханом и секретарем посольства, он посетил Наркоминдел РСФСР. Его принимали нарком Чичерин и члены коллегии. М. Вали-хан выразил уверенность, что советско-афганская дружба «будет крепкой и прочной и будет способствовать освобождению Востока от угнетения европейским империализмом».

«Российская Республика,— подчеркнул со своей стороны Г. В. Чичерин,— приписывает особенное значение дружбе с Афганистаном, на прочность с которой она надеется, и особенно высоко оценивает роль афганского народа в борьбе за освобождение Востока ввиду географического положения Афганистана и военного могущества его героического народа».

Вечером 14 октября в присутствии представителей Наркоминдела Л. М. Карахана и Н. Н. Нариманова посольство Афганистана принял Председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин. Как сообщала советская печать, «тов. Ленин встретил Посла в своем рабочем кабинете словами: «Я очень рад видеть в красной столице Рабоче-Крестьянского Правительства представителя дружественного нам афганского народа, который страдает и борется против империалистического ига». На это Посол ответил: «Я протягиваю Вам дружескую руку и надеюсь, что Вы поможете освободиться от гнета европейского империализма всему Востоку». Во время начавшейся затем беседы тов. Ленин говорил, что Советская власть, власть трудящихся и угнетенных, стремится именно к тому, о чем говорил Афганский Чрезвычайный Посол, но что необходимо, чтобы мусульманский Восток это понял и помогал Советской России в великой освободительной войне. Посол на это ответил, что он может утверждать, что мусульманский Восток это понял и что близок тот час, когда весь мир увидит, что европейскому империализму нет места на Востоке»<sup>19</sup>. Затем Мухаммед Вали-хан, поднявшись, вручил Ленину письмо Амануллы-хана.

Афганский дипломат Султан Ахмед через много лет вспоминал: «Беседа с Лениным была очень содержательной. Мы много говорили о положении в мире. Ленин расспрашивал об Афганистане, о жизни в нашей стране, интересовался, как мы доехали. «Мы были первыми, признавшими самостоятельность и независимость друг друга», — сказал он тогда, прощаясь. И, улыбнувшись, добавил: «Значит, нашей дружбе крепнуть...»<sup>20</sup>.

7 ноября чрезвычайный посол Афганистана выступил в Большом театре на заседании ВЦИК, Моссовета, ВЦСПС и фабзавкомов, поздравляя советскую Россию со второй годовщиной Октября. «Хотя мы и не коммунисты, но в равной степени, как и все другие народы, если не больше, страдали от империализма и поэтому мы всегда бу-

<sup>18</sup> Текст договора и «дополнительного письма» см.: «A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries». Vol. XIII: Persia and Afghanistan, Calcutta, 1933, p. 287—288.

<sup>19</sup> «Документы внешней политики СССР», т. II, стр. 281—282.

<sup>20</sup> М. Покровский, «Цветущие сады Джелалабада» («Азия и Африка сегодня», 1977, № 12, стр. 40).

дем готовы пролить кровь в борьбе против надвигающихся империалистов...»<sup>21</sup>. Мухаммед Вали-хан и его спутники внимательно выслушали речь В. И. Ленина на этом заседании об уроках строительства социализма за истекший период.

27 ноября чрезвычайная миссия снова посетила Ленина, заверившего гостей в готовности РСФСР предоставить Афганистану материальную помощь. Мухаммеду Вали-хану было передано письмо для эмира. «С первых дней славной борьбы афганского народа за свою независимость Рабоче-Крестьянское правительство России не замедлило признать новый порядок вещей в Афганистане, торжественно признало его полную независимость и отправило свое посольство для создания постоянной и неослабной связи между Москвой и Кабулом...— гласило это послание.— Рабоче-Крестьянское правительство России поручает своему посольству в Афганистане вступить в переговоры с правительством афганского народа для заключения торговых и иных дружественных договоров»<sup>22</sup>. Действительно, в декабре 1919 года посольство Я. З. Сурица достигло Кабула и приступило к подготовке договора с Афганистаном.

Подобный ход дел не оправдывал никаких мало-мальски оптимистических предположений британских властей, если они и были. Ни экономические депрессии — отмена субсидий, резкое сокращение торгово-экономических связей, — ни политический нажим не привели к переориентации афганского правительства на Лондон. Более того, Аманулли-хана, казалось, мало беспокоило и замораживание соглашения от 8 августа 1919 года. Все это заставило англичан, достаточно ловких в своей колониальной политике, перестроиться и дать понять, что они вовсе не потеряли интерес к Афганистану. Через семь месяцев после Равалпинди, 9 марта 1920 года, лорд Челмсфорд предложил эмиру вернуться к обсуждению взаимоотношений с Англией. На этот раз местом встречи было избрано курортное местечко Массури среди гималайских хребтов. Яркая природа горного курорта, однако, не способствовала благоприятному ходу переговоров. Политический горизонт был затянут тучами, по крайней мере для англичан.

Афганское правительство отправило в Массури авторитетную делегацию во главе с Махмудом Тарзи. 17 апреля 1920 года она встретилась с британскими представителями, руководителем которых был новый секретарь по иностранным делам сэр Генри Доббс. Тарзи заявил о твердом желании своей родины избавиться от зависимого положения и вступить в свободные, неконтролируемые взаимоотношения с другими странами. Доббс заверил его, что англичане признают афганскую независимость, но до заключения дружественного договора не допустят представителя Кабула в Лондоне. Министр иностранных дел Афганистана на протяжении всех бесед категорически отклонял любую дискриминацию своего государства. Дебаты в Массури затянулись на два месяца. Пока они велись, лорд Челмсфорд и его консультанты разработали хитроумный проект срыва советско-афганского сближения. 21 мая 1920 года вице-король телеграфировал кабинету министров свои «соображения о желательности прийти к соглашению с большевиками относительно Афганистана». Смысл этого плана сводился к тому, что по договоренности с Англией советская Россия должна была отказаться от каких-либо отношений с Кабулом, не согласованных с Лондоном. Пойдет ли РСФСР на подобный стовор, лорда Челмсфорда мало беспокоило. 7 июня 1920 года он вновь телеграфировал правителям империи: «Наша политика должна заключаться в том, чтобы разредить большевиков и афганцев»<sup>23</sup>. Но к этой цели Уайтхолл стремился и без телеграмм лорда Челмсфорда.

Ход переговоров в Массури не сулил ничего хорошего для подобных прожектов, тогда как общее развитие событий на Востоке было безрадостным для британских империалистов. Несмотря на яростное противодействие агентуры Лондона, между Ираном и РСФСР были установлены дипломатические отношения (20 мая 1920 года). Собравшееся 23 апреля 1920 года в Анкаре Великое национальное собрание Турции объявило себя единственной законной властью в стране и обратилось к В. И. Ленину с просьбой об установлении дипломатических отношений и оказании помощи Турции в ее антиимпериалистической борьбе. Расчеты правящих кругов Великобритании на формирование какого-либо панисламистского блока, в котором Афганистану отводи-

<sup>21</sup> Евгений Ш у а н. Джанг. Восстание в Афганистане. Л. «Прибой». 1930, стр. 62.

<sup>22</sup> Р. Т. Ахрамович, «В. И. Ленин и борьба Афганистана за независимость» («Ленин и Восток». Сборник статей. М. Издательство восточной литературы, 1960, стр. 243—244).

<sup>23</sup> NAI, «Frontier A. December 1920», doc. 14, p. 6. doc. 16, p. 7, doc. 17, p. 8.

лось бы ведущее место, чтобы отвратить его от большевиков, оказались построенными на песке. Тем не менее Лондон никак не хотел осознать свое поражение. 24 июля 1920 года Г. Доббс передал партнерам по переговорам особый меморандум: Англия не желала заключить «окончательный» договор, где четко фиксировалась бы независимость Афганистана. На этом конференция в Массури завершилась.

Вернувшись из Массури, Махмуд Тарзи и его сотрудники совместно с Сурицем завершили выработку советско-афганского договора. 13 сентября 1920 года проект договора был готов. Поздравляя в связи с этим В. И. Ленина, Аманулла-хан писал:

«Ввиду того, что Правительство Российской Советской Республики направило свои доброжелательные намерения и чувства на ниспровержение во всем мире империализма и особенно на освобождение народов Востока от деспотизма и мировых империалистов и на укрепление того положения, что каждый народ сам определяет свои государственные судьбы, эти вопросы явились единственной причиной величайшего стремления к урегулированию отношений между моим Королевским Правительством и Правительством Российской Советской Республики».

Заключенный нами договор установил основы наших искренних отношений, и мы несколько не сомневаемся в том, что эти основы в будущем еще более укрепятся и утвердятся и что достижение этих высоких общих целей оправдывает пожелания обеих сторон»<sup>24</sup>.

«...важнейшей причиной, побудившей мое Правительство заключить дружественный Договор с Правительством Российской Советской Республики,—присоединился к эмиру министр иностранных дел Махмуд Тарзи,—была общая политика ниспровержения империалистического деспотизма во всем мире и особенно политика освобождения всех народов Востока без различия национальностей и вероисповедания от владычества и тирании мировых хищников, на каковую политику Правительство Вашего Превосходительства обратило серьезное внимание»<sup>25</sup>.

Дружественные отношения с советской Россией с самого их зарождения открыли афганскому народу окно в мир, способствовали его политическому развитию. 14 августа 1920 года в Кабул была доставлена радиостанция, переданная Аманулла-хану правительством РСФСР в знак дружбы между обеими странами. Ее привез и в кратчайшие сроки установил специальный технический отряд. 18 сентября 1920 года эмир откликнулся прочувствованной телеграммой: «Первой радиограммой, посылаемой по радиостанции, полученной в дар и представляющей для меня большую ценность, выражаю, наш высокоуважаемый товарищ Ленин, свою признательность»<sup>26</sup>.

В Афганистане внимательно следили за важными событиями в соседних государствах, и когда в сентябре 1920 года в Баку открылся съезд народов Востока, среди них находились 40 делегатов-афганцев.

Для империалистов 1920 год проходил под знаком упадка их влияния и сокращения сферы господства в колониальном мире, а большевики имели все основания радоваться успехам борьбы угнетенных народов. На VIII Всероссийском съезде Советов в декабре 1920 года В. И. Ленин с глубоким удовлетворением отмечал:

«...на Востоке наша политика за этот год одержала крупные успехи...

Мы можем приветствовать... предстоящее подписание договора с Персией, дружественные отношения с которой обеспечены в силу совпадения коренных интересов у всех народов, страдающих от гнета империализма.

Мы должны отметить также, что дружественные отношения у нас все более и более налаживаются и укрепляются с Афганистаном и еще более с Турцией»<sup>27</sup>.

И все же правящие круги Великобритании отказывались признать свое поражение. Они вновь предприняли попытку торпедировать советско-афганское сближение. 7 января 1921 года в Кабул приехала миссия сэра Генри Доббса. Колонизаторы были готовы на многое ради достижения цели. Эмиру предлагали 3 600 тысяч рупий одновременно и ежегодную субсидию в 2 050 тысяч рупий, даже открытие в Лондоне афганского посольства и другие блага, если он откажется допустить у себя в стране советские консульства, перестанет интересоваться судьбой восточноафганских племен и вообще будет более послушным. Острые дебаты вокруг принципов и спорных пунктов англо-афганских отношений продолжались вплоть до ноября 1921 года. Кабул не

<sup>24</sup> «Документы внешней политики СССР», 1960, т. IV, стр. 95.

<sup>25</sup> Там же, 1959, т. III, стр. 560—561.

<sup>26</sup> Там же, стр. 140.

<sup>27</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 132.



подавался нажиму изодранных и опытных британских дипломатов, зная подлинную цену их посулам. Правительство Амануллы-хана твердо и неуклонно вело свою политическую линию.

В начале 1921 года уже были согласованы небольшие изменения, какие намечалось внести в подготовленный проект соглашения РСФСР с Афганистаном. 28 февраля 1921 года советско-афганский договор был подписан — первый в истории международный договор свободного и независимого Афганистана. Он признавал взаимную независимость, содержал обязательство не вступать с третьей державой в соглашения, наносящие ущерб участникам договора. Афганистан получил право свободной и беспрошальной перевозки грузов через территорию Российской Федерации, а также денежную и другую материальную помощь. Обе стороны поддержали «свободу наций Востока на основе самостоятельности и в согласии с общим желанием каждого из его народов»<sup>28</sup>.

Заключение договора от 28 февраля 1921 года явилось важным этапом в развитии советско-афганских взаимоотношений. Подчеркивая значение этого, Г. В. Чичерин отмечал, что тем самым «закреплены наши дружеские взаимоотношения и положено прочное основание совместной работе России и Афганистана, перед которым стоит задача освобождения народов Востока от империалистов Западной Европы... Мы уверены, что в будущем никто не ослабит тех чувств, которые питают друг к другу народы России и Афганистана, и что наши дальнейшие сношения еще больше укрепят дружбу, существующую между обоими народами. Русский народ оценил по достоинству искренность афганского народа, с которой он обратил свои взоры на Советскую Россию уже три года тому назад, когда Советской России предстояла длинная и упорная борьба с врагами русского народа. Теперь, когда Советская Россия почти уже закончила эту борьбу и вышла из нее победительницей, русский народ приложит все усилия к тому, чтобы и в будущем оказать свою поддержку афганскому народу в том направлении, какое вызывается необходимостью и уже нашло свое выражение в заключенном договоре между обоими государствами»<sup>29</sup>.

В. И. Ленин смог откликнуться на подписание договора лишь в конце апреля 1921 года. Поздравляя «просвещенного правителя и стойкого основоположника и хранителя независимости Высокого государства Афганского Его Величества афганского эмира Амануллу-хана», Ленин выделял основные моменты, определявшие сущность советско-афганских отношений:

«Российское Советское правительство и Высокое Афганское государство имеют общие интересы на Востоке, оба государства ценят свою независимость и хотят видеть независимыми и свободными друг друга и все народы Востока. Оба государства сближают не только вышеуказанные обстоятельства, но и в особенности то, что между Афганистаном и Россией нет вопросов, которые могли бы вызвать разногласия и набросить хотя бы тень на русско-афганскую дружбу. Старая империалистическая Россия исчезла навсегда, и северным соседом Высокого Афганского государства является новая Советская Россия, которая протянула руку дружбы и братства всем народам Востока и афганскому народу в первую очередь.

Высокое Афганское государство было одним из первых государств, представителей которого мы с радостью встретили в Москве, и мы счастливы отметить, что первый договор о дружбе, который заключил афганский народ, был договор с Россией.

Мы уверены, что искреннейшее наше желание будет осуществлено и что Россия навсегда останется первым другом Высокого Афганского государства на благо обоих народов»<sup>30</sup>.

Договор со Страной Советов прорвал барьер на пути международного признания Афганистана. 1 марта 1921 года генерал Мухаммед Вали-хан подписал в Москве с турецкими представителями Юсуфом Кемалем и доктором Резой Нуром договор об афгано-турецком союзе, 8 апреля он прибыл в Берлин, где достиг неофициального соглашения о техническом сотрудничестве между Афганистаном и Германией. Затем представители эмира отправились в Рим, заключив там 3 июня афгано-итальянский договор об обмене посольствами. Во Франции Вали-хан 28 июня 1921 года подписал с Раймоном Пуанкаре торговое соглашение.

<sup>28</sup> «Документы внешней политики СССР», т. III, стр. 552.

<sup>29</sup> Там же, стр. 558, 559.

<sup>30</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 317—319.

Такое развитие событий лишней раз убедительно подтвердило полную безрассудность надежд британских империалистов на восстановление своего господства над Афганистаном. Это начали понимать даже самые твердолобые из английских консерваторов. И наконец, 22 ноября 1921 года с чрезвычайной неохотой сэр Генри Доббс был вынужден подписать «окончательный» мирный договор. В нем подтверждалась отмена субсидий, прежняя граница — «линия Дюранда», но главным было не это. Главным было признание Англией независимости Афганистана! Эмир Аманулла-хан возвестил о заключении договора на многолюдном собрании в присутствии дипломатов Великобритании, особо подчеркнув, что его следует воспринимать как соглашение между соседями, но вовсе не как дружественный договор. Дружить со своими многолетними угнетателями афганский народ и его руководители не желали...

В одной из своих самых последних работ, «Лучше меньше, да лучше» (написана 2 марта 1923 года), В. И. Ленин пришел к твердому выводу о том, что «Восток... окончательно втянулся в общий круговорот всемирного революционного движения»<sup>31</sup>. Среди соображений, укрепивших Ленина в этой мысли, было немало связанных с Афганистаном.

В сложном процессе социалистического развития афганского народа и государства, как и других народов и государств, естественно, имелись различные повороты. Британская империя отнюдь не намеревалась придерживаться рамок любых договоров, а тем более таких, какие не устраивали ее. В течение всего периода правления Амануллы-хана, стремившегося проводить в стране существенные реформы, английские агенты организовывали и проводили всевозможные подрывные действия, щедро и энергично поддерживали внутреннюю реакцию, подстрекая ее на антиправительственные выступления. В 1928—1929 годах при их прямом соучастии вспыхнул крупный мятеж против прогрессивных преобразований, Аманулла-хан был вынужден отречься от престола. С января по октябрь 1929 года государством управлял главарь бандитской шайки, руководитель мятежников Бачаи Сакао. В октябре его сверг бывший генерал Амануллы-хана Мухаммед Надир-хан (после коронации — Надир-шах). Период правления короля Мухаммеда Надир-шаха (1929—1933) и его сына Мухаммеда Захир-шаха (1933—1973), как и их родственника президента Мухаммеда Дауда (1973—1978), — это время консервации феодальных отношений. Промышленность развивалась крайне слабо, сельское хозяйство велось на примитивном уровне. Подавляющее большинство населения было неграмотно. По уровню жизни Афганистан находился на одном из последних мест в Азии.

Ни короли, ни президент Дауд не принесли экономического процветания афганскому народу. При их деспотических режимах не соблюдались никакие человеческие права. Культурные нужды страны находились в загоне. Разумеется, все это вызывало резкое недовольство подлинных патриотов Афганистана, его прогрессивных слоев. Сформировавшаяся в 60-х годах в подполье Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) в апреле 1978 года повела войска и трудящихся на штурм продажного, прогнившего аппарата власти президента Дауда. Апрельская революция прошла почти бескровно, настолько государство было подготовлено к ней. Осуществленная в интересах широких народных масс, революция в Афганистане вызвала горячие симпатии и активную поддержку всего передового человечества. Как и в первые годы утверждения независимого афганского государства, Советский Союз, верный ленинским принципам пролетарского интернационализма, проявил готовность оказать любую необходимую помощь молодой Демократической Республике Афганистан. В декабре 1978 года Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев и Генеральный секретарь ЦК НДПА, Председатель Революционного совета ДРА Нур Мухаммед Тараки подписали в Москве Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве.

Афганская революция всколыхнула все реакционные силы Запада и Востока. Американская администрация президента Картера, пекинские гегемонисты, давние «знакомые» афганского народа — английские консерваторы, возглавляемые леди Тэтчер, пакистанская военщина проявили крайнее беспокойство по ее поводу, опасаясь возможной цепной реакции в странах третьего мира. Выделив на борьбу с афганской революцией огромные средства, крупные партии оружия и боевого снаряжения, они стали формировать бандитские шайки для засылки в Афганистан.

<sup>31</sup> Там же, т. 45, стр. 403.

В обстановке крестового похода мировой реакции против нашего южного соседа СССР пошел навстречу настоятельным просьбам афганского руководства, направив туда ограниченный военный контингент, который будет выведен, как только в нем отпадет надобность. Этот шаг Советского правительства вызвал клеветническую волну утверждений о «руке Москвы», стремящейся якобы к «теплым южным морям». Западная пропаганда готова даже забыть о сути и первопричинах дела: обоснованном и естественном желании афганского народа быть свободным и независимым, развивать экономику и культуру в условиях социального равенства и пользоваться благами более передового общественного строя.

Особую ярость реакционеров всех мастей вызывает стремление революционного Афганистана крепить дружбу и всестороннее сотрудничество с могучей страной социализма. Они упорно не желают знать и видеть мощные исторические, социальные, политические, географические и культурные факторы, лежащие в основе этой дружбы. Между тем великий Ленин, стоявший у ее колыбели, более шестидесяти лет назад четко и ясно охарактеризовал фундаментальную базу советско-афганской дружбы. 20 июля 1919 года на вопрос агентства Юнайтед Пресс: «Какова тактика Российской Советской республики по отношению к Афганистану, Индии и другим мусульманским странам вне пределов России?» — В. И. Ленин ответил: «Деятельность нашей Советской республики в Афганистане, Индии и других мусульманских странах вне России такова же, как наша деятельность среди многочисленных мусульман и других нерусских народностей внутри России. Мы дали возможность, например, башкирским массам учредить автономную республику внутри России, мы всячески помогаем самостоятельному, свободному развитию каждой народности, росту и распространению литературы на родном для каждого языке, переводим и пропагандируем нашу Советскую конституцию, которая имеет несчастье более чем миллиарду жителей земли, принадлежащих к колониальным, зависимым, угнетенным, неполноправным народностям, больше нравится, чем «западноевропейская» и американская конституция буржуазно-«демократических» государств, укрепляющая частную собственность на землю и капитал, т. е. укрепляющая гнет немногочисленных «цивилизованных» капиталистов над трудящимися своих стран и над сотнями миллионов в колониях Азии, Африки и пр.»<sup>32</sup>.

Ленинская политика братской солидарности с народами Афганистана нашла новое проявление и четкое подтверждение в Заявлении Советского Союза и Демократической Республики Афганистан во время официального дружественного визита в Москву Генерального секретаря ЦК Народно-демократической партии Афганистана, Председателя Революционного совета и премьер-министра ДРА Бабрака Кармала. Подписанное 16 октября 1980 года Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым и Бабраком Кармалем, это Заявление констатирует, что «второй этап апрельской революции создает наиболее благоприятные условия для всестороннего развития советско-афганских отношений»; в нем подчеркивается «решимость сторон и впредь всемерно укреплять и развивать отношения между двумя странами на основе братской дружбы, революционной солидарности и принципов интернационализма».

Нет сомнения, что дружба и всестороннее сотрудничество между Советским Союзом и Демократической Республикой Афганистан, начало которым заложено великим Лениным, будут и впредь крепнуть и расширяться на благо наших государств-соседей и их народов.

<sup>32</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 114.

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Б. ЯКОВЛЕВ

★

## МУДРАЯ СИЛА ПРИНЦИПА

*Размышления о свободе творчества  
и партийности литературы*

«**И** ёте как-то сказал, что художнику дается изображение только такого типа женской красоты, который он любил хотя бы в одном живом существе. Свободе печати также присуща своя красота, хотя красота эта отнюдь не женская»<sup>1</sup>.

Я цитирую слова Маркса под впечатлением, вызванным работами видных советских философов и литературоведов, вошедшими в сборник статей «Художник и общество», который недавно появился в издательстве «Художественная литература» (М. 1980). У этой книги есть подзаголовок «Свобода личности и свобода творчества», уточняющий, корректирующий направление всего разговора, состоявшегося по весьма примечательному поводу — в связи с началом практической жизни новой Конституции СССР.

Поскольку свобода творчества — родная сестра всех других гражданских свобод, в том числе и свободы печати, есть резон воспользоваться Марксовым выражением, чтобы и воздать должное ее социальной красоте и поразмышлять о ее непростой природе, удивительном нраве. Благо статьи из сборника дают для этого живой материал (многие из работ, кстати, были прежде опубликованы в периодике; связанные теперь сборником в один идейно-тематический узел, они выглядят более крупно, являя тот целостный взгляд на вещи, который принято сейчас называть комплексным подходом).

Что касается социальной красоты, то условия развитого социализма позволяют вплотную подойти к установлению наибо-

лее тесной, эффективной связи художника с обществом. Наш Основной Закон всем своим существом, духом и буквой на стороне мастеров культуры, стремящихся творить по законам добра и разума, человеческого достоинства и красоты — в соответствии с осознанной ими необходимостью поступать только так и не иначе.

А ведь сколько трудностей пришлось одолеть отечественной культуре и русскому обществу, прежде чем были выработаны такие начала, принципы гармонических взаимоотношений поэта и гражданина, достигнута такая организация духовной жизни! Преодолевать в условиях царского самодержавия, опираясь на почти призрачные крохи свобод, которые самоотверженно отстаивала и культивировала передовая общественная мысль! А. И. Герцен писал в свое время: «...как знать, кто окажется более ловок, свободное слово или император Николай». Время показало, что свободное слово оказалось куда могущественнее, чем вышколенный режим с его голубыми мундирами и вся последующая весьма изобретательная по части антидуховных акций бюрократическая машина русского царизма. Почему? На этот вопрос уже с глубоко научной, пролетарски-классовой точки зрения ответил Маркс: «...внешние преграды духовной жизни не принадлежат к внутреннему характеру этой жизни... они отрицают эту жизнь, а не утверждают ее»<sup>2</sup>.

Во имя утверждения высших, коммунистических принципов духовного бытия именно коммунисты сумели так построить взаимоотношения с художественной интел-

<sup>1</sup> Маркс К и Энгельс Ф Сочинения, т. 1, стр. 35.

<sup>2</sup> Там же, стр. 53.

лигенцией, что практически весь ее цвет оказался увлеченным целями и идеалами большевизма. И делалось это, надо подчеркнуть, без тактических хитростей, без умышленных недомолвок, а по-ленински честно и определенно: «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков!.. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя (разрядка моя. — Б. Я.)... Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела»<sup>3</sup> — и в то же время по-ленински мудро, с пониманием всей диалектической тонкости предмета: «Спору нет, литературное дело все же менее поддается механическому равенению, нивелированию, господству большинства над меньшинством (разрядка моя. — Б. Я.). Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию»<sup>4</sup>.

Так был поставлен В. И. Лениным вопрос о свободе творчества в его замечательной работе «Партийная организация и партийная литература», семидесятипятилетие со времени опубликования которой мы отметили недавно. Вся последующая художественная практика показала великую ленинскую правоту. Симптоматично, что к аналогичным, по существу, выводам, но другими, более запутанными и тяжкими путями пришли весьма далекие от ленинизма мыслители. Ну хотя бы известный философ К. Ясперс, который в своих размышлениях о путях истории не раз обращается к суждениям о свободе творчества. Во всех противоречивых стремлениях нашего времени, писал он, есть как будто одно требование, которое объединяет всех. Все народы, все люди, представители всех политических режимов единодушно требуют свободы. Однако в понимании того, что есть свобода и что делает возможным ее реализацию, все сразу же расходятся. Быть может, самые глубокие противоречия между людьми обусловлены их пониманием свободы. То, что одному представляется путем к свободе, другой считает прямо противоположным этому. Почти все, к чему стремятся люди, совершается во имя свободы. И замечает К. Ясперс далее: «Свобода совпадает с внутренне наличествующей необходимостью истинного».

Здесь самое время перейти к вопросу,

<sup>3</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 100, 104, 100—101.

<sup>4</sup> Там же, стр. 101.

которому авторы сборника справедливо уделили самое пристальное внимание. Речь идет о соотношении партийности и свободы творчества. Партийность художника, замечает, к примеру, Г. В. Дубов, автор статьи «Свобода художественного творчества и принцип партийности искусства», особенно выразительно проявляется в эпохи великих социальных преобразований, и, как ни парадоксально звучит это утверждение, в эти моменты человеческой истории именно в партийности проявляется величие художника. А поскольку развитие искусства в XX веке, по обоснованному утверждению того же автора, пошло именно по пути его интенсивного слияния с социально-политической проблематикой, становится вполне объяснимой острая необходимость четкого определения художником своей позиции. В таких случаях на помощь приходит обычно то «здоровое практическое чувство истины», о котором писал еще В. Г. Белинский и которое побуждает деятелей социалистической культуры к сознательному выбору своего места в общем строю.

Анализируя черты художественной культуры развитого социализма, один из авторов сборника, Григорий Оганов, подчеркивает, что именно практика художественной жизни в нашем социалистическом отечестве, сама история становления и развития советской литературы и всех видов искусства красноречиво подтверждают поразительную подвижность, динамизм новой эстетической системы, восходящие тенденции ее развития, а главное — постоянную способность правдиво и выразительно отображать самые сложные явления, самые тонкие процессы быстротекущей жизни.

Прежде всего это относится к нашей советской литературе — литературе социалистического реализма. Велики возможности литературы как средства познания и преобразования мира. «Сейчас яснее, чем когда бы то ни было, — замечает В. Б. Кувадин, автор другой статьи сборника, — что многое, из чего складывается частная и общественная жизнь, можно выразить только при помощи того богатейшего арсенала средств, которым располагает художественная литература». Бурный прогресс наук о человеке, которым отмечен XX век, отчетливо обнаружил внушительный «остаток», где научное познание уступает пальму первенства познанию художественному. Целостный взгляд на человека, способность уловить процессы, которые в общественной жизни едва обозначились, выработанные веками умение проникнуть в са-

мые потаенные уголки человеческого существования надежно закрепляют за литературой ту первостепенную роль, которую она всегда играла в выработке личностью представлений о себе и окружающем мире.

Мысль, разумеется, не новая, но надо отдать должное убедительности и четкости ее изложения, пониманию того идейно-эмоционального заряда, который она содержит. В самом деле, практически безграничные возможности литературы в нашем суровом мире усложняют, укрупняют гражданскую миссию ее мастеров, призванных развивать и укреплять в людях прежде всего ответственное отношение к жизни. Забыв об обязанностях, человек превращается в дикаря—это напоминание Андре Моруа имеет в наши дни исключительный практический смысл. И можно понять пафос статьи Г. Бровмана, посвященной героине эпохи развитого социализма, ее литературно-художественному смыслу в социально-исторической перспективе, статьи В. Баранова, в которой речь идет об одной из плодотворнейших тенденций в нашей литературе, связанной с углублением и обогащением концепции личности, с усложняющейся природой конфликтности в жизни и литературе, с социально-нравственной активностью героя. Своими суждениями авторы упомянутых да и других работ сборника подводят к мысли о необходимости поиска более ярких и художественно полноценных решений этих творческих проблем.

Автор статьи «Диалектика единства и различий» Ю. Кузьменко, размышляя о тех этапах, которые прошла наша литература, считает весьма важным в научном отношении само понятие «литература развитого социалистического общества». Введение этого понятия, как подчеркнуто в статье,— важное событие в нашей теоретической работе, новый момент в методологии исследования истории советской литературы.

Ю. А. Лукин, посвятив свою статью комплексному исследованию художественной литературы развитого социализма, предпринимает интересную попытку взглянуть на этот уникальный по масштабам, специфике и силе влияния духовный организм во взаимодействии и взаимосвязях всех его компонентов. Да и как же может быть иначе, если ныне «серьезно стоит вопрос об анализе литературы и искусства в единстве и совокупности всех функций: познавательной, общественно-преобразующей, семиотической, аксиологической, коммуникативной. Этот вопрос, как и проблема целостного анализа художественной культу-

ры, имеет принципиальное, не просто теоретическое, но и сугубо практическое значение». Заслуживает самого серьезного внимания мысль Ю. А. Лукина о выделении культурологии в самостоятельную научную дисциплину: научно обоснованный подход к проблемам художественной культуры требует весьма основательной научно-теоретической оснастки.

Идею комплексного подхода, но уже перенесенную на отношения между текущей общественной мыслью, литературой и жизнью, подхватывают и другие литераторы. Она привлекает и В. Осского («Больше внимания новому»), считающего, что тезис о национальном многообразии и интернациональном единстве советской литературы может быть правильно понят в том случае, если будет раскрыто его идеологическое, социальное, нравственное содержание. Близка идея комплексности и В. Баранову (статья «Дойти до сути») и Ю. Андрееву, автору статьи «Глядя в будущее», оперирующему в своих размышлениях не только чисто литературными фактами, но и наблюдениями, касающимися читательской аудитории. В таком повороте разговора есть своя логика: ведь свобода творчества связана со свободой его восприятия, свободой суждений о результатах творчества, с доступностью произведений их ценителям, в качестве которых выступает все большая часть народа, народная масса. Для современных художников характерно глубокое осознание необходимости работать на уровне постоянно растущих эстетических вкусов и запросов народа. И для общества всем не безразлично, какие именно душевные струны в первую очередь заставляет звучать то или иное произведение художника.

При этом следует иметь в виду и то, что растущие технические возможности выхода писателя ко все более широкой аудитории позволяют использовать литературу и в превратных целях: стоит в оценке этих возможностей чуть-чуть изменить угол зрения, расставить произвольно или же неточно акценты — и «изреченная мысль» становится ложью. Потому глубоко правы авторы, напоминающие о том, как важны для художника объективные представления о жизни,— это необходимое условие творчества. Г. Бровман к месту приводит в своей статье слова Рагозина из трилогии Константина Федины: «Ты умеи найти такого человека, в котором немножко будущего есть». Без такой ориентации на ростки будущего в характере,

умонастроении и стиле жизни героя, конечно же, не может быть развивающейся литературы. Но бездумное забегание вперед, отрыв от реальности ничуть не меньшее зло, если не большее. «Иногда в нашей текущей публицистике,— пишет Ю. Суровцев в статье «В свете коммунистического нравственного идеала»,— делается вывод, что все условия для гармонически развитой личности уже созданы. Это неправильно. Конституция привнесит в наше сознание этого вопроса очень важную ноту трезвости. Оптимистической трезвости. Сделано очень много. Но государство, партия, народ будут неустанно работать, чтобы расширять и дальше реальные возможности для достижения коммунистического идеала личности».

Статьи сборника создают в совокупности своей весьма яркую и впечатляющую картину духовной жизни общества развитого социализма, убедительно говорят о месте и роли художника в общей борьбе народа, общества за торжество высших человеческих идеалов. И по контрасту с этой гуманистической, активно ищущей, оптимистически настроенной советской литературой, по контрасту со всем советским укладом жизни еще острее воспринимается поистине трагическое положение художника в буржуазном обществе. Разумеется, если он честен и верен благородным идеям и целям. Трудно представить себе, сколько препятствий, порою непреодолимых, возникает на его пути. Здесь и всеисие денежного мешка, и кричащие противоречия окружающей действительности, и умелая спекуляция денежных воротил на психологии творческой личности. Из статей «Эпос революции и тщета советологии» Г. Оганова, «Война против разума (Буржуазная пропаганда и искусство)» В. Молчанова, «Политическая публицистика писателей США (60—70-е годы)» Т. Голенпольского, «Место и роль писателя в современном капиталистическом обществе» В. Б. Кувалдина вырисовывается довольно таки зловещий облик молоха капиталистического корыстолюбия, пожирающего лучшие художественные силы и таланты.

«Свобода творчества» по-буржуазному... По мере того как капитализм, пишет В. Б. Кувалдин, исчерпывал экстенсивные факторы роста, связанные с распространением капиталистических отношений на новые сферы народной жизни, он был вынужден искать новые возможности для своего существования. В поисках их он все чаще обращается к сфере культуры.

стараясь использовать присущую ей тенденцию к безграничному росту и совершенствованию. Многие виды интеллектуального труда, в частности художественное творчество, казалось бы в принципе не совместимое с системой буржуазных производственных отношений, втягиваются в орбиту капиталистического производства, становясь объектом беззастенчивой эксплуатации.

В частности, средства массовой коммуникации, поощряя литературную пошенину, вовлекая писателя на правах одного из соавторов в свою духовную (а точнее — в антидуховную) деятельность, пытаются стандартизировать, нивелировать его творческое лицо. Но, разумеется, происходит это не в грубой, прямолинейной форме, как представляется поверхностному взгляду, не с какой-то жесткой детерминированностью.

О кризисе личности в буржуазном обществе, выражающемся в росте преступности, душевных заболеваний, наркомании, алкоголизме, коррупции, насилиях, в наши дни пишется немало. Исследователи напоминают об «аномии», термине, введенном Дюргеймом и означающем особое болезненное состояние личности, которое вызвано утратой смысла жизни, жизненных перспектив, уверенности в себе, нигилистическим и циничным отношением к морали.

Помня все это, мы неизбежно приходим к мысли, что сейчас одним из наиболее острых моментов идеологической борьбы становится проблема ценностей, вопрос о том, ради чего жить, на удовлетворение каких потребностей должно ориентироваться общество в процессе своего развития. Литература, всегда служившая выражением нравственных идеалов эпохи, должна сказать свое слово при решении этих проблем. Отсюда особая важность осознанной ответственности писателя за нравственное самочувствие своего народа.

Далеко не каждому удастся сохранить здесь достойную гражданскую позицию. Несколько лет назад итальянский писатель Пьетро Читати в одном из газетных интервью высказался так: «Может быть, будущее подарит нам такой мятежный дух, как бы живущий вне самого себя, на грани саморастворения. Подобный дух неспособен закостенеть, его не заботит практическая ценность собственных идей, он абсолютно лишен чувства реальности, он влюблен в абсурд».

Даже такой серьезный, всемирно признанный писатель, как Грэм Грин, не удер-

жался от соблазна высказаться за бунтарство как принцип отношения художника к политике. В одном из интервью он сказал: «Писатель всегда должен противостоять официальной точке зрения и поддерживать только побежденных. Я бы хотел менять свои политические привязанности каждый день. Например, если бы стали преследовать вседозволенность, я бы стал сторонником вседозволенности. Так я понимаю позицию писателя. В коммунистическом обществе я был бы против коммунизма. В капиталистическом обществе меня бы стали называть коммунистом».

Чем оборачивается такая свобода обращения с собственными политическими привязанностями, хорошо известно из исторического опыта. В конечном счете она на руку капиталу. Так или иначе, но главную опасность для буржуазных идеологов представляют те, кто, по словам основоположников марксизма, уместно приведенным в статье В. Молчанова, понимает, что историческая реальность, выброшенная велеречивым агитатором за дверь, возвращается через окно. Отсюда страх наших идеологических противников перед правдой, отсюда воинствующий антигуманизм, умело маскирующийся в самые изысканные демагогические одежды, ловко использующий трагическое положение художника в буржуазном мире в своих разрушительных целях. Такова логика поведения лsbых реакционных режимов, стремящихся законсервировать, удержать старое. И наоборот, в развитии, укреплении социальных, духовных

и нравственных стимулов к творчеству видят, как было верно замечено, свою опору прогрессивные, жизнеспособные общественные движения, партии, уклады, социальные коллективы.

Духовное здоровье, жизнеспособность общества развитого социализма не нуждаются в доказательствах — они очевидны. Провозгласив своей целью превратить борьбу за существование в борьбу за полное выявление заложенных в каждой личности возможностей, оно представило мастерам культуры такие общественно-политические и юридические гарантии, такие идейные и эстетические предпосылки для полнокровного творчества, каких не знала прежде социальная практика.

Но и мера ответственности художника перед обществом повысилась как никогда. Переживаемое нами историческое время начисто исключает легкомыслие, требует от художника реальной и повседневной гражданственности, или, иначе говоря, той самой активной жизненной позиции, воспитание которой, подчеркивалось на XXV съезде КПСС, составляет одну из главных наших задач в сфере нравственности.

Считанные дни остаются до очередного, XXVI съезда КПСС, который несомненно станет ключевым событием современности. Есть основания полагать, что в его решениях наша художественная интеллигенция найдет новые стимулы для успешного осуществления своей высокой миссии в обществе.



---

---

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ

★

## БОЛЬШИМИ МАРШРУТАМИ

**И** на Первом Всесоюзном съезде советских писателей Алексей Максимович Горький сказал, что творческий союз писателей нашей страны «создается не для того, чтобы только физически объединить художников слова, но чтобы профессиональное объединение позволило им понять свою коллективную силу, определить с возможной ясностью разнообразие направлений ее творчества, ее целевые установки и гармонически соединить все цели в том единстве, которое руководит всею творческой энергией страны». Тогда же Горький назвал советскую литературу мощным орудием социалистической культуры.

Недавно мне довелось принять участие в создании коллективного публицистического сборника, который скоро выйдет в свет. Называется книга «Вместе с партией, вместе с народом». Цель сборника — показать, как в политике Коммунистической партии, в ее деятельности и планах художники нашей страны черпают свое вдохновение, гражданскую страсть. Показать, как с горьковских времен советская литература становилась все более «мощным орудием», как Союз писателей выполнял свою миссию в современных условиях, в свете задач, поставленных XXV съездом КПСС, постановлениями ЦК КПСС о литературно-художественной критике, о работе с творческой молодежью, о дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы.

Широк и творчески разнообразен литературный процесс, огромно многолико то, что мы называем нашим литературным хозяйством. Активное художественное постижение жизни в свете коммунистических идеалов выражается в смелости творческих поисков, в выборе художественных решений, в разнообразии стилей и жанров, в борьбе против схематизма, примитивизма,

идейной ущербности, литературной серости. Как убедительно показывают материалы сборника, о котором я повел речь, в любом жанре и виде литературы последние годы были периодом принципиальных творческих достижений.

Стала еще более очевидна и заметна общественная роль литературы в нашей стране, появились и окрепли новые, важные формы тесного общения литературы с народной жизнью, писателей со своими читателями. В материалах сборника «Вместе с партией, вместе с народом» в конкретике фактов, в летописи важных событий, в движении современного литературного процесса отчетливо можно увидеть, как год от года расширяется и крепнет плодотворное содружество литературы и труда, литературы и жизни.

Глубокое, аналитическое изучение действительности, различные формы связей с практикой социалистического строительства характерны для советской литературы. Они имеют теперь уже свою немалую и славную историю. Все это восходит еще к 30-м годам, а говоря точнее, к первой коллективной поездке группы известных писателей в Туркмению в марте 1930 года, поездке, получившей значительный общественный и литературный резонанс в то время, памятной нам и сейчас.

Миновало полвека после этого события — первый, и притом своеобразный, юбилей дружбы народов, дружбы литератур. Результаты той давней замечательной поездки нельзя измерять только многообразием осуществленных литературных замыслов. Это была еще и эффективная помощь молодой туркменской литературе, и крупная общественная акция, способствовавшая развитию чувства пролетарского интернационализма, взаимообогащению культур народов нашей страны, один из ярких примеров сближения литературы с

живой практикой социалистического строительства.

И думается, что именно сейчас, в эти дни, интересно и полезно вспомнить о ценном художественном опыте 30-х годов, который оставил глубокий след в нашей литературе, в нашей общественной жизни. И в свете этого опыта взглянуть на сегодняшний день республики, оценить масштабы происшедших перемен, глубокие, органические, кровные связи писателей с жизнью народа.

Шел 1930 год. Весна в Туркмении ранняя и стремительная, полыхающая многоцветьем бурных трав. Уже в марте все в зеленом цвете кленов, лип, тутовых деревьев, а в апреле — и в белом кипении акаций. За окраинами столицы республики Ашхабада, там, где еще тянется пояс орошаемого оазиса и только лишь робко подступают голая степь и текучие пески пустыни, ранняя весна приметна чистой и нежной зеленью травы и красным сиянием тюльпанов. В апреле в городе уже ходят в костюмах, а то и просто в белых рубашках, оживают парки и бульвары, и, как во всех южных городах, жизнь словно бы переселяется из домов во дворы, огороженные высокими глиняными дувалами.

Республиканская газета «Туркменская искра» 29 марта 1930 года поместила заметку такого содержания:

«Сегодня скорым поездом из Москвы в Ашхабад приехала первая писательская бригада в составе: В. Иванова, Л. Леонова, Н. Тихонова, Вл. Луговского, П. Павленко и Гр. Санникова.

Горячий товарищеский привет мастерам слова, приехавшим изучать Советский Восток!»

Спустя много лет, вспоминая о том, как родилась мысль об этой коллективной поездке писателей. Николай Семенович Тихонов рассказывал в одной из статей:

«Началась она с разговора Горького с Всеволодом Ивановым и Петром Павленко. Уже в ту пору Алексей Максимович размышляла о будущем Первом Всесоюзном съезде советских писателей... Он говорил, что многие писатели живут в разных республиках и до сих пор незнакомы, иные ни разу не видели друг друга... Надо помочь им сблизиться, подружиться. Надо внимательно приглядываться к новой жизни, особенно на бывших национальных окраинах нашей страны. Так советовал Горький. Он предложил создать писательские бригады, которые поедут в братские

советские республики, проживут там, будут общаться с местными литераторами и по возможности сами напишут об этих республиках...»

Время, которое выбрали писатели для своей поездки в Туркменистан, было весьма примечательным. 1929 год явился годом великого перелома в жизни нашей страны. Всюду шло или начиналось новое гигантское промышленное строительство. В развитии сельского хозяйства в процессе коллективизации был также достигнут коренной перелом.

Состоявшийся летом 1930 года XVI съезд ВКП(б) вошел в историю как съезд развернутого наступления социализма по всему фронту. В этой обстановке всенародного подъема, успехов социалистического строительства формировались и подлинно талантливые, жизнеспособные силы молодой советской литературы, на авансцену которой выходил новый тип и самого писателя, тесно связанного с народной жизнью, не мыслящего своего творчества без активной гражданской позиции, без изучения новых конфликтов и проблем действительности.

Это время исторических свершений находило своеобразное и яркое преломление в реалиях строительства социализма и на земле древней Туркмении.

Писатели, едва вступив на землю Ашхабада, сразу же почувствовали бурный и напряженный ритм жизни республики. Уже их первые выступления, наполненные энергией, размахом и решимостью, вызвали широкий интерес общественности.

— Бригада приехала не только погостить, а взять на ощупь социалистическое строительство в Туркмении,— заявил Петр Павленко журналистам «Туркменской искры».

Представляя членов бригады, для большинства из которых эта поездка стала осуществлением давних замыслов, хотя все они были сравнительно молодые люди, моложе и чуть старше тридцати лет, Павленко заметил, что Николай Тихонов и раньше много бродил по советскому Востоку, Всеволод Иванов тоже бывал в Средней Азии. Сам Павленко не раз путешествовал по Малой Азии.

— Теперь,— закончил руководитель бригады,— писатели намерены написать коллективную книгу о Туркмении, книгу всех жанров: проза, стихи, статьи.

— Мало отразить быт,— говорил Вл. Луговской на встрече в редакции газеты,— надо установить постоянную связь между туркменскими и русскими писателями.

Экзотика умирает. Надо изобразить Туркмению, полную творческого огня и энтузиазма. Я хочу прежде всего дать такой цикл стихов о Туркмении, который сыграл бы определенную роль в моей четвертой книге лирики, которая будет называться «Колыбель оптимизма». Книга покажет зарождение оптимистического мировоззрения как результат теперешней эпохи реконструкции.

«Быт далекой Туркменской республики почти неизвестен широкому читателю, а между тем эта страна, превосходящая площадью Германию, имеющая миллионное население, ответственную границу с Афганистаном и Персией, играет колоссальную роль в Средней Азии. Она незаслуженно забыта советской литературой. Со времен Каразина и Верещагина никто не писал о ней подробно...» — так начал вскоре свои знаменитые очерки «Кочевники» Николай Тихонов.

Большая энергия, как известно, рождается для серьезной цели. И писатели из ударной бригады с первого же дня, буквально с первого же часа устремились к осуществлению такой цели. Они проводили встречи в рабочих клубах, выступали у железнодорожников, печатников, в красноармейских казармах.

В те годы в Ашхабаде были размещены части 1-й горнострелковой Туркестанской дивизии, которой командовал, будучи и начальником ашхабадского гарнизона, мой отец М. Л. Медников, член ЦК КП(б)Т и Президиума ЦИК республики. Он вместе с другими встречал писателей на вокзале, помогал в организации поездов по республике и в воинские части своей дивизии, расположенные и в самом городе и в песках Каракумов, в горах вблизи границы. Он сблизился тогда с писателями, и особенно с Тихоновым и Луговским.

В 1930 году я жил с отцом в Ашхабаде на тихой зеленой улице Фрунзе. Учился я тогда в ашхабадской школе и знал о приезде писателей не только из газет, разговоров в школе, но и видел их сам, слышал о них от отца, когда он ужинал дома, что, по правде говоря, случалось не так уж часто. Отец проводил много времени в походах и учениях, а то и в боях с басмаческими группами, организуемыми в ту пору известным главарем басмачей Джунaid-ханом. Так что мой рассказ в значительной мере о пережитом и перечувствованном мною самим, хотя и в юном возрасте. Эти давние впечатления дополнялись впоследствии памятными мне рассказами в разные годы Тихонова, Лугов-

ского, отца. Многие я почерпнул из последующих моих приездов в Туркмению на протяжении уже полувека, из постоянных возвращений к запасникам памяти, в которой так остро и рельефно запечатлелись эти героические годы.

Однако вернемся к первым дням пребывания писательской бригады в республике. Литераторы продолжали знакомиться с городом, выступать в различных аудиториях, встречаться с государственными деятелями. Состоялся большой вечер в Ашхабадском государственном театре, а после выступлений прозаиков и поэтов театр в присутствии автора Всеволода Иванова показал его пьесу «Бронепоезд 14-69».

В тот же вечер Л. Леонов читал со сцены театра отрывок из своей повести «Соть», печатавшейся в «Новом мире», а Луговской читал стихи о гражданской войне из цикла «Сибирские рассказы» и ставшую впоследствии знаменитой «Песню о ветре».

Помню, как выглядел Луговской. Туркменская весна и готовность отправиться в пустыню, так сказать, опростили и военизировали его костюм. Узкие брюки и спортивные чулки, которые он обычно носил, были заменены галифе и сапогами, гимнастерку без петлиц украшала португепя. Правда, на встрече в театре Луговской выступал в хорошо сшитом сером костюме.

Трудно забыть голос поэта, читавшего стихи. Голос его звучал превосходно — молодо, страстно, и аудитория долго не хотела его отпустить, но своей очереди ожидали другие поэты и писатели, московские и ашхабадские: Григорий Санников и Берды Кербабаяев, Ахундов, Насырли.

В конце выступил и Николай Семенович Тихонов, прочитал свое стихотворение «Прощание с омачом», написанное уже в Ашхабаде и посвященное Туркмении «пустынно-золотой», в которой старый уклад уходит из жизни медленно, порождая классовые схватки, кровавые набеги басмачей.

Развей меня, чтоб мной не завладела,  
Как знаменем твоих врагов, толпа,—  
просит древний омач своего хозяина, седого туркмена.

Уже с первых дней Тихонов начал втягиваться в походную жизнь, он почувствовал себя почти туркменом, что неудивительно, ибо он давно и прочно был влюблен в Азию, с детских лет его влекла история Востока. «Мои приятели — петербургские мальчишки бредили пиратами и «диким Западом», — писал потом Н. Тихонов, — а меня влекли Индия и Египет. Уже

в те давние времена я много читал об этих странах. Это, собственно, и стало причиной того, что в юные годы я начал храбро писать романы о Востоке — некоторые из них сохранились в моем архиве.

Одевался Николай Семенович в ту пору, правда, не так военизированно, как Луговской, но тоже приспособил свой костюм для походов, чтобы было легко и не очень жарко бродить по пескам, карабкаться по горам, скакать на ахалтекинских скакунах, замечательных лошадях Туркмении, ездить на машинах и плавать на лодках по Амударье.

«С 29 марта по 6 апреля дни были заполнены совершенно чудовищной работой,— писал Луговской сестре в Москву.— Нам читали лекции, демонстрировали кинофильмы, устраивали заседания и банкеты. Принимали нас Предсовнаркома, и Председатель ЦИК, и секретарь ЦК партии. Нам снабдили литературой о Туркмении по пуду. Читать, записывать, ездить, осматривать без минуты отдыха... Материал невероятный. Нам предоставляют все, никто еще так не видел страны, как мы».

«Нас закружил шторм разнообразнейших впечатлений»,— признавался тогда же Петр Павленко.

Из Ашхабада писатели направились в Мерв (Мары), побывали в окружающих его колхозах, затем посетили пограничную Кушку, вернулись, осмотрев по пути Иолотань, выехали через Узбекистан в Керки, сделали на канке триста километров вниз по Амударье до Чарджоу и близко познакомились с «районами сплошной коллективизации» вокруг Дейнау.

Первоначальный маршрут не предусматривал посещения Кушки, изменение было внесено уже в пути. «Начальник наших сообщений Н. С. Тихонов, великий охотник за расстояниями,— вспоминал потом Павленко,— прямо садически радовался, что у нас прибавилось несколько сот лишних километров».

Писатели каждый по своему вкусу и пристрастию взяли себе тему. В записях Павленко есть упоминание о том, что «Л. Леонов снимал живую историю, караванами проходящую через город, и начинал интересоваться саранчовой кампанией». Всеволода Иванова интересовали люди, перестраивающие сельское хозяйство республики. П. Павленко привлекли новые герои, занятые обводнением пустыни, предшественники тех, кто прокладывает ныне великую стройку республики — Большой Каракумский канал. Г. Санников, автор стихов о Кавказе и Средней Азии, изучал

труд хлопкоробов, боровшихся за внедрение нового сорта хлопка — «египетского».

Луговской писал стихи о «большевиках пустыни и весны». Тихонов, приезжавший в Туркмению не впервые и еще в 1929 году работавший над сценарием «Люди пустыни» (о строительстве дороги Север — Юг), вынашивал свои творческие планы; они включали стихи и прозу о социальных переменах в республике, о судьбе бывших кочевников, о новых колхозах-гигантах, о классовой борьбе. Его замыслы свидетельствовали о том, что Тихонов уже тогда хорошо знал республику и смотрел на нее глазами человека, прослеживающего исторические пути всей Средней Азии, всего Востока.

Как-то ночью в Чарджоу Луговской прочел Тихонову свое первое стихотворение из будущей книги о Туркмении. «Он читал и читал,— вспоминал Тихонов,— и передо мною проходили дни и ночи нашего путешествия, и пустыня в весеннем цвету, и горы Копет-Дага, и пограничные заставы, и люди — работники пустынь, полей, воды, границы, все пережитое нами вместе — и грустное и веселое. Я видел, и он это тоже видел, внутренними очами сердца, что рождается книга. И так оно и было. В весеннюю ночь далекого, хаотичного, делового, разноцветного Чарджоу родилось первое стихотворение эпопеи «Большевикам пустыни и весны»...»

В мае и июне жара в Каракумах достигает наивысшего накала. Ветры уже не теплые, а удушающе горячие. Кому приходилось в эти месяцы бывать в Туркмении, тот знает, что в домах даже ночью трудно заснуть от духоты, от горячего воздуха. Раскаленная печка песков работает круглые сутки.

Но писатели редко ночевали в домах, а больше под открытым небом. Все хотели увидеть Тихонов и Луговской — краски пустыни, организацию новых поселений, и жизнь кочевых племен — белуджей, и заброшенные колодцы, древние мечети, и столь же древние караванные пути, быт новых городов, становление колхозов, повседневную борьбу с саранчой и более всего — новых людей Туркмении.

Работники песков, воды, земли,  
Какую тяжесть вы поднять могли!  
Какую силу вам дает одна —  
Единственная на земле страна! —

писал Вл. Луговской.

Тем же ощущением каждодневно творящегося романтического подвига дышит и поэзия Николая Тихонова, его проникну-

тые высокой героикой стихи об изыскателях воды, о людях, умеющих находить живительную влагу в песках пустыни, о тех, кому суждено «невероятным водяным тараном пробить пески, пустыню раскопать». В своей книге туркменских очерков, созданной по следам этой поездки 30-х годов, Николай Семенович писал: «...думал о том, как мало знаем мы у себя на севере, какими путями идет революция на Востоке — на Востоке, где будут еще величайшие события и пустыни потрясут мир откровениями».

Какая удивительная историческая прозорливость, как далеко еще в те годы смотрел писатель!

Не любопытство туристов вело писателей по горным тропам и маршрутам пустыни, не экзотика манила их, а желание включиться в большую всенародную работу, пафос интернационализма, как сказали бы мы сейчас, чувство семьи единой.

Широта и громадный объем впечатлений, полученных не только Тихоновым и Луговским, но и всеми участниками «первой ударной», безусловно способствовали качеству литературной отдачи, пожалуй беспрецедентной в истории всех коллективных писательских поездок. Писатели ехали с намерением создать коллективную книгу, что не мешало каждому осуществлять и личные планы и замыслы. В результате поездки появились альманахи «Туркменистан весной» — название книги не просто указывало на время года, оно символически выражало тонус жизнеощущения писателей и, что еще более важно, весенний бурный подъем творческих сил молодой республики. В этом альманахе Леонид Леонов опубликовал повесть «Саранчуки», Владимир Луговской — цикл стихов «Большевикам пустыни и весны», Всеволод Иванов — «Повесть бригадира М. М. Синицына» и пьесу «Компромисс Наиб-Хана», Григорий Санников — поэму «В гостях у египтян», Николай Тихонов — цикл стихов «Люди Ширама», «Ворота гаудана», «Весна в Дейнау, или Ночная пахота тракторами «Валлис», «Искатели воды» и очерки, Петр Павленко — два очерка и повесть «Пустыня».

Туркменская поездка сыграла важную роль в творческой биографии каждого из ее участников. Думается, она определила для каждого существенный этап творческого развития. И вместе с тем произведения, написанные после поездки, явились и серьезными достижениями литературы тех лет.

Николая Тихонова остро интересовала социальная и политическая проблема басмачества, это нашло отражение в «Кочевниках», в стихах из цикла «Брага». Следует сказать, что даже в конце 20-х и в начале 30-х годов разбойничьи набеги басмачей все еще не прекратились. Тихонов писал об особой жестокости и свирепости басмачей, откровенно называл тех, кто стоял за их спинами, кормил, вооружал и благословлял на захватнические, разбойничьи набеги.

«Новый Пушкин, пожелавший написать «Историю басмачества», — замечает Николай Семенович, — должен будет знать узбекский и туркменский языки, и тогда он напишет книгу, поражающую неожиданностями, ибо самые любопытные материалы можно получить путем личного опроса свидетелей басмачества или чтением подлинных документов. Что стоит одна прокламация Джунаида, где он в числе прочих благ, кои будут отпущены погибшим в борьбе с большевиками-джахидами, обещает каждому умершему пост председателя райкома (?) в раю. Борьба с Джунаидом потребовала больших усилий, она происходила в пустыне, где пехота действовать не может, автомобили бесполезны и только кавалерия и отчасти авиация могут соперничать с быстрым, неуловимым и ловким, знающим все местные условия противником...» Отмечая все трудности этой борьбы, Николай Семенович писал: «Басмач жесток по природе, как жестока по природе и сегодняшняя его покровительница, имя которой — Англия». Шли годы, сменились ныне покровители басмаческих банд, но неизменной осталась их сущность.

Антинародная, антигуманистическая природа басмачества в книге «Кочевники» показана доказательно, художественно впечатляюще. И, наверно, будет правильно считать, что с туркменских очерков и начинается многолетняя работа Тихонова — публициста, очеркиста, общественного деятеля.

Анализируя сущность басмачества, Николай Семенович не раз подчеркивал особенную жестокость басмачей по отношению к женщинам. Таким, например, как Анна Джамаль — героиня очерка Тихонова. Это была одна из тысяч туркменок, решительно отказавшихся жить той жалкой, унижительной жизнью, на которую были обречены их матери.

Басмачество и раскрепощение женщин — все это переплеталось тогда в тугой узел борьбы с пережитками прошлого, с кос-

ностью суеверий, с идеологией классовых врагов.

За год до приезда писательской бригады в Туркмению проходила работа Третьего Всетуркменского съезда Советов. В ряду других важных вопросов на съезде был заслушан и доклад «О фактическом раскрепощении женщины».

«Законы, которые мы издаем, не всегда встречают активную поддержку со стороны низовых советских работников. Поэтому целый ряд преступлений, убийство женщин, издевательств проходит мимо нашего советского и судебного аппарата. Я не буду останавливаться на отдельных убийствах, которые произошли в последнее время: убийство учительницы, убийство курсантки педтехникума. Они всем известны. Коснусь тайных убийств, происходящих чуть ли не ежедневно. Один из товарищей, который обследовал Керкинский район, говорил, что там не проходит дня, чтобы не произошло в каком-либо ауле убийство женщины.

Мы имеем такие факты, когда выдвигенки, учительниц и других общественных работниц, которые начинают расти на работе, травят, обвиняя во всех смертных грехах. Антисоветские элементы аула травливают на выдвигенку детей.

Надо снять яшмак и паранджу, нужно устранить полузатворничество отдельных племен... Мы ведем и будем вести успешную работу в области вовлечения женщин в производство», — говорил товарищ Айтаков, председатель ЦИК республики.

И речь его, искренняя, откровенная, как видно, была далека от лакировки действительности.

Так случилось, что именно в дни работы съезда и буквально на другой день после доклада о раскрепощении женщин в республике произошло землетрясение силой в 5—6 баллов. Естественно, что и спустя год Тихонову и его друзьям много рассказывали об этом землетрясении, слухи о нем распространились далеко, и разнообразные отзвуки грозного события достигали писательскую группу на ее маршрутах по республике. Осталось это землетрясение и в моей памяти — одиннадцатилетнего мальчика.

Поначалу был тихий, приятный вечер, когда я, не знаю уж каким образом, оказался один в большом парке, занимавшем целый квартал и примыкавшем к Дому Красной Армии. Я сидел на скамейке, на торце ее, в двух метрах от большого дерева и вдруг услышал нарастающий гул где-то там, на горизонте, в горах Копет-

Дага. Гул усиливался, набирая какую-то утробную мощь, я никогда больше в жизни не слышал такого могучего, грозного и зловещего грохота, исходившего, казалось, из глубин земли, как будто это заговорили земные пласты, как будто сами горы начали трубить о приближении несчастья. Этот страшный гул быстро пронизал собою все, он шел и снизу, и чуть ли не сверху, низвергаясь, как казалось, уже и с неба, которое в сумерках быстро стало темнеть, словно занесенное густым песком. И вот... сильный толчок, такой резкий, что меня кинуло на дерево, я больно ударился о шершавый ствол тополя и, чтобы не упасть, ухватился за него обеими руками. Но дерево тоже не давало твердой опоры, оно стало словно каучуковым, шевелилось вместе с землей, со скамейкой, с растущими у скамейки кустами. Удивительное это чувство, когда ты лишаешься такой надежной, такой привычной опоры, как земля.

И тут же, пронзая дробным звоном тяжкий гул земли, загредел рухнувший на землю киоск, он находился неподалеку, зазвенели бутылки, стаканы, посуда. Женщина истерично закричала, кто-то заплакал, сидевшая рядом со мною на скамейке старушка громко молилась. Мне стало страшно. Так страшно, как бывает только при землетрясении, об этом не расскажешь словами, это надо пережить.

Помню, как через какое-то время — мне пауза показалась длинной — подземный толчок повторился, и снова звон разбитой посуды, возгласы ужаса, стоны в парке, погружившемся в темноту. Толчки продолжались, но уже слабее, еще несколько раз...

Прошло много лет. Сейчас я не могу точно вспомнить, что делал, когда оторвался от дерева, куда побежал, о чем спрашивал. Да и у кого в этом темном парке, по которому металась в страхе люди, можно было что-то узнать? Не помню, как я очутился на нашей улице Фрунзе около дома. В темноте я увидел разрушенный дувал, но дом наш стоял на своем месте. Однако утром стало видно, какая глубокая трещина разделила его на две неравные части.

В тот вечер отца и матери не было дома. Дело в том, что они присутствовали на торжественном заседании в помещении бывшего Воскресенского собора, переделанного под концертный зал. Можете себе представить: тысячи людей в зале, над головами высокий купол собора, с купола свисает громадная, в посеребренной оправе люстра, которая неожиданно заходила ог-

ромным маятником. Люстру раскачало землетрясение. Когда люди поняли это, все бросились к единственному выходу. Началась та страшная паника, которая тоже, наверно, бывает лишь при землетрясениях.

Кое-как выбравшись из собора и доставив в полубморочном состоянии маму домой, отец, естественно, уехал в штаб дивизии, и я долго не видел его дома...

О Воскресенском соборе я упоминаю не случайно. Ведь землетрясение совпало с празднованием 1 Мая и заседанием съезда Советов. Этим совпадением не замедлили воспользоваться враги советской власти.

«Если вам какой-либо враг рабочего народа и советской власти начнет говорить, что землетрясение — это наказание божье за грехи, за безбожную советскую власть, — писала в те дни республиканская газета, — вы этому не поверите и скажете, что и в буржуазных странах, где еще нет советской власти, землетрясения бывают очень часто...

При нашем землетрясении главные бедствия перенесли жители Персии, из которых многие убиты, а есть ли там советская власть? Можно ли верить после этого живым словам попов, мулл, баев и их приспешников, которые пользуются несчастьем для антисоветской агитации? Такая агитация должна встретить решительный отпор...»

И она встречала этот отпор, выраженный не только и не столько в пропагандистских статьях, сколько в самих действиях, энергии, распорядительности правительства, в мужестве трудящихся республики.

Положение в республике было тогда весьма напряженным. 7 мая подземные толчки возобновились. Правительство Ирана, где находился эпицентр землетрясения, обратилось за помощью к советской республике, и уже 9 мая газеты напечатали благодарность иранского правительства туркменскому правительству за помощь пострадавшим: на территории Ирана действовали врачебно-санитарные отряды, постпредство СССР в Тегеране внесло в фонд пострадавшим 5 тысяч туманов.

14 мая был новый подземный толчок. А 19-го появились первые сообщения о нашествии саранчи, телеграфная сводка о ее продвижении. Началась героическая эпопея борьбы с саранчой.

Эти беды, идущие, так сказать, от природы, осложнились еще и тем, что тогда же, как уже говорилось, вновь активизировались басмачи. На границе было весьма и весьма неспокойно. Кстати говоря, в номере «Туркменской искры» от 23 февраля

1930 года, где напечатаны воспоминания моего отца о революционных боях в конце 1919 года в Днепропетровске, есть заметка и о тех сражениях, которые в тридцатом году вели части Туркестанской горнострелковой дивизии. «...12-летний юбилей РККА мы празднуем, — писал отец, — под лозунгом повышения темпов нашей боевой учебы. С басмачеством ведется беспощадная борьба. Уже недалеко то время, когда на территории ТССР басмачества не будет совсем».

Но пока, и это я видел сам, еще привозили раненых в наш ашхабадский военный госпиталь, пока еще хоронили убитых красноармейцев и командиров, пока еще отец дни и ночи проводил в частях, в походах и редко ночевал дома.

Вспоминая свое знакомство с военными людьми Туркмении, Николай Семенович впоследствии писал:

«„Принять их, как меня!“ — написал коменданту Кушки наш друг в Ашхабаде комбриг Медников. И комендант самой южной крепости Советского Союза предоставил нам все возможности познакомиться с пограничной жизнью.

Будапештский садовник Сабо, человек широкоплечий, невысокий, как говорится, неладно скроенный, но крепко спитый, прошедший гражданскую войну в рядах Красной Армии, был комендантом Кушки и очень внимательно отнесся к работе писательской бригады.

Принимая во внимание особые условия жизни в этом районе в те довольно далекие от сегодняшнего времени дни, он сам пришел напутствовать нас в поездку по пустыне.

Он вникал во все мелочи, до всего ему было дело. Кони вставали на дыбы, звенело оружие, подтягивали подпруги, вымеривали стремена, словом, вокруг было самое боевое оживление, точно наш маленький отряд должен был совершить большой и трудный рейд...»

Прочитав эти строки в воспоминаниях Н. С. Тихонова, я в 1962 году написал письмо Николаю Семеновичу и вскоре получил ответное, в котором, вновь касаясь событий весны 1930 года, Тихонов писал:

«Я не мог, говоря о пребывании писательской бригады в Ашхабаде в 1930 году, не вспомнить нашего друга, который принял такое горячее участие в наших странствиях по Туркмении, — всем нам полюбившегося и на всю жизнь запомнившегося комбрига Медникова.

Комбриг Медников произвел на нас тог-

да незабываемое впечатление. Это был человек большого масштаба, огромной ответственности, прекрасных знаний, настоящий знаток тех пограничных краев, добрый товарищ и выдающийся военный. Тогда как раз в Афганистане развертывались серьезные события, связанные с восстанием Бачаи Сакао, и положение на границе было сложным. Благодаря нашему другу — комбригу мы повидали и Кушку, и границу и совершили незабываемую поездку в пустыню...»

И поскольку о Бачаи Сакао упоминает Н. Тихонов в своем письме мне, поскольку эти давние события в Афганистане и политическая обстановка на границах Туркмении в ту весну привлекли внимание и, естественно, волновали московских писателей, о Бачаи Сакао следует сказать подробнее.

Дезертир из афганской армии Бачаи Сакао приобрел известность как главарь большой банды, пришедший к власти после того, как правитель Афганистана Аманулла отрекся от престола. Крупную роль в подготовке восстания сыграл английский разведчик Лоуренс. Раздувая гражданскую войну в Афганистане, английские империалисты брали курс на расчленение страны. «Расчленение Афганистана — первый шаг к нападению на советские среднеазиатские республики», — высказывала мнение местная газета, полагая, что «с превращением Афганистана в антисоветский плацдарм связано нападение басмаческих банд на территорию Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. Банды эти организуются на английские деньги и английское оружие».

Как актуально звучит эта газетная хроника в наши дни, когда контрреволюционные, басмаческие банды, вторгающиеся из Пакистана, снабженные американским, китайским оружием, пытаются помешать мирной, созидательной жизни Демократической Республики Афганистан!

В газетной хронике той поры то и дело появлялись сообщения об активности басмачей и вооруженной борьбе с ними. Но, несмотря ни на что, нормальная жизнь в Ашхабаде да и во всей республике — и я могу это засвидетельствовать сам — почти не нарушилась. В самой столице, в районах республики умело действовали «большевики пустыни и весны», весь туркменский народ — действовали те самые герои, которых потом так выпукло изобразил Н. Тихонов в своих «Кочевниках»: и большевик Шкильтер, «сожженный пустыней латыш»; и донбасский горнорабочий Сидоров, помогающий туркме-

нам осваивать богатые залежами недра республики; и милиционер Нури, весело скачущий по пустыне; и Анна Джамаль, восставшая против суеверий, вступившая в партию; и секретарь райкома Ваттола, работающий в Красноводском районе, где «жара выжимала залив и сжигала горы во круг», Ваттола, мать которого была из Милана, а отец из Берлина, и этого интернационалиста «революция научила не останавливаться перед труднейшим»; и, наконец, такие военные, как комендант Кушки венгр Сабо.

К туркменской теме Тихонов вернулся через тридцать лет в очерке «Невиданная весна», который вошел в мемуарную книгу «Двойная радуга». Когда писатель через столько лет возвращается ко дням своей молодости, он уже по-иному воспринимает былое. Дистанция времени придает зрению художника как бы дополнительную зоркость, повышает требовательность к художническому отбору событий и фактов. Но если он в главном остается верен тому, о чем писал раньше, если не изменились, а, наоборот, углубились его оценки и выводы — не является ли это свидетельством того, что давние впечатления писателя оказались точными и именно поэтому выдержали испытание временем?

С такими мыслями я читал воспоминания Николая Тихонова «Невиданная весна», опубликованные впервые в журнале «Знамя» в 1961 году. Погружаясь вновь в атмосферу Туркмении 30-х годов, я с удовольствием ощущал новое прочтение Тихоновым истории знаменитой поездки. Душа художника не старела, и через тридцать лет он писал о Туркмении так же влюбленно, свежо, молодо, так же ценил и любил своих товарищей по писательской группе. В одной из глав этой книги я прочел удивительное по свежести восприятия, по живописной точности описание былых боев с саранчой.

...Вблизи Амударьи, как вспоминал Николай Семенович, там, где уже в те годы начиналось прокладывание канала, он и Луговской увидели прошлогоднюю саранчу, с которой был свирепый бой. «Мы обходили с Володей огромные скопления мертвой саранчи, — писал Тихонов, — неисчислимое количество страшных маленьких латников погибло, сраженное огнем, усилиями тысяч защитников полей и садов. Крылья мертвой саранчи мрачно шелестели, как мертвые листья на кладбищенских венках, высушенных временем». И мне вспомнилось, что тогда же, во время поездки первой ударной писательской брига-



ды по Туркменистану, такие же мертвые полки саранчи, прилетевшие с далеких берегов Персидского залива, с Аравийского полуострова, видел и автор повести «Саранча» (первоначальное название «Саранчуков») Леонид Максимович Леонов.

Эту маленькую повесть можно назвать как бы художественным рапортом писателя с доподлинного поля битвы, результатом его активного вмешательства в жизнь, как сказали бы мы теперь. Повесть романтически-окрыленная, полная ярких впечатлений писателя от путешествия по Туркмении; она одухотворена восхищением перед героической самоотверженностью народа, вышедшего на светлую дорогу новой жизни.

В центре повести фигура Маронова, человека, который ищет крутые пути в жизни, побывал на Севере, теперь приехал в знойную Туркмению и неожиданно оказался в самом центре борьбы с саранчой. Энергичное участие в той тяжелой схватке не прошло для Маронова бесследно. В его характере появляются новые черты: воля соединяется с четким сознанием долга, постепенно становится более определенной внутренняя жизнь героя. Можно сказать, что в борьбе с саранчой Маронов созревает как личность.

Я впервые прочитал эту повесть еще молодым человеком, потом сравнительно недавно перечитал ее — и тогда и сейчас главным для меня была героическая нравственность Маронова. Она стержень произведения, характер привлекает круто нарастающей динамикой поступков, духовной силой. Но повесть «Саранча» — это не только художественное произведение, впечатляющее полнокровными образами людей, которые рождены, чтобы перестроить мир. Это еще и документ, свидетельство писателя о важных событиях в жизни республики тех лет. Повесть Леонида Леонова, одна из десяти книг, которые писательская бригада выпустила в свет после поездок в Туркмению, явилась весомым и ценным вкладом писателя в художественную летопись 30-х годов, в героическую летопись борьбы за социализм. Используя факты сражения с саранчой, Леонид Леонов ярко показал нам черты людей, умеющих отстоять завоевания социальной нови.

В дальнейшей писательской работе Леонова эта повесть сыграла свою существенную роль, явившись одной из художественных ступеней на пути к полнокровному раскрытию темы взаимоотношения личного и общественного, настоящего и будущего, формирования нравственных законов поколения строителей нового мира, то есть та-

ких тем, которые впоследствии станут важными и определяющими для всего творчества писателя.

И еще о Тихонове.

Мои встречи с Николаем Семеновичем были немногочисленны, о чем с большой душевной сожалеей сейчас и не нахожу оправдания тому чувству застенчивости, а точнее, естественной робости перед именем Тихонова, которое помешало мне в свое время наприсниться на личное свидание с ним, на пространный разговор о туркменской поездке. Удерживало меня от этого еще и отчетливое представление о той громадной загруженности творческими, общественными, государственными делами, которая сопровождала Николая Семеновича до последнего часа.

И тем не менее мы встречались и разговаривали, или же я слушал и видел Николая Семеновича на различных совещаниях, пленумах и вечерах в Центральном Доме литераторов.

Я привожу здесь мои дневниковые записи о нем в разные годы, потому что уверен: любая крупница достоверных воспоминаний, слово, мысль, им оброненная, — все интересно, поучительно, все дополняет образ человека поистине легендарной судьбы.

Весной 1968 года в ЦДА проводился большой литературный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения А. М. Горького. Председательствовал на вечере А. Чаковский. Николай Семенович поднялся по крутой, как корабельный мостик, лестнице, ведущей в хорошо известную писателям комнату за сценой, где всегда минут за десять — пятнадцать до начала собираются те, кому предстоит выступать, чтобы договориться о порядке ведения вечера, регламенте и т. д.

Увидев знакомую фигуру, уверенно шагавшую по вестибюлю Малого зала, эту всегда высоко поднятую, красивую, седую голову Николая Семеновича, я тоже поднялся за ним по этой лестнице, чтобы поздороваться и в надежде на несколько минут мимоletной беседы. Помню, что в комнате в креслах вдоль стен и на стульях около продолговатого стола сидели несколько человек: художник М. Куприянов, И. Нович, И. Рахило, Б. Галин; позже подошли и другие писатели.

Приехал А. Чаковский и поздоровался с пожилой женщиной с высокой прической из седых волос, все еще статной, красивой и, я бы сказал еще, величественной. Это была Мария Игнатьевна Будберг, хорошо

знавшая А. М. Горького и прилетевшая из Англии на эти юбилейные торжества. Пришел и еще один запомнившийся мне высокий худой человек с острыми чертами лица — знаменитый в свое время полярный летчик Чудновский, встречавшийся с М. Горьким.

Я подсел к Николаю Семеновичу, напомнил о себе, он сказал: «Как же, как же!» — и полуобнял меня за плечи. Я еще раз поблагодарил Николая Семеновича за письмо, за добрые слова о моем отце, и разговор наш сразу соскользнул на тему, связанную с туркменской поездкой 30-х годов.

— Перечитайте моих «Кочевников», — сказал Николай Семенович. — Мы тогда, по сути дела, объехали всю Туркмению, и каждый что-то написал, каждый вынашивал свою тему, которая ему была ближе других. Надо сказать, что поездка для нас была трудная. Донимала адская жара. Некоторые наши товарищи до этого не делали больших переходов верхом и страдали от долгого пути по пескам пустыни. Кроме того, мы на каике одолели бурную Амударью и проплыли на крошечном суденышке от Керков до Ча́рджоу.

Я внимательно слушал Николая Семеновича, и, признаюсь, меня удивляло молодое воодушевление, горячий душевный запал, с каким семидесятидвухлетний Тихонов вспоминал в тот вечер об этой давней поездке.

Таким и запечатлел его фотограф ЦДЛ на снимке, сделанном во время нашей беседы. Этот дорогой мне снимок и сейчас стоит у меня под стеклом на книжной полке рядом с томами Тихонова. Стоит и напоминает о том, что душа поэта не старела даже и тогда, когда он уже начинал чувствовать тяжесть лет и, по его словам, «уж не мог легко преодолевать пространства». Душа его не умела равнодушно жить...

Через год мне довелось присутствовать на очень интересной встрече в Дубовом зале нашего клуба с первым секретарем ВСРП Яношем Кадаром. Он выступал с двумя переводчиками, которые сменяли друг друга, ибо говорил Янош Кадар два часа без подготовленного текста. Это была беседа, касавшаяся многих проблем — и международных и внутренних, и взаимоотношений партии с писателями, — непринужденная, искренняя, доверительная беседа с литераторами.

— Писать трудно, — заметил Янош Кадар, — не случайно человек научился сначала говорить, а потом уж писать. Я по себе знаю, что говорить, даже хорошо говорить, легче, чем писать. И вообще, никто

в Венгрии не диктует писателям, каким стилем им писать. Хорош любой стиль, лишь бы произведение было за социализм.

Первым от имени писателей выступил на этой встрече «наш старейший», как назвал Николая Семеновича председательствовавший тогдашний парторг МГК КПСС в Московской писательской организации Аркадий Николаевич Васильев. Николай Семенович неоднократно бывал в Венгрии, и он начал свою речь с рассказа о встречах с теми своими венгерскими друзьями, которые так же, как и он, были участниками еще гражданской войны. Николай Семенович сказал дословно следующее:

— Мы были просто солдатами, маленькими людьми, но как это связывает, как приятно об этом вспоминать.

И далее Николай Семенович говорил о давних венгеро-русских литературных связях:

— Близость, все более растущая, — точнее и трудно определить сущность отношений между нами, между нашими культурами и литературами. Венгерская поэзия близка и дорога моему сердцу так же, как и русское художественное слово близко и дорого моим венгерским собратьям по перу.

Николай Семенович вспомнил и о том, что не раз выступал в качестве переводчика, вместе с Н. Заболоцким, Б. Пастернаком, М. Исаковским, Н. Чуковским и Д. Самойловым помогал созданию антологии венгерской поэзии и четырехтомника Петефи.

Слово Тихонова было посвящено дружбе народов, крепнущему чувству интернационализма.

Помнится, что Янош Кадар и после общей беседы долго еще сидел за столом рядом с Николаем Семеновичем, другими писателями. Они дружески беседовали, как говорится, о жизни и о литературе, о том, как много могут сделать люди доброй воли, о том, что и сама возможность художественного творчества стоит в прямой связи с деятельностью защитников мира, среди которых одним из правофланговых долгие годы был Николай Семенович Тихонов..

В июне 1971 года в Доме союзов состоялся вечер поэзии, посвященный 70-летию со дня рождения Владимира Александровича Луговского. Особенность этого вечера заключалась в том, что празднование проводилось буквально за два дня до открытия Пятого Всесоюзного съезда писателей. Поэтому и чествование Луговского выходило из ряда поэтических мероприятий, приобретая характер значительного события.

Предсъездовский приподнятый характер этого вечера ощущался во многом. В какой-то особой торжественности, соединенной с деловым и серьезно-аналитическим разговором о творчестве Луговского. В том, что почти каждый оратор так или иначе расширял рамки своих размышлений о поэте, выводя их на уровень больших литературных задач и забот предстоящего всесоюзного форума писателей.

Был до отказа заполнен зал, чутко внимающий поэтическому слову. Председательствовал на вечере Константин Симонов. Вступительное слово произнес Николай Тихонов. Конечно, я не помню всего, о чем он говорил. Остались в памяти лишь самые важные мысли о творчестве Луговского как поэта революции, певца национальных окраин, показавшего в своем творчестве нового человека социализма. Тихонов говорил о Луговском тепло и взволнованно, как о своем старом друге, с которым вместе много пережито и много пройдено дорог в жизни и искусстве. Естественно, что Тихонов упомянул и Туркмению.

И почти все ораторы вспоминали о том, каким красивым и духовно богатым был Луговской, как был добр к людям, поэтам, как помогал многим молодым. Александр Межиров, говоря об оригинальности дарования Луговского, заметил, что «гул поэтический был у Луговского свой, а не заемный ни у Маяковского, ни у Пастернака, ни у Тихонова».

Хорошо помню, как К. Симонов прочел сначала те свои стихи, которые, как он сказал, «очень нравились Луговскому». Он читал стихотворение о генерале Лукаче, герое испанской революции, читал свои стихи о войне, и в одном из них говорилось о том, что к нему, Симонову, идут и идут письма с просьбой ответить, какова судьба того или иного героя, хотя в своих военных романах фамилии подлинных героев он меняет на вымышленные.

— О чем это говорит? — спросил аудиторию Симонов. И ответил сам: — Да о том, дорогие товарищи, что на любую фамилию в книгах о войне находится кто-то, кто разыскивает отца, мужа, брата, близкого и дорогого человека. Как же велика та цена, которой народ заплатил за победу!

Относилось ли это наблюдение к поэзии Луговского? Безусловно. Потому что мысли о войне, о потерях, о мужестве человеческого сердца были кровно близки и поэтическому мировоззрению Владимира Александровича. Они были очень близки по духу и тсму, как выразился Сергей Наровча-

тов, «паспортному стихотворению Луговского», которое Наровчатов и прочитал. Я имею в виду «Песню о ветре».

В очерках «Невиданная весна» Тихонов писал: «Ветер! Ветер — любимый образ Луговского. Мы начали туркменское путешествие, и с самого начала на вечерах Луговской много и хорошо читал свою «Песню о ветре». «Ветер, брат моей жизни», — напишет он впоследствии. И про ущелье он скажет: „По этой дороге теплых ветров...“».

Итак, начинается песня о ветре,  
О ветре, обутом в солдатские гетры.  
О гетрах, идущих дорогой войны,  
О войнах, которым стихи не нужны.

Наверно, не я один задумывался над поэтической силой этого стихотворения, над истоками его популярности. Должно быть, разгадка в особом песенном ладе этой «Песни о ветре», запечатлевшем и богатство и характерные черты народных, солдатских песен времен гражданской войны, и в исторической емкости этого небольшого сравнительно стихотворения, объемлющего и героику, и драму классовых боев, глубокие раздумья о судьбах России. Есть в нем и тяговая сила маршевой песни, ее упругая энергия и вместе с тем мелодичность, веселящая душу в трудном походе.

Идет эта песня, ногам помогая,  
Качая штыки по следам Улагая,  
То чешской, то польской, то русскою  
речью —  
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.

Еще в те 30-е годы Тихонов в своем очерке о Луговском сказал с уверенностью: Владимир Луговской останется верен идеалам своей юности, идеям революции, он обязательно вернется в Туркмению. «...Азия вошла в него, на ее зов он бросится без раздумий».

Естественно, что и после семьдесят первого года я не раз и видел и слушал Николая Семеновича Тихонова на наших пленумах, юбилеях, собраниях. Разве можно перечислить все доклады, которые он сделал, все его речи, выступления, участие в торжественных и деловых заседаниях, где неизменно звучало всегда принципиальное и пристрастное, тонкое, умное, обогащенное огромным опытом и плодотворными мыслями слово Тихонова.

Тихонов как-то сказал: «Я участник четырех войн и поэтому я совершенно уверенно в свое время принял пост председателя Советского комитета защиты мира».

В канун своего 80-летия, в ноябре 1976

года, отвечая на вопросы анкеты, посланной ему редакцией АПН, Николай Семенович, между прочим, написал:

«Никакого секрета неукротимой энергии у меня нет, да и самой неукротимой энергии нет тоже. Остались старая привычка писательской работы и опыт, добытый десятками лет непрерывного труда во многих областях общественной жизни, да неослабевающее чувство ответственности за сделанное».

И все же, все же, и об этом уж судить не Николаю Семеновичу, удивительная энергия, направленная на общественную, творческую деятельность, не оставляла его никогда. По свидетельству Варвары Тихоновой, «последнее, что он писал, что нашли на его столе, было его — депутата — воззвание к избирателям».

Человек удивительного трудолюбия, Николай Тихонов черпал свое вдохновение в гуще народной жизни. Поистине он был неутомимым трубочком мира в своем творчестве. И вся его жизнь была ярким примером беззаветного служения литературе, горячо любимой родине.

Встреча с городом детства отзывается в сердце с большей силой, чем в сознании, в мыслях. Отзывается томительным стеснением в груди. В этом чувстве сопряжено многое: и удивительная радость узнавания того, что еще можно узнать, и невольная тоска по ушедшей юности, и отчетливо встающий в памяти весь объем пережитого, перечувствованного за полвека, и еще... удивление, да, удивление перед самим фактом такой протяженности твоего бытия, перед сознанием того, что именно ты, а не кто другой ходил пятьдесят лет назад по этой земле, по этим камням и траве, видел эти деревья, смотрел на это небо...

Если бы Николай Семенович Тихонов смог в наши дни прилететь в Ашхабад, съездить в так понравившуюся ему Кушку, в горы, вновь проехать по пустыне, я уверен, он испытал бы нечто подобное, но как замечательный поэт, с еще большей остротой и глубиной постижения новых реалий действительности.

Предчувствие будущего неотделимо от поэтического восприятия мира. Оно входит в плоть и кровь, в саму природу социального оптимизма, которым дышит наша литература. Это предчувствие всегда было характерно для творчества Николая Тихонова.

Смело заглядывая из 30-х в 80-е, Николай Семенович в своих «Кочевниках» решил посмотреть на будущее с... высоты Галлеевой кометы, которая в 80-х годах нашего столетия должна пройти над Кушкой. «Может

быть, — писал Тихонов, — она найдет в Кушке узловой пункт (небоскребы, склады, заводы) трансасиатской железной дороги, вагоны с надписями: Париж — Москва — Дели, Ташкент — Герат — Сингапур, увидит громадные станции использования солнечной энергии, огромный канал, пересекающий Каракумы, с барками и электрическими лодками, тучи каракулевых стад, плантации каучуконосов, темные тела дирижаблей, летящих за Гиндукуш, — полный расцвет человеческой жизни...»

Республика за прошедшие годы вписала ярчайшие страницы в летопись разительных перемен во всех областях социального, экономического, культурного развития нашей страны. Появилось много новых заводов, фабрик, нефтяных и газовых промыслов, научных учреждений, есть и предвиденные Тихоновым станции использования солнечной энергии, строится огромный канал, пересекающий Каракумы, вокруг него на жарких землях — новые колхозы и совхозы, получившие живительную воду, бродят тучи каракулевых стад, в небывалых масштабах возделывается в Туркмении белое золото пустыни — хлопок. Правда, нигде не строятся небоскребы, даже в столице республики, которая не раз переживала сильные землетрясения, и вместо «дирижаблей, летящих за Гиндукуш», проносятся реактивные лайнеры и космические спутники.

Современный Ашхабад, по сути дела, выстроен заново после землетрясения 1948 года. Это чистый, красивый и по-южному уютный город. Нынешние кварталы Ашхабада развивают исторически сложившуюся здесь планировку, но при новом строительстве кварталы укрупнялись, улицы расширялись, создавались микрорайоны и зеленые зоны отдыха. Уроки землетрясений не пропали даром. Общественные здания строятся сейчас с большим запасом, или, как говорят здесь, с высокой сейсмостойкостью.

Весною 1980 года я поселился в гостинице «Туркменистан», в нескольких десятках метров от центрального проспекта Карла Маркса, удивительного во многих отношениях. И если верно то, что архитектура — это застывшая в камне музыка, то здесь она звучит ярко, сильно, трогая сердце скорбно-величественным хоралом памяти о войне и одновременно гимном размаху нынешних, как сказал бы Маяковский, «шагов саженьных».

Слово А ш х а б а д, как свидетельствует энциклопедия, происходит от арабского а ш к (любовь) и персидского а б а д (город). И так, «город любви»! И если есть место, где любовь ашхабадцев к своему городу выра-

жается с наибольшей полнотой, проникновенностью и размахом, так это здесь, на проспекте Карла Маркса. Он широк, я бы сказал даже — величав, выложен в центре большими бетонными плитами, украшен зелеными аллеями и цветниками, квадратными бассейнами и фонтанами. Здесь мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне и светильники вечной славы.

В начале проспекта примечательное здание — Государственная республиканская публичная библиотека имени Карла Маркса. Монументальность его сама по себе говорит о богатстве этого обширного книгохранилища, открытого для детей тех самых неграмотных бывших кочевников пустыни, белуджей и джемшидов, о которых Николай Тихонов писал как о странниках, «гонимых судьбою из страны в страну». Рядом с библиотекой внушительное многоэтажное здание управления Каракумстроя, монументальность его удивительным образом сочетается с южной легкостью архитектуры.

Частенько вечером, когда темнело и зажигались повсюду крупные гроздья фонарей, я выходил погулять по этому проспекту, немногочисленному и этой немногочисленностью привлекательному; миновав бассейны, фонтаны, попадал под кроны деревьев большого парка. В 30-е годы здесь находился Дом Красной Армии, хорошо памятный мне по землетрясению 1929 года, теперь тут выстроен новый Дом офицеров. Все здесь новое, кроме старых деревьев, они немые свидетели истории, выстоявшие перед всеми испытаниями стихии.

В Союз писателей от своей гостиницы, хотя это немного дальше, чем двигаться по прямой, я обычно направлялся по улице Фрунзе. Понять меня нетрудно. Ведь именно на этой улице с тем же не изменившимся названием я жил с отцом пятьдесят лет назад. Это странно-волнующее ощущение. Ты как бы смотришь на город сквозь даль памяти, зримо представляя себе то, что существует отныне лишь в твоём воображении, и видя сегодняшние кварталы, улицы, где, кроме старых деревьев, не сохранилось ровным счетом ничего.

Я зашел в Дом офицеров, чтобы узнать судьбу 1-й горнострелковой дивизии. Когда отца в 1931 году перевели из Туркмении в Приволжский военный округ на должность заместителя командующего, дивизию у него принял Иван Ефимович Петров, впоследствии генерал армии, Герой Советского Союза, командовавший во время Великой Отечественной войны 4-м Украинским фронтом.

Ну а сама 1-я горнострелковая? Сохранилась ли она? Нет, под этим номером не со-

хранилась. Перед войной дивизия, получив номер 87-й, отличилась в боях под Сталинградом. Память о ратных делах дивизии хранится не только в архивных документах, но и на стендах комнат боевой славы в Доме офицеров.

Признаться, меня все время тянуло в этот дом. Такое тоже можно понять. Хотя и не тот, что прежде, хотя и выстроенный заново, дом представлялся мне живой реликвией прошлого, свидетелем пережитого. Между старым и новым домом для меня пролегла полувековая цепь событий, отделявшая босоногого мальчишку, который бегал в расползшийся тогда за дорогой кавалерийский эскадрон дивизии, чтобы вместе с красноармейцами ездить купать лошадей, от писателя пенсионного возраста, ветерана минувшей войны.

В мае 80-го я выступил в этом доме перед офицерами, приехавшими на учебные сборы, с рассказом о 35-лети нашей победы. И говоря о боях в Берлине с правом очевидца и участника этих исторических событий, естественно, не мог не вернуться к той поре, когда отцы и деды сидевших в зале молодых офицеров, войны Туркестанской дивизии, встречались здесь с писателями из первой ударной...

Я рассказал воинам и о том, что в канун 60-летия образования республики и ее компартии, осенью 1974 года, в Туркмению отправилась группа писателей во главе с Михаилом Лукониным, чтобы повторить маршруты первой писательской бригады.

Следование былыми маршрутами всегда интересно, поучительно и творчески плодотворно даже и тогда, когда повторением заняты уже другие писатели, более молодого поколения. Вооруженные художественным опытом своих предшественников, они повеяют его всей суммой своих непосредственных впечатлений, всем многообразием новой действительности. Это следование по маршрутам тех, чье творчество стало ныне современной советской классикой, я уверен, не последнее. Не раз еще отправятся в Туркмению писательские бригады не только за тем, чтобы оценить сделанное в 30-е годы, но и главным образом с целью продолжить благородную традицию изучения преобразуемого советского Востока, помочь литературным силам республики.

Первая писательская бригада добиралась до Ашхабада поездом десять дней. Воздушный лайнер доставил группу Луконина из Москвы в Ашхабад за три с небольшим часа. «Было интересно сравнить свои впечатления от сегодняшнего дня республики, — писал впоследствии Луконин, — с той взды-

ленной, развороченной действительностью, которую наблюдали здесь участники первой писательской бригады. «Сегодня еще во многом походит на вчера, но завтра вряд ли будет походить на сегодня», — писал в тридцатом году Леонид Леонов. «Путешествуя осенью 1974 года по советскому Туркменистану, — говорил Михаил Луконин, — мы могли убедиться в справедливости этих слов. Поразительны, фантастичны изменения, происшедшие в жизни республики. Все вызывает одинаковое восхищение — и канал, и новые земли, пробужденные к жизни его появлением, и выросшие в песках города и поселки. А главное — удивляют люди. Из недавних дайхан выросли прекрасные кадры квалифицированных промышленных рабочих, образованнейшая творческая интеллигенция, опытные партийные руководители. В колхозах — благоустроенные поселки, где живут счастливые люди...»

Есть в Ашхабаде фабрика — первенец текстильной промышленности Туркмении. Через полвека после посещения фабрики писательской бригадой 1930 года я ходил по цехам теперь уже большого комбината со странным ощущением от необычности тех изменений, которые произошли здесь за пятьдесят лет. Ну а если вдуматься, так сказать, в истоки этих изменений, то станет ясно, что происшедшее вполне закономерно. Стремительный разбег рабочих судеб, «полный расцвет человеческой жизни», как писал Николай Тихонов в своем мудром прозрении будущего республики, — ведь это и есть, быть может, самое ценное в полувековой истории текстильного комбината, чьи ткани в последние годы приобрели признание на мировом рынке, экспортируются во многие европейские страны, в страны африканского континента, а знаменитая ашхабадская бязь, ткань с фабричной маркой «Лось», костюмное трико «Ливадия» отгружаются во все наши союзные республики.

И еще о масштабах современной нови. В наше время больших свершений, время атомной энергии и освоения космоса вряд ли покажется необычайным строительство оросительного канала в пустыне, хотя он и протянулся почти на полторы тысячи километров. И тем не менее эта стройка уникальна и удивительна по замыслу, масштабности, объему вложенных в нее усилий народа, поставившего перед собою задачу преобразования пустыни.

Необычайную важность строительства здесь оросительных каналов отчетливо сознавал еще и в 30-е годы Николай Семенович Тихонов. «Начало канала» — так называется глава в его очерке «Невиданная весна»:

«Мы шли по узким улочкам пустынного кишлака. Арыки были сухи, потому что воду незачем было пускать — в кишлаке не было жителей. Через кишлак шла государственная граница. Доска, переброшенная через сухой арык, вела прямо к афганскому посту.

Пограничник-командир богатырского телосложения привел нас показать, где кончается Советский Союз и начинается земля дружественного Афганистана. Афганский часовой в необъятных шальварах, в зеленой куртке английского образца что-то закричал, лежавший на коврик и предававшийся легкому раздумью другой афганец встал, пошел внутрь глинобитного домика, и оттуда вышел немного погодя афганский офицер в туфлях на босу ногу, в накинутом на плечи макинтоше и с самой любезной улыбкой подошел к доске, перед которой мы стояли, приветствовал нас краткой речью и пригласил на чашку чая.

Мы не располагали временем, стоя говорили с афганским офицером, который с дружеской любезностью пояснял, что если бы была вода, много воды, то все вокруг зеленело бы, были бы сады и мы бы сидели между журчащих вод и ели замечательные плоды садов, которых здесь нет и в помине».

Тихонов и Луговской беседовали и с «работником воды», который оспаривал возможность северного варианта поворота Амударьи через Сарыкамыш и Узбой и всецело стоял за смелый и тогда казавшийся фантастическим путь воды через пустыню, от Керков через Босаги на Мерв. О канале, строительстве, которого тогда только начиналось, Тихонов писал: «Он был небольшой. Вода медленно стремилась в нем, мутная, илистая, драгоценная вода Амударьи, она шла на запад, и казалось, что прав старый ирригатор, победу нужно искать здесь, на этом направлении...»

Прошли годы. Все это время в республике продолжались упорные изыскания оптимальных маршрутов будущего канала. Наконец была избрана окончательная трасса. Кстати говоря, примерно совпавшая именно с тем самым казавшимся фантастическим путем, который был предсказан старым ирригатором и о котором упомянул в своем очерке Николай Тихонов. Канал широкой голубой трассой, огромным водным поясом лег на карту Туркмении от Амударьи на востоке до предгорий Небит-Дага на западе, выходящих к Каспийскому морю.

На большую генеральную схему канала я смотрел в кабинете главного инженера Каракумстроя Геннадия Эдуардовича Грибача.

Из-за стола поднялся и пошел навстречу

мне человек лет за сорок с небольшим, среднего роста, худощавый, темноволосый. Если бы его увидел Тихонов, он сказал бы о нем, как когда-то о Шкильтере, — «сожженный пустыней». Двигался Грибач легко, пружинисто, рассказывал спокойно, но с тем внутренним теплом, которое, должно быть, появлялось у него всякий раз, когда речь заходила о деле, которому он, инженер-гидротехник, отдал всю свою жизнь.

Когда Геннадий Эдуардович привычно (должно быть, не первая у него такая беседа) подошел к карте, его указка прочертила сначала линию от города Керки на Амударье до реки Мургаб, немного севернее города Мары. Это и была трасса первой очереди канала. Ее протяженность около четырехсот километров, в строй она вошла в 1959 году. Самого Геннадия Эдуардовича тогда на стройке еще не было.

— Моей стала вторая очередь, — заметил он, — от Мургаба до Теждена, длину в сто сорок километров и создание трех станций перекачки воды, ведь в Мургабе ее не так уж много. Ну а потом, уже на третьей очереди, я толкнул воду на Ашхабад.

Он так и выразился — «толкнул воду»! Надо заметить, что «толкать» ее пришлось на порядочное расстояние — триста километров по пустыне.

Однако канал пошел и дальше на северо-запад, вдоль южной кромки Центральных Каракумов. Указка главного инженера остановилась неподалеку от Небит-Дага и показала два новых направления, которые еще предстояло освоить, два русла — одно из них протянется до Красноводска, а другое к городам Кизыл-Атрек, Гасан-Кули, в район западных туркменских субтропиков. Сейчас уже проложено около 1035 километров водной трассы, много работы еще впереди.

Трассой жизни называют канал в республике. И действительно, вокруг канала запланировано создать, как это ни звучит странно в применении к пустыне, около 100 именно целинных совхозов. Сейчас их освоено 15.

Надо ли говорить о том, что это новые миллионы гектаров возрожденной земли, получившей влагу, новые тысячи тонн хлопка, овощей, фруктов, новые пастбища для овец, обильные урожаи на земле, где безморозный период в году достигает 210—240 дней.

Слушая Геннадия Эдуардовича, я невольно думал о том, что вода поистине бесценный дар природы, однако ресурсы воды всюду не безграничны и использовать их надо бережно.

— Вода у нас в республике давно уже

превратилась в трудно добываемое минеральное сырье, — заметил главный инженер.

И сказано это было невесело. Геннадий Эдуардович имел в виду и целый ряд побочных проблем, которые порождены строительством и эксплуатацией канала. И понижение уровня воды в Амударье, в других реках, и засоление, заболачивание орошенных земель, с которым надо научиться бороться, и зарастание канала водорослями, и проблемы судоходства по каналу, радующие своими перспективами, но причем и нелегкие, непростые.

— Однако мы заставим наш канал работать на судоходство, — сказал Геннадий Эдуардович. — Будут по нему ходить суда до города Безмеина, это западнее Ашхабада. Между прочим, у нас есть два ледокола, — добавил он. — Зимой они освобождают замерзшие во льду наши земснаряды. Ледоколы в Туркмении — это звучит, не правда ли?

Он впервые засмеялся, этот на вид суровый и, как говорится, замотанный до предела человек. Когда мы заговорили о судоходстве, о рыбе, которой давно уже заселили акваторию Каракумского канала, то есть о том, что к чисто инженерным проблемам не имело прямого отношения, у Геннадия Эдуардовича даже как-то просветлел взгляд, улыбаться он стал чаще, и я заподозрил в нем любителя посидеть с удочкой на берегу канала или водохранилища.

Сколько я ни видел на своем веку подлинных, невидуманных энтузиастов, одушевленных размахом и зримыми результатами своего многолетнего труда, а все же каждая встреча с таким человеком подарок. Я бы еще сказал, что такие встречи индуцируют столь необходимую нам всем энергию, ту самую, которой был словно назлектризован этот деловой и крайне занятой руководитель. Он и время нашел и, как мне показалось, сам получил некоторое удовлетворение оттого, что как бы окинул мысленным взором стоящие перед ним нелегкие задачи.

Проблемы! Без них не мыслится ныне ни одно крупное народнохозяйственное свершение. А там, где проблемы, там и решения, которые порождают поступки, а поступки, в свою очередь, создают характеры.

Изменяя лик пустыни, люди, строящие Каракумский канал, делают большое и благородное дело. Никогда уж более перо писателя не выведет те строки, которые в 30-х годах, несомненно, с болью душевной начертал Николай Семенович Тихонов: «...мрачные люди живут в песках, и мрачна сама пустыня, владычица их жизни». Тихонов верил в будущее этих людей, Глубоко осозна-

ние писателем исторической важности преобразований, происходящих на земле Туркмении, во всей Азии, мажорным лейтмотивом звучит в его прозе и стихах.

Работая над материалами туркменской поездки, Тихонов черпал свое вдохновение также и в предчувствии грядущих перемен на Востоке. «Недаром старый коммунарь Элизе Реклю предсказывал с упорством географ-историка, что судьба мира решится когда-нибудь в четырехугольнике, образуемом Гератом, Кандагаром, Газни и Кабулом...» — писал Николай Семенович в своих «Кочевниках».

Лишь бурей взывается Азия,  
Не встретимся здесь мы разве?—

сказал он в стихах.

Жизнь подтвердила справедливость этого взгляда в будущее, умение писателя взвешивать события и злобу дня на весах времени. Историческая дальновзоркость Николая Семеновича Тихонова озарялась огромной силой его социального оптимизма, любовью к революции, родине, ко всему человечеству.

В кратком вступлении к книге «Кочевники» Николай Тихонов сделал попытку определить особенности своей работы, а заодно и те принципы художественного освоения действительности в жанре очерка, которые были ему тогда близки.

«Эти очерки, написанные без всякой примеси вымысла, без всякой игры воображения, заключают одни сухие факты, потому что пришло время, когда Советский Восток, сбросив покрывало легендарной косности, так же по деловому вступил на путь завоевания социализма, как и остальные территории Советского Союза. Картины изменяющегося быта, борьба с дикостью первобытного кочевья, процесс перерождения кочевника заслуживают самого пристального внимания». Комментируя это вступление в своей книге «Творчество Николая Тихонова», И. Л. Гринберг замечает:

«Уверенно поставленное «потому что» в действительности не имеет никакого основания. Правдивый рассказ о социалистической перестройке советского Востока вовсе не предполагал сухости, «наготы» изложения. Точная обрисовка картин изменяющегося быта отнюдь не требовала у художника отказа от игры воображения. Иными словами, верность фактам ни в малой мере не была «противопоказана» художественному обобщению. Напротив!»

И далее критик показывает в своем разборе, что это всего лишь декларативные обещания. Очерки «Кочевники» стали выдающимся литературным явлением той поры

именно потому, что, запечатлев драгоценные факты новизны, обрели черты широких обобщений, яркой живописи словом и поэтичности изображения жизни.

Теория здесь, как говорится, разошлась с практикой, и это примечательно. Николай Тихонов не мог не видеть, как подчас добросовестные, но бескрылые описания, наполненные к тому же отвлеченной риторикой, были далеки и от жизни и от искусства, не служили надежным подспорьем в решении сложных художественных задач. Он был противником верхоглядства и поверхностности и считал, что писатели должны проявлять сугубое внимание к приметам новой жизни, зло высмеивал такие ситуации, когда «каждый набегающий на колхоз литератор в первую голову не наблюдает, а берет свою готовую схему из собственной головы, где бродит трактор с большой буквы и больше ничего».

Но вместе с тем, думается, поучительно и интересно сегодняшним мастерам очерка — ретроспективный взгляд на общие декларации и на художественную практику писателей 30-х годов. Ведь тяга к подчеркнута строгой документальности, деловитости, порою даже к сжатости и сухости была весьма характерна и для других участников первой ударной. Например, в очерке «Кстати о жанре» Петр Павленко, на примере своего туркменского опыта рассуждая о перспективах развития художественного очерка, замечал, что он вырастает в одну из «наиболее монументальных форм». Это объясняется стремлением писателя «выйти из недр своей творческой лаборатории и превратиться из делателя героев в делателя живых событий, чтобы самому участвовать в сотворенных им процессах жизни».

И думаешь: разве не тождественны по идее, по главному своему пафосу эти устремления писателей из первой ударной с нашим сегодняшним постоянным желанием стать ближе к жизни, активно вторгаться в ее проблемы и заботы?

Признаться, давно уже ведется этот спор о взаимоотношениях факта и вымысла, о месте и значении очерка-обобщения и так называемого фотографического — с адресом и подлинной фамилией героя. Интересно, что Павленко в 30-е годы именно с очерковым жанром связывал «охоту рискнуть и написать о человеке в лицо, в глаза, назвав имя, отчество, адрес». «Манера изменять имя героя — она уже отживает», — подчеркивал Павленко и относил это не только к очерку, но и к художественной литературе в целом. «Мне, например, мыслится, — говорил писатель в той же статье, — что всег-



дашней мечтой старых литератур было приобретение прав писать людей с их действительными именами, с их настоящими адресами, чтобы читатель мог разыскать их через адресный стол».

Однако совершенно очевидно, что требование отказаться от всякого художественного вымысла в прозе означало, по сути дела, требование вообще отказаться от художественного творчества. Но как и Николай Тихонов, так и Петр Павленко в своей практической творческой деятельности, к счастью, были далеки от следования этой лефовской рецептуре.

Что же касается проблемы фактографичности в жанре очерка, то она безусловно имеет важное значение для художественной практики. И здесь, как мне представляется, меру фактов и меру вымысла определяет сам писатель в соответствии с правдой ситуации и характером. Только при этом надо всегда помнить о том — и это остро чувствовали в свое время и Тихонов и Павленко — что советский очерк исторически возник в нашей литературе как потребность в художественной летописи современности, как ответ литературы на множество совершенных конкретных, изумительных по своей новизне фактов строительства новой жизни, как желание народа увидеть под пером художника-публициста портрет реальных творцов этой жизни, разобраться в сложных противоречиях действительности.

Как-то так получалось, что я в своей работе очеркиста, публициста за редким исключением не менял фамилии героев. В конце концов форма диктуется внутренней потребностью жизненного материала. Сюда же, думаю, относится и право выбора — или точных фактов, или же раздокументированного обобщения.

Во времена «Кочевников» малоисследованные проблемы очеркового жанра занимали не только профессиональных очеркистов. Они выходили на уровень общелитературных забот. Высокая оценка М. Горьким очерка, в котором искусство слова успешно служит делу познания жизни, поставило этот жанр на многие годы в фокус общественного внимания. «Широкий поток очерков — явление, какого еще не было в нашей литературе. Никогда и нигде важнейшее дело познания своей страны не развивалось так быстро и в такой удачной форме, как это совершается у нас», — писал Горький в статье «О литературе». Там же Алексей Максимович уверенно и энергично поддержал работу очеркистов, в частности выделил очерковое произведение о Туркмении Николая Тихонова. «Молодая наша литература

выдвинула из своей среды группу талантливых «очеркистов», и они постепенно придают очерку формы высокого искусства. «Туркменские записи» талантливейшего поэта и прозаика Н. Тихонова — это очерк и это подлинное искусство изображения жизни словом».

Николай Семенович Тихонов в 30-е годы не только целиком разделял взгляды М. Горького на очерк, но и сам не раз выступал как один из убежденных пропагандистов очеркизма. Он видел в этом жанре многие художнические возможности для изображения быстро меняющейся действительности, прочный плацдарм для отчетливого выражения своей гражданской позиции. «Мировоззрение должно выражаться в очерке с наибольшей силой», — писал он в статье «Темы, ждущие писателя».

Несколько позже, выступая в Ленинграде на одной из дискуссий, Тихонов высоко поднял значение и общественную значимость этого боевого жанра: «Я хочу специально говорить об очерке, чтобы показать, что это одно из замечательных орудий... Его экономическая сила очень велика. Очерк должен быть молодым, как и сама эпоха» («Нет произведений без политики»).

«Экономическая сила!» Это сформулировано смело и, я бы сказал, для тех времен новаторски. Впрочем, об экономической силе очерков и художественной публицистики и по сей день идут споры.

Говоря в сегодняшних терминах, можно сказать, что Тихонов, опираясь на свою практику очеркиста и далеко смотря вперед, верно предугадал перспективу развития той разновидности жанра, которую сейчас именуют проблемным очерком.

Две особенности очерка сосуществуют в единстве отнюдь не антагонистическом. С одной стороны, это все растущая многоплановость очерковых и публицистических произведений, все расширяющаяся палитра жанровых характеристик. Недаром говорят, что современный советский очерк богат, интересен и разнообразен, как сама жизнь, его порождающая. А с другой стороны, отчетливо идущая специализация очеркистов и публицистов по тем сферам деятельности, которые они с особым пристрастием изучают. Пожалуй, отсюда пошла условная тематическая классификация этих произведений как относящихся к теме рабочей, деревенской, международной или нравственно-этической. Классификация эта условна, а специализация — явление реальное, обусловленное главным образом разветвленностью и сложностью самих жизненных процессов, требующих постоянного, глубокого и много-

летнего наблюдения. И поэтому вряд ли можно представить себе ныне хорошее очерковое произведение, начисто лишенное социальной или психологической проблематики и в связи с этим выраженной гражданской позиции автора.

Проблемное направление, если можно так выразиться, «вышло из Овечкина», а если иметь в виду более ранних предшественников, то это тот же Николай Тихонов и Мариэтта Шагинян, Борис Агапов, Александр Бек, Борис Галин.

Проблемная публицистика наших дней почти во всех своих аспектах сопрягается с задачами научно-технического прогресса. НТР во многом формирует и новую природу конфликтов в сфере труда. Это конфликты знания и незнания, разных стилей и методов руководства нашим хозяйственным строительством, конфликты компетентности и некомпетентности в новых условиях жизни. В большинстве своем — конфликты нравственного плана, если даже они облачены в одежды технических или технологических столкновений. И поэтому мы так часто видим в хороших проблемных очерках исследование деловых страстей, сложных неоднозначных эмоций, психологических ситуаций, порожденных заботами современной народной жизни.

Конечно, очерк в своем развитии далеко ушел вперед со времен «Кочевников». Новые времена выдвинули и новые задачи. Но сохранились и многие ценные традиции, достижения жанра в пору 30-х годов. И среди них всегда присуще очерку острое чувство современности. Высоко ценивший в очерках фактическую достоверность, Николай Тихонов понимал, как важно, чтобы очерковое произведение отвечало духу времени!

«Разведка боем» — это определение сущности очерка родилось не в наши дни, а еще в 30-е годы. И в самом деле, очеркист, публицист — это разведчик нового. И уже одно это требует от очерка свежести материала, пусть малого, но всякий раз своего открытия, предполагает новые ракурсы в освещении удивительного богатства жизни.

К этому следует добавить, что «разведка боем» предполагает еще и постоянную заботу о качестве, художественности очерковой литературы. Еще в 30-е годы Тихонов выступал против конвейерных поставок в литературу сырого стандартного материала. Сам он стремился найти новые формы очерка, насытить его содержание, обогатить метафорически, осмыслить взятый материал.

Зоркость писательского видения мира и проблема качества в очерке как бы взаимопроницающи. Качество здесь категория не

только чисто литературная, а, я бы сказал, еще и мировоззренческая. Нельзя хорошо писать о современности без умения увидеть, оценить качественно новые явления самой жизни. Несомненно (ныне общепризнанно, но к этому выводу внутренне подходил и Николай Тихонов еще в 30-е годы), что в отличие от беллетристики, где образ — это всегда нечто собирательное, художественно-документальная литература ищет обобщение, как бы уже данное самой жизнью, заключенное в конкретной человеческой личности, в реальных событиях, фактах и характерах.

В своем докладе на XXV съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев сказал: «Идет живой процесс обогащения искусства знанием жизни и, с другой стороны, дальнейшего приобщения многомиллионных масс трудящихся к ценностям культуры».

Высокая оценка писательского труда и той роли, которая принадлежит литературе и искусству в деле формирования нового, советского человека, прозвучавшая с трибуны партийного съезда, стимулировала новый художественный поиск, заставила писателей относиться к своему труду с еще большей ответственностью. И это выразилось прежде всего в расширении связей писателей с жизнью народа. Горьковские традиции получают в наши дни дальнейшее развитие и обогащение. Утвердились новые формы таких связей. Одной из них являются Дни советской литературы, которые проходят в республиках, областях, краях, буквально «от Москвы до самых до окраин». Дни литературы имеют уже свою традицию, гворческий, так сказать, багаж. Так же, как и долговременные связи писателей с коллективами фабрик и заводов, так же, как и постоянные посты журналов — в нефтяном Приобье и в Нечерноземье, на КамАЗе и в Нуреке, во многих горячих точках нашего строительства. Ныне прочно вошли в наш литературный обиход и «встречи у станка» во время коллективных и индивидуальных длительных поездок писателей, и создаваемые после таких поездок коллективные писательские сборники, в которых литераторы различных поколений объединяются вокруг большой социальной темы. И особенно радостно то, что все чаще бываю на ударных стройках пятилетки молодые писатели. Все это, вместе взятое, думается, отчетливо характеризует важную, существенную грань в деятельности нашего писательского Союза.

Писатели по справедливости оценили полезность и важность поездок по стране с целью глубокого изучения действительности.

Так, побывав в одной из таких поездок на Урал, Чингиз Айтматов писал о том, что дни, проведенные в Свердловской области, заставили его «пересмотреть какие-то свои взгляды на писательский труд. Убедили в том, что современное производство — это такое явление, мимо которого настоящему художнику пройти непозволительно. И только тот писатель может считать себя современным, в чем творчестве тема труда, тема рабочего человека — нашего современника находит достойное отражение». «Я узнал на Урале, — писал далее Чингиз Айтматов, — что знаменитых гор Высокой и Магнитной, по существу, уже нет. Они подарили свое богатство людям, они разнесены по стране на благо народа — завидная судьба. Такую бы участь и писателю, чтобы его талант, его слово были бы, как ценная порода, разнесены по всему свету на благо человека».

Рассуждая о существовании Дней литературы, Константин Симонов справедливо заметил:

«Порой можно услышать вопрос: что, мол, увидишь за неделю, какой смысл в таких путешествиях? Но ведь никто и не утверждает, что за такой короткий срок можно глубоко изучить жизнь или хотя бы некоторые ее проблемы. Однако увиденное писателем в той или иной поездке — это ведь еще одно добавление ко всему, что накопилось за многие поездки и за многие годы. То новое, что видишь и узнаешь, вызывает цепь ассоциаций и порой по аналогии, а порой по контрасту становится толчком для использования всего твоего предыдущего опыта.

Новые встречи и впечатления не только пробуждают интерес. Бывает, что они закрепляют связь писателя с тем или иным уголком Родины, с той или иной проблемой, с людьми определенной профессии».

Несомненно и то, что важной и перспективной особенностью коллективных поездок писателей стало в последние годы удачное соединение Дней литературы с творческими конференциями, в которых активное участие принимают и люди непосредственного трудового опыта, рабочие и колхозники, ученые, государственные и партийные работники.

Таких конференций проведено уже немало. Достаточно вспомнить Красноярский край, Шушенское, где шел большой взволнованный разговор на тему «С Лениным, по ленинскому пути», поездку на теплоходе по Волге от Горького до Саратова, которая вылилась в агитационный рейс, в центре внимания участников была книга Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Возрождение».

Шесть раз проходили Дни советской литературы в Тюменской области. И именно здесь, в Тюмени, собрались писатели и критики на всесоюзную творческую конференцию «Герои великих строек нашего времени и советская литература». «Ведущая сила в строительстве коммунизма. Рабочий класс общества развитого социализма, научно-технический прогресс и задачи советской литературы» — такова была тема всесоюзной творческой конференции в Харькове, соединенной с Днями литературы в пяти областях Украины.

Теперь уже общепризнано, что эти поездки и творческие конференции стали не только органической частью культурного, духовного бытия советских людей, но и большим общественно-политическим событием в жизни тех республик, краев и областей, где они проходили и проходят.

Значение Дней литературы состоит еще и в том, что они содействуют укреплению интернациональных связей, дружбе и братству народов многонационального Советского государства.

Осенью 1980 года Дни литературы в Туркмении проходили под девизом «советские писатели — XXVI съезду КПСС». Писатели из Москвы и Ленинграда, из многих республик, областей и городов нашей страны встречались с земледельцами древнего Куя-Ургенча, хлопкоробами Каракумского и Гяурского районов, районов, возникших недавно в зоне Каракумского канала, строителями нового города Нефтезаводска, рыбаками Каспия, энергетиками Марыйской ГРЭС. В Ашхабаде состоялась и всесоюзная творческая конференция на тему «Развитое социалистическое общество и проблемы взаимосвязей и взаимообогащения братских литератур на современном этапе». Это еще одно весомое подтверждение того, что активность жизненной позиции писателя выводит его на передний край государственных дел, планов, забот. И поистине заводской цех, стройка, хлебное поле — вот где сейчас рабочее место литератора. Здесь он обогащается знанием жизни, здесь ведет разведку, поиск, освоение актуальных тем нашей действительности.

Страна наша готовится в эти дни к очередному партийному форуму. Готовится, как всегда, по-деловому, с полной отдачей сил, энергии, творчества. Духом творческих свершений наполнена сейчас и жизнь писателей, которые ощущают свою кровную причастность к деяниям своего народа, стремятся внести весомую лепту в общепартийное, общенародное дело строительства коммунизма.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Пинач, Н. Цыганова.** Постигая богатства души человеческой.— **Андрей Василевский.** Начиналось с Маяковского.— **В. Воробьев.** Важная грань ленинской эстетики.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Ю. Шарапов.** Страницы великого наследия.— **Вл. Кузнецов.** Историкография современности.— **В. Косолапов.** Кровью сердца...

## Литература и искусство

### ПОСТИГАЯ БОГАТСТВА ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

**Тимур Пулатов.** Впечатлительный Алишо. М. «Советский писатель». 1978. 271 стр.

**Тимур Пулатов.** Завсегдатай. Повесть. «Дружба народов», 1979, № 8.

**Тимур Пулатов.** Жизнеописание строптивного бухарца. Роман. Повести. Рассказы. М. «Молодая гвардия». 1980. 461 стр.

**Ч**то делать с первым впечатлением? Этот вопрос современного поэта всплывает и в новых повестях Тимура Пулатова. Довольно неожиданно. До сих пор критика связывала имя узбекского прозаика совсем с другими проблемами. Когда после выступления Льва Аннинского «Жажду беллетристики!» разгорелся спор о мифе в современной литературе, пулатовские «Владения» оказались в самом пекле дискуссии. Еще бы: попытаться взглянуть на мир не то что надличным, но и надчеловеческим зрением — глазами коршуна, облетающего свои владения! Антибеллетристическая, а при этом по-настоящему талантливая попытка. И вот поворот: писатель с горных вершин, где коршун обитает, из царства эпического холода возвращается к бедной душе человеческой. Для Пулатова это значит не просто вернуться в лоно психологического анализа, но заняться самой тонкой, до разрыва истончающейся тканью души — первоначальной впечатлительностью.

Как же сходятся у Пулатова эпическая отрешенность и непосредственная впечатлительность? Да так и сходятся, как в самой жизни: в его повестях старики и дети — те, кто входит в мир впервые, и те, кто с

ним прощается. Старик Каип в одной из прежних повестей похож на обломок скалы — уже полускала. А высоко над скалами парит коршун. Непросто перевоплотиться в коршуна, но проще ли войти в первоначальный мир детства, оставшийся за темной чертой? Если сравнить жизнь человека с лестницей, то Пулатов исследует прежде всего самую верхнюю и самую нижнюю ступени ее, где жизнь человека с природой сопрягается. Он берет соединительную ткань между человеком и природой — первоначальный младенческий лепет и мудрое молчание старика. А как же быть с жизнью как таковой? С ее серединой? Она то у Пулатова чаще всего и выпадает или уходит на периферию повествования. И вот «Впечатлительный Алишо» и «Завсегдатай». Считать ли обращение к возрастной середине изменой себе и неудачным срывом, как это кажется Льву Аннинскому?

Герои новых повестей Пулатова — люди именно возрастной середины. В одном случае впечатлительный Алишо, в другом — Ахун, человек до болезненности тонких ощущений. Артисты. Не то чтобы неудачники, скорее достаточно обыкновенные, каких, впрочем, большинство.

Герой этот живет не среди скал, взывающих к вечности, а в условиях современного города. Алишо, к примеру, наблюдает романтические скалы издали, когда трясется в автобусе, мотаясь по выступлениям с другими актерами. Это его работа. В автобусе — актрисы, время которых ушло. Не в согласии с вечностью среди скал, моря и вечного неба, а в цеплянии за роли, которых все меньше, в этом темном автобусе доживают они свои дни.

А вот Ахун не хочет рядовой участи. Он во многом напоминает Алишо, но в отличие от последнего хочет вырваться из круга обыденности. Вот ведь какой продуманный параллелизм в последних повестях Пулатова. Один тип человеческий, но в двух вариантах жизненного поведения. Алишо принимает цикличность повседневной жизни. Ахуну не хватает в ней резких коллизий, но его рывок из нее — действие авантурное, и он гибнет, став жертвой авантюры, жертвой собственной фантазии.

Есть у Э. Т. А. Гофмана новелла «Угловое окно», которую знаток романтизма Н. Я. Берковский считал программной для писателя. Сама эта новелла — «угловое окно» между романтической и реалистической точкой зрения на мир. Наблюдая жанровые сценки на рыночной площади из окна, зрители пытаются угадать по колоритным внешним приметам внутреннюю суть участников сценок.

Не тем ли занимается и Ахун? Повесть эта развертывается как цепь признаний героя, его мыслей и наблюдений, которые как раз начинаются с ежедневных прогулок по базару. У Гофмана реальная жизнь персонажей и досужий вымысел не совпадают. Но для романтика фантазия действительно реальность, как возможности человека — изначальные — шире его обуженного существования. Пулатов выворачивает романтическую формулу наизнанку — проверяет ее прочность действием.

Пусть сначала Ахун предается своим необузданным фантазиям — эстетизации базара. Пусть он ищет «художника базара», творит собственный миф о нем, отзывается на «зов предков», видя в этом нечто древнее и первозданное: «натуральный обмен дарами природы». За это мифотворчество, за такое смешение фантазии и жизни он и расплачивается ею самой.

Между тем пусть другой герой другой повести фантазиям давно не предается. Пусть Алишо по-прежнему возвращается ежедневно с работы, зная все наперед. Пусть даже так. Ополаскиваясь в ванной, норовит каждый раз предварительно зата-

щить туда телефон. Все это в духе беллетристики, которого так жаждал Л. Аннинский. Этот беллетризм давно подглядел, что у среднего человека в среднем возрасте могут быть маленькие тайны от жены. Да, герой Пулатова звонит втихомолку очередной женщине. Но вот здесь сходство с беллетристикой, повествующей о двойной, тройной жизни героя, прекращается. Каждый раз, поддаваясь впечатлительности, он назначает кому-то свидание. А после мучается бессмысленностью и ненужностью этого поступка, вновь звонит, чтобы свидание не состоялось. Какой-то неодолимый разлад возник между впечатлением и сутью, собственной жизнью и впечатлительностью. В ней явилось нечто от ее противоположности — автоматизма и стандартности реакций. Какая-то машинальная, отрешенная впечатлительность. Она словно бы пародирует и отрешенность пулатовских стариков и живую восприимчивость ребенка. Но перед нами не пародия — живые люди, которых эти нелады мучают.

«Вот так всегда, — понимает Ахун, — птаха, сверчок, женщины, и я уже расслабляюсь, теряя цель». Из-за этого и в балете ничего не вышло, из-за беспособности, «стиснув зубы, идти до конца, не отвлекаясь». Недаром Станислав Золотцев в «Литературном обозрении» говорит о душевном импрессионизме героев Пулатова.

Прекрасна эпическая мудрость стариков. Прекрасен младенческий лепет. Чего же так жelaет Пулатов своим героям в среднем возрасте? Пожалуй, ядра характера. «Мотыльковый человек был Ахун, душевно рыхлый, метался...» — говорит о погибшем завсегдае базара старый и мудрый следователь. Но художественное «следствие» в любом случае должно быть скрупулезнее в понимании внутренней жизни человека, у которого нарушен какой-то неуловимый регулятор между фантазией и реальностью, внутренней жизнью и внешней. Перед нами драма бесхарактерности, истоки которой приходится искать в ранних детских годах героя. Как не похожи последние повести Пулатова на прежние, а вот опять же — детство! В глубине он остается самим собой.

Ранние душевные травмы способны повести развитие души по искривленной линии. Сама впечатлительность оказывается у Пулатова двоякой. Разве не является показателем душевной развитости человека отзывчивость и тонкость переживаний? Власть запахов, жестов, мельчайших и неуловимых движений души, которую так явно запечатлел Марсель Пруст? Но не

этой ли властью может дробиться истолченное в порошок ядро личности?

Последние повести — о зиянии между благословенной детской и взрослой впечатлительностью, которая вырождается, если не складывается каркас души — надежный характер. Если угодно, повести — в особенности об Алишо — похожи на психологическую задачу. И на психиатрическую диагностику. И на задачу педагогическую. Но неизменно и художественную: найти точку сбоя, с которой развитие пошло вкось.

«Уже смотрят, надо придать своему лицу выражение цинизма и веселости». Или так: «...а это надело на Алишо маску меланхоличности». Или еще: «Ну, полно!» — махнул ему Алишо, тоже представив себя в этом спектакле...» Без конца повторяется слово «роль». Но одно дело быть актером по профессии, другое — актерствовать в самой жизни. Главным для Алишо стало скрывать свою робость, свое смятение, свои порывы, свои, в конце концов, нормальные человеческие чувства — не быть, а казаться. В этом он преуспел, но это и подменяет действительный человеческий стержень, характер, вроде того как помогает слабому позвоночнику медицинский корсет.

В заключение происходит самое невероятное для такой «скрытной», застенчивой души — обстоятельства вот-вот сделают Алишо диктором на телевидении: «А когда для Алишо наступит тот день и час и он должен будет показаться на экране телевизоров, а в нем еще живет долгий, устойчивый, как невроз, страх, что покажут его крупно, и в чужих семьях чужие люди что-то узнают по общему выражению лица, по морщинам что-то такое, чего не желал бы открывать в себе...» Что же тогда? Тогда жена, как всегда, его утешит: «Ты был таким уверенным...»

Не правы те, кто, как Лев Аннинский или Павел Уляшов, увидел в герое только зрящего человека. Уже то, что Алишо мучается своим несовершенством, переводит его в иной человеческий ранг. Урок повести и в том, о чем говорит Ст. Золотцев, — вневольном вопросе читателя: а не происходит ли такое же со мной? О «коррозии» впечатлительной души заставляет поразмышлять и повесть «Завсегда́тай». Материал здесь — городской быт — привычный для прозы, достижения которой мы связываем с именами Ю. Трифонова, Г. Семенова, В. Маканина, И. Грековой, М. Слущиса, М. Ибрагимбекова и других. Но у Пулатова он подчинен особой конструктивной

идее, художественной концепции. Исследование человеческой «срединности» тут соединяется с психоаналитической диагностикой, какую, не побоимся далеких аналогий, разрабатывал, скажем, Зощенко в повестях «Возвращенная молодость» и в особенности «Возвращенный разум». Повесть «Хор мальчиков» в разговорах о Пулатове прошла стороной, но в паре со «Впечатлительным Алишо», «Завсегда́тай» обрела дополнительный смысл. Теперь же она дописана, выросла в роман, давший название последней книге, — «Жизнеописание строптивого бухарца». Здесь снова два типа, два параллельных исследования впечатлительности. В случае с Алишо оно имеет характер психологического дознания — от взрослой жизни к детским корням. В романе — встречное движение. Ощущения ребенка в люльке. Первые шаги по двору. Первый выход за калитку. То, что так привычно для взрослого, грандиозно и небывало для ребенка, пытающегося постичь мир.

Это было у Марселя Пруста, Бунина, Пастернака, сказавшего неспроста: «О детство! Ковш душевной глуби!» Развернутым же эпиграфом или, наоборот, сжатым выражением художественной концепции детства в этой повести могло бы послужить известное стихотворение поэта:

Так начинают. Года в два  
От мамки рвутся в тьму мелодий,  
Щебечут, свищут, — а слова  
Являются о третьем годе.

«Так возникают подозренья. Так зреют страхи» — по тем же нешуточным кругам водит и Пулатов своего малыша, жаждающего постичь тайну взрослого мира. Старшего брата, Амона, называют хозяином жизни, Душан же «своей впечатлительностью себя утомляет и всех вокруг», так считают взрослые.

Иначе считает автор. В этой повести он продолжает ту традицию, которая поэтизирует детскую впечатлительность, ранимость, ибо открытие мира должно быть конфликтно, чтобы заронить в детскую душу первые зерна нравственного самосознания, поэтического воображения. Детство живет сказкой, притчей, поверьем, но живет все-речь: «...и вот теперь прочитанное бабушкой вдруг повторилось в реальности, когда увидел он, как вороны напали в тупике на человека и отняли его хлебцы». Мальчик уверен: человек будет распят, как в книге, вернее же, книга для него и повествует о том, что происходит с ним и окружающим миром на его глазах.

Так мифология прорастает нежданно и в камерном сюжете — сквозь детское созна-

ние. Всечеловеческое детство повторяется в раннем детстве каждого. Но есть здесь и разница. Вот по-детски нетронутая мудрость народная, натурфилософские фантазии старика Каипа из прежней повести Пулатова: «Вначале казалось Каипу, что сделался первый человек из смерча. На холме пещера, и, выпрыгнув оттуда, смерч с песком понесся к морю, радуясь обновлению...» В этих представлениях есть эпическая самостоятельность. Душан тоже знает кое-что о смерчах. Он знает, что однажды смерч ворвется к ним за калитку, закружит и навсегда заберет с собой бабушку. Он чувствует себя непосредственным участником действия. Он вовлечен в мистерию рождений и кончин — в этой повести темы детства и старости спаяны крепким единством. Да, «так зреют страхи», но так зреет и отвага. Так в Душане пробуждается маленький рыцарь, готовый с глиняными шарами в руках возле калитки отразить натиск смерчевидного дьявола, защищая бабушку от смерти.

Поэтизация детской ранимости спорит, но и советуется с аналитическим подходом к тем же свойствам души. Где мера, которая не надломит хрупкий мир ребенка? Вспомним и то, как в ранней повести «Окликни меня в лесу» драмы взрослой жизни врываются в детскую душу.

И когда Пулатов пишет о людях взрослых, своих сверстниках, он втягивает в лono прежней своей художественной концепции материал, наиболее ей сопротивляющийся. Ведь сколько ни ищи ключи к индивидуальной душе, для него важно в конечном счете, как войдет ее голос в «хор мальчиков», в общее согласие земных голосов, человеческих и природных.

Душан, его родители и бабушка — вся семья собирается временами в кружок, и все рассказывают друг другу сны. Бабушка видела себя во сне юной и пасла в горах коз, чего в жизни ей ни разу делать не приходилось. Но коз пасли ее предки, пасла ее мать, и во сне она прожила далекую частичку ее жизни. И так с каждым. Создается впечатляющий философско-поэтический образ слиянности жизни рода человеческого. Здесь не по житейским приметам, не по Фрейдю или Павлову сны толкуются. Здесь можно было бы вспомнить мифологические фантазии Юнга о коллективном бессознательном, если бы они сами не искали опору в поэзии фольклора.

Что же в итоге? Нелегко перевоплотиться в коршуна. Нелегко — в глубокого старика. Не проще — в свое младенческое первоначало, чтобы каждый миг держать в гор-

сти всю жизнь во всех ее проявлениях. В какой-то момент в литературе возникла общая потребность восполнить невнимание к пограничным пунктам человеческой жизни.

И разве не о том же последний рассказ Юрия Казакова — «Во сне ты горько плакал»? Бежит по лугу среди ромашек, опережая отца, полуторагодовалый малыш — этот русский двойник Душана, — но тайна его улыбки остается за темной чертой. Не проникнуть в нее, как и в собственное начало, мальчику и, повзрослев, не вспомнить впоследствии этого мига. И никогда не узнать, отчего так горько плакал он во сне, а проснулся — молчалив, отчужден, точно бы повзрослевший.

А вот Пулатов попытался узнать. Какая разница художественных устремлений при сходстве мотивов! Казаков хочет прикоснуться к тайне, не разрушая ее и пронзительности лирической интонации. А с Пулатовым мы все-таки оказываемся в аналитически постигнутом детстве, по ту сторону непроходимой стены. И как в смутных голосах за стеной, пытаемся разобраться в тайне взрослой жизни. Мы, взрослые, оттуда — из детства.

Едва ли можно передать адекватно ощущения малыша в люльке. Так же как и стареющего коршуна. Поэтому простим автору и в этом случае «взрослый антропоморфизм». Отступая в младенчество, автор откровенно остается взрослым. Да еще прихватывает с собой хитроумный психоаналитический инструментарий, без которого ему в детской люльке делать нечего.

И совсем уж отступает поэзия под натиском аналитики во второй части романа, рассказывающей о трудном отрочестве Душана. Трудном не просто по обстоятельствам — распад семьи, полусиротская жизнь в интернате, — но трудном по напряженной работе души. Душану не только нужно пережить, освоить столкновение разных детских характеров, мужающих по-разному, найти место в этом столкновении — тема традиционная и извечная для литературы, — ему надобно рассчитывать с собственным детством.

Отрочество Душана оказывается развенчанием его детских иллюзий. Детская «мифология», видевшая повсюду тайную и чудесную связь всех со всеми, с неизбежностью распадается. Детскую веру в чудесное теперь язвит колкий смехок. Но это скепсис временный. Направленный на себя, а не на внешний мир. Оборонительный, а не атакующий. Надо справиться с растерянностью. По-новому постичь и утвердить эту связь всех со всеми и всего со всем.

На деле детство вовсе не отрицается у Пулатова. Как раз наоборот, оно втягивается в отрочество и переживается наново в сцеплении с новыми впечатлениями. И глубочайшее событие детства, смерть бабушки, именно в этих новых сцеплениях обретает для Душана впервые настоящее значение.

Вспоминать значит думать. Многое в жизни случается словно бы для позднейшего осмысления. Мгновение, прошедшее вскользь, может стать, лишь терпеливо ждет случая, чтобы аукнуться и воссоединиться с другим далеким мгновением, минуя долгую череду дней и лет. Прошлое и будущее у Пулатова проницаемы друг для друга, о чем нередко размышляет его герой.

В этом сильная и интересная сторона романа. Отрочество как раз и оказывается такой зоной взаимной проницаемости, зажатой между детством и взрослой жизнью, зоной, в которой многое ломается, чтобы выстроиться заново.

Изображение этих «словов» в романе переключается с ретроспекцией в отрочество и юность впечатлительного Алишо. Но опять-таки параллелизм у Пулатова оказывается и продуманным контрастом. Если Алишо рано поддается искушению не быть, а казаться, то Душан одолевает искушение казаться таким, как все, и выстоит в желании быть собою, но со всеми. И это при том, что коллизии Душана в романе куда более многосторонни.

Пулатова явно занимают впечатлительные, меланхоличные натуры, и он дотошно прослеживает путь становления характера в этом предельно для такого становления затрудненном случае.

Особенность Пулатова в том, что он и самое большее покажет через чрезмерно малое. Любый штрих, любая царапина ложится под увеличительное стекло. У Пулатова непременно самая конкретная коллизия детского сознания восходит к общефилософской проблеме. Но парадокс в том, что как раз сам Пулатов скуповат на очистительный поэтический порыв. И синтез конструируется в бесконечном аналитическом дроблении. Не отсюда ли некоторый холодок Пулатова? В последних его вещах находили и «вязкий психологизм», и хаотичность, и погружение в поток сознания, но не вернее ли было бы тут же отметить и нечто протиположное: чрезмерную, может быть, продуманность его построений, дотошную аналитическую предусмотрительность автора?

Это и понятно. Кого еще из вошедших в

литературу в последнее десятилетие вводили в такой широкий литературно-культурный контекст? Шекспир, Вернадский, Гильке, Блок, Пришвин, Пастернак, Конрад, Хемингуэй, Бах, Фолкнер, Мэрдок, Кобо Абэ, Кафка, Гаршин, Матевосян, Айтматов, Камю, Маркес, Василий Белов, а еще толстовский «Холстомер», а еще узбекский фольклор, а еще... Это лишь из одной очень сжатой статьи Владимира Гусева. Мы не избежали искушения, невольно продлив цепь ассоциаций. Таким контекстом какое угодно дарование приподнять можно, но в чем-то и придавить его. Пулатов пошел в подмастерья к большой литературе и сам стал несомненным мастером. Он очень хорошо ориентируется в лабиринте художественных возможностей. Может быть, слишком хорошо.

В широком потоке нынешней прозы еще очень много «ползучего эмпиризма», бытописательского сырья, не переработанного сильной художественной концепцией. С Пулатовым другая крайность. Он видит все сквозь призму преудготовленной концепции. Не то чтобы всегда было так: «...и чем случайней, тем вернее»,— но Пулатову зачастую не хватает той жизненной нечаянности, которая покачнула бы, вывела из равновесия художественную систему, давая ей свежий импульс.

Сами нечаянности у Пулатова хорошо продуманы. Даже в авантурном сюжете «Завсегдаята». Он раскручивается как пружина хитроумной литературной игрушки. Казалось бы, он должен раскручиваться стремительно. Но Пулатов в своей продуманности изыщен. Он даже здесь, как и в других вещах, гребет против течения стремительного сюжета, замедляя его до крайности рефлексией героя, монотонностью интроспекции. Самое стремительное обернулось самым тягучим, в тягучести даже с Антониони наш автор мог бы помериться. И это хорошо объяснимо. Таков характер Ахуна. Он весь порыв, но тут же и апатия. Вовлекаясь в торговую авантюру, оказавшись в незнакомой местности, он уже скучает... Ему уже неинтересно. От скуки он заводит небольшую интрижку, будоражит себя, сбивает с толку молодую женщину; но и тут, предчувствуя скуку, сетует: вот всегда и во всем так... Скучно герою, но признаться, порой скучновато и читателю. Не оттого, что он непременно ждет развлекательного чтения, а оттого, что чувствует, как пружина раскручивается...

Еще во время прогулок по базару лобуется Ахун благородной **внешностью** «сентиментального» торговца Бобошо. Но



есть и в этой внешности предвестье, которое будет раскручивать сюжет. Благородное лицо искажала порой произвольная судорога, которая делала его на миг безобразным. По этому поводу в записях Ахуна есть такая сентенция: «Поистине красота есть слегка прикрытое безобразие, а вышний ум у черты безумия, крайности гораздо ближе друг к другу, чем стоящие рядом качества, такие, как храбрость и отвага,— здесь я, возможно, банален...» Что да, то да, и не зря герой все время ловит себя на банальности.

Есть совершенно ходовые трюизмы, но есть трюизмы интеллектуального изощрения. Они ошарашат новичка, но каково ими питаться человеку, мало-мальски знакомому с наследием человеческой мысли? Ему не легче оттого, что это мысли не автора, а лишь его героя.

Ахун в своих записках несколько пренебрежительно пишет о соседе-литераторе, с которым иногда беседует. В коротком комментарии к запискам Ахуна, в эпилоге «Рассказ доброжелателя», литератор оплачивает ему, в сущности, тем же.

Пусть герой так и задуман — склонным к рефлексии, но интеллектуально бесплодным. Ведь свежая мысль доставляет радость, а он, будучи человеком образованным, ловит себя на изысканной умственной банальщине, мучается ею. Но почему тогда его изыски вдруг позабыты автором? Ведь все вопросы, над которыми мучился герой и которые ему оказались не под силу, словно бы подсказывали вторжение сильного ума...

Возникает вопрос принципиальный: о трудностях так называемой интеллектуальной прозы. Кто в этом смысле возразит против прозы Томаса Манна? У кого язык

повернется сказать, что современная наша проза интеллектуально перенасыщена? Не будем ставить предел такому насыщению. В другом загвоздка. «Доктор Фаустус» не набор сентенций и даже не оригинальный эстетический трактат, но роман-мысль, «эстетика живьем», с судьбами героев и эпохи сращенная. А в нынешних притязаниях на интеллектуализм больше простых сентенций, «говорильни», подслушанной в дружеском застолье. В сравнении с такой прозой Тимур Пулатов выгодно отличается — у него частная изреченная мысль глубоко вплавлена в художественный замысел, но можно было бы дать ей больше жизненной свободы и непреднамеренности.

Сейчас творческая непреднамеренность Т. Пулатова насыщена другим. Писатель таджико-узбекского происхождения, пишущий по-русски, оказывается на перекрестке культур. Происходит их естественный кровообмен. Мотивы европейской традиции обновленно звучат в иной национальной стихии. Восточный элемент вносит новизну в литературу, которая пишется по-русски.

Теперь хотелось бы несколько смягчить укор, брошенный нами прозаику. Сравнение сюжета с лихо раскрученной пружиной принадлежит не нам. Борис Пастернак, будучи переводчиком Шекспира, глубоко проникся его духом, но сетовал, что иногда слишком наглядное распрямление пружины случилось и у великого драматурга. Такие случаи он считал изменой художника самому себе.

Литература может быть классической и текущей, большой и малой, но не малой в замысле, и уроки великой литературы принадлежат всем.

А. ПИКАЧ,  
Н. ЦЫГАНОВА.

Ленинград.



## НАЧИНАЛОСЬ С МАЯКОВСКОГО

Адольф Урбан. Образ человека — образ времени. Очерки о советской поэзии. Л. «Художественная литература». 1979. 324 стр.

Прошлое необратимо, и что случилось однажды — случилось навсегда. Как писал П. Антокольский: «Двоится облик. Длится век. Ничто в былом не переменится».

Но прошлое не только необратимо, оно еще и м о б и л ь н о. Литературное прошлое в особенности. Есть такое явление в литературе — п е р е а к ц е н т у а ц и я. «На наших глазах,— пишет А. Урбан.— в течение полутора-двух десятилетий, Есенин стал

поэтом иного смысла и масштаба, чем в 1920-е годы... Классическим образцом становится поэзия А. Твардовского». Подобных примеров сколько угодно. Даже «всякое новое издание забытого или давно не издававшегося поэта есть также и попытка „перекцентуации“».

На страницы одной из прежних книг А. Урбана («Стихи-собеседники». Л. «Детская литература». 1978) художник-иллюстра-

тор вынес графические портреты Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Ахматовой, Цветаевой, Есенина. Уже само соседство этих рисунков несет момент переакцентуации.

Разговор о переакцентуации не просто попытка очередной трактовки поэзии. Она связана с изменениями в общественном сознании — вот что важно. В книге А. Урбана момент исторического прочтения произведения поэзии наиболее ошутим в очерках о Владимире Маяковском, Велимире Хлебникове и Николае Заболоцком.

Очерк о Маяковском, который, говоря словами А. Урбана, «сам того не подозревая, привел своего читателя на порог космического века», — это именно перенос акцента на Маяковского — провозвестника будущего. «Безначальная и бесконечная вселенная словно вставлена в раму, помещена во внутренний космос человеческого самосознания. И тем как бы ограничена. Но это не логическое противоречие, а первооснова поэтической концепции Маяковского — бесконечность могущества человека».

А. Урбана интересует в первую очередь поэтическая утопия Маяковского, Маяковский — создатель Людогуса (Людогус — герой поэмы «Пятый Интернационал» и очерка «Париж»), существа с тысячеверстой шеей, которое видит дальше всех, прозревает будущее. Маяковский называл своего персонажа «социалистическим поэтом».

Автор обращает наше внимание на такую особенность поэтики Маяковского: среди голода и разрухи он мечтал об «электрическом» коммунизме как материализации духовных ценностей. Здесь опредмечивание, овещствление не только абстрактных понятий, но и внутреннего мира человека. Сердце — мотор, душа — двигатель, поэт — фабрика. Такой характер образности был неотделим от общего революционного пафоса преобразования мира, который вместе с Маяковским разделяли, каждый по-своему, и другие советские поэты.

То, что критик пишет о Велимире Хлебникове, в определенной степени отражает действительно происшедший сдвиг в представлениях о поэте, хотя, как отмечает А. Урбан, «репутация непонятого «заумника» и «футуриста» у него прочна», может быть, оттого, что «его теория и практика «заумного» языка лежит на поверхности».

«Вселенная Хлебникова — огромная мастерская для творческого приложения мысли и действия, — пишет А. Урбан. — ... весь его космос проникнут мыслью об осуществлении, о практической возможности и целесообразности... Его космос держался на эмо-

циональном импульсе, на глубочайшей вере, что так должно быть... Жизнь как бесконечное и прекрасное будущее. Это была молодая надежда века (разрядка моя. — А. В.)».

Влияние Хлебникова на советскую поэзию настолько разнообразно, что может показаться — сам он читателю и не нужен, достаточно того, что переработалось в творческих мастерских других поэтов и растворилось в их поэзии. Но нет, нужен. Чем больше дистанция во времени, тем он понятнее. Он не просто растет, он проявляется, может быть, именно благодаря своему влиянию на поэзию современную и, возможно, будущую. Его поэтическое и прозаическое наследие — фрагменты грандиозного утопического эпоса, который в принципе не мог быть закончен. Мы сегодня трезвее, мы теперь знаем больше. Но утопия не стареет, потому что за маж был большой.

Николая Заболоцкого А. Урбан считает прямым наследником хлебниковского космоса, но его личная проблематика, по А. Урбану, — взаимоотношения человека и природы. А эта проблематика на века. Заболоцкий ставил проблему (а такие проблемы решаются не поэтами, а исторической практикой) так глубоко и оригинально, что смысловой состав его философской лирики наращивается самим временем.

К сожалению, А. Урбан, сосредоточивший главное внимание на «Столбцах», только коснулся намечавшегося движения позднего Заболоцкого от «разумности» («Я не ищу гармонии в природе...») к широкому мироощущению, характерному для «Можжевелового куста». Эта эволюция не так очевидна, как, например, движение Заболоцкого от ранней броскости к высокой простоте, но такая эволюция совершалась.

Нужно отметить и интересную попытку А. Урбана еще раз и без предубеждения взглянуть на творчество Игоря Северянина, оставшегося в истории нашей словесности «без места». Бытует «бранное» слово «северянинщина». Обстоятельное предисловие (В. Рождественский) к недавнему переизданию его стихотворений по-прежнему закрепляет знак равенства между Северяниным и северянинщиной, по-прежнему речь идет о «двусмысленной славе», а о недвусмысленном таланте говорится между прочим. «Где же тот, другой Игорь Северянин, который безусловно талантлив? Тот, который заставил обратить на себя внимание видных современников (В. Брюсов, Ф. Сологуб, К. Чуковский, А. Н. Толстой, А. М. Коллонтай. — А. В.) и должен был передать самоценное наследство потомкам?» — спрашива-

ет А. Урбан. По его мнению, сложность тут в том, что «нет и никогда не было двух Игорей Северяниных, одного — талантливо, другого — пошлого. Он и талантлив, и пошл одновременно. Все лучшие северянинские строфы, строчки, образы берутся из стихотворений, служивших поводом для самых смешных и злых пародий...». Северянин без пошлости — это никому не нужный «не слишком большой сборничек безликих описательных стихотворений, в которых нет ничего северянинского».

А. Урбан посвятил свою книгу советской поэзии, и Северянин интересен тут не сам по себе. Автор обращает наше внимание на тот факт, что Северянин искренне считал себя историком современности. Претензии Северянина не подтвердились, и А. Урбан связывает это с тем, что «современность Игоря Северянина была поверхностной. Она проявилась как склонность к модным вещам, сенсациям, сюрпризам. Он был увлечен мгновенным и преходящим, принимая их за утверждающееся вечное». Северянин оказался «между времен». Его наследство не растет во времени. Напротив, время развеяло былое очарование его стихов, по мнению А. Урбана, они кажутся «наивными, простодушными и смешными». Тут можно добавить, что и сегодня поэзия такого рода может доставлять своеобразное эстетическое удовольствие, в котором есть момент и грим...

Авторская мысль естественно и непринужденно переходит от Северянина к Маяковскому, от Маяковского к Хлебникову, от Хлебникова к Заболоцкому, попутно связывая последних трех с именами Э. Цюлковского и Н. Федорова. И тут и ть обрывается. А впереди еще две трети книги... Кроме уже упомянутых поэтов, А. Урбан посвятил свои размышления Н. Тихонову, С. Маркову, Н. Брауну, П. Антокольскому, М. Светлову, Б. Корнилову, Я. Смелякову, а также М. Дудину, Э. Межелайтису, Д. Самойлову, В. Гордейчеву, В. Соколову и А. Жигулину. Но чем дальше, тем более авторская мысль устает, начинается скороговорка. Книга превращается в сборник творческих портретов.

Когда в 1968 году А. Урбан выпустил книгу «Возвышение человека. Заметки о современной поэзии», это были именно заметки о поэзии современной, и потому под одной обложкой встретились поэты такого разного уровня, как А. Тарков-

ский и Р. Рождественский, А. Твардовский и Ю. Панкратов... Но «Образ человека...», судя по всему, книга иного плана, не «заметочного».

Конечно же, никто не свободен от личных пристрастий. Например, А. Урбану нравится Н. Браун. Он хотел бы вывести имя Брауна из «и др.», поставить его в ряд. Защищая творчество Н. Брауна от справедливых, на наш взгляд, упреков в риторике, автор пишет: «Не станем спорить, в стихах Брауна есть риторический запал. Не станем даже ограничивать его действия отдельными стихами или периодами. Но что это за риторика — вот вопрос. И дальше: «...риторическая композиция — слишком общий формальный признак, чтобы служить мерой эстетической оценки стихотворения». Отвлеченные рассуждения справедливы, но приводимые автором цитаты как-то мало убеждают. Может быть, все дело в том, что, говоря словами самого А. Урбана, «есть уровень, на котором наши субъективные притязания бессильны?»

Существуют определенные закономерности читательского восприятия. Книга, открывающаяся принципиально важными рассуждениями о переакцентуации, хочет того автор или нет, читается именно сквозь призму этого термина. Он приобретает прямотаки магическую силу и начинает звучать как невольное обещание, а значит, и как читательское требование.

Парадокс в том, что, когда А. Урбан писал об Анне Ахматовой в отдельно опубликованной статье «Зовем эту землю своею. Размышления о репутации стиха», он этого термина не произносил. Тем не менее в основе его статьи лежал принцип именно исторического прочтения стихов. В книге «Образ человека...» он слово это произнес. Кроме уже отмеченных очерков о Северянине, Маяковском, Хлебникове и Заболоцком, в книге есть масса интересных и точных замечаний, но замечаний, ценных как бы вне связи с главной темой. Высота авторского замысла неизбежно повышает уровень читательских притязаний. Обидно, когда «невыполнение» или «недовыполнение» пусть и невольно «обещанного» порой бросает досадную тень на то действительно ценное и плодотворное, что есть. Об этом не можешь не думать, читая новую книгу Адольфа Урбана, критика, так хорошо знающего современную поэзию.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



## ВАЖНАЯ ГРАНЬ ЛЕНИНСКОЙ ЭСТЕТИКИ

А. Н. Иезуитов. В. И. Ленин и вопросы реализма. Л. «Наука». 1980. 303 стр.

**К**нига А. Иезуитова — первое в нашем литературоведении обстоятельное исследование, посвященное анализу взглядов Ленина на реализм (главным образом в литературе). Анализ этот тесно переплетается с рассмотрением научной и политической деятельности Владимира Ильича, его идейной борьбы против народничества, меньшевизма, экономизма и других течений, чуждых марксизму и интересам революционного рабочего класса. В книге подчеркнута актуальность ленинских взглядов на реализм, помогающих нам и ныне вести борьбу против буржуазно-модернистских, антинаучных измышлений о реализме как якобы устаревшем и даже консервативном направлении в мировой литературе и искусстве.

Ленинское понимание реализма, по убеждению исследователя, вооружает нас также на борьбу против современных вульгарных и, по сути, антимарксистских толкований основ этого метода критиками-ревизионистами (Р. Гароди, Э. Фишер и другие), утверждающими, что под реализмом будто бы следует понимать любые виды и способы воспроизведения субъективных переживаний и представлений писателей и художников.

Автор убедительно показывает, что суждения Ленина о реализме опираются на его философские, социологические и идейно-политические принципы и вне этого не могут быть правильно поняты. Исследователь рассматривает развитие и углубление ленинской концепции реализма в свете диалектико-материалистической теории отражения, марксистского историзма и принципа партийности.

На ярких примерах автор показал, с каким вниманием и любовью Владимир Ильич всегда относился к подлинно художественному творчеству, как высоко ценил талантливых писателей и в чем проявлялась его особая симпатия к художникам слова, реалистически изображавшим существенные стороны жизни. Вывод исследователя о том, что «на формирование ленинского мировоззрения оказали свое влияние и русская реалистическая литература, и русская революционно-демократическая эстетика, которые взаимодополняли и координировали друг друга», является не просто декларацией, а обоснованным суждением, вытекающим из анализа большого литературного материала. И прежде всего — высказываний Ленина о творчестве Пушкина и Гоголя, Белинского и Герцена, Тургенева и Гонча-

рова, Чернышевского и Добролюбова, Некрасова и Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого и Чехова, Короленко и Горького, как и ряда выдающихся зарубежных писателей.

Правда, некоторые суждения автор подчас трактует слишком буквально. Например, известное ленинское высказывание о всемирном значении русской литературы, содержащееся в его книге «Что делать?». Из контекста видно, что в данном случае Ленин говорит не о художественной, а о научной и политической литературе в России конца XIX — начала XX века. Поэтому он и называет среди «предшественников русской социал-демократии» Герцена, Белинского, Чернышевского, «блестящую плеяду революционеров 70-х годов», то есть выдающихся мыслителей и революционных борцов (а не просто великих писателей), сыгравших важную роль в развитии передовой теории в России домарксистского периода. А собственно о русской художественной литературе и ее всемирном значении Ленин говорит в статьях о Л. Н. Толстом, в письмах А. М. Горькому и заметках о нем.

Такие слова, как «литература», «писатель», «произведение», Ленин употреблял не только в их специальном значении (художественная литература, создатель художественных произведений и т. п.), но и в широком их смысле — как печатные произведения, в том числе научные, политические и т. д. Слово «писатель» — в широком его смысле — означает у Ленина: автор работ, относящихся к самым различным областям познания — философии, истории, социологии, естественным наукам и т. д.

В книге «Что делать?» Ленин употребил слово «литература» в его не художественном, а научном значении. Такое понимание смысла ленинского высказывания о всемирном значении русской литературы связано с содержанием того, о чем говорится в данном разделе книги Ленина<sup>1</sup>. Оно тесно связано также с его замечанием о том, что это высокое и важное значение русская литература «приобретает теперь», то есть в начале XX века, когда труды русских марксистов (и прежде всего самого Ленина) получили распространение и значительное влияние во многих странах мира, тогда как творчество ряда великих русских писателей-клас-

<sup>1</sup> Раздел этот озаглавлен «Энгельс о значении теоретической борьбы». В нем речь идет не о художественной литературе, а об огромном значении передовой теории в развитии революционного движения.

сиков (особенно творчество Достоевского и Л. Толстого) приобрело широкую известность за рубежом и имело мировое значение уже во второй половине XIX века.

В монографии подробно освещена борьба Ленина в советские годы за развитие новой, социалистической культуры. Отстаивая лучшие традиции старой, классической литературы, выступая против чуждых марксизму взглядов теоретиков пролеткульта и сторонников футуризма, Ленин исходил из убеждения, что молодая советская литература может и должна успешно расти на глубокой реалистической основе. Своим учением о партийности и народности в художественном творчестве вождь мирового пролетариата способствовал зарождению теории нового творческого метода, получившего впоследствии название социалистического реализма. Еще в дореволюционные годы, а затем после Октября Ленин рассматривал творчество Горького, Д. Бедного, Серафимовича как высокий пример нового, социалистического направления в литературе.

Автор отмечает смысловую многогранность термина «реализм» в работах Ленина. Он пишет: «В трудах Ленина мы находим далеко не однозначное, а очень широкое и разнообразное понимание термина «реализм». Иногда это философское понятие, иногда социологическое, иногда своего рода синонимом понятий «правда» или «трезвость» и т. д.».

Анализируя и сопоставляя различные высказывания Ленина о реализме, исследователь приходит к выводу, что «Ленин всегда рассматривал реализм в широком философско-гносеологическом и социологическом плане, что позволило ему глубоко раскрыть объективную сущность реализма как целостного мировосприятия и выдвинуть положения, которые имеют определяющее значение для верного понимания эстетических основ реализма в искусстве».

Через все исследование проходит мысль о том, что в своей научной и публицистической работе Ленин привлекал реалистическую литературу «вовсе не в качестве иллюстрации к социально-экономическим положениям и простого примера, разъясняющего тот или иной научный вывод... В художественном реализме,— подчеркивает автор,— Ленин видел специфическое, глубоко оригинальное, не заменимое ничем другим средство познания жизни».

Характеризуя ленинское отношение к художественному творчеству, автор указывает на внутреннюю слитность познавательного, идейно-политического и эстетического вос-

приятия Лениным произведений литературы и искусства. На примере конкретных высказываний вождя (в том числе ленинских суждений о Чернышевском, Л. Толстом, Чехове, Горьком, А. Барбюсе и других писателях) исследователь убедительно показал, что «ленинский подход к искусству отличался необыкновенной глубиной, эмоциональной интенсивностью и непосредственностью, богатством и разнообразием оттенков художественного восприятия и вместе с тем идеологической определенностью. Он был проникнут духом подлинного историзма».

Значительное место в книге занимает освещение проблемы мировоззрение и метод писателя, мировоззрение и художественное творчество в связи с ленинскими суждениями о литературе и взглядами Владимира Ильича на реализм. Автор пишет: «В истолковании проблемы «метод и мировоззрение», важнейшей для концепции реализма в искусстве, Ленин исходит из определяющей роли мировоззрения, которое представляет для него совокупность философских, социологических, политических, эстетических и других взглядов. При этом он обращает особое внимание на политическую сторону мировоззрения писателя». Эта сторона мировоззрения, говорит исследователь, в социалистическом искусстве играет чрезвычайно важную роль.

Однако в принципе правильно освещая вопрос о взаимосвязи метода и мировоззрения писателя, автор допускает и досадную неточность. Имея в виду известное высказывание Энгельса о Бальзаке, он пишет: «По мнению Энгельса, известное противоречие между методом и мировоззрением у Бальзака состояло в том...» Формула, с которой трудно согласиться. Ведь Энгельс говорит в данном случае не о противоречиях между методом и мировоззрением Бальзака, а о консервативном характере его политических взглядов и отражении противоречий мировоззрения писателя в его реалистическом творчестве. Отмеченная мною неточность суждения автора может привести читателей к неверному пониманию классического высказывания.

Существенную особенность ленинской концепции реализма А. Иезуитов видит в том, что в ней «этическое тесно смыкалось с эстетическим». Высокая и глубокая эстетическая восприимчивость Ленина, по словам исследователя, была неотделима у него от подлинного гуманизма.

Сейчас, когда в буржуазной эстетике широкое распространение получили различные антигуманистические взгляды, направленные

против передовых стремлений народных масс, признание тесной связи ленинского понимания реализма с революционно-гуманистическим отношением к человеку, к людям труда имеет не только большое научное, но и политическое значение.

Завершая свое исследование, автор пишет, что в понимании Ленина «реализм наиболее соответствует философско-эстетической природе искусства, отличается внутренней устойчивостью и одновременно исторически обусловленной изменчивостью. В этом состоит «секрет» его вечной молодости, прогрессивности и злободневности».

Выше мы отмечали отдельные промахи автора. Но они не касаются главных — теоретических и методологических — основ книги, не колеблют научной концепции А. Иезуитова в истолковании важнейших сторон ленинских взглядов на реализм в художественной литературе. Это и дает нам право высоко оценить названное исследование как существенный вклад в нашу литературоведческую Лениниану.

**В. ГОРОБЬЕВ,**  
доктор филологических наук.

Киев.



### Политика и наука

## СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОГО НАСЛЕДИЯ

Ленинский сборник XXXIX. М. Политиздат. 1980. 495 стр.

**К** 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС выпустил очередной, XXXIX Ленинский сборник. Как специалисты, так и широкие круги читателей хорошо знают этот вид издания новых документов В. И. Ленина. Ленинские сборники вот уже несколько десятилетий как завоевали себе авторитет высоким научным уровнем, точностью публикаторской работы.

В XXXIX Ленинском сборнике впервые публикуются 264 документа, отражающих деятельность В. И. Ленина в 1894—1922 годах. Ряд документов, вошедших в книгу, характеризует борьбу Ленина за создание пролетарской партии нового типа, за ее укрепление и идейное вооружение. В их числе письмо В. М. Смирнову, одному из корреспондентов газеты «Искра». Оно написано в 1903 году, а выявлено в 1975 году в Государственном архиве Финляндии. Факсимиле письма передано в дар Советскому Союзу. Касаясь положения в социал-демократической партии Финляндии, В. И. Ленин в этом письме настаивает на необходимости сочетания в деятельности партии демократических и социалистических требований. «Насколько я понимаю,— писал В. И. Ленин,— часть рабочих готова отстраниться от буржуазной финляндской борьбы за буржуазную финляндскую конституцию? Если так, то «Искре» необходимо разъяснить этот вопрос с точки зрения марксизма, показать необходимость для социал-демократической партии поддерживать и буржуазную борьбу за свободу, отнюдь не отождествляя себя с буржуазией

и не скрывая своих социалистических целей».

В 1913 году в «Правде» за подписью NN была напечатана статья «Вооружение и германский рейхстаг». То, что она принадлежит перу В. И. Ленина, доказано исследователем В. И. Ленин. В этой статье Владимир Ильич разоблачал юнкерское правительство Германии, усиленно пытавшееся протащить через парламент новый закон об увеличении армии в мирное время на 20 процентов. Это подняло бы налог с населения до миллиарда марок. «Сколько можно бы сделать толкового и разумного на эти деньги,— подчеркнул В. И. Ленин,— для помощи трудящимся, для облегчения их положения, если бы... если бы трудящиеся не были наемными рабами капиталистов, которые так превосходно наживаются на «патриотических» вооружениях!» Как актуально звучат эти ленинские слова в наше время, когда империалистические круги стремятся взвалить на плечи народов все более тяжкое бремя новых и новых витков гонки ядерных вооружений, прикрываясь шумихой о советской угрозе...

Почти три четверти XXXIX Ленинского сборника составляют новые документы советского периода жизни и деятельности В. И. Ленина. Здесь наряду с письмами, записками, телеграммами, распоряжениями напечатаны крупные документы, прежде всего речь, произнесенная Владимиром Ильичем 16 марта 1920 года, в первую годовщину смерти Я. М. Свердлова. То, что Владимир Ильич выступил с речью на торжественно-траурном заседании в Большом театре, было известно и раньше, но здесь

первые эта ленинская речь предстала перед читателями, будучи подготовлена к печати по направленной стенограмме.

Высоко оценивая деятельность Я. М. Свердлова как выдающегося партийного и государственного деятеля, революционного организатора, Владимир Ильич на примере его жизни и деятельности ставит и обосновывает и более широкий вопрос, мысль более глубокую — об организации как главном оружии рабочего класса, о талантливых революционерах-организаторах, которых выдвигает из своей среды рабочий класс. «Мы знаем,— указывал Владимир Ильич,— что для организации миллионов значение руководителя, практического организатора необъятно велико».

И другую свердловскую черту выделяет В. И. Ленин как принципиальную, определяющую жизнь не только одного человека, но судьбу поколения. Это «самопожертвование, которое проявилось в деятельности старых революционных работников, подало пример, который мы видим так наглядно в жизни Якова Михайловича, из 35-ти лет своей жизни половину прошедшего в нелегальной работе и долгие годы, вероятно, больше половины этой жизни, прошедшего по тюрьмам, в бегах, на нелегальном положении. Это самопожертвование, которое выделило лучших и немногих представителей ремесленников и ничтож-

ное число рабочих, должно было быть повторено пролетариатом в большом масштабе».

К концу гражданской войны, в канун перехода к новой экономической политике резко возрастает ленинское внимание к вопросам социалистической культуры. Думается, большой интерес историков, педагогов вызовет такой важный документ, как «Замечания и предложения к проектам реорганизации Наркомпроса», написанный в ноябре 1920 года и опубликованный впервые в XXXIX Ленинском сборнике. Всего В. И. Лениным было высказано свыше 50 замечаний и предложений о работе Наркомпроса, которые легли в основу нового положения о Наркомпросе.

В приложениях к сборнику опубликованы записи В. И. Ленина и дежурных секретарей на листках настольного календаря из кабинета Владимира Ильича. Более 600 фамилий посетителей, которых принял Владимир Ильич, с которыми он беседовал, зафиксировано на листках ленинского настольного календаря.

Каждый Ленинский сборник является новым вкладом в Лениниану. В год 110-летия со дня рождения великого вождя революции читатели получили хороший подарок — XXXIX Ленинский сборник.

**Ю. ШАРАПОВ,**

*кандидат исторических наук.*



## ИСТОРИОГРАФИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

**К. И. Зародов. Экономика и политика в революции. Некоторые современные проблемы в свете исторической практики. М. «Мысль». 1980. 245 стр.**

**А**втор рецензируемой книги хорошо известен читателям, интересующимся теорией и практикой мирового революционного процесса. Перу К. Зародова принадлежат такие вышедшие в последние годы книги, как «Ленинизм и современные проблемы борьбы за социализм», «Три революции в России и наше время», «Социализм, мир, революция». Эти монографии неизменно привлекали к себе значительный интерес широкой читательской аудитории в СССР и за его рубежами, вызвали оживленный и одобрителный отклик во многих общественно-политических изданиях.

Это внимание к автору объясняется не только тем, что он берет в основу своих исследований кардинальные проблемы революционного движения наших дней, обращается к новому материалу, который постав-

ляет современная жизнь. Привлекает и сама творческая манера К. Зародова: острое чувство нового, стремление ответить на неоднозначные животрепещущие вопросы, вокруг которых ныне завязалась политическая борьба, умение рассудительно и обстоятельно «все разложить по полочкам», сочетая в анализе обращение к историческому опыту и живое, творческое проникновение в суть сиюминутных событий. Такие качества в полной мере отличают и новый труд видного ученого, шеф-редактора ежемесячного теоретического и информационного журнала коммунистических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма».

Тема рецензируемой книги — диалектическое взаимодействие экономики и политики в процессе революционного преобра-

зования общества — сама по себе не нова. Ее с фундаментальной глубиной исследовали Маркс, Энгельс, Ленин. Но значит ли это, что можно было бы поставить точку в теоретическом осмыслении ключевой для стратегии борьбы за социализм проблемы соотношения экономики и политики? Нет, и по ряду причин. Во-первых, история не копируемая машина. Каждая новая происходящая в мире революция — это в какой-то мере копия, но прежде всего оригинал. Революции в Чили, Португалии, Никарагуа, Афганистане, в других странах — какое это новое, обширное и во многом еще не вспаханное поле для марксистского анализа. Во-вторых, несмотря на, казалось бы, полную теоретическую ясность вопроса, подтвержденную историческим опытом Великого Октября и других победоносных революций, неверные представления, оказываются, весьма живучи, а ошибки и заблуждения в практической деятельности повторяются. В одних случаях отдается дань упрощенно понимаемому экономическому детерминизму, когда экономика рассматривается как некая самодовлеющая сила, которая, мол, сама собой автоматически преобразует капитализм в социализм, сводя к минимуму, к подсобной роли революционную политику. В других случаях сбрасывают со счетов законы экономики, силу и значение экономических интересов, а социалистическое переустройство общества объявляют лишь реализацией определенных политических принципов. Недооценка или превратное истолкование хотя бы одного из компонентов диалектического синтеза экономики и политики приводит к тяжелым просчетам. В-третьих, буржуазные и реформистские идеологи, руководствуясь своими корыстными классовыми интересами, нередко сознательно запутывают и искажают проблематику взаимодействия экономики и политики при переходе от капитализма к социализму.

Обращение к этой теме необходимо, стало быть, и для включения в предмет марксистского исследования новых данных современной революционной практики масс, и для повышения действенности, позволяющей избегать ошибок революционной стратегии и тактики, и для отпора идеологическим противникам коммунистических и рабочих партий.

Исследовательская работа немыслима без собирания, систематизации и описания того, что было сказано и что было сделано до сих пор. Однако подчас авторы иных монографий этим и ограничиваются. Такой подход имеет, разумеется, право на существо-

вание. Но столь же очевидно, что более привлекательны и полезны те работы, где помимо всего этого ощущается авторское «я», активное и смелое вторжение в дискуссию сегодняшнего дня, стремление осмыслить то, что еще не бесспорно и не поддается легкой оценке.

В обращении к читателям и в послесловии К. Зародов формулирует кредо, которое, по его мнению, способно обеспечить продуктивное и результативное исследование современной революционной, общественной практики. «Во-первых, творческий характер революционной мысли, питаемой и поддерживаемой опытом живой практики, предполагает неустанный поиск теоретических и политических решений, соответствующих реальностям быстро меняющегося мира. Для этого поиска помехой всегда является догматический подход к рассмотрению общественных явлений. Во-вторых, анализ особенностей, которые вносят современность в условия революционной борьбы, может быть плодотворным лишь в том случае, если он имеет надежную теоретическую и методологическую основу. Такую необходимую базу революционной мысли дает марксизм-ленинизм».

Так автор отвечает тем представителям буржуазной и реформистской идеологии, которые упорно пытаются противопоставлять «старый» и «новый» марксизм. Либо, мол, свободная, ничем не скованная теоретическая мысль, либо прокрустово ложе доктрины основоположников научного коммунизма. Книга К. Зародова и своими теоретическими выводами и всем своим содержанием наглядно и убедительно опровергает искусственно сконструированное противоречие. Марксизм-ленинизм дает такую теоретическую и методологическую основу, какая отнюдь не сковывает исследователя, революционную мысль, наоборот — она открывает полный простор для осмысления всего нового, что приносит жизнь, революционная практика. Автор рассматривает и анализирует политику как сферу поиска конкретных решений, которые не могут быть скованы никакой обязательной рецептурой, никакими книжными догмами. В то же время он исходит из того, что действительно свободная от догматических предписаний революционная практика все же не может быть свободна от законов классовой борьбы, от объективных требований, которым она должна подчиниться, считаться с реальностями экономики. Верность фундаментальным принципам марксистско-ленинского учения не только не ограничивает творческий характер теории коммуни-



стов, но, напротив, придает ему необходимую результативность, плодотворность.

В поле зрения исследователя — опыт Великого Октября, революций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, в ряде стран Азии, на Кубе, революционных преобразований в Чили, Португалии. Опираясь этим разнообразным материалом, автор анализирует программные установки и практическую деятельность коммунистических и рабочих партий в канун революции, в ходе ее осуществления и закрепления победы. На протяжении всей книги К. Зародов предостерегает от механического, прямолинейного понимания связи экономики и политики, от ложно, односторонне понятого экономического детерминизма, от недооценки политики. На страницах монографии с привлечением новых фактов и данных продолжается извечный, и отнюдь не схоластический, спор двух точек зрения — революционной и реформистской: политика над экономикой или экономика над политикой? Спор этот, несомненно, подогревают те, кто в свое время говорил об «экономической неподготовленности социализма», а теперь твердит о его «исторической несостоятельности».

Реформизм, сам отнюдь не бездействуя и не чураясь политики, обрекает революционное движение на пассивное ожидание социализма, на политическую инертность, отказ от борьбы. Лидеры и теоретики реформизма хотели бы парализовать и активность масс и деятельность компартий, утвердить приоритет реформ или «мировой эволюции» над революцией. Именно этим реформизм и приглянулся монополистическому капиталу, который спокойно терпит социал-демократию и даже признает ее в качестве своего партнера, в качестве не только законной, но и необходимой политической силы буржуазного общества.

Марксизм-ленинизм исходит из того объективного факта, что в критические предреволюционные и революционные периоды судьбы общества оказываются в гораздо большей зависимости от политических решений и действий, нежели от процессов, происходящих в сфере экономики. С точки зрения реформизма, это субъективизм, экстремизм и волюнтаризм коммунистов, их постулат, следовать которому другим партиям и течениям вовсе не обязательно. Отдавая приоритет политике в условиях революционного подъема, марксисты-ленинцы, однако, имеют в виду не одну лишь свою политику. Любая политика — революционная, контрреволюционная, соглашательская — в классовой борьбе, определяю-

щей процесс непосредственного перехода общества от капитализма к социализму, имеет приоритет над экономикой. Это не превратное представление коммунистов. Такова реальность, объективная закономерность революционного процесса.

Стремясь заблокировать мировой революционный процесс, идеологи реформизма пытаются посеять в рабочем классе иллюзии, будто путь к социализму можно проложить, минуя борьбу за политическую власть, за овладение государством. Исторический опыт, однако, свидетельствует о том, что революции, не сумевшие сломать буржуазную государственную машину, сами оказывались в ее железных челюстях. Так именно случилось в Чили, где революционными силами Народного единства не удалось добиться сосредоточения в своих руках всей полноты государственной власти. Не удалось вырвать государство из подчинения монополиям и в ходе «революции гвоздик» в Португалии. Сохранив в своих руках многие государственные рычаги, португальская буржуазия от защиты интересов частного капитала перешла к атаке на первоначальные завоевания революции. В целом революционная практика XX века, приходит к выводу К. Зародов, не дала и не могла дать ни одного примера реального перехода к социализму в условиях сохранения буржуазной государственной машины, то есть системы политической власти, созданной буржуазией и приспособленной к обслуживанию ее интересов. Все народные, социалистические революции, как победоносные, так и терпевшие поражение, неизменно подтверждали, что государственная власть — это такой участок жизни общества, на котором классовые отношения не поддаются эволюционной перестройке.

Политика (вопрос о власти) в революции имеет первенство над экономикой. Но вот революция свершилась — и в этой «иерархии» происходит как бы переворот. Вслед за переходом власти в руки рабочего класса «политические задачи занимают подчиненное место по отношению к задачам экономическим» (В. И. Ленин). Чрезмерное увлечение политикой в ущерб хозяйственной деятельности может привести к деформациям и диспропорциям в экономической жизни, и не только экономической. С другой стороны, отмечает автор, нельзя представлять себе дело механически, вроде того, что, мол, раз власть в руках, значит, и беспокоиться о ней нечего, можно спокойно заниматься мирным экономическим строительством, — это будет явным пренебрежением ко всему революционному опыту

истории, который показывает, что «день второй» в революции никогда не бывает временем политического затишья (вспомним, что, по Ленину, в этот период классовая борьба — «самая бешеная»). Если же, наоборот, полагать, что именно в силу крайней политической остроты непосредственно послереволюционной обстановки не только можно, но и нужно повременить с выдвиганием на первый план задач экономики, то это сразу же ставит вопрос: а как же главная, то есть экономическая цель революции? И сможет ли новая власть удержаться, не преобразуя экономическую основу общества?

Исследование диалектики экономики и политики в революции имеет не только теоретическое, но и огромное практическое значение. Правильный подход, как указывается в монографии, позволяет победившему в революции народу «избегать двух ошибок, могущих стать роковыми: во-первых, политического «размягчения» в результате переориентации на заботу о налаживании и подъеме хозяйственной жизни и, во-вторых, переоценки собственных политических позиций, остающихся на первых порах без необходимой опоры в экономике общества. В свете имеющегося исторического опыта можно уверенно говорить, что добиваться необратимости своих завоеваний революциям удавалось тогда, когда они не допускали этих ошибок».

Жизнь, революционная практика всегда богаче и разнообразнее даже самой продуманной и детализированной теоретической концепции. Поэтому существует постоянная потребность в осмыслении новых фактов и явлений, ориентированная на актуальные нужды революционной практики. Потребность в неустанном поиске теоретических и политических решений, соответствующих реальностям быстро меняющегося мира. Подлинно творческая теоретическая мысль обязана поспевать за событиями. Это имел в виду В. И. Ленин, когда писал: «Мы должны делать постоянное дело публицистов — писать историю современности и стараться писать ее так, чтобы наше бытописание приносило посильную помощь непосредственным участникам движения и героям-пролетариям там, на месте действий,— писать так, чтобы способствовать расширению движения, сознательному выбору средств, приемов и методов борьбы, способных при наименьшей затрате сил дать наибольшие и наиболее прочные результаты». Эти строки были написаны в дни революции 1905 года, и они через годы, через десятилетия говорят, напоминают

нам о том, сколь велика роль боевой революционной публицистики в деятельности марксистской партии, сколь ответственна роль партийного литератора. Слитность, нерасторжимость слова и дела, оперативность, действенность, эффективность публицистики — вот что прежде всего имел в виду Ленин, вот смысл ленинских традиций публицистической работы.

Историк современности... Это не историк в обычном смысле слова. «...назад все так хорошо, просто и ясно видно», — заметил Владимир Ильич. С дистанции времени легче судить о событиях, о том, что устоялось, укоренилось в жизни. Оно проверяет, испытывает их на жизнеспособность, отсеивает наносное, случайное. Историк, вынося свое суждение, может сравнить и сопоставить уже готовые оценки тех или иных событий.

А публицист? Его постоянное дело — писать о сиюминутной действительности, меняющейся на глазах, прихотливой, создающей порой самые неожиданные и необычные ситуации. И ведь эти ситуации нельзя прокручивать снова и снова, как в замедленной киносъемке, дабы лучше разглядеть. Публицист не может ждать, пока улягутся волны, пока отстоится взбалмученная поверхность жизни, выждет на дно ее осадок и она станет кристально прозрачной. Но ведь так было всегда, во все времена, не правда ли? И тем не менее публицисту ныне куда как сложнее, куда как труднее поспевать за событиями. Невиданно ускорился ход истории, темп жизни, неумолимо опровергающий старые представления и иные привычные понятия, требующий новых идей, оценок. Колоссально возрос поток информации, которую надо освоить, осмыслить. И знания сейчас, как и машины, подвергаются моральному износу быстрее, чем прежде. И вот в таких условиях именно публицист по должности своей бытописателя, историка современности призван сказать первое слово о тех или иных событиях и явлениях современности. Для этого нужны не только знания, опыт, метод. Необходим вкус к анализу, требуется смелость первопроходца.

Книга К. Зародова снова убеждает нас в том, что современность, «развивающаяся политическая ситуация» (Ленин) — подлинная стихия партийного публициста. Что успех любого исследования решает творческое усвоение ленинской методологии. Можно иметь наготове набор цитат на все случаи жизни, выбрать из них вроде бы подходящую для характеристики того или иного явления — и тем не менее не только

не объяснить это явление, но и выставить в искаженном виде. Ленин видел опасные симптомы болезни бездумного, механического цитатничества, старался предостеречь от нее. Не к лицу публицисту уподобляться тем «ученым», которые, по ироническому замечанию Владимира Ильича, пытались решать «своеобразные и сложные вопросы посредством одних только цитаток из того или иного отзыва Маркса про другую историческую эпоху», или тому догматике, который «хватается за цитаты из книг, как ученый, у которого в голсе как бы ящик с цитатами, и он высовывает их, а случись новая комбинация, которая в книжке не описана, он растерялся и выхватывает из ящика как раз не ту цитату, которую следует». Конкретный анализ конкретной ситуации Ленин называл живой душой марк-

сизма. В этом же и живая душа коммунистической публицистики.

Не все страницы книги К. Зародова равноценны. Кое-где не удалось избежать повторов, дублирования мыслей, перегрузок материала. Но в целом она отвечает тем высоким критериям, которые предъявляются к марксистско-ленинским исследованиям. Взвешенный, творческий анализ новых явлений и тенденций в политической ситуации всецело подчинен задачам современной борьбы коммунистических и рабочих партий за мир, демократию и социализм. Обширная литература о революции пополнилась серьезным исследованием, в котором читатель найдет для себя немало нового и поучительного.

Вл. КУЗНЕЦОВ,

*кандидат филологических наук.*



## КРОВЬЮ СЕРДЦА...

Иван Мележ. Первая книга. Дневники. Тетради. Из записных книжек. Перевод с белорусского Геннадия Бубнова. «Неман», 1980, №№ 1, 2.

**В** один из первых дней гитлеровского нашествия, когда был получен приказ об отходе на новый рубеж, двадцатилетний заместитель политрука из 298-го горноартиллерийского полка Иван Мележ закопал в рощице возле границы сверток со своими стихами, набросками рассказов, записными книжками. Думал, что война продлится недолго и он вскоре вернется за ними. Однако получилось не так. А когда лет через пятнадцать он, уже известный писатель, приехал в эти места, то увидел, что рощи нет, следов от окопов почти не осталось. Отыскать свой «тайник» ему так и не удалось...

Талантливый белорусский прозаик, лауреат Ленинской премии Иван Мележ принадлежал к тому поколению советских писателей, чей путь в литературе начался незадолго до войны. Если, скажем, Михаил Алексеев, Василь Быков, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, как и многие другие, прошедшие Великую Отечественную рядовыми бойцами, командирами взводов и рот, политруками, воевали, не зная и совсем не думая о том, что станут писателями, Мележа не покидала мысль, что он должен, обязан написать обо всем виденном и пережитом на войне. На фронте он начал вести дневник. «Хорошо бы дожить до победы, — записывает он в декабре сорок первого. — Сколько работы мне тогда будет! Есть о чем рассказать, я так много пережил».

Первый сборник военных рассказов Ивана Мележа увидел свет в сорок шестом году, а опубликованный в конце 40-х — начале 50-х годов роман «Минское направление» принес ему широкое признание всесоюзного читателя.

Последний раз я видел Ивана Павловича на VI съезде писателей СССР. Спросил, над чем он работает.

— Вы знаете, — сказал он, — чем дальше идут годы, тем все чаще и чаще мысли мои возвращаются к давно отпольхавшей войне. Не отпускает война. Никак не отпускает. Память о ней продолжает тревожить. Конечно, хороших, честных книг о войне появилось у нас много. И все же, сдается мне, не все еще о ней сказано. Далеко не все. А тех, кто воевал, с каждым годом становится все меньше и меньше... Сейчас вот воюсь со своими дневниками и записными книжками военных лет. Перечитываю и ощущаю неизъяснимое волнение. Не могу спокойно перечитывать. Думаю: может, есть смысл обнародовать эти записи?..

И вот в журнале «Неман» появилась — увы, посмертная — публикация переведенных на русский язык его военных дневников, тетрадей и записных книжек. Публикация предваряется небольшим авторским вступлением:

«В этой книге нет ничего выдуманного... Здесь то, что я пережил, видел собствен-

ными глазами и слышал от людей, до дна испивших свою чашу.

Долгое время все это представлялось материалом для какого-либо серьезного произведения. Нужны были годы, чтобы я понял: это само по себе произведение, может, не менее стоящее, чем то — придуманное. Ибо это живое свидетельство времени — незабываемого, не похожего ни на какое другое...

Это фактически первая моя книга.

Опубликованы три тетради военных дневников. Первая открывается записью от 22 июня сорок первого, когда полк был поднят по боевой тревоге, третья заканчивается 1 января сорок третьего года.

Страницы дневника доносят до нас во всей доподлинности кровавую сумятицу начального периода войны. «Война так не похожа на ту, какой мы ее себе представляли. Ой, как сурово она учит нас. Безжалостно». На глазах у Мележа один за другим гибнут его боевые товарищи. И сам он понимает, что каждая запись его в дневнике может оказаться последней. «Немцы взорвали наш дот. Погибли комбат Ращупкин, Лешков и другие разведчики 5-й батареи. Миной оторвало руки и ноги лейтенанту Хорунжему. Он просил пристрелить. Ранены Тарковский, Комаров. Каждый день из строя выбывают друзья, но мы держимся...»

Через трое суток Мележ заносит в дневник: «Мы отошли. Стоим на новом рубеже. От нашего дивизиона осталась одна пушка. Чижиков и политрук пропали, наверно, убиты. Нашу колонну бомбил немецкий бомбардировщик. Погибли: сержант Лабутин, Кречков, Линков, Киселев, Лейкин. Ранен Смирнов и др. Линков — весельчак, кузнец 5-й батареи, ранен в 9 местах. Киселева разорвало в клочья...»

Как тяжелое личное горе переживает автор дневника гибель не только своих однополчан, ближайших боевых друзей, но и любого, пусть совсем неизвестного ему солдата или командира. Вот запись от 2 декабря 1941 года: «Неподалеку нашли убитого бойца. Близ воронки от бомбы. Он давно был убит, его уже запарошило снегом... В кармане нашли письмо. Жена писала о том, что дочка Люся все ждет отца... Мы его закопали в глубокой воронке... Никто не знает его фамилии, имени. Сколько таких Неизвестных лежит на русских полях... Сколько горьких слез!..»

Но как бы ни сжималось сердце от понесенных потерь, как бы ни тяжело было переживать горечь отступления, вера в победу не покидала автора дневника и его фронтовых товарищей. «Одно я твердо

знаю,— читаем в дневнике,— нас не победят. Такую большую и храбрую армию, которая полна решимости и упорства, нельзя победить». Как ни тяжелы неудачи первого периода войны, они не сломили молодого коммуниста; суровая, подчас трагическая фронтовая обстановка все более закаляла. 8 февраля 1942 года он записывает: «...сегодня замполитруку Мележу Ивану Павловичу 21 год. Три из них прошли в армии. Жизнь сурово стегает. Золотая юность, ты уже позади. Тебя уже нет у меня сегодня, есть лишь грозная, тяжелая, фронтовая... как бы это назвать — зрелость, что ли?.. кто выдержит эту бурю, не сломается, пусть согнется, но и распрямится гордо,— тот будет сильным».

В дневниках немало записей, посвященных фронтовой дружбе, боевому товариществу, отношениям между бойцами и командирами. «6-й месяц войны. Всю ночь шли. Бесконечно долго... Стоим на каком-то заброшенном хуторе... Отыскал грязный, заваленный погребок, вычистил, разложил огонь — жилье. Спать невозможно, холодно. Вот придут товарищи, набьется — как сельдей в бочке, обогреют друг друга — тепло будет. Только коллектив способен преодолеть те трудности, что встречались и будут встречаться на пути. Потому и жива такая особенная, фронтовая тяга друг к другу в тех, кто рядом, плечо в плечо».

Не только тяжелый и кровавый труд солдата на войне, но и фронтовой быт, неповторимые подробности этого быта нашли свое отражение в мележских дневниках. «Заброшенный разъезд... Вечерет. Бойцы опять стали тяготиться однообразием пути, долгими стоянками... Каждый старается занять чем-нибудь. У Заиченко самое дорогое, наверно, альбом с фотографиями. Может, в сотый раз уже он медленно листает его, подолгу всматривается в снимки, рассказывает. Пожилые по старой привычке «хозяйствуют», в вещмешках содержимое перекладывают... Дымят котелки на печке. Затем пьют чай... Вечно кто-нибудь жует. Гусаров читает... Жигалова просят рассказать сказку. Мое утешение — дневник. Как он мне дорог!..»

В конце мая сорок второго года после краткосрочных курсов политсостава Мележ получает назначение на должность литературного работника дивизионной газеты. «Редактора нет. Типографии нет. Газета не выходит... Я узнал, что типографии они лишились в грозные майские дни... Одна из бомб подожгла машину. Осколком тяжело ранило в спину секретаря редакции Спирина. По дороге в госпиталь он умер... На

другой день был ранен редактор Трахтенберг. В дом, где он находился, угодила термитная бомба. Одежда на нем загорелась, он выбежал из дому, охваченный пламенем. Потом лежал — черный, до неузнаваемости обгорелый. Отправили в госпиталь в безнадежном состоянии...»

Вновь газета начала выходить уже без Мележа — 20 июня в Ростове, куда приехал по делам редакции, осколком авиационной бомбы он был тяжело ранен в правое плечо. В госпитале, опасаясь гангрены, руку хотели ампутировать. И Иван Павлович, страдая от невыносимой боли, дал на это согласие. К счастью, главный врач госпиталя Антонов, опытный хирург, запретил ампутацию. Он сказал, что хлопок молод, рука ему еще пригодится, и сам сделал операцию. Так автор дневника оказался прикованным к госпитальной койке — сначала в Ростове и Ессентуках, затем в Тбилиси, куда их госпиталь был эвакуирован, как только немцы прорвались к Ростову. Стоит боли несколько поутихнуть — он пытается писать дневник левой рукой, фиксируя в нем и положение на фронтах и примечательные особенности госпитального быта.

Кроме дневника, он заводит записные книжки, записывает рассказы участника боев в Севастополе лейтенанта Синюкова, с которым крепко подружился, задумывает собственный рассказ, пишет стихи, много читает. «...читал в журнале «Новый мир» роман «Тихий Дон» М. Шолохова, четвертую книгу. Читал ее с большим волнением. Вспоминался Каменск — там я так близко был от тех мест, где жили герои романа. Я словно сызнова ходил по родной уже и такой знакомой степи. И как бы вновь дышал ее воздухом, замешанным на ветре и настоящим на травах... Прекрасная книга».

Здесь, в госпитале, с особой силой вспыхивает в душе Мележа никогда не покидавшая его и на фронте тревога за судьбу родных. После выписки Ивана Павловича из госпиталя военно-медицинская комиссия дает ему длительный отпуск с переосвидетельствованием через шесть месяцев. Он едет в совершенно незнакомый ему Бугуруслан. Едет только потому, что в Бугуруслане находилось в то время Центральное бюро справок по эвакуированным. «Ни о ком никаких известий: ни об отце и матери, ни об Алесе... Я потерял почти всякую надежду найти своих родных. Мать уже, видно, похоронила меня и все глаза выплакала. Вспоминаю все, что было в том далеке, — словно вчера все было. А ведь я уже больше трех лет их не видел».

Но вернемся к фронтовым дневникам. Не-

которые их страницы представляют собой своего рода заготовки для будущих художественных произведений. Иван Павлович, как мне кажется, делал эти записи с очевидным намерением когда-нибудь потом развернуть торопливо зафиксированные — чтобы не ушло из памяти — эпизоды в самостоятельные рассказы или очерки.

...Случайное знакомство со стариком, сельским фельдшером, — после одного жаркого боя, когда через село шло много раненых, он вывесил флажок с красным крестом и за двое бессонных суток перевязал раны более чем сотни бойцов.

...Запись о солдатской стойкости, солдатском мужестве: «Был у артиллеристов-краснознаменцев. Какие прекрасные хлопцы!.. Вот один из них — белорус, скромный железнодорожник из Витебска Балтрушевич. На него напала большая группа немецких автоматчиков. Он укрылся в блиндаже и сразил из карабина одного из фашистов. После героически держался в окруженном окопе. Они бросили гранату. Неудачно. Та не попала в щель, а разорвалась рядом с ней, обсыпав бойца песком. Вторая угодила прямо в окоп. Он схватил готовую разорваться гранату и швырнул в сторону немцев. Трое фашистов были убиты своей же гранатой. И тут артиллерист решил наступать... Определив по звуку автоматных выстрелов, где собрались фашисты, бросил противотанковую гранату. Немцы с воплями разбежались. После этого наш хлопец комсомолец Балтрушевич вывел из блиндажа молодого, необстрелянного товарища...»

...Еще одна запись, сделанная уже не на фронте, а на пароходе, идущем из Баку в Гурьев: «Вот — девочка. Ей четырнадцать лет. Она острижена. Черные волосы только-только начали отрастать... На руках — шрамы. Ее спрашивают: «Отчего это шрамы у тебя?» «От немцев», — кратко отвечает она. Глаза у нее какие-то лишенные блеска, живости... Это глаза человека, который повидал горя. Надломан горем. «Чем же они?» — «Горячим ножом»... — «Как же ты дошла до нас?» — «Сама перевязывала. Тридцать дней и тридцать ночей добиралась до наших». Нельзя не поверить этим глазам, этому простому, жуткому рассказу. Она говорит, что мать ее расстреляли, что отец на фронте, где — не знает... Самое страшное — эти глаза. Таких я не видел у наших детей никогда».

Как уже говорилось, наряду с дневниками журнал «Неман» опубликовал записные книжки и тетради Мележа. На фронте ему было не до записных книжек, на дневник и то часто не хватало времени и сил. Но в госпитале его снова потянуло к записным

книжкам. Он завел блокнот, тетради, куда записывал целые рассказы и очерки. «Сейчас для меня куда как понятнее, почему так хотелось все записать. Это была потребность жизни, был тоже дневник, но более свободный и пространный. Необходимая часть того, первого, его продолжение. Его окружающий мир».

Многие короткие, лаконичные заметки в записных книжках, так же как и многие записи в дневнике, могли бы послужить основой для создания рассказов или очерков. «Володя Синюков», «Алеша», «Непейвода», «Ночь четырех», «На том берегу» и другие наброски, содержащиеся в тетрадях,— это вполне законченные рассказы, в которых уже явственно угадывается будущий автор «Минского направления» и «Полесской хроники», художник, умеющий немногими штрихами создать выразительный портрет даже случайно встреченного им человека.

Пусть читатели не осудят меня за столь щедрое цитирование дневников. Трудно без урона для их своеобразия, для доверительности авторской интонации передать сегодняшними словами все то, что написано тогда, в «сороковые, роковые». Одно из несомненных достоинств мележских дневников видится мне в том, что с их страниц предстают перед нами не только события войны и их участники, но и личность самого автора, его духовный и нравственный облик. Показать это без привлечения текста дневников также было бы трудно.

Воспоминаний о Великой Отечественной

войне опубликовано много. Вместе они составляют уже весьма внушительную библиотеку, которая продолжает и продолжает пополняться. Военные дневники, то есть записи, сделанные не после происшедших событий, не по памяти, а пришедшие к нам непосредственно оттуда, с войны,— редкость. Ведь по вполне понятным причинам в условиях военного времени на ведение личных дневников в армии существовал запрет. Тем дороже для нас сегодня эти скупые строки, родившиеся в самую годину суровых испытаний, сиюминутно запечатлевшие виденное и пережитое, чувства и мысли человека на войне, строки, проникнутые гордостью и болью за живых и павших товарищей по оружию и сознанием личной ответственности за судьбу родной земли, за ее будущее.

Нет сомнений, каждый, кто воевал, с большим интересом воспримет дневники Ивана Павловича Мележа как живое свидетельство незабываемых лет, как написанное кровью сердца; каждый прочтет их с чувством благодарности автору за предельную откровенность, искренность, за содержащуюся в них горькую правду. А тем, кому не довелось участвовать в войне, кто родился и вырос уже после нее, знакомство с дневниками Мележа даст дополнительную пищу для размышлений о том, сколь тяжек был путь к победе и какой дорогой ценой был завоеван мир.

**В. КОСОЛАПОВ.**

## КОРОТКО О КНИГАХ



**БОРИС РУЧЬЕВ. Собрание сочинений в двух томах.** Вступительная статья, подготовка текста, примечания Л. П. Гальцевой. Том 1. Стихотворения. Статьи, речи, интервью, заметки, рецензии. 1978. 295 стр. Том 2. Поэмы, письма, из дневников и записных книжек. 1979. 231 стр. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство.

Имя и творчество Бориса Александровича Ручьева (1913—1973) широко известны советским читателям и не требуют долгих представлений. В 50—60-е годы сначала в уральских, а потом и во всесоюзных газетах и журналах появлялись старые, до тех пор не напечатанные стихи и новые поэмы Б. Ручьева. Появлялись и завоевывали интерес и симпатии читателя, что впоследствии выразилось в присуждении поэту Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького.

«Певец легендарного Магнитостроя» — так по праву называли Бориса Ручьева критики и журналисты. Сам он тоже часто повторял: «Магнитка, любовь моя», «Магнитка, судьба моя», «Для меня комсомол — это прежде всего Магнитка»... Не он один писал о Магнитке, да и сколько других, более поздних и более мощных строк были не раз восславлены стихом и прозой. Но вот многое потускнело, стерлось, совсем забылось, а Б. Ручьев и его строки остались, помнятся, живут. И дело не только в том, что для него в этой давней стройке воплотились и сплелись и строительство нового мира и строительство нового человека. Это понимали, об этом писали и другие. И не только в том, что для Б. Ручьева Магнитка была самым ярким событием его молодости, комбинатом и городом, что поставили он и его товарищи в голой степи: «Есть города — из дерева и камня, в рубцах и шрамах, с гарью вековой, а нам пришлось вот этими руками из вечных сплавов строить город свой». Дело в том, конечно, что Б. Ручьеву удалось в показе строительства нового мира и нового человека сочетать и пафос и драматизм крутых перемен, что его таланту оказалось под силу явить это в подлинно художественных образах, в лирике и точном стихе.

Ручьев прошел долгий, непростой жизненный путь — от землекопа до видного советского поэта. Его духовная биография оказалась не только в его стихах, но и в его статьях, дневниковых записях, письмах, которые впервые так широко представлены

в двухтомнике, любовно подготовленном составителем (Л. П. Гальцевой и Л. Н. Ручьевой). Лучшие из статей, рецензий, выступлений и записей Ручьева читаются так же горячо, как были горячо написаны и сказаны. Вот, к примеру: «Не могу не удивляться, когда в периодике появляются сообщения — призывы к тому, чтобы в нашу поэзию пришли «сотни парней и девочек». Литературу создает художник. Есть только один Владимир Маяковский. Есть только один Сергей Есенин. Серийное производство поэтов невозможно. Более того, оно вредно». Это говорил участник давнего рапповского «призыва ударников в литературу» — он хорошо знал что почем. И добавлял: «Поэзию нужно беречь».

Ручьев признавался: «Я написал мало, но писал в тяжелых условиях, таких, когда здравомыслящие люди и не помышляли об этом. И все, что я пережил, написал, запечатлел по мере своих сил, честно и правдиво». И еще: «С холодной кровью, с ленивым умом ничего доброго не сделаешь». Почему в рецензии на книгу поэта я больше цитирую его нестихотворное наследие? Потому что оно мало или вовсе неизвестно читателю.

Чего не было у него, того не было — ни душевной вялости, ни лени ума. И этот небольшой двухтомник — достойный дар памяти автора «Любавы» и «Красного солнышка», человека, который имел право сказать о себе: «А пустых стихов у меня нет».

Юрий Болдырев.



**ЯКОВ ИЛЬЧЕВ. Турецкий караван. Роман. Л. «Советский писатель». 1980. 527 стр.**

Читаешь новый роман Я. Ильичева — и тебя не покидает ощущение неразрывной связи изображаемых в нем грозных событий 20-х годов с нашей современностью, с ее животрепещущими сегодняшними проблемами.

На праздновании 60-летия Великого Октября в Москве лидер рабочего движения Турции Бехидже Боран взволнованно говорила о нашем братском отношении к трудовому Востоку, о поддержке нашей. «Первой страной, которая воспользовалась этой поддержкой, является моя родина Турция... Территория ее была разделена и оккупиро-

вана. Казалось, у нее не было никаких друзей. Но в это время молодое Советское государство протянуло руку помощи».

Об этой помощи и рассказывает книга Я. Ильичева, вторая из его дилогии о Михале Фрунзе, начатой романом «Сиваш», где Фрунзе еще комфронта при штурме Перекопа. Теперь, в новой книге, он главнокомандующий Украины, а затем чрезвычайный посол. С доброй миссией едет он в Анкару к вождю турецкой революции Мустафе Кемалю, на подмогу крестьянам и офицерам в их национально-освободительной борьбе с накатившими с Запада поработителями.

Караван миссии идет словно бы из прошлого в сегодня, идет, оглушаемый кликами пропагандистов империализма. В «Турецком караване» читаем на этот счет: «Не впервой лгут». Это говорит красноармеец, спутник Фрунзе. И пророчески дополняет: «И не скоро кончат».

Интересны те страницы романа, где рассказывается о теплых встречах Фрунзе и его товарищей с простыми турками. Почему они столь дружелюбно относятся к русским, ко всем, кто пришел к ним из советской России? Один из персонажей романа, турецкий солдат из охраны каравана, отвечает просто: «Без русских давно пропали бы». Кстати, любопытная подробность: фраза эта была услышана Фрунзе и записана им в своем дневнике.

Главы, изображающие встречи Фрунзе с Кемалем, лучшие в романе. И, думается, как раз потому, что современное понимание истории, ее логического развития здесь проявлено с необходимой полнотой.

Фрунзе в романе такой, каким его знали друзья. «Жизнь его была войсину героична, — вспоминали они. — Он был прямодушен и открыт». «Товарищ Фрунзе создавал вокруг себя среду крепкого, сердечного и отрадного содружества». Не удивительно, что, как пишет Я. Ильичев, Фрунзе полюбила вся Турция «от Мустафы до банщика и извозчика».

Достоверно изображает автор и характеры других героев. И в этом случае, строго следуя правде истории, он не избегает противоречий в них. Так, в Кемале, умном и сильном, получившем от народа фамилию Ататюрк (отец турок), он замечает противоречивость некоторых его суждений, ошибочность иных оценок. Читатель «Турецкого каравана» видит: опора Кемалья — национально-освободительное движение турецких народных масс, но мечты того же крестьянства Кемаль не во всем разделяет.

Заключительные страницы романа приводят действие в наше время. Мы узнаем о Турции, попавшей ныне в «долговую яму империализма»; и удивительно ко времени обращение Кемалья к потомкам, выбитое в мраморе его мавзолея: «Спаси независимость...» Мустафа Кемаль Ататюрк напоминает: «Победа новой Турции была бы сопряжена с несравненно большими жертвами или даже вовсе невозможна, если бы не поддержка России... И было бы преступлением, если бы наша нация забыла об этой помощи».

Новейшие барабанишки империализма хотели бы заглушить эти слова первого президента Турецкой Республики. Но о Фрун-

зе и Кемале помнят ныне живые. Здравствуют двое, бывшие юные спутники Фрунзе, ныне старики. Их отношение к соседней стране, ее народу прежнее, молодое: неизменно благожелательное, сочувственное. Эти чувства разделяет весь наш народ. Движение каравана истории продолжается, он идет в лучшее будущее...

Яков Ильичев проник в огромный пласт истории, его политический роман исторически достоверен, служит живой связи времен, делу мира.

Галина Винникова,  
кандидат филологических наук.



**В. ГУРА. Как создавался «Тихий Дон». Творческая история романа М. Шолохова. М. «Советский писатель». 1980. 440 стр.**

О «Тихом Доне», как и о других подлинно великих произведениях отечественного и мирового искусства, написано уже много книг и статей у нас в стране и за рубежом. Но до недавнего времени в литературоведении не было специального исследования о том, как создавался «Тихий Дон». А ведь пятнадцатилетняя история создания этого произведения тоже своего рода роман, где есть свои радостные и трагические страницы, говорящие о мужестве автора. Книга профессора В. Гуры — первая научная, обобщающая все известные на сегодня факты, творческая история одного из лучших романов литературы социалистического реализма.

В. Гура попытался охватить большой круг проблем, связанных с творческим рождением «Тихого Дона», этого грандиозного по замыслу и воплощению историко-революционного художественного полотна, ставшего важнейшей вехой в развитии советского и мирового искусства. Автор монографии собрал богатейший документальный материал о работе писателя над романом, изучил сложную историю публикации каждой книги «Тихого Дона».

Опираясь на чудом сохранившиеся от военного лихолетья страницы рукописи романа, на его печатные редакции, правки журнальные и книжные, особенно накануне выхода первого собрания сочинений Шолохова в 50-х годах, автор монографии стремится проникнуть в творческую лабораторию писателя, проследить за отбором им жизненного материала, освоением фольклорно-бытовых и исторических источников, за эволюцией замысла, композиционным воплощением его и т. д. Это определило структуру и стиль книги В. Гуры.

Особый интерес в ней, на наш взгляд, представляет не столько обстоятельный историко-хроникальный рассказ о пути создания и публикации «Тихого Дона» (этот путь более или менее известен читателю), сколько самостоятельный подход ученого к анализу печатных текстов романа разных лет, этого своеобразного пути неуклонного совершенствования писательского мастерства. Есть в монографии любопытные страницы, где на основе новых материалов рассказывается об отношении М. Шолохова к редакторской правке, особенно к той, которая делалась порой не-



профессионально. Вообще изучение работы великого писателя над текстом различных изданий открывает перед наукой большие перспективы, помогает глубже осмыслить ценный творческий опыт Шолохова.

После 60-х годов сколько-нибудь существенных авторских изменений в «Тихий Дон» уже не вносилось. Текст романа оставался стабильным, и вполне естественно, что шолоховеды ставят сегодня вопрос о насущной необходимости подлинно научного, академического издания величайшего произведения современности.

Есть в хорошей, полезной книге В. Гуры страницы, которые вызывают желание поспорить с их автором. Например, о творческих связях, о линиях, идущих от «Донских рассказов» к «Тихому Дону». Да и сам В. Гура не уходит от полемики, охотно и, надо сказать, не безуспешно спорит с некоторыми положениями в работах К. Приемы, А. Бритикова, И. Лежнева, Л. Якименко и других. Однако в целом книга «Как создавался «Тихий Дон» написана в спокойной, объективной манере, что усиливает наше доверие к авторскому слову. Думаю, что эта работа вызовет интерес как научной общественности, так и широких читательских кругов, влюбленных в лучший шолоховский роман.

**Вл. Котовсков.**

Ростов-на-Дону.



**Н. К. НЕКРАСОВ. По их следам, по их дорогам. Н. А. Некрасов и его герои. М. «Советская Россия». 1979. 330 стр.**

Некрасов не имел ни охоты, ни времени вникать в родословные бумаги, в генеалогические разветвления, в историю своего рода. По контрасту вспоминаются Пушкин, Толстой, гордившиеся своими предками, дорожившие свидетельствами о древности рода,— это помогало им осознать и пережить свою причастность к истории. Некрасов занимал иную позицию. Отношения его с родовым гнездом были сложными, конфликтными.

Я дворянскому нашему роду  
Блеска лирой моей не стяжал...

Он рано покинул отчий дом и без поддержки, без денег ринулся в Петербург испытать свои силы, почувствовать смутно угадываемое призвание. Однако позднее поэт не раз оглянется на прошлое — иногда с болью, сожалением, с горечью, укажет на истоки и хорошего и дурного в себе. За суровыми словами о памятном поэту усадебном мире, однако, всегда ощущались несомненные крепкие связи с той жизнью, которая шла на родной земле, в родных местах, с образами детства, с народными преданиями.

Задача книги, написанной внучатым племянником поэта, исследователем его жизни и творчества, представить эти истоки и основы отчетливо, зримо. Автором движет пафос кропотливого изучения, со-

бирания документов, фактов, реликвий, письменных и устных свидетельств — всего, что способствует более точной реконструкции жизненных обстоятельств и творческих размышлений Некрасова. Работа эта тем более важна, что некрасоведение испытывает заметный недостаток в выверенных конкретных реалиях (сравнительно недавно, например, уточнены дата и место рождения Некрасова). Поэтому заслуживает благодарного внимания то, что автором расширяются и обобщаются сведения о роде Некрасовых, воскрещаются окружение и детали быта — в Грешневе, Карабихе, на Литейном, в Чудовской Луке, — рисуются портреты родных, близких, единомышленников, прослеживаются весьма непростые сюжеты: становление «Современника», взаимоотношения с Достоевским, роман с Панаевой. Все здесь соткано из света и тени, все напряженно и драматично. И тщательная систематизация уже известного вдруг открывает непопазугу нашего знания. За цепью фактов, за строками документов маячит неразгаданное. Взять хотя бы хроннику «матерной» жизни Некрасова и Панаевой. Поэзия и проза слились в этой истории воедино, гармония была здесь лишь краткой передышкой среди душевных бурь, и фигура Панаевой как-то странно мерцает на перекрестье противоположных суждений и оценок. В книге приводится незаконченное письмо Панаевой Некрасову. В этом письме она говорит, что ее удел не благоразумие, не «прямая дорога», а «темные аллеи», в которых ей пришлось пролить много слез, и просит не винить ее. Вряд ли сейчас возможно дать этому признанию сколько-нибудь ясное, аргументированное толкование.

Усилиями исследователей, в том числе и автора рассматриваемой книги, добыто немало данных о Фёкле Онисимовне Викторовой (Зинаиде Николаевне), второй жене Некрасова. Как бы ниоткуда, из неизвестности появилась она в жизни поэта (достоверных сведений о ее происхождении до сих пор не найдено) и после его кончины снова ушла в неизвестность — в будни глухого провинциального существования. Судьба эта также полна своеобразного, упрямого вглубь, неявного драматизма.

Автор отправляется по следам некрасовских героев в Сибирь (в связи с историей создания «Русских женщин»), в среднерусскую глубинку, в исхоженные поэтом муромские, костромские, ярославские, новгородские места. Литературное краеведение смыкается с изучением творческой лаборатории поэта. Исследователь видит все как бы двойным зрением: сквозь сегодняшнюю реальность проступают черты давно минувшего, звучат умолкнувшие голоса.

Речь идет в книге о вещах и событиях разномасштабных: о поисках ружья, принадлежавшего когда-то Некрасову, о семейных реликвиях потомков И. И. Панаева, о прототипах героев «Кому на Руси жить хорошо», о стихах брата Некрасова Константина Алексеевича... Но в биографии поэта, в сущности, нет мелочей. Разрозненные черты и детали, которыми мы сегодня располагаем, должны срастись в живое целое, определяемое примерно так: судьба Некра-

сова в истории русской культуры. В соиздание этого целого вносит свою лепту и рецензируемая книга.

М. Бойко.



**КОНСТАНТИН ШИШКАН.** Колесо над пропастью. Повесть. М. «Детская литература». 1980. 112 стр.

Главного героя книги Константина Шишкана кишиневского мальчугана Никушора можно было бы назвать — дитя энтезовского века.

Известный советский литературовед Лидия Гинзбург пишет: «Литературный герой — это структура, динамическое соотношение элементов, и в то же время литературный герой — это поведение... Но изобразить поведение — значит изобразить управляющие этим поведением ценности, движущие им противоречия (конфликты), мотивы, цели».

Не так-то просто для писателя точно выстроить линию поведения героя в соответствии с характером и обстоятельствами, формирующими его. Задача художника, пишущего о детях, еще более усложняется: с одной стороны, жизнь ребенка в художественном произведении раскрывается перед нами непосредственно, с другой — эта жизнь дана через восприятие взрослого человека. «Тут нужно особое умение», — сказал однажды Короленко, нужно «самому проникнуться детски-чистой простотой, безыскусственностью и прямодушием». Такое «особое умение» у К. Шишкана есть, и потому его Никушор вызывает у нас доверие.

Герой К. Шишкана немногословен. Его внутренняя духовная энергия проявляется не столько через слово, сколько, как это обычно бывает у детей, через поступок. Речь идет не о неумении героя выразить свои мысли. В общении со сверстниками, в открытых диалогах он ой как боек на язык (еще бы, словесной информации он получает предостаточно — школа, телевизор, кино и пр.), а вот когда его обуревают внутренние чувства, мальчик замыкается («он вздохнул», «он отвернулся», «Никушор мрачно молчал») — штрих, очень точно подмеченный автором (не только детям, но и нам, взрослым, как порой бывает трудно выразить свои эмоции в слове). И внутренняя буря чаще всего выливается в поступок.

Обида на отца, забывшего в суете служебных дел пойти с сыном на озеро, — и выходные туфли отца летят через балкон с седьмого этажа; злость на магнитофон, голосом матери дающий Никушору указания: «Еда в холодильнике. Не пей сырую воду... Не дразни на пустыре собак» — и черту магнитофон; желание видеть отца во что бы то ни стало оборачивается кражей велосипеда, а тоска по единению с родителями — бесцельным слонянием по пустырю.

У двенадцатилетнего героя К. Шишкана есть право выбора (благо никто на него не давит): он может заняться техникой и вместе со своими школьными товарищами изобретать «интрацикл» и строить робот, или

войти в «придворную» компанию и под руководством пенсионера Лукьяна Кузьмича разбивать клумбы, ухаживать за саженцами, бороться с короедом, или, на худой конец, срезать трубки в телефонных будках — парень по кличке Дирижер подначивает его освоить это прибыльное дело. Никушор на перепутье, он еще не определился, как поворотится, не нашел себя. Но бесспорно одно: ни «интрацикл», ни телевизоры не заменят маленькому человеку тепло семейного очага. Где как не в семье формируются нравственность ребенка, понятия добра и зла, щедрость и красота души! Процесс этот взаимосвязанный. Ведь не даром говорят: ребенок — нравственный центр семьи. Не беднеет ли духовно отец и мать Никушора, люди хорошие, умные, трудолюбивые, заменяя сердечное общение с ним телефонными звонками и магнитофонными указаниями? Да, конечно. Писатель это видит, но то ли по доброте душевной, то ли из-за своеобразного шпета перед обстоятельствами старается как-то сгладить, оправдать их невнимание к сыну (срочные и сверхсрочные вызовы на работу матери Никушора — врача «скорой помощи»; работа без выходных, с вечными командировками Ягана — отца мальчика). А Никушор тянется к родительской опеке и теплу и протестует, чувствуя отчужденность. Он ищет контакта с собственными родителями, и инициатива в его руках. В конце книги автор подает надежду читателю, что контакт этот будет установлен.

Тема, поднимаемая К. Шишканом, почти постоянна в литературе. Проблемы, связанные с психологией ребенка, с взаимоотношениями родителей и детей, характерны для произведений особенно последних лет, уделяющих пристальное внимание нравственному воспитанию. К. Шишкан нашел свой ракурс в освещении этой проблемы, придав ей сегодняшний животрепещущий смысл, сумел заставить читателя сопереживать своему герою и задуматься о безусловных человеческих ценностях.

Г. Койранская.



**А. ОКЛАДНИКОВ.** Открытие Сибири. М. «Молодая гвардия». 1979. 223 стр.

Автора этой книги академика А. Окладникова не нужно представлять — имя его известно далеко за пределами нашей страны. Вот уже более полувека выезжает он в экспедиции. И каждая поездка вписывает новые страницы в изучение истории Сибири, истории человечества.

Три раздела, как три кита, держат книгу. События первого раздела начались недавно и очень давно. В 1961 году во время краеведческой конференции в городе Горно-Алтайске Окладников на высоком холме близ городского парка нашел... стоянку первобытного человека. Специальный консилиум из ведущих геологов Сибирского отделения Академии наук СССР пришел к выводу: найденным орудиям каменного века не менее 150—200 тысяч лет. Так на древнюю карту планеты нанесли еще одну стоянку наших предков — улаинскую, по

имени маленькой горной речки, протекающей неподалеку.

Пятнадцать лет спустя новые исследования принесли новые, еще более сенсационные открытия. Миллион лет, если не более (!), прошло с той поры, когда неуверенная рука впервые взяла камень и сознательно стала обивать им другой. Древнейшие находки, сделанные в разных уголках планеты, в том числе знаменитая олдувэйская стоянка в Африке, похоже, уступают уральскому феномену, котрый первый начал «заселять» Сибирь и открыл ее земли человечеству.

Тысячелетия сменяли одно другое, пока новгородцы-ушуйники не принесли на Русь сведения о неведомой восточной стране. «В той ж стране есть иная самоедь. По пуп люди мохнаты до долу, а от пупа въ верхъ яко ж и прочии человеци... В той ж стране иная самоедь. По обычаю человеци, но без глаз. Рьты у них межи плечми. А очи въ грудех...» Так росли первые «информационные потоки» о богатой и сказочной Сибири. В 1581 году навстречу восходящему солнцу пошел Ермак с дружиной, чтобы перешагнуть Каменный Пояс.

Началось второе открытие Сибири.

Русские крестьяне, мечтавшие о свободе, передовая интеллигенция, сосланная за мечту о свободе, стали первыми истинными преобразователями таяжной страны. Одни принесли с собой умение обрабатывать землю, выращивать домашний скот, другие бросили зерна передовой культуры на почву «дикой» Сибири. Сподвижники Степана Разина, за ними Радищев, декабристы, народолюбцы как бы передали эстафету революционерам-марксистам, соратникам Ленина...

Третье открытие Сибири началось после исторического залпа «Авроры», который эхом революции прокатился по городам и станционным поселкам — от Челябинска до Владивостока. Открылась новая страница истории. Мало кто знает, что еще в 1916 году эту страницу пытался спроецировать на экран времени А. Гастев в рассказе «Сибирская фантазия». Рассказ тогда действительно не мог не казаться сверхфантастическим, даже сказочным. Однако нам он таким не покажется. «От Кургана экспресс мчится по залитым солнцем пашням, где все лето бороздят и ровняют поля стальные чудовища-машины... Красноярск — центр мировой науки и культуры. У берегов Оби пристаю океанские пароходы. Сюда беспрепятственно подходят по сверкающим рельсам экспрессы. Тысячи заводских труб высятся над Новониколаевском».

А ведь прошло всего лишь шестьдесят с небольшим лет!

Сегодняшняя Сибирь известна всему миру. Крупнейшие индустриальные и аграрные гиганты поднялись в ее далеких медвежьих углах. К северу от Байкала таежный массив прорезала железнодорожная магистраль, стройка века... О всех новостройках не скажешь. Угольная и металлургическая, нефтяная и газовая, алюминиевая и энергетическая, целлюлозная и машиностроительная — такой стала Сибирь, в прошлом земля рыбаков и охотников.

Но, пожалуй, особенно наглядным свидетельством прогрессивных перемен в Сибире

стала подлинная культурная революция. Она началась с ликвидации неграмотности, которую повели русские учителя в красных чумах. У народов, не знавших письменности, с удивлением и страхом смотревших на волшебные куски «говорящей бумаги», выросла собственная литература, появились собственные ученые и писатели.

Расцвет экономики и культуры некогда необжитой таежной окраины — величественный итог третьего открытия Сибири. И решения XXVI съезда КПСС, на котором будут приняты задания по одиннадцатому пятилетнему плану, станут программой нового этапа развития Сибири, продолжением ее хозяйственного преобразования.

М. Аджиев.



ВЛАДИМИР ДЕМЬЯНОВ. Геометрия и Марсельеза. М. «Знание». 1979. 223 стр.

Люди не выбирают время, но время выбирает их. Речь, понятно, идет не о физическом, а об историческом времени. Сможет ли поколение сказать новое слово, зажгутся ли в нем созвездия крупных талантов, в огромной мере зависит от общественного накала эпохи. Кем в иных условиях стали бы великие деятели Французской революции? Не будь ее, они, верно, так и прожили бы в глуши и безвестности.

Но это гении практической деятельности, воители и социальные преобразователи. Какой-нибудь геометрией можно — и даже лучше — заниматься в тиши и уединении. Однако как тогда понять Гаспара Монжа? Что, казалось бы, могла дать революция создателю начертательной геометрии, уже знаменитому математику, физику, химику, металлургу, уже академику, к тому же владельцу завода, угодий, состоятельному человеку? Что за парадокс: заводчик-якобинец, геометр, вооружающий революцию победоносным оружием, сподвижник ее вождей, пламенный борец за свободу — и все это не под влиянием событий, а по стойкому, на всю жизнь убеждению? И он же друг, соратник — тоже до конца — Наполеона Бонапарта...

Необычных событий в биографии Монжа хоть отбавляй. Виднейший геометр мира, министр революционного правительства, человек, своей подписью главы исполнительной власти скрепивший декрет о казни Людовика, преследуемый в дни термидора беглец, участник египетского похода, тот, кому при бегстве на родину Наполеон доверил в случае угрозы плена взорвать корабль, сенатор империи и еще многое, многое другое. Трудно найти великого ученого со столь поразительной судьбой. Тут загадка времени и загадка личности.

Собственно, этой загадке и посвятил свою книгу В. Демьянов. К ней он подошел как исследователь и как художник. Конечно, всякий хороший биограф уже исследователь, так как он обязан по документам целено воссоздать жизнь человека. Но В. Демьянов — это в лучших традициях жанра — взял шире. Его остро интересуется связь частного и общего, личного и исторического, научного и социального. Не только в судьбе Монжа, но и в судьбе его совре-

менников — Лавуазье, Бертолле, Лапласа, Лагранжа. Причем автор настолько вошел в эпоху, что люди и события оживают перед читателем.

Что дает эта художественная стереоскопия? Не только образ...

«Склоняются ли нынешние школьники всех континентов над заданиями по черчению, — пишет В. Демьянов, — стоят ли студенты у кульманов, сидят ли конструкторы у дисплеев со световым пером — все они пользуются языком Монжа, чертежом, применяют его методы и продолжают его дело». Таков масштаб научного наследия Гаспара Монжа. Напомним, однако, что большую часть всего этого он сделал до революции. Его же общественная деятельность все же находится как будто на задворках исторической памяти. Выходит, одно было «для вечности», для человечества, другое — для родины, для самого себя? Выходит, науку и революцию можно разъять? В. Демьянов умно и достоверно показывает, что все не так, что наука и революция нерасторжимы в деятельности Монжа, что прогресс научно-технический и социальный нельзя разнести по разным полочкам ни в истории, ни в судьбе личности, и в лице Монжа мы обретаем фигуру во всех смыслах эпохальную. Он был одновременно и революционером в геометрии, и стратегом промышленного переворота, и социальным преобразо-

вателем, это все едино в нем, он со всеми своими противоречиями ярчайший выразитель своего времени и вместе с тем его творец.

Творец времени! Вот это обстоятельство делает повествование В. Демьянова не просто хорошей новинкой нашей биографической литературы. Ведь на дворе научно-техническая революция, которая влияет решительно на все и, следовательно, требует людей разносторонне деятельных, выдающихся ученых, одновременно выдающихся практиков, организаторов, преобразователей. То есть людей, подобных Монжу, — с огромными знаниями, общественным бескорыстием, неиссякаемой энергией, добрым, как у Монжа, умом и сердцем. И его горением. Книги, которые воздействовали бы в этом направлении, достоверно и ярко описывали таких людей, учили, с кого брать пример, чрезвычайно нужны сегодня. Именно к их числу относится строго, вместе с тем страстно написанная книга В. Демьянова «Геометрия и Марсельеза». Под знаком науки и революции прошла жизнь Монжа, это неумирающий мотив времени, залог движения и развязка противоречий. Поэтому и сам Монж нам нужен сегодня весь целиком, а не только как великий геометр. Такого Монжа нам дал автор «Геометрии и Марсельезы».

**Д. Белецкий.**

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**Ф. Энгельс.** Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. 71 стр. Цена 10 к.

**В. И. Ленин.** Грозящая катастрофа и как с ней бороться. 46 стр. Цена 5 к.

**В. И. Ленин.** Уроки московского восстания. — На дороге. 23 стр. Цена 3 к.

**М. А. Суслов.** Марксизм-ленинизм и современная эпоха. Изд. 2-е, дополненное. 198 стр. Цена 30 к.

**К. У. Черненко.** Вопросы работы партийного и государственного аппарата. 398 стр. Цена 1 р. 60 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Прокофьев.** Россия. Стихотворения и поэмы. 255 стр. Цена 1 р.

**Е. Ржевская.** Была война... Повести, рассказы и записки. 640 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Т. Сыдыкбеков.** Исповедь Букентай. Роман. Перевод с киргизского. 335 стр. Цена 1 р.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Ю. Анобиров.** Земля отцов. Роман. Перевод с таджикского. 381 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Р. Гимараэнс.** Рассказы. Перевод с португальского. 334 стр. Цена 2 р. 20 к.

**И. Звево.** Самопознание Дзено. Роман. Перевод с итальянского. («Зарубежный роман XX в.») 472 стр. Цена 2 р. 10 к.

**М. Машара.** Кресы борются. Роман. Авторизованный перевод с белорусского. 300 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Я. Рибникар.** Ян Новсмучкий. Роман. Перевод с сербскохорватского. 207 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Сон-трава.** Сборник рассказов. Перевод с польского. 270 стр. Цена 1 р. 60 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**С. Баруздин.** Стихи без названия. 207 стр. Цена 45 к.

**А. Грин.** Блистающий мир. 400 стр. Цена 2 р.

**М. Дудин.** Дерево для анста. Стихотворения. 1968—1978. 351 стр. Цена 1 р. 10 к.

**На поле Куликовом.** Рассказы русских летописей и воинские повести XIII—XV веков. Перевод с древнерусского. 239 стр. Цена 6 р. 20 к.

**Подвиг.** Альманах. Вып. 20. 191 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Поэзия. 1980.** Альманах. Вып. 27. 175 стр. Цена 90 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**В. Боровиков.** Заветные звезды. Стихотворения и поэмы. («Первая книга в столце») 62 стр. Цена 30 к.

**Э. Гайдаш.** Околицы лета. Стихи. («Новинки «Современника») 112 стр. Цена 30 к.

**М. Гали.** Тропинки памяти. Стихотворения и поэмы. Перевод с башкирского. («Библиотека поэзии «Россия») 232 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Р. Кутуй.** Лист земли. Стихи. 270 стр. Цена 90 к.

**А. Пешков.** Семья Михея. Повести. («Новинки «Современника») 191 стр. Цена 75 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**В. Муратов.** Перевал. Роман. 318 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Ю. Семенов.** Комиссар госбезопасности. Документальная повесть. 350 стр. Цена 70 к.

**М. Фельдеш.** Приказ. Роман. Перевод с венгерского. 851 стр. Цена 2 р. 10 к.

## «ПРОГРЕСС»

**Л. Баллек.** Помощник. Книга о Паланке. Роман. Перевод со словацкого. 366 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Э. Гейнс.** Автобиография мисс Джейн Питтман. Повесть. Перевод с английского. 344 стр. Цена 1 р. 30 к.

**В. Кёппен.** Голуби в траве.— Теплица.— Смерть в Риме. Романы. Перевод с немецкого. 507 стр. Цена 3 р. 40 к.

**А. Лану.** Пчелиный пастыр. Роман. Перевод с французского. 350 стр. Цена 2 р. 30 к.

**А. Муниф.** Деревья... и убийство Марзука. Роман. Перевод с арабского. 237 стр. Цена 1 р. 60 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Р. Гамзатов.** Верность таланту. Статьи. Махачкала. Дагучпедгиз 256 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Уроки Ленина.** Всесоюзная творческая конференция «С Лениным, по ленинскому пути» и дни советской литературы в Красноярском крае. Шушенское, сентябрь 1979 г. Красноярск. Книжное издательство. 71 стр. Цена 35 к.

**О. Челидзе.** Одиночный памятник. Стихи и поэмы. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 247 стр. Цена 1 р. 10 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 27/X 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 17/XII 1980 г.  
Формат бумаги 70×108/16. 27,13 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
А 13106. Тираж 345.000 экз. Заказ 3527.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.  
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 03056.



Цена 70 коп.

70636